СЕРГЕЙ
ЗАЛЫГИН

5



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ПЯТЫЙ

РАССКАЗЫ
1951–1980

МОЙ ПОЭТ

ЭССЕ
О ТВОРЧЕСТВЕ А.П.ЧЕХОВА



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991

ББК 84Р7
З-24

Оформление художника
Д. ШИМИЛИСА

З $\frac{4702010201-024}{028(01)-91}$ Подписное

ISBN 5-280-01612-8 (Т. 5)
ISBN 5-280-00785-4

РАССКАЗЫ

1951–1980

ПИК ПОЛОВОДЬЯ

— Когда я был заведующим уездным земельным отделом...— вспоминал Иван Алексеевич всякий раз, как к нему приходило хорошее расположение духа.

Обычно рассказы его бывали немногословны, голос — о чем бы он ни говорил — оставался спокойным. И только когда он касался вот этого исключительного события своей биографии, в словах его появлялись необычно торжественные нотки.

Иван Алексеевич был немолод — лет за пятьдесят, но еще силен. Однако — что и говорить — все чаще и чаще схватывала его за поясницу тупая боль; в последние годы, стреляя по глухарям, он дал несколько промахов, а нынешней зимой из его рук ушла обратно в майну [1] большая нельма. Каждая из этих неудач немало удручала Ивана Алексеевича; он даже во сне вздыхал, а за столом подолгу рассматривал свои огромные руки в веснушках, с мягкими коричневыми волосками и выпуклыми жилами.

Иван Алексеевич носил небольшую бородку, брился торопливо и неохотно и поэтому редко смотрелся в зеркало. Иначе он заметил бы, как глубокие морщины год от года все гуще покрывают его лоб, щеки и даже переносицу, а светло-желтые волосы становятся совсем бесцветными.

Но он всматривался только в свои руки, положив их перед собою на стол и говоря жене, Ирине Матвеевне:

— Старуха ты стала, Ириша, как есть старуха! И у меня руки-то, смотри, не те...

Руки Ивана Алексеевича сделали немало дел на земле. От Баренцева моря и до устья Лены они строили дома. Они тысячи раз чутко настраивали капканы

[1] Майна — прорубь.

и освежевали бесчисленное множество больших и малых зверей. Они не раз вытаскивали из болотной топи людей, отталкивали в сторону придавившее человека дерево, спасали утопавших.

А вот теперь в руках не было прежней силы. Подходила старость:

— Да, Ириша... Что и говорить! Люди воюют, защищают Родину, Советскую власть, а мы? Стареем, Ириша, стареем,— вздыхал Иван Алексеевич.— А помнишь, в молодости-то, когда я завуземом был?..

Завузем — или заведующий уездным земельным отделом — это была такая высокая и благородная должность, что Алексей Иванович теперь и сам не верил, будто занимал ее когда-то... Кажется, не верил...

Зато, если добыча в тайге или на реке была особенно богатой, Иван Алексеевич радовался этому, как никогда прежде. И если на работе удавалось выполнить задание особенно хорошо, быстро и аккуратно, им тоже надолго овладевало прекрасное настроение.

А работа у Ивана Алексеевича была нелегкая. Лет десять тому назад он поступил на гидрологическую станцию рабочим. а теперь был старшим наблюдателем.

В дни наблюдений он выезжал на катере «Таран» и через каждые сто метров становился на якорь. От мачты катера, словно чья-то прямая высохшая рука, протягивалась над водой деревянная стрела. На конце стрелы скрипел под тросом блок, и гидрометрическая вертушка с двухпудовым грузом, похожим на жирного налима, погружалась в речную темно-коричневую воду. Счетчик на лебедке показывал десять, двадцать, тридцать метров глубины, а трос, натянутый и поющий, словно струна, все еще скользил через блок, пока наконец не повисал слабо и безвольно, колеблемый течением реки. Это значило, что груз наконец-то достиг дна.

Начиналось измерение скоростей на разных глубинах. В рубке катера время от времени дребезжал звонок или зажигалась лампочка от карманного фонарика, сигнализируя о том, что лопасть вертушки сделала двадцать оборотов, а Иван Алексеевич, не спуская глаз с секундомера, отмечал время поступления этих сигналов.

Случалось, что буря заставала «Таран» где-нибудь на середине реки и жестоко трепала его, или якорь заедало на дне, и тогда требовалось много усилий и сноровки, чтобы вырвать его из цепких лап затонувших де-

ревьев либо из расщелины между каменными глыбами, которые, должно быть, очень часто были рассыпаны где-то там, на дне, под глубокой водой.

В длинную полярную ночь вместо катера по льду реки от одной лунки до другой таскал деревянную будку сивый меринок по имени Кузя. Вертушка ныряла тогда через люк в полу этой будки и через лунку под лед.

В углу будки шипела и трещала железная печь. Иван Алексеевич сидел за маленьким столиком и при свете фонаря «летучая мышь» следил за стрелкой секундомера, а иногда приоткрывал оконце будки и палил в воздух из берданки, чтобы волки не подходили слишком близко и не тревожили понапрасну Кузю. Хотя Кузя и пообвыкся и не боялся волков, если рядом с ним был человек, но все равно нужно было беречь и его нервы.

Река подо льдом текла медленно, лопасть вертушки, погруженной в ее глубину, вращалась тихо, и сигналы приходили не чаще чем через минуту, а то и две. От сигнала до сигнала Иван Алексеевич не торопясь успевал поразмыслить о всех своих делах — прошлых, настоящих и будущих, о том, как сейчас ведет себя река, как, предположительно, заблагорассудится ей вести себя во время ледохода, летнего паводка и осеннего ледостава.

Нередко внезапный ураган подхватывал будку, катил ее по льду, и Кузя на боку тащился за ней. Тогда Иван Алексеевич с рабочим выбрасывали из будки якорь, который цеплялся за какую-нибудь трещину во льду. Потом они выпрягали Кузю, Иван Алексеевич наматывал на руку длинный повод, связывал себя веревкой с рабочим, и так они втроем пробивались к невидимому берегу сквозь снег и ветер.

Тут не мудрено было и заблудиться, но Иван Алексеевич умел ориентироваться по компасу, и это им помогало, а когда компаса не было, он полагался на Кузю. Кузя, хотя и был старым мерином, и ленив тоже был, когда дело касалось его собственной жизни, начинал неплохо соображать, промашек не делал. Он сначала шел по ближайшему расстоянию к берегу, а уже вдоль берега, под высоким яром, где потише ревел буран, они добирались к трем избушкам своей гидрологической станции.

Ну а самым трудным и опасным делом для старшего наблюдателя было, как ни говори, замерить скорость и расход воды в реке при наивысшем весеннем уровне, то есть в пик весеннего половодья.

Хорошо, если река к этому времени уже очищалась ото льда, а если нет?

Река ведь протекала с юга прямо на север, рассекая добрую половину Азиатского материка, и сотни, тысячи притоков — рек, речушек, ручьев, там, на юге, начиная с марта, щедро питали ее талыми водами, когда же половодье приходило сюда, на север, река была здесь еще подо льдом, этот лед ей предстояло смять и сокрушить, а в самую заварушку, в единоборство между водою и льдом, вроде бы и вовсе ни к чему, а все-таки обязательно встревал каждый раз Иван Алексеевич со своей гидрометрической вертушкой, с ручной лебедкой и прочим нехитрым такелажем.

* * *

И точно — как предугадывал Иван Алексеевич еще зимою, сидя в будке и присматриваясь к сигналам электрической лампочки, так нынче и случилось: весеннее половодье подкатилось к створу гидрологической станции, когда река была еще зимней, и лед на этой зимней реке все еще сиял ослепительной белизной, не тронутой чьим-нибудь следом, со слегка примороженным после минувшей и краткой оттепели снежком. Лишь кое-где у берегов потрескался этот лед и выказал наружу черную, беспокойную воду, которая сердито бурлила под ним, только что примчавшись сюда с юга, с тех широт, где по рекам уже давно плавали лодки и белые пароходы, где уровни речной воды давно пошли на убыль, а с пашенных склонов, сбегавших к речным поймам, тянулись в сторону солнца бесчисленные рядки пшеничных, ржаных и овсяных всходов.

Дальше дело пошло своим неизменным порядком — за день-два лед потемнел, оглушая все живое, стал рваться на части, на глазах стал вздыматься все выше и выше.

Каменная глыба вблизи станции, очень похожая на голову упрямого и пожилого человека, выбритого наголо, еще недавно возвышавшаяся над водой, стала все глубже погружаться в воду, так что теперь видна была

только ее макушка, небольшая часть лба и затылка, а больше ничего.

И на водомерном посту тоже оставалась незатопленной лишь самая верхняя свая, а около другой сваи, забитой на тридцать два сантиметра ниже первой, Ивану Алексеевичу пришлось воткнуть вешку, чтобы легче было находить ее под водой и ставить на нее водомерную рейку. Именно по этой свае № 17 измерялись теперь уровни воды в реке.

В пятницу утром, в восемь часов, когда Иван Алексеевич поставил рейку на сваю № 17, он увидел, что за ночь вода не прибыла ни на сантиметр. Значит, был пик. Вода и еще продержится на такой отметке сутки, а может быть, и меньше, потом пойдет на спад.

Ну и что ж! У Ивана Алексеевича все готово, чтобы измерить, сколько десятков тысяч кубометров воды в секунду несет река сейчас, в пик половодья. Не в первый раз!

Он пригласил к себе на завтрак рабочего Стрельцова, который жил в том же домике за стеной и вот уже несколько лет сильно болел ревматизмом, отчего прихрамывал на левую ногу. Ирина Матвеевна подала к столу жареную нельму и клюкву, потом они выпили спирту, закусили кругляшками редьки и дольками чеснока. Такие деликатесы, как редька и чеснок, были извлечены из подполья Ириной Матвеевной по случаю предстоящего серьезного дела. О нем, об этом деле, Иван Алексеевич со Стрельцовым говорили мало — больше вспоминали те годы, в которые пики половодья проходили по чистой, свободной ото льда реке и расход легко можно было «взять» с катера. Потом Иван Алексеевич — в который уж раз! — рассказывал Стрельцову о том, как в позапрошлом году осенью он в тумане не разобрал, что к чему, и дал сводку, будто по реке идет сало [1]. А на самом деле то было вовсе не сало, а снежница [2]. И уже в полдень из Москвы пришла телеграмма, которая требовала подтвердить, что идет сало. Иван Алексеевич сообщил, что сала нет — вышла ошибка. А на другой день снова пришла телеграмма, и снова из Москвы, и в ней накладывалось взыскание на виновного, то есть на старшего наблюдателя Канева. Из этой истории Иван

---

[1] Сало — пятна топкого льда, признак скорого ледостава.

[2] Снежница — снег, плавающий на воде, когда температура ее близка к нулю.

Алексеевич делал неизменный вывод, что работа у них на станции очень важная, если уж сама Москва так быстро забеспокоилась об ошибке, что работа у них ответственная, если Москва находит время ему, неизвестному старшему наблюдателю, дать взыскание. И как это тогда получилось с ним, он сам не знает. Но теперь, пока он жив, никогда-никогда этого больше не будет!..

Наконец Иван Алексеевич сказал: «Ну, пошли», отметил в дневнике время, и все они вышли из дому. Ирина Матвеевна оделась в тулуп, накинула на шею сыромятный шнурок бинокля и села на скамеечку около дверей своего дома, приготовившись наблюдать за работой мужчин.

Стрельцов столкнул в воду лодку, накрепко привязанную к нартам, они пересекли по воде закраину, потом вышли на льдину и потащили лодку на этих нартах. Потом в две пешни быстро прорубили лунку и опустили в нее вертушку. Иван Алексеевич присел около лунки на корточки с секундомером в руке и стал вести записи, а Стрельцов время от времени крутил рукоять лебедки, поднимая вертушку, а в промежутках курил. Так они отрабатывали вертикаль, снимались с места, ориентируясь по береговым вехам, проходили сто метров и начинали все сначала. Между третьей и четвертой вертикалями они снова спустили лодку на воду и снова переплыли черную трещину, отделявшую одно ледяное поле от другого. От четвертой вертикали и дальше Ирина Матвеевна стала смотреть на них в бинокль. Она видела торопливые и резкие движения мужа и сосредоточенное, даже сердитое выражение на его красном, обветренном лице. Ирина Матвеевна хорошо знала, что муж бывает таким, когда делает трудную и спешную работу. Иной раз ему не по плечу какое-нибудь дело, он ругается, а сделать не может, не хватает сил. А потом случится в бурю переправиться через реку или удачно добыть дичь на охоте, и он вот с таким же сердитым лицом принимается за трудную работу снова и делает ее, стараясь за троих.

В прошлом году он под такое же настроение выдолбил вмерзший в лед неводник [1] и один поднял его на катках высоко на берег. Ирина Матвеевна стояла тогда в сторонке, вздыхала и думала: стоит неводнику пока-

---

[1] Неводник — большая весельная лодка для рыбной ловли неводами.

титься обратно под уклон, и он придавит Ивана Алексеевича. Но она боялась остановить мужа и посоветовать ему подождать, пока придут рабочие. Если только его остановить, спугнуть силы, тогда уже нечего ждать удачи в работе, а Иван Алексеевич, не понимая этого, по-прежнему будет надрываться и сердиться.

С восьмой вертикали дело пошло у них быстрее, должно быть, они решили поступиться точностью измерений и не на всех глубинах стали измерять скорости — торопились.

Первая подвижка льда произошла, когда они долбили лунку на одиннадцатой вертикали. Льдина дрогнула, подвинулась и снова остановилась. Это еще ничего не значило, от такой подвижки и до полного ледохода иногда проходят и сутки и двое. Только вот пришлось Ивану Алексеевичу и Стрельцову долбить новую лунку на той же линии створа, в котором должны располагаться все вертикали, потому что лунка, которую они только что выдолбили, оказалась уже ниже створа, считая по течению реки.

Когда они были у двадцать третьей по счету лунки, где-то еще ниже по течению, за поворотом берега раздался громовой удар. Ирина Матвеевна побледнела. Но как раз наступил срок наблюдений, она, тяжело вздохнув, сняла бинокль и тулуп, надела ватник и, правя одним веслом, проплыла в лодке несколько метров до вешки, которая указывала местонахождение затопленной сваи. Нащупав сваю рейкой, она измерила глубину воды над ней и, чтобы не забыть отсчет, стала непрерывно повторять его: «Двадцать два, двадцать два, двадцать два...»

Так она твердила тонкими сухими губами, не оглядываясь на реку, снова пристала к берегу, вошла в дом и написала на бумажке две смешные детские двойки, подумав при этом: «Ванечка вернется и красиво перепишет «двадцать два» в журнал...»

Много лет жила Ирина Матвеевна на станции и не могла себе представить, что в положенный срок в журнале вдруг не будет отмечен уровень воды.

Когда она снова вернулась на свой наблюдательный пункт, за тем же речным поворотом один за другим раздались еще несколько глухих взрывов.

Распахнулась дверь в кладовой, домик заколебался, и тонкий столб дыма, поднимавшийся над крышей, перегнулся, будто его чем-то стегнули.

Лед тронулся. Ледяное поле, на котором были люди, поплыло, но недолго: ударилось в другое такое же поле и раскололось пополам. В тот же миг сзади на этот осколок налетела большая, сизая, почти синяя льдина. Ирина Матвеевна видела в бинокль, как Иван Алексеевич взмахнул руками, пошатнулся и упал, словно у него из-под ног выдернули на секунду опору, но сейчас же вскочил снова.

Сизая льдина все подминала под себя осколок, на котором были люди, черная вода быстро неслась к ним, словно торопилась слизнуть их. Вот уже Иван Алексеевич и Стрельцов по колено в воде, обернувшись навстречу этой сизой и как будто живой громаде, ждут ее приближения... Вот Иван Алексеевич бросился прямо на нее, вперед. И хотя кромка льдины была высоко, он все-таки ухитрился как-то лечь на нее грудью, а потом еще и успел схватить за руки Стрельцова. Они оба были теперь наверху, а лодку эта шалая и как будто на что-то обозлившаяся льдина толкала впереди себя и каждую секунду могла раздавить ее, подмяв под себя.

Иван Алексеевич лежа попытался сверху ухватиться за борт лодки, но это ему никак не удавалось. Тогда стал тянуться Стрельцов, а Иван Алексеевич держал его за ноги, чтобы тот не соскользнул под лед. Стрельцов наконец-то дотянулся к носу лодки, схватил веревку, привязанную к перекладине, и они быстро выдернули лодку к себе наверх. Тут нижняя льдина раскололась еще раз, часть ее нырнула в глубину, а сизый лед с людьми стал взбираться еще выше, образуя как бы третий ярус. Когда же все это громадное, но непрочное сооружение застыло в неопределенном равновесии, люди скатились вниз, на самую нижнюю льдину, а по ней бросились к берегу. Вдруг, как будто бы безо всякой причины, они шарахнулись в сторону. Стрельцов упал, а спустя некоторое время к Ирине Матвеевне докатился звук нового взрыва, и она увидела, как вблизи людей появилась и быстро-быстро стала расширяться трещина. Люди переплыли ее в лодке и опять выбрались на лед, но что-то случилось со Стрельцовым, он упал снова. Иван Алексеевич бросил его в лодку и с веревкой через плечо, без шапки, без полушубка побежал снова. Он бежал так быстро, что казалось, будто не он тащит лодку, а лодка толкает его вперед. Еще минута — и льдина с людьми проплыла вблизи берега и скрылась за поворотом.

Ирина Матвеевна бросилась туда, не разбирая ручьев, которые в этот день уже побежали с берега в реку, огибая льдины, наползавшие на землю. Выбежав за поворот, она увидела, что Иван Алексеевич идет по берегу и несет на руках Стрельцова.

Спустя час Ирина Матвеевна и Иван Алексеевич сидели за столом в своем домике, ели жареную нельму и осторожно, по кусочку, откусывали от белых, словно сахар, кругляшков редьки.

Стрельцов с перевязанной ногой лежал тут же, на кровати, и неохотно ел, и это особенно беспокоило Ирину Матвеевну. Иван Алексеевич тоже беспокоился.

— Раз нет у человека аппетита,— говорил он,— значит, сильно помяло. Организм себя понимает. В медицине сказано...

Иван Алексеевич аккуратно переписал в журнал цифру 22 и громко вздохнул.

К вечеру Стрельцову стало лучше.

Иван Алексеевич обрадовался, пришел в хорошее расположение духа и стал рассказывать:

— Когда я был заведующим уездным земельным отделом...

Все в его рассказе было сущей правдой. Действительно, бумажки, им когда-то очень давно подписанные, имели тот самый цвет, размер и слова, о которых он говорил. Верно, что кабинет завуэема находился в лучшем доме городка, а через коридор помещался сам председатель Совдепа. Правильно, что председатель распорядился на единственной во всем уезде пишущей машинке печатать в первую очередь свои бумаги, а во вторую — Ивана Алексеевича. Но для полной характеристики всей деятельности заведующего земельным отделом товарища Канева в этом рассказе все-таки не хватало еще многого.

Никогда, например, не рассказывал он, что его отделу была в свое время подведомственна территория, на которой могло бы запросто разместиться европейское государство средней величины. Что в разных концах этой территории не всегда бывало спокойно в те времена. Не рассказывал он, что нередко, мобилизовав своего делопроизводителя, рассыльного и конюха, завуэем создавал таким образом вооруженный отряд, отряд этот усаживался в нарты и отправлялся за несколько сот верст, чтобы водворить справедливость при дележе пастбищ и передаче их от монастыря и кулаков беднеи-

шим кочевникам. Случалось, что завязывались перестрелки с остатками банд, бродивших по лесам и тундре. Не говорил Иван Алексеевич также, что оказался завуземом по причине гибели своего предшественника в одной из таких перестрелок и оставался им пять месяцев и три дня, вплоть до приезда из губернии специалиста, имевшего за плечами четырехклассное училище.

— Да!— сказал Иван Алексеевич, когда все подробности его высокой деятельности в прошлом были, казалось ему, переданы слушателям с исчерпывающей точностью.— Да! Вот как было! А теперь что же, Ириша? Кровь-то, я думаю, почти совсем у нас остыла. Остудилась. Старость приходит! Руки-то не те...

И тут совсем неожиданно Иван Алексеевич засмеялся:

— Нет, скажите, как произошло сегодня — льдина на меня, а я на льдину! Прямо ей навстречу! Шалишь, думаю, не возьмешь! Отступать я от тебя не буду, совсем даже наоборот! И очень ловко получилось! Нет, Ириша, значит, есть сила! Значит, силы много, впору хоть воевать! Очень просто: что же мы, хуже других? Ничуть не хуже!

И опять он вспомнил:

— Когда работал заведующим уездным земельным отделом, мы землю давали беднейшему населению. Это что? Это справедливость! Сам писал распоряжения! Вот этой самой рукой писал! А когда не подчинялись... Нет, нас не повернешь наоборот! Шалишь! Ежели что, мы сами таких, которые против нас, вот так! Через колено!

Ирина Матвеевна поставила припарки Стрельцову; он уснул, похрапывая за пестренькой занавеской, и потом сама Ирина Матвеевна, не торопясь и чему-то улыбаясь, тоже легла спать.

А Иван Алексеевич еще долго ходил по комнате, заложив руки за спину и поскрипывая половицей, которую, он помнил, когда строил дом, пришил у печки не двумя гвоздями, а только одним.

* * *

В июле Ирина Матвеевна и Стрельцов провожали Ивана Алексеевича.

После того как миновал пик половодья, Иван Алексеевич сообщил в территориальное управление гидрометеорологической службы, что он хотел бы поехать

в район, освобожденный от врага, поскольку сейчас этому району очень нужны люди. А он знает там каждую тропу, каждую речку, знает все броды и трясины, потому что работал в тех местах заведующим уездным земельным отделом. И хотя он человек уже пожилой и гражданский, но сил еще хватит — он сумеет помочь в деле скорейшего восстановления пострадавшего района.

Управление согласилось.

И вот с вещевым мешком за плечами Иван Алексеевич стоит на пристани.

С дебаркадера поднимались на палубу парохода молодые парни — очередной призыв — в ватных и меховых куртках. Молодые и пожилые женщины стояли по краю дебаркадера и сосредоточенно, покрасневшими глазами смотрели и смотрели вслед этим парням, запоминая их лица, их голоса, их шаги.

Вскрикнула на пароходе гармонь, но с капитанского мостика человек в лохматой малице велел «отставить»; потом он откинул капюшон и стал подавать команды. Зазвенели цепи, завздыхала и заурчала в глубине трюма машина, булькнула под колесами вода.

Иван Алексеевич все еще стоял на дебаркадере, не торопился, а знал, что это пока еще не отвальная, а просто так — капитан примеривается к отвалу. Чалки-то еще не были отданы, и трап тоже не был снят.

Иван Алексеевич деловито посматривал вокруг и говорил:

— Очень даже организованно! Не то что в гражданскую или, скажем, еще раньше — в мировую империалистическую. Смотри, Ириша, все ребята строем, по четыре в ряд, песняка дали — и на палубу. И женщины ничуть не мешают. Ну, которые поплачут, так как же без этого?

Иван Алексеевич помолчал...

— Теперь вот еще, Стрельцов, и ты, Ириша: водомерный пост держите в образцовом порядке. На верхнем уклоне надо две сваи новые забить. Не успели в прошлом году, все, видишь ли, откладывали. Не было еще настоящей сознательности. Теперь это бросьте — время не такое. Ты, Стрельцов, значит, слушайся во всем Иришу. Она сделать не может, а дело понимает. Ну, пришлют вам в помощь, может, и не крепкого мужика — фронтового калеку, ничего, будьте ему от души рады. Учите его делу, объясняйте, ежели не специалист.

Сколько он пережил, такой человек, тоже нужно понять и учесть...— Иван Алексеевич уже недоверчиво посмотрел на трубу парохода, снова собрался с мыслями.— А теперь, Ириша, тебе одной...

Стрельцов отошел в сторону, Иван Алексеевич, глядя жене в глаза, заговорил снова.

— Ежели что,— как бы чувствуя за собой какую-то вину, улыбнулся он,— ежели что — езжай прямо туда. Доберешься! Пароходом, потом по железной дороге, потом опять пароходом, далее — на автомобиле. И не беспокойся — после войны транспорт знаешь как наладят?! Будь уверена. Там родственники. И вообще, знают, помнят. Скажешь — был такой заведующий Канев. Да ты сама знаешь, как сказать: вы, женщины, на этот случай еще толковее мужчин. Ну вот... Будь здорова. Не беспокойся, не переживай. Да. А силы еще есть: помнишь — льдина-то на меня, а я на льдину! Так и надо! В прифронтовой-то полосе, может, и старик будет очень полезным! Опять же посмотри — здесь все налажено: пристань, дома, комбинат рыбный. А там от немца землю освободили, и надо начинать сначала. Как после гражданской, когда служил в земельном отделе. Ну, не привыкать... Тот раз по справедливости делали и в этот раз не отступимся. А ежели все будет хорошо, приеду за тобой сам и заберу. До войны, конечно, случалось — делали и так и сяк, не всегда правильно. Допускали ошибки. Случалось. Теперь какое наступает время? Одерживаем полную и самую решительную победу, окончательно и бесповоротно разбиваем ненавистного врага! Ну а уже какое счастье наступит после того народу — мне да и тебе, Ириша, даже не представить, куда там! Значит, настало время сделать все кругом себя крепко и навек. И красиво. Пора! Тут и думать нечего — пора, пора! Давно уже запоздали с красотой-то, с настоящим порядком! Для того и воевали, чтобы не запаздывать еще более!

Иван Алексеевич обнял жену. Потом отступил шаг назад, снял шапку с подстриженной головы и сказал:

— Прощайте! И чтобы запомнить мои слова!

Раздался третий гудок.

1951

НА БОЛЬШУЮ ЗЕМЛЮ

— Ну вот, Костя, и кончили мы с тобой второй класс!

Отец захлопнул «Родную речь» и закурил. Он всегда закуривал, кончив какое-нибудь дело, и тем аппетитнее, чем труднее была работа. И сейчас было видно — отец намерен сосать трубку, по крайней мере, полчаса.

Костя не особенно был обрадован окончанием учебного года и спросил:

— Если в классе тридцать мальчиков, как же они в один день могут кончить первый класс?

— Очень просто,— сказал отец.— Учительница следит, чтобы все ученики делали уроки дома, а в классе объясняет всем сразу одно и то же. Наступает весна, и все ученики знают одинаково. А тех, кто не знает — лентяишек,— оставляют на второй год. Кажется, я не в первый раз говорю тебе об этом.

Костя еще раз удостоверился, что урок сегодня кончился и совсем ничего не задано «на дом», после этого собрал со стола тетради и вышел.

И как всегда в последнее время, глядя на снежные вершины гор, по которым ползали черные тучи, стал думать о Большой земле.

Косте было четыре года, когда его родители должны были вернуться на Большую землю, но тут началась война, и заменить зимовщиков далекой метеорологической станции оказалось некем. Пять человек — Костин папа, начальник станции, мама, наблюдатель, радист Василий Васильевич и его жена, повариха и фельдшерица тетя Клара, и маленький Костя — остались на зимовке еще на многие годы.

И вот недавно Василий Васильевич принял радиограмму о том, что смена готовится.

Вообще эти весна и лето были полны радостными событиями и надеждами: сначала зимовщики слушали по радио громовые салюты в честь наших войск и поздравляли друг друга, а потом настал день, который называется так: День Победы.

Отец, Василий Васильевич, тетя Клара и Костя с крыльца станции дали тогда три залпа. Потом тетя Клара испекла пирог, который сам таял во рту. Василий Васильевич израсходовал две суточные нормы питания на радио и не получил нагоняя от папы, а пустился с тетей Кларой в пляс.

Примерно через месяц пришла радиограмма о смене. А потом была перекличка с Большой землей, и с Костей по радио разговаривал Саша Малышев, ученик второго класса «Б» 16-й мужской школы, отличник, звеньевой, тимуровец, капитан футбольной команды у себя во дворе, мальчик, которого Костя слушал, не мигая глазами, не дыша.

У Саши был тонкий голос и торопливое дыхание. Он знал все. Он ничего не боялся, хорошо чувствовал себя на Большой земле, ездил в трамваях и автобусах, на пароходах и паровозах, ходил в кино, в театр и на стадион, видел парады с танками, сам трубил в пионерский горн.

Саша сказал, чтобы Костя обязательно приезжал учиться в его школу, привез камней для коллекции, кусочки мха, олений рог и веточку карликовой березы.

Костя, конечно, должен был исполнить все.

Перелистывая страницы «Мурзилки» и «Пионера» за несколько лет, Костя встречал там белых, черных и рыженьких мальчиков в светлых рубашках и красных галстуках, но только один из них, казалось Косте, мог быть похожим на Сашу Малышева: стриженый, веселый, с книгой в одной руке и с горном в другой.

Над Костиной кроватью давно уж висит портрет этого мальчика, и теперь не только Костя, но и взрослые говорят о возвращении на Большую землю так:

— Вот когда поедем к Саше Малышеву...

День этот приближался и приближался...

Было радостно и немного страшно: предстояло ехать на пароходе, на паровозе и каждую минуту видеть много-много совсем незнакомых людей.

Здесь, на зимовке, все было просто и понятно: самый главный, умный и строгий — папа; самая заботливая — мама; самый разговорчивый — Василий Васильевич; самая добрая — тетя Клара.

Кроме того, из дальней фактории Савей, в которую отец два раза в год спускается за продуктами, для обслуживания станции были постоянно закреплены три оленщика-ненца: Салиндер Отта, Андер Писими и Евай Евана. Помогая оленщикам, когда они по первому снегу поднимают на гору дрова, Костя установил, что Отта самый главный из всех троих, Писими больше всех бережет оленей и, наверно, самый добрый, а Евана самый веселый; недаром же он и привозит на станцию такой радостный груз — почту.

Вот и все люди, которых знает Костя.

А сумеет ли он разобраться, кто главный и кто самый разговорчивый из тех людей, которых он встретит на Большой земле?

Надежда на Сашу Малышева. С ним не пропадешь! Костя о многом знает из журналов «Пионер» и «Мурзилка» — некоторые страницы наизусть. Он читает по нескольку раз от первой до последней строчки «Пионерскую правду». Он очень внимательно слушает передачи по радио. Важно, чтобы с самого начала, как только он приедет на Большую землю, Саша все толково объяснил ему. Он поймет, а потом... Ах, какая сказочная жизнь начнется потом!

Костя давно уже завидует самой высокой горе, вершина которой вздымается над хребтом; эта гора так далеко видит!

Иногда стоит хорошая погода, ветер слабый и ровный, без порывов, барометр спокоен. Высококучевые облака, которые называются еще «альтокумулюс», длинными и редкими грядами повисли в голубом небе. Те из них, которые ближе к солнцу, пронизаны яркими лучами. Солнце, кажется, всему миру хочет показать, какие несметные богатства таятся внутри этих гряд. И в самом деле, сквозь серую пелену начинают проступать радужные краски перламутровых глыб. Безмолвие вокруг такое, словно нет и не может быть на свете ничего, что могло бы потревожить эту тишь.

И вдруг на высокой горе появляется дымок. Это значит, через какой-нибудь час небо помрачнеет, станет темным, как гранит, жалобно взвизгнет на столбе флюгер под первым ударом ветра, дрогнет и пойдет вниз барометр.

Нужно торопиться закрыть ставни, иначе камешки, которые подхватит ветер, выбьют все стекла в окнах; нужно проверить, на месте ли веревка, держась за кото-

рую наблюдатель идет от дверей дома до метеорологической площадки.

Где-то в стороне, за много километров отсюда, пролегает трасса, по которой летают самолеты. И Василий Васильевич радирует туда, что приближается ураган.

А папа, вернувшись с метплощадки, мокрый, с обожженным от холодного ветра лицом, снимает очки и говорит весело:

— Точно! Никогда не работал на такой хорошей станции, как эта: здесь всегда имеешь представление о перемене погоды! Точно!

Костя, конечно, согласен с папой, и, когда ураган стихает и снова открываются ставни, он снова все смотрит и смотрит на высокую вершину, которая так далеко видит — до самой Большой земли!

Иногда зимой, в конце совсем еще короткого, молодого дня, вдруг небо в промежутках между горами окрасится в разные цвета: зеленый, желтый, синий, оранжевый. Это такое далекое небо на западе, прозрачное и нежное, зовет Костю к себе, и ему кажется, что оттенки в небе появились, отпрянув от разных мест Большой земли, где каждая река, каждый город, каждое село имеет свой собственный цвет, такой, который больше всего там любят люди — взрослые и дети.

А когда в полярную ночь в той стороне, где летом видна сизая туманная тундра, трепещет сияние, Косте хочется удержать его и потом увезти с собой на юг, чтобы показать и удивить людей: «Смотрите! И у нас на Севере бывает так красиво!..»

Об отъезде к Саше Малышеву лучше всего разговаривать с Василием Васильевичем.

Вот и сейчас Костя, насмотревшись на горы, отправляется к нему, спрашивает разрешения сесть в маленькое, очень уютное креслице и долго сидит молча, пока Василий Васильевич кончает осмотр своих аппаратов.

Потом начинается разговор.

— Нечего стесняться,— говорит Василий Васильевич.— Не куда-нибудь едем — на родину, в родной дом. Понятно? Помню, когда я вернулся из Якутии... решил посмотреть белый свет, Большую землю. А ты знаешь, как она выглядит? Ну, предположим, южный город... асфальт... каштаны вдоль тротуаров. Троллейбус — пш-ш-ш-ш на ш-шинах.— Василий Васильевич проводит

рукой по своей щеке, звук получается шипящий — ему пора бриться.— Вот так! А кругом — люди, люди. Есть совсем маленькие. Вот ты сидишь в кресле. Теперь представь — человек такой небольшой, что он в этом кресле может лежать, вытянувшись во весь рост, и еще размахивать руками! Таких маленьких людей, совсем детишек, возят в колясках. Четыре колеса, кузовок, наверху шатер, а сзади ручки, за которые толкают коляску. В этих колясках растут люди — у них целая жизнь впереди. Сколько они увидят, сколько узнают, в каких только краях не побывают!

— Не знаю,— размышляет Костя вслух,— не то я в самом деле запомнил, когда был маленьким, не то видел в «Огоньке»: совсем зеленая улица, а земля желтая, а дома пестрые и большие — до самого неба. А на желтой земле под деревьями совсем такие коляски, про которые вы рассказываете. Могу я помнить это, как вы думаете? Там еще, кажется, был автомобиль... черный, блестящий...

— Очень может быть... Ну вот. А есть седые старики,— продолжает Василий Васильевич,— с палочкой и вот с такой бородой. Как на такого посмотришь — и дышать перестанешь: такой он старый! Так много видел на своем веку, что взрослые люди перед ним мальчишки, и никто больше! И вообще люди на Большой земле ничего себе, хотя они и сами иной раз об этом не знают. Да вот увидишь, когда приедем к Саше Малышеву... А какие встречаются женщины! Ну... вроде тети Клары!

Раскрасневшаяся, из кухни на минуту показывается тетя Клара.

— Опять ты, Васюк! Долго это будет продолжаться?! Не слушай его, Костя!

— Тетя Клара!— говорит Василий Васильевич.— Здесь собрались мужчины, и вам не предоставлено права голоса! Впрочем, можешь рассказать о том, как мы с тобой познакомились.

— Неужели ты не можешь ни о чем другом поговорить с мальчиком?

— Я говорю о самом интересном — о людях! Не о деревьях же мне рассказывать?!

— А хотя бы и о деревьях! О метро! О музыке!

— Хорошо!— соглашается Василий Васильевич.— Давай о деревьях. На юге, около самого моря, растут такие деревья — кипарисы. Длинные, темные и прямые.

Ночью, когда светит луна, они, впрочем, красивы. Но это не настоящая красота — ей нельзя верить...

— Кипарисы — прекрасные деревья, — возражает из кухни тетя Клара. — Не слушай его, Костя!

— Когда дует ветер, — невозмутимо продолжает Василий Васильевич, — ветер так всего баллов на шесть, не более того, кипарисы начинают стучать сухими ветками, словно костями. Тени от них как от телеграфных столбов. Одним словом, как вот от того столба, на котором у нас установлен флюгер. Кипарисы всегда одинаковые — у них нет ни молодости, ни старости, ни весны, ни осени. Что человек переживает, что делается кругом, им совершенно безразлично. Я тебе потому так говорю, что многие думают — кипарисы красивы. А ты пойми, что это дерево без души.

— Если хочешь знать, Костя, — мечтательно вздыхает Василий Васильевич и откидывается на спинку своей кровати, — если хочешь знать — в мире нет дерева прекраснее, чем береза. Бе-ре-за... Пока она маленькая, она похожа на девочку лет пятнадцати, в коротенькой юбочке, босиком, в платочке. Она все время лепечет, лепечет, переливается листочками. Только хороший человек может вырасти из такой девочки. Вот и береза становится взрослой. И живет она вместе с человеком, его понимает. Зимой береза покрыта изморозью — изумрудная бахрома. И стоит она неподвижная, а вокруг тихо и пасмурно. Как будто оделась, украсилась, потом загрустила, так и замерла, замолчала...

Весной она оживает. Нежится на солнце. Набирает силы. Почки на ней набухают, и еще нет ни одного листочка, а уж веет от нее листвой, ароматом. Стоит такая где-нибудь в парке культуры и отдыха и смотрит на заводы. Заводы дымят, гул от них могучий. Береза заводов не стесняется, распускает листочки... «И я с вами... Вы живете, и я живу!»

Летом береза стоит темная, густая и зеленая. Подойдешь — ветви длинные, нежные, мягкие, она ими шелестит. Можно спрятать лицо в ее ветвях. Если кругом жарко — сразу станет прохладно. А послушаешь... — Василий Васильевич наклоняется к самому Костиному уху: — Послушаешь березу, а она: «Живи, живи, Костя! Живи, живи, Василий Васильевич!»

А осенью... Костя, дай-ка гитару! Осенью береза янтарная. Небо над ней прозрачное, облака если есть, так где-то в самом верхнем ярусе, в стратосфере. Смотришь

в небо — пропасть, голова кружится, а береза не шелохнется, не вздохнет, листья замерли, говорят без слов...

Василий Васильевич встряхивает белыми волосами, ударяет по струнам и поет, не разжимая губ.

— Да! Там, где есть береза, может жить и не тосковать русский человек!

Они долго еще говорят о деревьях, о метро, о Кремле, а потом Костя спрашивает:

— Как вы думаете, Василий Васильевич, мы с Сашей Малышевым — большие друзья?

— У тебя есть свое ружье?— в свою очередь, спрашивает Василий Васильевич.

— Вы же знаете, что есть...

— Ты поймал в капкан волка?

— И еще одного маленького...

— Ты не оставишь товарища в беде?

— Ну что вы, Василий Васильевич?!

— Честное слово: нет и не будет пионера, который не захотел бы дружить с полярником Костей!

Хорошо мечтать с Василием Васильевичем!

И вот настал день отъезда.

Новые зимовщики — снова двое мужчин и две женщины — уже начали вести наблюдения на метеорологической площадке.

Самого главного, умного и строгого из них Костя узнал с первого взгляда. Это был очень высокий человек, медлительный и неразговорчивый. Волос у него на голове не было совсем. Ни одного. Радист — маленький, черный — был самым веселым. Но вот какая из женщин добрее — Костя не понял. Впрочем, это его не очень интересовало. Была одна забота, которая не давала ему покоя: папа не захотел укладывать в ящик оленьи рога. Сказал:

— Нельзя.

И разговор окончен.

Оставалась надежда на Василия Васильевича. Василий Васильевич подержал в руках рога, посмотрел на них со всех сторон:

— Плюнь! Ты думаешь, на Большой земле комунибудь нужны такие громадные рога? Ошибаешься!

— Я обещал Саше Малышеву... Вы же сами слышали, Василий Васильевич!

— Какой там Саша! — засмеялся Василий Васильевич. — Никаких Саш! Разве ты его встретишь? Да никогда в жизни!

— То есть как это никогда в жизни? — не понял Костя. — Я еду в Сашину школу и буду в его пионерском отряде.

— Мы поедем туда, куда нас пошлет управление. Отдохнем несколько месяцев, а там в какой-нибудь южный городок на метеорологическую станцию. Ты поступишь в школу, будут там и Саши, и Пети, и Вани, и никто из них не спросит у тебя об этих костях! Теперь понял?

Костя понял.

Через минуту он стоял рядом с отцом. Отец, сидя верхом на ящике, заколачивал последние гвозди.

— Папа! — сказал Костя. — Я должен с тобой поговорить...

— Можно! — ответил папа, усмехнувшись чему-то.

— Я... не еду на Большую землю. Я остаюсь здесь.

— Что?! — переспросил отец и положил молоток на табуретку.

— Я не еду. Я остаюсь. Я могу ведь немного наблюдать за приборами.

— М-да... — сказал папа. — Может быть, ты объяснишь мне, почему ты решил остаться?

— Объясню, — ответил Костя. — Вы говорили, что мы едем к Саше Малышеву. А на самом деле? Я обещал Саше, а как же теперь? И еще — я не знаю там ни одного мальчика, кроме Саши. Он, только он будет дружить со мной. Я к нему привык. Мы друзья. Если иначе нельзя — дождусь здесь следующей переклички и подружусь с другим мальчиком, хотя, конечно, никогда уже не найти мне такого друга, как Саша! Никогда!

— Ну ничего! — сказал отец. — Не волнуйся. Приедем на Большую землю и там разберемся.

— Я не волнуюсь. Но ехать с вами... я не могу...

Отец посидел молча, потом вышел в соседнюю комнату и стал разговаривать с мамой. Слов не было слышно, но Костя заметил, что отец так же покашливает, как в прошлом году, когда мама очень сильно болела.

Когда же отец и мать пришли вместе, он уже вытащил из ящика свою малицу.

— Костя! — тихо проговорила мама. — Разве так можно?

И он почувствовал на своей голове теплую, заботливую руку, и, хотя он отворачивался, мамины большие, тревожные глаза неотступно глядели ему в лицо.

Костя снял мамину руку со своей головы, потому что иначе он заплакал бы, и сказал:

— Да... может быть, так нельзя. Но я обманул Сашу Малышева! Разве я могу после этого вернуться к людям, на Большую землю?!

Отец и мать снова ушли, Костя снова слышал их тревожные, приглушенные голоса, а потом в доме стало совсем тихо.

Костя расстелил малицу на полу — его кровать была уже занята новым радистом — и лег. Так лежал он долго, очень долго, а думать ему первый раз в жизни было не о чем. Нельзя стало думать ни о Большой земле, ни о своей станции — он оказался где-то между ними.

Потом снова пришел отец и сказал, кашлянув:

— Я должен с тобой поговорить, сын...

Костя молча встал.

— И не только я, но и все мы, и прежде всего новый начальник станции.

Вошел новый начальник, вытер платком голову без единого волоска и заговорил:

— Совершенно верно — вышла ошибка. Вы едете не в тот город, где живет Саша Малышев. Но свое обещание ты можешь выполнить: рога уже упакованы. Так что на этот счет все в порядке.— Новый начальник посмотрел на Костю очень внимательно, передохнул, снова вытер голову платком и продолжал:— Что касается другого вопроса — в отношении дружбы,— я хочу сказать... Я могу помочь тебе. Вот...— Он вынул из кармана бумагу и прочел:—«Пионерам третьего класса». Ты ведь будешь в третьем классе?

— Да,— тихо ответил Костя.— Я собирался поступить в третий класс...

— Ну, так вот... «Пионерам третьего класса». Как раз эти ребята мне немножко знакомы. Точнее, они меня знают, и уж мне-то они поверят, я не сомневаюсь! «Пионерам третьего класса. К вам едет полярник Костя. Я его хорошо знаю. Мы встретились с ним на высокогорной полярной станции, где на сотни километров кругом нет людей. Этот мальчик имеет свое ружье. Недавно он поймал в капкан волка...»

— И еще одного маленького!— подсказал появившийся здесь Василий Васильевич.

— Это не имеет отношения к делу! — сердито заметил новый начальник. — «Я могу подтвердить, что этот мальчик никогда не оставит товарища в беде. Он готов помочь каждому из вас. Одним словом, я не сомневаюсь — вы встретите его как хорошего друга. Примите его в свой отряд!» Подписался я: «Начальник станции Курбатов». Теперь мы это письмо сложим. — Новый начальник согнул бумажку вчетверо и положил в зеленый конверт, который достал из кармана пиджака. — Заклеим... вот так! Теперь держи — с этим письмом можно спокойно ехать на Большую землю. Ты и представить себе не можешь, как тебе будет хорошо на Большой земле! Как тебя там встретят! Как тебя там все поймут! Как тебе будет все понятно там!

— Значит, мне будет совсем хорошо на Большой земле? Это вы точно знаете?

— Совершенно точно! — подтвердил новый начальник. Потом он помолчал. — И вот еще что — оставь здесь портрет Саши Малышева, нам будет веселее с ним. И лучше! Ты согласен? Ну, вот и хорошо, вот и спасибо! Всего тебе хорошего! Счастливого пути!

Навстречу Косте протянулась крупная и сильная мужская рука, и он с чувством пожал ее своими детскими ручонками.

1951

КРАСНЫЙ КЛЕВЕР

(Рассказ инструктора райкома)

Тридцатого октября пленум райкома освободил от обязанностей первого секретаря Петра Федоровича Савостина в связи с его переходом на работу в обком, но на другой день, в понедельник, Петр Федорович пришел в свой кабинет, как всегда, к девяти.

Через часок весь аппарат собрался у Савостина, появился кто-то из районных работников, и новый секретарь тоже был здесь. Перелистывая какое-то дело в зеленых корочках, он часто поднимал голову, чтобы посмотреть на присутствующих.

Получилось что-то вроде райпартактива, хотя никто и не собирал людей.

Савостин подозвал случившегося здесь Кубрина, председателя колхоза «Маяк», и тихо, но внушительно говорил о чем-то с ним, должно быть, журил на прощанье, потому что грозил пальцем, правда, не совсем Кубрину, а немножко в сторону. Кубрин же торопливо и согласно кивал, морщился, должно быть, крепко хотел запомнить все, что говорил ему Петр Федорович.

Другие тоже разговаривали между собой вполголоса, просто так, чтобы не сидеть молча, на самом же деле внимательно смотрели то на старого, то на нового секретаря. С одним прощались, с другим знакомились.

Петр Федорович был человеком крупным, внушительным, с крупными же чертами лица. Лоб, карие глаза, слегка розовый нос, яркие губы и чуть синеватый подбородок были у него округленными, выпуклыми и крепкими, на коже не заметно ни единой морщинки, хотя ему уже под пятьдесят. Только между шеей и подбородком намечается первая складочка. Голос у Савостина тоже солидный; когда он сердится, голос становится даже красивее — с этаким внутренним гулом. Са-

востинскому голосу завидовал наш райвоенком, высокий и худой подполковник со странной фамилией Чиж.

— Тебе бы, Петр Федорович,— говорил обычно Чиж,— парадами командовать. Если уж не на Красной площади, так, по крайней мере, где-нибудь в крупном военном округе!

Фигура Петра Федоровича и этот его голос уже внушали к нему уважение. К тому же за все семь лет, пока он был у нас первым, наш район почти никогда не ходил в отстающих.

Умел Савостин ладить и с областным руководством. Приходили и уходили начальники областного управления сельского хозяйства, сменялись секретари обкома, а наш Савостин перед каждым мог постоять за район, быстро умел схватывать стиль вышестоящего руководителя.

Был одно время секретарем обкома товарищ Кашин — суровый, но справедливый человек, который терпеть не мог расхлябанности, пьянства, вообще всяких таких дел. Сколько при нем было наложено взысканий — не счесть! И еще в области не знали об этой черте Кашина, а Савостин уже наводил по району порядок. Я, помню, только удивлялся: откуда что взялось? Откуда пошли строгости? И лишь много позже догадался.

Кашина перебросили в одну из южных областей. Пришел на его место Гусев. Это был работник неиссякаемой энергии, но вспыльчивый и грубоватый. Он сам о себе говорил, что иногда проводит бюро обкома «слишком нервозно».

И наш Петр Федорович повел дело тоже энергично, каждую неделю проводил в районе радиопереклички и стал, чего греха таить, погрубее.

Но в любом случае, всегда в райкоме царила ясная обстановка. Каждый точно знал, что ему делать, как делать, в какие сроки. Я начинал работать в райкоме при Савостине, и передо мной даже в самом начале работы никогда не вставал этот вопрос: что делать? Перед поездкой в район обязательно хоть на пять минут, но забежишь к Савостину лично, запишешь памятку и знаешь, что, как только вернешься, он за все спросит, ничего не забудет. И заведующие отделами привыкли к такому порядку и, давая указания своим инструкторам, говорили: «Еще хоть мельком, а поговори по этому вопросу с Петром Федоровичем! Посоветуйся!» И не было случая, чтобы у нас в райкоме с запозданием ставились во-

просы пропаганды, подготовки к уборочной или к посевной. Всегда все вопросы ставились вовремя.

А как-то придется работать с новым секретарем? Сказать о нем пока нечего. Роста небольшого, светлый и слегка кудрявый. Моложавый. Больше всего, кажется, похож на студента. Не очень-то солидный. Правда, про него говорили, будто он вытянул из прорыва один трудный район в западной части области, так ведь известно, как возникает такая молва: выпали вовремя осадки, и только. Всякое бывает.

— Ну что же, друзья,— сказал наконец Савостин громко.— Так получилось, что мы на прощанье снова собрались все вместе. Благодарю за внимание! Раз такое дело — позвольте несколько слов...

Воцарилась тишина. Новый секретарь Баженов отложил в сторону папку — тоже приготовился слушать.

— Что основное и главное в нашем районе?— начал Савостин.— За что вам придется бороться в первую очередь? Главное — культура земледелия! Нужно на этом участке работать! Второе — неотделимое от первого,— животноводство. Повторяю истину: у коровы молоко на языке. Так, товарищ Кубрин? По твоему опыту?

Председатель «Маяка» быстро встал, как будто собираясь произнести речь, но сказал только одно слово:

— Точно!

И снова сел.

— Точно-то точно,— усмехнулся Савостин,— да за этим тоже стоит огромная работа, с напряжением всех сил, с использованием всех имеющихся возможностей. Дальше. Ты не обижаешься, Константин Сидорович,— обратился Савостин к Баженову,— что я тут вроде бы вас наставляю? Нет? Я от чистого сердца советую — ведь семь лет отстукал в районе. Так вот, дальше. Бойтесь авралов. Дело делать без спешки, по плану, в своевременные сроки. Как это говорится: готовь летом сани, зимой телегу. О посевной думайте уже сейчас, в октябре, об уборочной — в марте. Так... Самое же главное, бесценный капитал — люди. Хочу сказать, Константин Сидорович, вот аппарат райкома перед тобой — хороший, работоспособный аппарат, только управляй им. От масс не оторван, людей в колхозах знает. Да вот хотя бы, Кубрин, скажи: знает, к примеру, Иванов людей в твоем колхозе?

— Пять пальцев,— снова поднялся Кубрин, показав руку с растопыренными пальцами.— Как свои пять пальцев.— И улыбнулся мне очень дружелюбно.

Баженов уставился на меня из-под очков, похлопал колено, должно быть, про себя произнес: «Так, так, так...» Все присутствующие тоже смотрели на меня, и я понял, что Савостин таким образом представляет инструктора новому секретарю.

Закончил Савостин словами:

— Надеюсь, не подведет райком областную парторганизацию. Крепко надеюсь. А ко мне в обком — в любое время дня и ночи, с любым вопросом. Двери будут открыты. Вот так... Может, ты теперь скажешь, Константин Сидорович? О задачах?

— Нет, пожалуй...— ответил Баженов, опираясь обеими руками о колени и все еще покачиваясь в такт каким-то своим мыслям.— Нет! О задачах ты как есть обо всех сказал...

После этого Петр Федорович попрощался с каждым из нас за руку. Я сидел в углу у крайнего окна, и, когда Савостин подошел ко мне с протянутой рукой, мне показалось, будто что-то привычное обрывается, такое, что прочно вошло в мои представления о жизни.

Конечно, о жизни — мы ведь живем работой, придерживаемся какого-то стиля этой работы, каких-то отношений с людьми, а все это связано у меня с Петром Федоровичем, с его требованиями. Все!

До сих пор, когда я выезжал в колхоз с каким-нибудь заданием и мне нужно было поднажать на председателя, я говорил: «Петр Федорович за это спросит! Строго спросит!» Когда я хотел подбодрить председателя, я говорил: «Петр Федорович передавал привет! Одобряет вашу работу!» Если же я попросту не мог ответить на тот или иной вопрос... да вы и сами знаете, как говорят в таком случае: «Надо подумать... Обговорить... Провентилировать». Я добавлял еще: «Надо посоветоваться с Петром Федоровичем!»

А что будет теперь? Вместо слов «Петр Федорович» не скажешь ведь «Константин Сидорович»? Нет, не скажешь. Для этого новому секретарю нужно много, очень много поработать, завоевать авторитет, поставить себя перед областным руководством. Нужно, как говорят у нас, оправдать доверие. Когда-то это будет? И будет ли? Великое это слово: доверие.

И что-то будет нынче, что-то будет?

Спустя неделю Баженов, вернувшись из поездки по району, вызвал меня к себе:

— Задание вам, товарищ Иванов. Серьезное... Пока ваш заведующий отделом на курсах, поработайте-ка за него.

Я подумал о чем-то сложном, заковыристом. Мне почему-то сразу показалось, что от Баженова будут исходить только такие, очень сложные указания. С фантазией.

— Набросайте, товарищ Иванов,— сказал Баженов,— вопросы по сельскому хозяйству, которые следовало бы обсудить на бюро райкома в ближайшие несколько месяцев. Которые вам кажутся заслуживающими внимания и постановки. По району в целом, по отдельным МТС и колхозам.

Я облегченно вздохнул и спросил:

— Это все?

Баженов пожал плечами:

— Если вам ясно, значит, все.

Через полчаса я уже поднял протоколы заседаний бюро райкома за последние три года и выписал из повесток дня все вопросы по сельскому хозяйству. Взяв за основу получившийся таким образом список, я стал его конкретизировать. В прошлом году о зимовке скота отчитывалась на бюро Белореченская МТС. Теперь я наметил отчет Кочетовской станции — с кормами у нее дело хуже, да и нехорошо, когда по одному и тому же вопросу из года в год отчитывается одна и та же МТС или один колхоз. Нужно разнообразие.

В прошлом году о подготовке к посевной как передовой докладывал колхоз «Красный семеновод», как отстающий — «Заря». На этот год как передового я наметил «Красный льновод», а отстающим снова пришлось записать «Зарю». В данном случае пришлось повториться.

Хотя это и не входило в задание, я по своей инициативе наметил сроки постановки всех вопросов на бюро, сделал графу «Кто отвечает за подготовку» и наметил ответственных товарищей по каждому пункту. На другой день я пришел к Баженову и положил ему на стол свою работу.

Он удивился, что я так быстро справился с заданием, прочел мой список, похлопал себя по колену и сказал:

— Мало! Мало наметил вопросов. А главное — все общеизвестные...

Петр Федорович, тот определенно заставил бы сократить список, а этому было мало. Он так и сказал:

— Пишите все, что считаете нужным. Вы лично. Ну, к примеру, известно вам, что в колхозе «Заря» плохо обстоит дело? Слабое руководство? Тогда пишите: «Причины отставания колхоза». Или вот не хватает из года в год кормов в «Маяке». Так? Пишите: «Об использовании сенокосных угодий в колхозе «Маяк». И дальше в том же духе. Не думайте, будто мы рабочую повестку дня составляем,— до этого еще далеко. Нет, просто вы открываете передо мной свои соображения, свою записную книжку. Еще два дня вам на работу!

И два дня я пополнял свой список вопросов, так что он стал умопомрачительной длины, и снова, когда Баженов вернулся из очередной поездки по колхозам, я пришел к нему. На этот раз он сказал:

— Теперь тут, кажется, кое-что есть...— И расспрашивал меня несколько часов.— Вот тут намечен отчет раймаслопрома. Почему?

Я объяснил, что маслопром только и знает, что жалуется на колхозы, сам же не организует, не стимулирует сдатчиков. Больше того, имеются сигналы о неправильных расчетах с колхозами за молоко.

Баженов кивал головой, похлопывал себя по коленке и говорил:

— Так-так-так... Так-так-так... Ну, а вот тут: «О работе школы механизации»?

И снова я объяснял, что уже два года в райкоме собираются поставить отчет директора школы, что сам директор об этом просит, дело же в конце концов дойдет до того, что из области нас упрекнут за невнимание к подготовке механизаторских кадров. Может случиться и такое.

Баженов ставил на моем списке вопросов крестики, кружки, фамилии людей. Потом пересел из-за стола на диван, вытянул ноги и позвал меня:

— Сядьте-ка сюда, рядом...

Когда я сел рядом с ним, он и меня похлопал по коленке, а потом спросил:

— А не заметили вы такого вопроса, такого, знаете ли, чтобы он сам к нам просился прямо из жизни, прямо с колхозного поля, чтобы вот так врывался в кабинет без спроса?— Баженов посмотрел на дверь кабинета, словно кто-то и в самом деле входил к нам. Я не понял и молчал, помолчал и Баженов. Сняв очки, он внимательно

посмотрел в окно подслеповатыми глазами, а когда снова очки надел, начал пояснять свою мысль: — Ну вот, предположим, люди заинтересованы чем-то, каким-то своим хозяйственным делом, но не знают, как лучше поступить... — говорил он тихо и прищуривал глаза. — Люди спорят, доказывают друг другу, и начинает у них появляться такое чувство, что кто-то должен им помочь разобраться, нужно к кому-то обратиться. А тут райком сам заметил это и ставит спорный вопрос на бюро. Ставит так: приглашает людей из колхоза, из МТС, и эти люди обмениваются мнениями, продолжают спор уже в райкоме, а члены бюро говорят как можно меньше — они слушают и делают выводы. Все происходит так, будто мы поменялись местами: члены бюро находятся в колхозе на рабочих местах — полеводами, бригадирами, председателями, механиками МТС, а колхозники и эмтээсовские механики заседают на бюро и несут перед всем районом ту самую ответственность, которую мы несем. Вот это было бы очень кстати, очень нужно... А?

Совсем еще моложавый, Баженов помолодел как будто еще больше; разговаривая, он тихонько посмеивался над кем-то: не то над собой, не то надо мной — за то, что я так и не мог его как следует понять.

— Вот, — повторил он, — это нужно. А раз нужно, значит, интересно! — Потом Баженов посмотрел на меня, увидел, что я ничего не могу сказать или посоветовать ему, и уже другим, решительным тоном закончил: — Такой мы поставим на бюро вопрос: «Опыт возделывания красного клевера в колхозе «Маяк». Понятно? Острый вопрос!

Я был удивлен и озадачен. Совершенно непонятно было, для чего этот вопрос нужно ставить на бюро? Больше того: каверзнее ничего нельзя и выдумать! В районе отношение к многолетним травам неопределенное: одни — за, другие — против, и что будет решать бюро при таком положении — неизвестно.

Ну, а в колхозе «Маяк» этот вопрос выглядел попросту скандально. Дело обстояло здесь так.

Года два или три тому назад директор Белореченской МТС Рудашов достал в области семена клевера и на собрании колхозников «Маяка» протолкнул постановление о посеве двухсот гектаров этой культуры в низине, вдоль большака на райцентр.

Председатель колхоза Кубрин на собрании не очень поддерживал Рудашова и даже упрекнул его в превышении полномочий. Но это было только начало распри. Осенью в «Маяке» завалили уборку зерновых, и Кубрин все списал на МТС: дескать, виной затея директора с клевером. Кубрин своей властью перебрасывал комбайны с клевера на зерновые; Рудашов эти комбайны возвращал, а потом предъявил колхозу счет за непроизводительные перегоны комбайна. Дальше — больше. В районе расширялись площади посева под кукурузой, распахивались многолетние травы, и тут Кубрин уже в районном масштабе резко выступил против Рудашова, обвинив его в антизерновых настроениях, в покровительстве травам, в нарушении указаний вышестоящих организаций.

Всему бывает конец. И здесь поговорили бы, поругали Рудашова, раз уж он попал в струю этой проработки, а потом новые заботы — и старым страстям конец. Но события развивались дальше. В один прекрасный день Кубрин получает извещение, что ему лично за сдачу семян клевера причитается премия — девять тысяч рублей.

Кубрин что-то такое промямлил, что, дескать, тут не его заслуга, а колхозников, что он всегда за инициативу, отметил с положительной стороны роль райкома, упомянул даже одного комбайнера МТС и поехал в область получать премию. Заодно тут же, не откладывая, начал рыскать по всему району и по соседним районам тоже в поисках семян клевера — из своего посева он семян в колхозе не оставил.

И вот Кубрину предстоит отчитываться на бюро об этом «опыте»? Что задумал Баженов? Поднять на щит Рудашова? Проработать Кубрина? Столкнуть их еще раз лбами? Показать близорукость бывшего руководства райкома в остром вопросе?

Что и говорить, Петр Федорович в настоящий момент ни за что бы не поставил вопроса о многолетних травах на бюро! Никогда не стал бы он искусственно обострять отношения между директором МТС и председателем колхоза — ведь им работать вместе, зачем же это? И еще неизвестно, как Петр Федорович оценит эту затею, работая нынче в обкоме?

Но Баженов не дал мне хорошенько собраться с мыслями.

— Как вы считаете,— спросил он,— кого нужно пригласить на бюро? Я думаю, из «Маяка» человек пять-шесть: бригадиров, одного-двух рядовых колхозников, которые имели дело с клевером. А кого пригласим из специалистов? К вам из области, из ученых никто не наезжает?

Мысленно я махнул рукой на Баженова: пусть делает, что хочет! И я сказал, что в особенно важных случаях мы приглашаем Никитичну.

— Это кто же такая? И почему она так называется?

Я объяснил, что Никитична — научный работник из сельскохозяйственного института, очень боевая, активная, назубок знает все постановления, мастер по составлению всяких резолюций и постановлений. Район наш она тоже знает очень хорошо, неофициально как бы шефствует над нами со стороны науки. Всех руководящих товарищей она зовет только по отчеству: Николаич, Андреич, Кириллыч, потому и ее называют Никитичной.

— Значит, она агроном?

— Конечно, агроном!

— А где она работала агрономом: на севере или на юге области?

— Насколько я знаю, Никитична кончила институт, потом аспирантуру, ну и работает в институте.

— Так-так-так...— проговорил Баженов.— Так...

— У нее книга по многолетним травам, Константин Сидорович. Она кандидат наук! Чуть ли не доктор!

— Решено: приглашаем! Наверное, нужно позвонить в обком, чтобы оттуда передали Никитичне о нашей просьбе?

— Действительно, так лучше. Можно и самим ей позвонить, но через обком лучше.

— Наверное, нужно позвонить мне лично, не передоверять никому?

— Конечно, ваш звонок авторитетнее.

— Понятно... А у меня тоже есть предложение: пригласить Марию Трофимовну. Наш районный работник, условия знает. Согласны?

Я сказал, что согласен. Сказать-то сказал, но машинально, не подумав, уверенный в том, что я всех знаю в своем районе.

— Ну, если согласны,— сказал Баженов,— возьмите трубку и позвоните ей. Спросите: может ли она подготовиться к выступлению на бюро?

Баженов кивнул в сторону аппарата, а я встал, положил руку на трубку, и следующая минута показалась мне часом. Хоть бы Баженов рассердился или засмеялся. Так нет. Смотрит на меня и молчит. Наконец произнес:

— Ладно, я сам позвоню.

Попросил библиотеку районного Дома культуры и спросил там Марию Трофимовну.

Только тогда я догадался, кого он имел в виду. Мария Трофимовна Шульпина была раньше учительницей, хорошо организовала работу кружка юннатов, за что и была неоднократно премирована и отмечена в печати. Потом заболела, ушла из школы на библиотечную работу. Кажется, у нее что-то случилось с горлом: она не могла говорить подолгу и громко.

— Она рассказывала,— заметил Баженов,— что вы учились у нее в школе.

— Учился... Но я никак не мог подумать... Константин Сидорович, да ведь эта старушка-то в жизни не принимала никакого участия в работе партийных органов! Аполитичная. Да она и до райкома-то не дойдет!

— Вот это правильно подсказали,— кивнул торопливо Баженов.— Что правильно, то правильно. Значит, не забудьте — когда нужно будет, пошлете за Марией Трофимовной машину. Обязательно!

Я все думал, что вопросы зимовки скота, агроучебы, другие первоочередные мероприятия и директивы областных организаций по сельскому хозяйству — одним словом, вся наша напряженная обстановка — так и не позволит Баженову осуществить его затею.

Но вот началось бюро в присутствии Никитичны, приехавшей по командировке обкома, Марии Трофимовны и еще целого ряда товарищей.

Слово для обмена опытом возделывания красного клевера получил председатель колхоза «Маяк».

Хитрый был этот Кубрин, тертый калач! Он ни словом не обмолвился насчет истории, которая разыгралась между ним и Рудашовым, не упомянул о премии, а рассказывал только, когда и как клевер сеяли, когда убирали, какой получился урожай и доход.

Говорил он стоя, громко, хотя и не совсем гладко, и только изредка поводил глазами в угол кабинета, где сидел Рудашов.

А у того желваки ходят под кожей, он сидит как на иголках, но молчит, не перебивает, реплик не подает, только теребит себя за лохматые брови. Это у него признак волнения. Еще, бывало, Петр Федорович Савостин, когда критиковал Белореченскую МТС, всегда посмеивался: «Факты — упрямая вещь, товарищ Рудашов, и придется тебе бровь на палец мотать!» Вообще Рудашов плохо переносит критику: возражает, ищет оправдания. А к чему? Если уж в проекте резолюции или решения записано порицание,— а какой директор МТС обходился без порицаний, предупреждений и взысканий?— к чему тут оправдания?

И Рудашову многие давали, в общем, один и тот же совет:

— Чего ерепенишься, всегда затягиваешь заседания? Только время отнимаешь у себя и у других!

— Больше помалкивал бы — реже получал бы по затылку!

— Брось, Рудашов, демагогию!

Но Рудашов эти советы будто не слышит, хватает советчика за рукав и доказывает, что виноват не он или не только он, а еще такой-то и такой-то. Когда виноваты многие, ему будто легче. Чудак!

Говорит Рудашов всегда басовито, но торопливо и как-то несолидно. С высоты своего роста он смотрит на собеседника, словно заглядывает ему в лицо снизу вверх. В поведении Рудашова Петр Федорович Савостин всегда видел «слабину» и предупреждал, что это до добра не доведет. «Слабина» проявилась у Рудашова еще больше, когда заварилась эта клеверная каша между ним и Кубриным.

Легко представить, как волновался, теребил брови и оправдывался Рудашов, после того как Кубрин обвинил Белореченскую МТС в срыве уборочной, в том, что станция заботится только о травах, а не о зерне!

Будь на месте Рудашова другой человек, Кубрин бы, конечно, не рискнул пойти на это: ведь МТС может в два счета зажать колхоз и председателя! Таких возможностей у нее хоть отбавляй! Но Кубрин знал, с кем имеет дело: Рудашов пуще всего боялся упреков, будто где-то, в каком-то вопросе он сводит личные счеты.

Только намекнет Кубрин, что вот, мол, после моих критических выступлений против Рудашова из МТС пришел в «Маяк» самый что ни на есть плохой трактор,

как у Рудашова брови начинают ползти вверх, и он нещадно теребит их.

При всем том Рудашова любили и уважали не столько в райцентре, сколько в МТС. Происходило это оттого, что Рудашов был врожденным механиком, из тех, о ком говорят, что они любят машины до потери сознания. Он был и токарь, и слесарь, и медник, и водитель первого класса, имел какие-то изобретения и напечатал статью в журнале «МТС».

Теперь, еще до начала заседания, к Рудашову подходили люди и советовали:

— Слушай, дай-ка ты жизни этому Кубрину! Давно пора!

— На твоей улице праздник! Расскажи во всех подробностях, как было!

— Неужели стерпишь, промолчишь?

— Не стерплю! — грозил кулаком Рудашов. — Дам жизни! Вот только все и без меня знают, как было дело. О чем рассказывать-то?

— Ничего, повтори, проучи как следует Кубрина!

— Проучу! — И лицо у Рудашова сердитое, даже злое, никогда не видал у него такого.

А Кубрин, маленький, толстенький, на вид такой простачок, в сереньком дешевом костюмчике, кроет про посев и уборку клевера и как будто не замечает настроения присутствующих.

С самого начала я в душе вообще был против постановки вопроса о клевере на бюро, а тут даже и не заметил, как заразился общим настроением. Думаю: «Раз уж пошло на это, надо бы действительно тебе всыпать, Кубрин!»

Должно быть, и Баженов так думал, потому что, когда Кубрин кончил, стал спрашивать его:

— Вот вы говорите о сроках сева да уборки. Так говорить может любой, кто имеет перед глазами сводку о полевых работах. А вы руководитель хозяйства, коммунист. Значит, должны понимать, что от вас требуется. Скажите: как вы пошли на посев клевера, из каких соображений? Как это дело восприняли люди? Что это дало для колхоза? Что даст государству?

Но Кубрин все еще, видно, надеялся уйти от неприятных вопросов.

— Уж как умею... — ответил он. — Попросту, без бухгалтерии, а по-крестьянски!

— Э-э, нет! — вздохнул Баженов. — Раз без расчета, значит, не по-крестьянски. Ну хорошо, еще один конкретный вопрос. Скажите: вы сами за клевер или против? Знаете установку — распахивать малоурожайные травы?

Еще бы Кубрину не знать этой установки, если, выступая против Рудашова, он десятки раз ссылался на нее?!

Он и ответил:

— Как же, знаю...

Но ответил как-то неуверенно. Немного помолчал и вдруг начал расхваливать клевер! Получалось, что без клевера колхоз не смог жить, не живет и в дальнейшем без него дня не просуществует! И кормовую-то базу клевер укрепляет прочнее прочного, и денежность поднимает — колхозная касса вот-вот начнет ломиться от бесчисленных тысяч, а уж плодородие земель от клевера повышается так, что через два года колхоз «Маяк» поставит всесоюзные рекорды урожайности по всем культурам! О будущем колхоза Кубрин говорил особенно горячо: оно все заключено в красном клевере!

Рудашов, слушая, только двигал бровями.

Все до крайности были удивлены таким оборотом кубринской речи, а Никитична особенно взволновалась, стала покусывать губы.

Она сидела по другую сторону стола от меня и сначала невнимательно слушала все, что здесь происходит, разговаривала с главным агрономом Кочетовской МТС, который учился когда-то у нее в институте. Вот они и перебирали старых знакомых. Потом Никитична подтолкнула своего собеседника локтем: помолчим, дескать, нужно послушать, что говорят. Когда же Кубрин закатил свою речь в пользу клевера, она нагнулась ко мне через стол и, пахнув запахом табака и духов, спросила:

— Слушай, Иванов, что это у вас происходит? При новом руководстве? Или вы не понимаете, какая существует точка зрения на многолетние травы? Не понимаете, да?

Я пожал плечами.

Немного спустя она снова наклонилась ко мне:

— Слушай, Иванов, неужели у вас в районе нет более важных вопросов для постановки на бюро, чем посев клевера в одном каком-то колхозе?

Я снова пожал плечами.

Она еще послушала и опять спросила:

— Слушай, Иванов, чья это инициатива — пригласить меня на бюро? Баженова? — Почему-то в этот раз она называла нас не по отчеству, а по фамилиям. Изменила своему собственному правилу.

Я сделал руки трубкой и шепотом ответил ей через стол:

— Не знаю...

Теперь она пожала плечами, ничего не ответив. Когда же Кубрин кончил наконец расхваливать клевер, Никитична не очень громко, но и не очень тихо, так что несколько человек все-таки слышали ее, сказала:

— Надо выправлять это положение...— И поднялась с места, и видно было, как собиралась с мыслями.— Позволь, Сидорыч?

Баженов утвердительно кивнул, и Никитична заговорила низким грудным голосом, который всегда привлекал внимание слушателей. Недаром она читала лекции в институте.

— Не то! — проговорила она со строгим и грустным выражением.— Прямо скажу, товарищи, не того требует в настоящий момент от нас обстановка! Обстановка требует от нас, тружеников сельского хозяйства, получить десять миллиардов пудов хлеба! Десять, и ни пуда меньше, если мы не хотим совершить преступления перед народом. В разрезе именно этой задачи нужно ставить и решать вопросы на бюро райкома. В этом разрезе ставить отчет председателя колхоза! А что происходит? Здесь всем присутствующим внушается вредная мысль о том, что клевер — это панацея от всех бед! Извините! Это далеко не так! — И Никитична очень крепко пощипала клевер: она говорила о трудности получения семян этой культуры, о ее полегаемости, о ее высокой требовательности к плодородию почв, так что в конце концов всякие достоинства клевера померкли совершенно.— Было увлечение многолетними травами,— говорила она,— мы все отдали дань этому увлечению — хватит! Если были ошибки — нужно их признать, нужно перестроиться решительно! Отбросить заблуждения. Раз и навсегда! Я приведу вам пример: у нас в институте один товарищ работал над темой о влиянии красного клевера на обогащение подзолистых почв азотом. Что же вы думаете? В порядке перестройки мы на ученом совете эту тему сняли. Отсюда можете судить...

— А жаль, что сняли,— бросил неожиданно реплику Баженов.— Тема полезная, скажем, для нашего района...

Никитична не рассердилась, наоборот, она улыбнулась и так погрозила Баженову пальцем, что я сразу подумал — она ответит какой-нибудь шуткой. И в самом деле, Никитична сказала:

— Смотри, Сидорыч, как по осени у тебя спросят хлеб, а хлебушка-то будет в обрез, то с тебя лапотинку приспустят и клевер этот вспомнят... Товарищи!— продолжала она уже совершенно иным тоном.— О чем говорят последние решения?

Одно за другим она стала цитировать решения, и выходило так, что мы у себя в районе действительно занимаемся бог знает чем, но не делом. Я всегда удивлялся той памяти, которой обладала Никитична, но на этот раз она перещеголяла самое себя. Можно было ей позавидовать, как знала она все решения, все передовые «Правды».

Создавалось или уже создалось очень неприятное положение для Баженова. В такие переделки Савостин никогда не попадал, и можно было с уверенностью сказать — никогда не попадет.

Я взглянул на Константина Сидоровича, ожидая увидеть его растерянным, рассерженным, наконец, чрезмерно спокойным и даже добродушным: люди, умеющие владеть собой, иногда делаются такими в острые моменты.

Ничего этого я не увидел. У Баженова было очень заинтересованное лицо, и только, когда в речи Никитичны получалось уж очень ловко, внимательность, с которой он поглядывал на присутствующих, становилась особенно заметной. Вместе с тем было что-то во всей его настороженной фигуре, что заставило меня подумать: «А ведь, пожалуй, поддаст он сейчас жару Никитичне!» Стало как-то не по себе от этой догадки. В районе мы высоко ставили авторитет этой женщины. Она была ученой, представляла в своем лице науку, а вместе с тем и обком, поскольку всегда приезжала по его указанию.

Когда она приезжала, по какому-то неписаному правилу каждый районный работник считал долгом с ней встретиться, рассказать о своей работе и послушать ее, угостить ее папиросой или самому занять одну-другую, отпустить в меру присоленный анекдот

и получить свежие новости областного центра. Даже очень солидные товарищи позволяли ей похлопать себя по плечу и сами могли пошутить насчет ее не очень быстро, но неуклонно полнеющей фигуры. Одним словом, Никитична имела все основания считать себя своим человеком в районе.

Но, видно, я не напрасно опасался сейчас за Никитичну: Баженов начал задавать ей вопросы. Сначала он спросил:

— Вы, Ольга Никитична, бывали когда-нибудь в колхозе «Маяк»? Знаете его земли?

— Я, Константин Сидорович, бывала во всех колхозах вашего района. И не раз и не два.

— Тогда, Ольга Никитична, может быть, вы расскажете нам, как выглядели посевы клевера в этом колхозе? Хороши они или плохи? А если вы знаете колхозы других северных районов, скажите, как там оправдывает себя клевер?

— Я, Константин Сидорович, уже отметила место клевера в современных условиях не только для одного или нескольких колхозов — для всей области. В целом.

Баженов был настойчив, он добивался прямого ответа:

— Мы, Ольга Никитична, не просим у вас консультации для всей области. Для одного колхоза, для колхоза «Маяк» посоветуйте: стоит ему и дальше сеять клевер или не стоит?

Должно быть, эта настойчивость вывела из равновесия всегда такую сдержанную и добрую Никитичну. Торопливо она стала объяснять, что для ответа на этот вопрос нужно не только бывать в колхозе, но досконально изучить его экономику, нужно иметь перспективные планы развития хозяйства, нужно сообразовать эти планы с последними решениями по сельскому хозяйству. И, совсем уже разволновавшись, она сказала:

— Вы извините меня, товарищ Баженов, но постановкой на бюро мелочных, хозяйственных вопросов вы уводите райком от большой политики. Я знаю подоплеку вопроса. Это распря между Кубриным и Рудашовым, в которую вы зачем-то хотите вовлечь всех присутствующих товарищей, сделать ее общерайонной! Зачем это нужно? Кому и зачем? Я говорю это не как частное лицо, которое вы пригласили... Я в вашем районе по командировке обкома партии!

Было слово за Баженовым, но он не торопился: неподвижным, злым взглядом нацеливался на Никитичну, и в наступившей тишине каждый с напряжением ждал: что же будет дальше?

Было время для размышлений, и я подумал, что произошло что-то неладное, нехорошее. Нельзя было говорить Никитичне того, что она сказала. Мы, местные работники, знавшие всю подноготную районных дел, и то не решались сказать, будто вопрос о клевере поставлен ради такой мелочной цели. Конечно, была опасность, что спор перейдет в перебранку между Кубриным и Рудашовым, больше того — многим, вот и мне тоже хотелось, чтобы Кубрину попало сегодня по заслугам. Верно, что некоторые члены бюро вообще были против постановки этого вопроса. Но разве бюро допустило бы весь этот вопрос разменять на мелочи? Если уж вопрос поставлен, каждый выступающий должен всеми силами поднимать его на принципиальную высоту, говорить о деле, об интересах дела. Только так. В некотором роде я был единомышленником Никитичны, когда мысленно упрекал Баженова в том же, в чем она упрекнула его сейчас. Но теперь мне было стыдно, что я так думал: я видел искреннее желание Баженова разобраться в вопросе самому и помочь разобраться другим, мне, например, желание помочь колхозу принять правильное решение. И все так понимали задачу нашего заседания, я был уверен. Для этого же мы пригласили и Никитичну. А она...

На лицах людей, сидевших рядом с нею, было недоумение, замешательство. Особенно расстроенное выражение было у Рудашова: он сидел неподвижно, кажется, даже не моргал, и такие тоскливые стали у него глаза, словно он видел перед собой чье-то большое несчастье.

— Вот как...— проговорил наконец Баженов.— Чтобы уклониться от конкретного вопроса, можно, оказывается, использовать и решения ЦК, и обком, и, так сказать, местный материал... Все подходит...— Он помолчал, потом открыл ящик письменного стола и достал книжку с изображением цветов красного клевера вперемежку с листьями еще какой-то травы на обложке.— В своей книге, Ольга Никитична, вы рекомендуете красный клевер для всей северной группы районов.— Он полистал и открыл страницу, на которой был изображен хорошо всем знакомый контур нашей области,

вверху заштрихованный черными полосками.— Вот здесь, под штриховкой, наш район и еще десяток других районов, для которых вы рекомендовали красный клевер. Поэтому мы и обратились к вам за советом — не для района, для одного колхоза...

Ольга Никитична снова заговорила о перестройке, о новых требованиях, еще о чем-то, не закончив, села, оглянулась по сторонам. Тонкая нить дымка из папиросы, которую она мяла в руке, изгибаясь, поднималась вверх и растекалась в маленькое облачко. Сквозь это сизое облачко я видел Никитичну, и мне казалось, что лицо ее блекнет, стареет. Все, что было в нем привлекательного: и в меру еще свежая дородность, и уверенность, и даже некоторая горделивость в посадке ее головы, в прическе,— все как-то сникло.

Еще раз повторяю: у нас в районе любили эту женщину, и было теперь неловко за нее, что она показала себя по-бабьи. Стало трудно присутствовать здесь, при ней.

Но, видно, Баженов был не из тех, кто легко прощает,— он предоставил слово следующему товарищу таким образом:

— Продолжаем нашу работу...— сказал он.— Мы выслушали Кубрина, который был сначала против клевера, потом за, и Ольгу Никитичну, которая сначала была за клевер, потом против,— тоже выслушали. Теперь слово имеет Кубрин, бригадир!

Поднялся не председатель Кубрин, а его двоюродный брат. Это тоже низенький и уже пожилой человек с выцветшими волосами. Так это или нет, но сам он утверждал, будто был когда-то рыжим, как огонь, но потом выцвел, потому что «в шестнадцатом году на фронте немец обкуривал газом». Колхозники и особенно колхозницы звали его сивым Кубриным.

До укрупнения сивый Кубрин тоже был председателем небольшого колхоза, дела вел хорошо, но при слиянии избрали не его, а брата, который руководил тогда самой крупной из трех объединяемых артелей. В районе о Кубрине-бригадире было сложившееся мнение, что человек он спокойный, знающий, но большое хозяйство ему не по плечу — непроворный.

Кубрин-бригадир заговорил, и через минуту вопрос, который мы обсуждали, как бы встал на свое место.

— Вот ты говоришь, Александра Иванович,— сказал бригадир, называя брата по имени-отчеству, но по-

чему-то в женском роде,— клевер — это денежность. Смотря как понимать! Правильно: деньги мы получили и в колхозную кассу, и себе лично. Ты девять тысяч, я поменьше, но тоже подходяще. Как тебе, а мне в ту пору деньги пришлись в самый раз. И сейчас соображаю: нельзя ли еще разок? Но вот разница: что мы лично получили — у нас осталось; что в кассу колхоза — того нет: пошло на покупку кормов. Как так? А так, что клевер семена нам дал, а сена... Какое там сено! Все видели, в поскотине больше накосишь!

— Ну вот,— заметил Баженов,— дошло и до братоубийственной войны!

Все засмеялись. Кубрин-бригадир тоже усмехнулся и продолжал:

— Дело в чем? Если где травостой сгущенный — семян не жди, их не будет, и нужно косить. Косили. По тридцати центнеров с гектара косили. А на другой год он уже и выпал, этот клевер: ни семян, ни сена. Подругому: травостой редкий. Как у нас было. Семена взяли — сена нет. И то — семена при хорошем пчелином взятке, Александра Иванович. Теперь: против я клевера или — за? Скажу: за! Но только против того самого, который мы с тобой возделывали, Александра Иванович!— Кубрин-бригадир достал из кармана записную книжечку, обернутую в бумажную кальку, полистал ее.— Нам нужо́н клевер, чтобы он дал не меньше пятидесяти центнеров сена и два центнера семян. С таким клевером мы пойдем на мировую. Откуда цифры? Начато с партийного подхода. Пленумом сказано: малоурожайные травы — в распашку. Понимай так: те травы останутся существовать, которые выдержат против других культур. Те — должны остаться!

Что у нас надо клеверу выдержать? Посчитано: сена нам на все поголовье нужно полторы тысячи тонн; под клевером будем иметь почитай триста гектаров. Значит, по пятьдесят центнеров с каждого гектара надо взять.

Еще посчитано: если не будет такой урожайности клевера, то ему не выдержать, хотя бы и против овса, когда овес даст до двенадцати центнеров зерна да соломы сорок, то есть тоже — средне-хорошую урожайность.

Еще догадка: кормовая мелкозерная рожь — она из Забайкалья поступает — может побить клевер, если не взять с него того урожая.

Кубрин-бригадир все листал и листал свою книжечку, а потом снова обратился к брату:

— Правильно, Александра Иванович, клевер даст на будущее зарядку плодородию почвы. О будущем заботиться нужно: человек не птаха. Однако и сегодняшний день тоже не перескокнешь! Было: нам в церквах очень свободную жизнь обещали — на том свете. А мы все ж таки не стали ждать — воевали за нее, за свободу на земле. Или — я лично получил премию, и ждать мне следующую два, то ли три года очень было бы прискорбно! Так и всей артели...

Слушал я этого человека, и, хотя он утомил всех своими цифрами, много мыслей возникало от его слов.

Вот два брата Кубриных, из одного колхоза, оба занимались посевом клевера, оба получили премии — факты одни. Но в понимании этих людей они выглядят совсем по-разному, одни и те же факты.

Кубрин-председатель единственно потому за клевер, что лично он получил премию. Однако он о премии не говорит ни слова, толкует о пользе колхоза, о будущем.

Кубрин-бригадир не скрывает своей заинтересованности, доволен премией, хочет получить еще такую же, но потому, что свои интересы он связывает с колхозом, с другими людьми, они перестают быть только его личным делом. Вот его и слушают внимательно.

В том, что говорила Никитична и Кубрин-председатель, было много слов о политике, о будущем колхоза, но настоящей кровной заинтересованности в судьбе людей у них нет. А без этого нельзя, без этого их не будут слушать. Они это понимают, с поспешностью ищут слова, чтобы убедить присутствующих в обратном, думают, что нашли такие слова, а на самом деле?

Кубрину-бригадиру здесь сейчас искать ничего не надо.

Мне приходилось бывать в его небольшом пятистенном домике на берегу тихой речки, почти в самом конце длинной деревенской улицы.

И сейчас передо мной возникает картина позднего зимнего вечера в этом доме. Уложив на кроватях, на печке, на полатях внучат, которые по субботам сбегаются со всех окрестных деревень и устраивают здесь что-то вроде Дома пионеров или интерната, пошумев на них и кое-кому дав на сон грядущий легкого подзатыльника, Кубрин-бригадир достает с полки книги, календари колхозника за несколько лет, счеты и газеты со статья-

ми по сельскому хозяйству и решениями Пленумов ЦК, а из небольшого сундучка — стопку потрепанных тетрадей и записных книжек.

Здесь запись всему: погоде, срокам посева и уборки, разливам реки, трудодням бригады, расходу кормов. Здесь же изображены разные приспособления к машинам, дымоходы печей, амбары для хранения зерна и других продуктов, крытые тока и даже узлы, которыми вяжут паруса.

Если в доме ночует кто-нибудь из района или сосед забрел на огонек, хозяин охотно дает посмотреть все эти записи — секретов нет, наоборот, он дополняет каждую цифру, каждый чертеж своими соображениями, и так возникает какое-то необыкновенное чтение-беседа о крестьянских делах.

Иной раз собеседник утомится, уйдет на отдых, а Кубрин-бригадир все сидит и сидит за столом, брякает костяшками счетов, шуршит листами газет и книг. Вот когда он ищет. А сейчас, на бюро, он как будто только продолжает размышления над своими записями, и больше ничего.

Совсем другой человек Кубрин-председатель: выглядит этаким сереньким простачком, всякий разговор начинает со слов: «уж как могу», «как понимаю своим умом». И не один я думал, а все-все в районе, что человек прикидывается, а на самом деле он не такой — себе на уме, толковый человек. Но оказалось, что он такой и есть: серый и корыстный. Если не придавать значения наскокам, которые он совершил, скажем, на Рудашова, да лишить его советов брата-бригадира, он сразу таким и предстанет. Сегодняшнее его выступление это ясно показало. Как же случилось, что председателем в «Маяке» именно этот Кубрин, а не другой? Почему мы в райкоме Кубрину-бригадиру сами внушили, будто он не способен руководить крупным хозяйством?

Почему только сейчас я вспомнил, с каким уважением однажды в поле говорили мне колхозницы: «Наш-то, сивый-то Кубрин — правильный человек, работяга!» Вот еще над чем заставляет думать сегодняшнее бюро!

— А есть ли у нас такой клевер, такая агротехника, земли такие, чтобы он вышел вперед других культур? — спрашивал Кубрин сам себя.— Скажу: есть. А лучше меня скажет, кто в это растение вник до точности. Мария Трофимовна скажет!

Такое заключение Кубрина-бригадира было неожиданным: никто ведь не предполагал, что Мария Трофимовна будет выступать.

Баженов подтвердил:

— Слушаем вас, Мария Трофимовна.

Старая учительница поправила очки, коснулась волос на голове, одернула прямые складки платья и только тогда заговорила со строгостью и даже официальностью, которая всегда отличала ее еще в школе.

— У товарищей может возникнуть недоумение, почему товарищ Кубрин обратился сейчас ко мне таким образом. Поясню. Дело в том, что еще до войны дочь товарища Кубрина, Наташа, работала со мной на пришкольном юннатском участке. Отец заинтересовался нашими опытами и с тех пор систематически принимал участие в работе кружка. Позже мы перенесли опыты к нему в колхоз. Когда я по состоянию здоровья вынуждена была покинуть школу, я в районной библиотеке подбирала для товарища Кубрина интересующую его литературу. Вот чем объясняется, что товарищ Кубрин предоставил мне сейчас слово, чтобы подкрепить некоторые свои соображения...— Мария Трофимовна, должно быть, почувствовала, что допустила какую-то нетактичность, оглянулась вопросительно, взгляд ее остановился на лице Баженова, потом она посмотрела на Никитичну и вдруг моментально так и залилась краской. Она вздохнула и быстрым движением руки провела по лицу, как будто хотела смахнуть с него эту краску, и я слышал, как она тихо произнесла: «Ах!», и видел, как под редкими седыми волосами голова ее покраснела еще больше.

Баженов сидел, облокотясь на стол, смотрел на Марию Трофимовну строго и внимательно и был в этот момент очень похож на учителя, а смутившаяся Мария Трофимовна выглядела как ученица, споткнувшаяся при ответе.

И так именно, как учитель должен был сказать ученице, немного рассеянно, Константин Сидорович сказал:

— Да, да... Продолжайте, Мария Трофимовна, продолжайте. Вас слушают!

Мария Трофимовна оправилась от волнения:

— Мы работали с пермскими и вятскими клеверами. Последние показали себя лучше, мы остановились на них. Одноукосный озимый клевер давал у нас наиболь-

шую зеленую массу при укосе шестнадцатого — двадцатого июля. Но уже к этому времени он полегает, сильно грубеет, при подсушивании теряет листья. Жизнеспособность его снижается, на следующий год он заметно разрежен, иногда выпадает почти полностью. Если скосить клевер раньше — в первых числах июля, даже в июне, он лучше сохраняет жизнеспособность, но сена будет немного. Об этом говорил здесь товарищ Кубрин...

Помнится, та компания в школе, которую я водил, вся состояла из будущих пилотов, капитанов дальнего плавания и Героев Советского Союза. «Травки», которые нам преподавала Мария Трофимовна, мы считали делом девчоночьим, и если все-таки аккуратно учили все уроки по ботанике и зоологии, так только потому, что откровенно боялись учительницы.

Мария Трофимовна, не моргнув глазом, могла поставить двойки хоть всему классу. Как бы мне хотелось сейчас снова послушать от начала до конца все, что говорила нам когда-то Мария Трофимовна на уроках!

Теперь она была не той, какую я помнил в школе,— поседела, высохла и стала как будто ниже, резкие черты ее лица обострились еще больше, а на щеках появилось множество мелких морщинок, голос был совсем тихим. Тихим, но все с той же выразительной интонацией, которая четко выделяла главные предложения от вводных, а среди главных — главенствующие по смыслу. И та же строгость была во всей ее фигуре и значительность, которые относятся не к ней самой, а ко всему тому, что она говорила о красном клевере.

— Выход основан на использовании свойства многолетнего растения хорошо отрастать и заключается в том, чтобы произвести раннее подкашивание клевера числа десятого июня на высоте в десять сантиметров, а в последней декаде августа сделать второй укос на семена. Иначе говоря, одноукосный клевер становится двухукосным, и это позволяет получить ту урожайность семян и сена, о которой говорил товарищ Кубрин...

— Истина давно известная...— заметила Ольга Никитична.— Давно известная, дорогая Мария Трофимовна.

Замечание ничуть не смутило старую учительницу. Она стала объяснять Ольге Никитичне, что растения одноукосного клевера — озимые растения, у которых подкашивание вызывает к росту нижние, спящие па-

зушные почки; задача же состоит в том, чтобы в течение лета получить побеги также и из верхних почек.

Ольга Никитична снова заметила, что об этом написано в ее собственной книге, которую только что и так умело демонстрировал здесь товарищ Баженов.

Мария Трофимовна охотно согласилась, подтвердила, что она читала об этом и в книге Ольги Никитичны, и в книге академика Лысенко тоже, но нигде она не читала, что даст подкашивание здесь, в северных районах области. Поэтому они вместе с товарищем Кубриным и поставили опыты, которые дали положительные результаты. Но разве этого достаточно — два-три года опытов? Конечно, недостаточно, как все понимают. Поэтому Мария Трофимовна обратилась к литературным источникам. Оказывается, Томский университет, который находится в таких же природных условиях, как наш район, тоже проводил опыты и опубликовал результаты в томе 14-м за 1951 год, в томе 122-м за 1952 год и частью в томе 130-м за 1954 год, но в этом, последнем, томе речь идет о технике уборки клевера на семена. Это уже не ее область, она хотела только помочь товарищу Кубрину некоторыми сведениями.

Было что-то очень убедительное, очень искреннее в том уважении, с которым совсем старенькая, образованная и такая интеллигентная Мария Трофимовна относилась к небольшому и простецкому сивому Кубрину. Должно быть, это было не от личного расположения, тем более не служебный долг — просто она считала: все, что делает Кубрин-бригадир у себя в колхозе, имеет большое значение, всему этому надо помогать по мере сил, оказывать поддержку.

А бригадир, раз дело касалось его колхоза, его бригады, чувствовал себя основной фигурой на бюро и, кивнув Баженову, продолжал так:

— Теперь надо второе доказать,— с механизацией. Комбайн на клевероуборке еще с оглядкой применяют, хотя бы это и про нас с Александром Ивановичем сказать! А без комбайна как? Посчитано: шестьсот трудодней и двести пятьдесят коне-дней нужно затратить на сто гектаров клевера без комбайна! Это голая теория безо всякой реальности, потому что такой возможности в колхозе нет.

Но человек со своим интересом к делу — как зерно с ростком: куда его ни бросай, росток в небо смотрит. Как мы в колхозе ни мытарили комбайнера Парушина,

он все ж таки на «Коммунаре» в распределительном битере четырнадцатизубовую звездочку поменял, заместо нее поставил десятизубовую, то есть увеличил обороты. Раз. В вентиляторе первой очистки заменил, наоборот, десятизубовую на четырнадцатизубовую. Два. На первую же очистку поставил решето двадцать два, а на вторую — девятнадцать на девятнадцать. Три. Мотовило обшил брезентом — это чтобы сберечь головки клевера. Четыре. Товарищ Рудашов! Да ежели ты и твои механики задумаетесь, вы не то что до четырех — до сорока четырех досчитаетесь, а клевер уберете как надо! Предлагаю высказаться директору эмтээс, поскольку техника у него, а не у нас и он, значит, на решающем участке!

Неожиданно быстро менялись на этом заседании обязанности Баженова. Только что Баженов пробивался сквозь строй чужих мнений, задавал выступающим продуманные вопросы, заставляя говорить то, о чем они не хотели говорить, а теперь лишь головой кивал: толкуйте, дескать, а бюро будет слушать.

Но вот и выступление Рудашова, от которого поначалу ждали, что оно будет гвоздем заседания. Правда, потом о Рудашове на некоторое время забыли, но сейчас все снова смотрели на него с особенным интересом: что-то он скажет? Как-то разложит Кубрина-председателя? Баженов тоже насторожился.

Рудашов поднялся, зачем-то нескладно взмахнул руками и сказал:

— Испробуем «Коммунар», «Сталинец-шесть» и самоходный комбайн. Обеспечим!

— Все?— спросил Баженов.

— Все.

— Понятно... Кто еще хочет говорить?

Еще выступал, еще что-то уточнял Кубрин-бригадир. Когда сложный вопрос вдруг начинает приобретать ясность, сразу появляется много соображений, много толковых замечаний.

В решении было записано:

«Бюро райкома отмечает, что руководство колхоза «Маяк» не обеспечило достаточно высокой урожайности клевера на семена и особенно на сено и посев клевера, не содействовало укреплению кормовой базы (следовали цифры урожайности)».

«...принимает к сведению заявление бригадира тов. Кубрина и директора Белореченской МТС тов. Ру-

дашова о том, что они могут осуществить агротехнику и механизацию работ, которая обеспечит получение урожайности (следовали цифры)...»

«...отмечает инициативу, проявленную бригадиром тов. Кубриным, директором МТС тов. Рудашовым и работником библиотеки тов. Шульпиной...»

Но никак не вместит официальное решение все те события, которые произошли потому, что колхоз «Маяк» посеял двести гектаров клевера в низине, протянувшейся вдоль большака на райцентр, рядом с бугром, на котором стоит геодезическая вышка, похожая на египетскую пирамиду.

Кончилось заседание. В приемной, в коридоре, куда вышли покурить, поднялись толки и пересуды.

Никитична похлопывала по плечу председателя райисполкома, делала вид, будто ничего не произошло. А мне казалось, что все ждут от нее другого, что она скажет: «Ну и всыпали мне сегодня! Учту на будущее!» — или еще что-нибудь в этом роде.

Рудашов, против обыкновения, не размахивал руками и не держал за рукав собеседника. Наоборот, люди окружили его со всех сторон, он же пальцем рисовал на черной поверхности печки схему — доказывал, что на комбайне «Сталинец-6» при уборке клевера на семена нужно наглухо закрыть вентилятор второй очистки, поднять до отказа деки, увеличить обороты битера, еще что-то такое сделать. Рядом с ним стоял Кубрин-бригадир, смотрел снизу вверх, но по-хозяйски, слушал внимательно и только иногда говорил:

— Думай, Рудашов, думай!

Ко мне подошла Мария Трофимовна и строго, так же, как когда-то в школе вызывала для ответа, позвала:

— Мне вас нужно, товарищ Иванов!

Когда мы отошли в сторонку, она сказала:

— Очень вам признательна. От всего сердца.

— Что вы? Почему?

— Признательна, что вы не забыли учительницу и пригласили сюда. Ну-ну, не отказывайтесь.— Она слегка улыбнулась.— Знаете, поется: «...старикам везде у нас почет»? Не скрою, я бываю тронута, когда меня выбирают в президиум торжественного заседания, скажем, Восьмого марта. Больше того, я догадываюсь, что меня проводят с цветами и духовым оркестром. Не пе-

ребивайте меня: в моем возрасте подобные размышления вполне логичны. Но почтение к старости, как вы правильно поняли, товарищ Иванов, заключается в том, чтобы ее выслушать. Это бывает: учитель многие годы учит, а в старости все, что накоплено им в течение жизни, выносит на суд своих учеников. И если они внимательные судьи, ничего больше не надо. Вот и сегодня я имела возможность поддержать товарища Кубрина. Спасибо!

* * *

А на другой день утром меня вызвал Баженов с тем самым списком вопросов, который я готовил для него.

— Посмотрим, как получилось? Вот в списке был вопрос: «Об использовании кормовых угодий в колхозе «Маяк». Теперь можно вычеркнуть!

Одни вопросы мы вычеркнули, для обсуждения других появился новый материал, третьи стало возможным объединить. В общем, список мой заметно сократился.

— Константин Сидорович,— спросил я у Баженова,— как вы нашли этот вопрос, о клевере? Как узнали, что за ним кроется? Ведь такой, кажется, небольшой, незаметный, обычный вопрос. Потом — вы же недавно в районе, когда вы узнали об отношениях между Кубриным-председателем и Рудашовым? Между Кубриным-бригадиром и Марией Трофимовной?

Вместо ответа Баженов сам спросил меня:

— А знаешь, что мы обсудили вчера? Одну-единственную строчку из производственного плана колхоза: «Посеять трав столько-то». Понятно?

И я вспомнил страницу производственного плана колхоза, на которой напечатана эта строка.

Потом Баженов снова посадил меня на диван рядом с собой и сказал:

— Вот что, товарищ дорогой, нужно поехать в колхоз «Маяк». Не откладывая. Решение приняли, начало положено, надо продолжать. Там, в колхозе, будет еще Черезов из инструкторской группы Белореченской МТС, может быть, и зональный секретарь — дела всем хватит. Надо наладить работу парторганизации. Помочь Кубрину-бригадиру, Кубрину-председателю. Я несколько дней провел в «Маяке», а там надо много поработать. Не хочется сейчас свои соображения вам выкла-

дывать — преждевременно... Лучше так: встретимся в колхозе и свои впечатления сопоставим...

В колхоз «Маяк» я добрался поздно вечером.

В правлении была только одна дежурная — женщина средних лет в пестрой косынке. На плечах у нее была накинута ватная телогрейка, хотя она и сидела рядом с печью, натопленной так жарко, что я сразу же принялся снимать с себя шарф и расстегивать полушубок. Встретила меня дежурная строго, узнала, зачем я, откуда и надолго ли, а узнав, усмехнулась:

— Вы, верно, насчет клевера приехали?

Я удивился такой осведомленности, а дежурная продолжала рассказывать, что сегодня председатель три раза звонил насчет семян клевера, причем один раз вел переговоры с какой-то ученой женщиной, которая долго «водила» Кубрина, потом обещала посодействовать в области, что Константин Сидорович Баженов все клеверище исходил вдоль и поперек, когда был в колхозе, и дала некоторые комментарии нашему недавнему заседанию бюро, так что я понял, что в колхозе об этом событии идет много разговоров. Рассказав обо всем, женщина спросила, правда ли, что райком возьмется за их колхоз «как есть со всех сторон»? И говорила и спрашивала она меня об этом очень просто, будто мы давным-давно были знакомы.

Я ответил, что об этом лучше знает первый секретарь райкома, а она внимательно посмотрела на меня и ответила сама себе:

— Это очень видать, что товарищ Баженов взялся. Так ведь он не один, поди-ка, в райкоме?

Нужно было поддержать прерванный разговор, и я, в свою очередь, спросил:

— Хозяйство у вас большое, задач много, так неужели все сводится к клеверу? Видно, в колхозе только об этом и разговор?

— Так ведь он-то, Баженов, чай, не сам выдумал клевер,— заговорила дежурная, как будто очень всерьез заподозрив меня в том, что я не согласен с секретарем райкома.— Не сам выдумал! У нас тут какие шли споры! Одним нужны деньги за клеверные семена, а трава хоть бы и совсем не росла, другие доказывали, что раз траву сеем, то траву и убирать должны, потому что кормов у нас нет; еще доказывали, что имеется закон — не сеять клевер. Тут не по газетке читали — о своем спорили... А как решить? Вот он, секретарь, видит интерес

у людей и зацепился за интерес, чтобы уже и ко всему хозяйству с умом подойти. В доме-то как бывает? Начнешь один угол скрести или лавку какую выскабливать, а потом уже дым коромыслом на всю избу, и покуда все до соринки не выметешь — все убираешься. Тут, видать, такое же дело должно быть. Обязательно!

— Кем вы работаете в колхозе?— спросил я.

— Да никем.

— Как это? Ну, кладовщица вы, учетчица, член правления?

— Так вот я же и говорю вам: нет у меня должности. Работаю в полеводстве — и все. Фамилия у меня — Фирсова. Кубриных у нас полдеревни, а Фирсовых — мы одни только и есть. Да и об том ли у нас с вами нынче разговор? Я-то ведь спрашиваю, как решить, а вы — кто я такая есть.

Немного спустя я шел ночевать к Кубрину-бригадиру. Было уже совсем темно, падал густой снег. Я шел и все думал-думал — как решить?

Я вспоминал Баженова, Никитичну, Рудашова... Вспоминал Савостина. Было очень интересно узнать — как повернется дело с клевером у нас в районе, где командует теперь Баженов. Как посмотрит на вопрос Савостин у себя в обкоме? Как вообще все это сложится? Кто же все-таки прав? Кто не прав? К чьим словам прислушаться? Савостин, бывало, всегда любил говорить на собраниях: «Товарищи! Нам необходимо прислушаться...»

1955

ФУНКЦИЯ

Шаламов растянулся на лавке, закинул руки за лохматую, тронутую первой сединой голову, зевнул и сказал вслух:

— Возьму вот и усну... Очень просто... Часика этак три-четыре подряд... Имею право!

Было воскресенье, зимнее утро уже не раннее, клонившееся к полудню. В доме пахло свежим хлебом, поджаренным луком, еще чем-то съестным. Янтарно блестели половицы, а переплеты оконных рам бросали на них тени. В доме никого, кроме Шаламова, не было, стояла тишина. Детишки убежали в школу на пионерский сбор, жена управилась рано и теперь, верно, сидит у соседей. И это было приятно — значит, привыкла, не скучает, перестала томиться по городу, в котором и сама родилась, и родила двух мальчишек-погодков.

Однако не спалось что-то Шаламову. Не было привычки спать днем. Откуда было взяться такой привычке, если на заводе он всегда работал в дневную смену, а в колхозе не то что днем — ночью не всегда удавалось отдохнуть?

Несколько раз Шаламов приподнимался на лавке. Опирался на локоть, потом садился и спрашивал себя: верно ли, что он может сейчас никуда не торопиться, никуда не ехать?

Завтра все снова завертится-закрутится, снова нахлынут заботы о кормах, а если точнее — о бескормице, о деньгах, а правильнее — о долгах, которыми колхоз богат, как грибами после дождя.

Но вот сегодня спозаранку Шаламов обходил баз — скотные дворы, свинарник, в кошару заглянул, на водокачку к машинисту Еремееву, на фуражный двор, в гараж, миновал только контору, потому что там на дверях висел огромный замок, и вдруг заметил какой-то поря-

док на базе, может быть, только признак порядка, но все-таки верный признак. Ну вот хотя бы: вчера поутру, еще до прихода Шаламова, двадцать три подводы, назначенные накануне за кормовой кочкой в соседний район, собрались и все до одной без крика, без шума, точно в назначенное время двинулись в дальний рейс.

«Чего доброго,— подумал Шаламов,— настанет же когда-нибудь в колхозе добрый порядок, ничуть не хуже, чем на заводе!» Он подумал так в первый раз за те восемь месяцев, которые председательствовал в «Красном партизане», а тут еще старик Еремеев, прихрамывая на одну ногу и заливая из ведра насос, который плохо держал воду в кожухе, сказал:

— Воскресенье, чать, Павел Игнатьевич! Почто бы не отдохнуть твоей голове?— Правда, Еремеев тут же сделал многозначительное примечание:— Отдыхай, покуда сосущая труба еще действует. Она уже вот-вот перестанет!

Шаламов покосился на всасывающую трубу, заржавленную и потную, непрерывно вздрагивающую мелкой дрожью.

— У меня — ни труб, ни колен, ни переходов. Хоть убейте — не знаю, где взять!

— Комбинировать надо. С заводом комбинировать, еще и еще с кем.

— Так не выходит.

— Учись!— наставительно сказал Еремеев.— Учись жить в председателях.

Вспомнив все это, Шаламов поднялся с лавки, сходил в горницу, взял там с кровати подушку и, вернувшись в кухню, снова лег на прежнее место: «А что, если все-таки уснуть?»

Через час, а может быть, и того меньше, Шаламов натягивал пимы.

«Воскресенье... В клубе кино,— думал он.— На скотном дворе доярки дежурят все молодые. Бросят дежурство и убегут. А печь остынет, отопление замерзнет и лопнет. Или корова может отелиться. А то еще проще — дверь не закроют в телятник, а на улице мороз, ветер...»

Когда Шаламов вошел в скотный двор и оглянулся по сторонам, он и в самом деле никого не увидел. Коровы жевали корм так медленно и лениво, словно тоже знали, что сегодня — выходной.

— Так и есть! — рассердился Шаламов. — Так и думал! Жди здесь порядка! Надейся, надейся! Придется завтра вызвать заведующего животноводством! И бригадира тоже вызову! И дежурную доярку! — Но тут Шаламов вздрогнул: ему показалось, кто-то смотрит на него сбоку.

В самом деле, на ларе для корма, обхватив острые колени руками, сидела Кося Кортосова.

— Дежуришь?

— Ага... — отозвалась Кося и не пошевелилась.

Странная это была девчонка! Была она вовсе и не Кося, а Капитолина. Новое имя пристало к ней, потому что она заметно косила. Стоило кому-нибудь заметить это, назвать ее косой — крику и шуму не было конца, дело могло дойти до потасовки, а уж слез — не оберешься. А вот Кося — это ничего, даже мать родная и то не называла ее иначе.

У Шаламова с Косей были особые отношения.

Однажды доила она Марту, лучшую корову на ферме, но страшно бодливую, и слово за слово рассорилась со старшей дояркой. Кричали они друг на друга долго, а потом Кося поднялась со своей скамеечки и, оставив под коровой подойник, ушла домой.

Шаламов вызвал Косю в контору, убеждал, говорил о дисциплине, о задачах колхоза, о тяжелом положении в животноводстве, о роли комсомола.

Кося слушала, не спуская с него глаз, будто впервые видела председателя, изредка опускала руки в карман поношенной стеганки и там вышелушивала подсолнечное семечко, а потом, едва заметно приподнимая руку, ловко бросала семечко в рот.

Когда Шаламов кончил говорить, Кося спросила:

— Все, что ли?

— Все, если поняла.

— Как не понять! — вздохнула Кося. — Доходчиво объясняете. Воспитываете. Теперь, ежели вы сами сознательный, идите на скотный да подоите Марту!

Недели три Кося нигде не работала. Шаламов так и решил — не пускать ее больше в животноводство. Но приходила мать Коси, просила за дочь; приходили доярки, говорили, что с Мартой никто из них управиться не может, способна на это только одна Кортосова, потому что характерами они очень сходные.

— Значит, дежуришь? — переспросил Косю Шаламов. — Все в порядке?

— Сами глядите, все либо не все...

Отвечая, она так и не двигалась, только чуть-чуть приподняла над коленями подбородок и повернула голову, чтобы правый глаз смотрел ему прямо в лицо.

— Так...

— Так либо не так — перетакивать не будем.

Шаламов выдержал и этот взгляд и тон. Прошелся между рядами коров, погладил за ушами Буренку — дочь Марты, а Марту обошел стороной, проверил, топится ли печь и работает ли вентиляция, и только после этого, уже с другого конца коровника, спросил как будто между прочим:

— А что, Кося, однако, Егор тебе давно уже не писал?

Тут Кося неожиданно быстро соскочила с ларя, подбежала к Шаламову и протянула ему листочек бумаги, исписанный вперемежку карандашом и лиловыми чернилами.

— Читайте!

— Что такое?

— Письмо.

— Зачем же я буду читать?

— А затем, что и про вас писано. А на ту сторону не поворачивайте. Там не вашего ума дело.

— Нет, не буду я читать. Ни на той, ни на этой стороне.

— Критики боитесь? Вот с того места, где я пальцем прихватила, отсюдова — про вас!

Не то чтобы упрек подействовал на Шаламова, но почему-то он подумал, что действительно должен прочесть письмо. Он взял из рук Коси листочек и подошел под свет окна.

«Оштрафовал он тебя за самовольный прогул на десять трудодней,— прочитал Шаламов, медленно разбирая слова при слабом свете,— я считаю, справедливо. Лично я — пятнадцать приписал бы. Точно. Я на два часа по увольнительной опоздал — два наряда. Как положено. И насчет фермы — он подход имеет. Я три месяца при нем в колхозе прожил, не могу сказать, а ты сама разберись и пойми: насовсем он в колхоз или чтобы его в газетке пропечатали как передового, а потом — обратно в город. Разберись в вопросе.

Я считаю, что, похоже, он насовсем. Тогда и нам подаваться в город не расчет. Узнай по его поведению и пропиши мне. Когда останемся в колхозе, то я в армии

обучусь на шофера, ну а если он в город, то и нам нужно подаваться, и тогда поступлю я здесь в слесарную мастерскую. Есть такая возможность...»

— Ну?— спросила Кося и потянула письмо из рук Шаламова.

— Ну?— повторил Шаламов.

— Как про вас прописывать в ответе: насовсем вы или на время?

— Пиши: «насовсем».

— И охота вам!.. В колхозе что и богатства — одни долги. Счет арестованный...— Кося постояла молча, потом всхлипнула:— И мне из-за вас страдать! Я на ферме всем дояркам заявила: «Вернется Егор — ноги нашей здесь не будет!»

Шаламов с любопытством смотрел в озабоченное, расстроенное лицо Коси.

— Вот я приехал из города. Почему? А буду здесь жить лучше. Разве не так? Выдадим в нынешнем году на трудодень. А счет у нас вот уже месяц как выпустили из-под ареста. Деньги на нем — двадцать три тысячи и тридцать шесть рублей с копейками...

Кося расстегнула верхнюю пуговицу стеганки, размотала шаль и ткнула пальцем в тоненькую свою шею:

— Очень благодарная! Я ими вот до сих пор сыта — вашими рублями да килограммами. Обещанными!

— Эх, Кося!— вздохнул Шаламов.— Эх, Кося, Кося...

Глядя на сердитую, в расстегнутой телогрейке и с размотанной шалью Косю, он заранее предвидел, что ни в чем не убедит ее.

— Вот!— сказала она и тоже глубоко вздохнула.— У Егорки в городе свояки, квартира, а вас тут принесло на мою шею!

— Из-за тех десяти штрафных трудодней расстроилась? Так ведь это пустяки, это немного, если подумать!

— С меня и десяти довольно! Может, как раз десяти-то мне на платьишко не хватит? Я ведь не на «Победу», а то еще на какой там ЗИМ коплю!

— Сама виновата...

— Кабы не сама, а кто другой виноватый был, я бы с вами не так разговаривала!— Кося повела глазом по лицу Шаламова, вздохнула.— Уж совсем не так бы!— Помолчала, снова вздохнула.— А вы, значит, насовсем...— Сунула письмо в карман стеганки и тихо пошла к ларю. От ларя снова обернулась и громко сказала, по-

чти крикнула: — Ну, глядите! Ежели обманете...— Помотала головой, забралась на ларь.

Шаламов постоял и пошел к выходу.

Проходя мимо ларя, на котором в прежней позе, с согнутыми коленями, сидела Кося, он вдруг почувствовал к ней жалость, как к человеку, который у тебя на глазах готов сделать неправильный шаг, и ему никак нельзя это объяснить. И он шел мимо Коси тихо, даже осторожно, как если бы она дремала, а он не хотел ее потревожить. Когда же он был уже близко от дверей, Кося окликнула его:

— Председатель!

Шаламов вздрогнул:

— Что еще?

— Товарищ председатель, а зачем приходили-то? А? Строгость опять невольно подействовала на Шаламова.

— Проверить, все ли в порядке...

— Ну? Порядок у нас на скотном? Полный?

— Ничего... Вот и ты дежуришь. Как надо.

— Значит, порядок...— Кося снова приблизилась к Шаламову.— А корма?

— Какие корма?

— Известно какие — коровьи. Не для себя спрашиваю. Скотину кормить думаете либо опять просто так — воспитывать?

— Ты же, Кося, знаешь рацион: солома, немного сена, ну и вот еще кочка.

— Так нешто эта самая кочка — корм?

— Что ж поделаешь? — пожал плечами под полушубком Шаламов, начиная раздражаться.— В прошлом году не заготовили кормов сколько надо. Я вот ночи не спал, а все-таки не заготовили. Были на то причины! Дожди шли...

— Ну вот и кормите коров причинами! А я погляжу, сколь вы надоите литров да какой будет процент жира! Очень по науке!

— Что ты взбеленилась, Коська, что кричишь?! — Шаламов чувствовал, что вот-вот и сам закричит на девчонку.— Некогда мне тут с тобой! Если у тебя деловой разговор, приходи в контору. Поговорим!

Но Кося не унималась. Скороговоркой, тоненьким голоском, приподнявшись на цыпочки, чтобы быть на одной высоте с Шаламовым, она шумела:

— Так-то и для меня у вас найдется причина! Сейчас обещаете, а там найдете какую-нибудь причину: кушай, Кося, поправляйся! Не буду я писать Егорке, что вы насовсем! Не буду! Пускай учится на слесаря!

Если бы Шаламов был спокоен и внимательно прислушался к Косе, он понял бы, что девчонка шумит просто так, наверное, в последний раз, что она уже сдалась и обязательно напишет Егору, чтобы тот шел учиться на шофера.

Но теперь Шаламов был уже до крайности раздосадован и, чтобы не обругать Косю, отстранил ее с дороги, вышел на улицу. Кося кричала вслед, чтобы председатель готовил дома чай с пирогами — после дежурства она придет к нему разговаривать по душам!

День был какой-то странный: при голубом небе и ясном солнце сильно буранило. Март подходил к концу, и еще недели две тому назад начало таять. По городской привычке Шаламов решил, что зима уже кончилась, а она пожаловала снова. За ночь начисто замело дороги, будто бы их и не было никогда, около конторы опрокинуло стогометатель, который так долго стоял на одном месте без дела, что, казалось, намертво врос в землю. Ветер распахивал полушубок, и, поднимаясь вверх по взгорку, на котором протянулись две деревенские улицы, Шаламов думал:

«...И помечтал-то всего один раз... В первый раз позволил себе подумать, что дела в колхозе пошли...»

В ограде своего дома Шаламов издали увидел незнакомого человека, подумал: «Хорошо! Отвлекусь разговором с посторонним! Кто бы это?»

Человек вертел головой в мохнатой шапке туда и сюда, а вскоре стало видно, что шаламовский Тузик — мышастый, маленький пес с низким басом — со всех сторон деловито облаивал незнакомца и никак не пускал его в сенцы.

Все-таки человек продвинулся вперед, быстро распахнул дверь, и Шаламов вспомнил, что, уходя, он забыл закрыть дверь на замок.

Когда Шаламов тоже вошел, незнакомец уже стоял в кухне и отряхивал снег с шапки, ударяя ею о косяк двери. Он был седым по-пестрому — седые волосы торчали на разноцветных, покрытых синими и красными прожилками щеках, на подбородке сквозь седину проступали рыжие подпалины, на голове седые волосы тоже перемежались с розовыми плешинками. Только бро-

ви были совершенно черные, словно начищенные ваксой. Огромные, густые, они смыкались на переносице и, кажется, даже мешали глазам. И первое, что сделал посетитель,— это извлек откуда-то из кармана брюк большой платок и старательно вытер сначала одну, а потом другую бровь от множества капелек и снежинок, не успевших еще растаять. Только после этого он спросил председателя.

— Я буду!— отозвался Шаламов.— Проходите, садитесь.

Человек кивнул, положил на табуретку что-то завернутое в серую льняную тряпицу. Пригладив редкие волосы на голове и еще раз проведя ладонями по бровям, он нагнулся к этому свертку, долго разматывал тряпицу и наконец извлек две большущие собачьи рукавицы, между которыми лежал потрепанный клеенчатый портфель. Положив рукавицы одна на другую, пояснил:

— Вот ношу при себе... Бесперечь носить — руки устают, весу в них много, а без них — никак невозможно. Если б не взял с собой, зазнобил бы нынче руки и лицо вконец зазнобил бы... Погода была — страсть! Разъярилась перед весной-то... Теперь стихает. А если бы по порядку, так надо бы рукавички-то на бечевку. Очень ловко таскать их на бечевке через шею. Сунул руки когда нужно — и порядок! Не успел приладить. Срочно предложили отбыть в командировку.— Он замолчал сосредоточенно, потом вынул из портфеля бумагу, подошел к столу и разостлал ее перед Шаламовым.— Вот тут ваша подпись требуется. А вот сюда,— он показал рядом,— требуется печать!

Другие командированные начинали с погоды, с видов на урожай, с легкой критики районного начальства либо хвалили новый скотный двор колхоза, который стоял на въезде в деревню, стоял все еще пустым, потому что не было поголовья, и только после этого начинали требовать, каких только не было требований: обеспечить сбор слушателей на лекцию по охране труда и противопожарной безопасности, уплатить неустойки по индивидуальному налогу с колхозников, обеспечить подписку на молодежную газету, взять обязательство по заготовке дубильного корья, золы и птичьего помета, а сколько составить планов, отчетов, сводок?!

Для делового требования, для того, чтобы внести реальную поправку в реальный план, хватало телефонного

звонка, а по таким вот делам без конца ездили и ездили люди.

Когда командированный получая подпись председателя на своем документе, он складывал этот документ в портфель с таким видом, словно проделал огромной важности работу, и говорил на прощанье благосклонно, но строго:

— Имейте в виду: один экземпляр у нас, другой — у вас!

Все это было знакомо Шаламову с первых же дней его работы. Он уже научился «отваживать» уполномоченных, приезжавших по разным мелочным делам, скрывался у них из-под самого носа в поле или в районе, заставлял ждать себя, пока у него не закончатся другие дела и разговоры.

Наверное, были среди них разные и даже совсем неплохие люди, но стояли они на ненастоящем деле, ничего не давал их труд, не видели они результатов своей работы и только усложняли жизнь. Иные понимали свое положение, неловко улыбались либо вели себя уж очень деловито, напускали видимость страшной занятости и в то же время всем своим видом как бы говорили: «Мы с тобой, председатель, люди мудрые, понимаем, что к чему, так давай же закончим эту волокиту без волокиты! Поскорее!» Опасно это было для нового председателя, очень опасно! Шаламов и понимал никчемность многих договоров, отчетов, справок и других бумажек, и все-таки временами они вдруг приобретали какую-то мнимую значительность, хватали его, пытались взять над ним силу. Вдруг начинало казаться, будто вот это и есть важная и необходимая работа, без которой шагу нельзя ступить, а какие-то там требования бригадиров насчет подойников или фонарей «летучая мышь», просьба престарелого колхозника о дровах и севе отходили на второй план, представлялись ничтожными мелочами.

Сегодняшний уполномоченный был человеком решительным, действовал без всяких сомнений и проволочек: сразу же ткнул желтым волосатым пальцем туда, где на листе бумаги требовалась подпись председателя и где требовалась печать.

Шаламов взял со стола лист.

«Договор» — было напечатано на обороте крупными буквами, а ниже, очень мелко, без всяких знаков препинания: «В целях улучшения условий обеспечения трудящегося населения города продуктами питания путем

подвоза таковых и продажи на колхозном рынке колхоз обязуется на вышеобозначенном рынке развернуть торговлю своей продукцией и продукцией членов колхоза поквартально в следующем количестве...»

— Да...— покачал головой Шаламов. Потер лоб и снова протянул: — Да, да-а...— Он все еще был под впечатлением разговора с Косей, все еще сердился на нее и поэтому сейчас хотя и видел перед собой незнакомого человека, но никак не мог о нем подумать — ни хорошо, ни плохо. И смысл договора тоже был каким-то неясным. Все-таки Шаламов заставил себя внимательно вчитаться в длинную фразу без знаков препинания, потом в другую и наконец спросил:— Вот тут написано: «...колхоз доставляет продукты своими силами». Так при чем же тут договор? Приедем торговать — нас ведь и без договора не прогонят?

— Нет, позвольте!— проговорил уполномоченный.— В пункте шестом сказано: «Рынок предоставляет колхозу право преимущественного и внеочередного обслуживания по проверке молока и мяса и — главное!— по преимущественному разрубу мяса!»— Он говорил это, не заглядывая в договор, на память, и закрыв глаза, а когда снова взглянул на Шаламова, добавил еще:— А вы говорите!

— Преимущественная проверка молока и мяса...— повторил Шаламов.— Так ведь и в этом никому не отказывают. Обязательное правило. Зачем же нужны преимущества? И мясо наши люди сами сумеют разрубить.

— Что вы! Как же можно! Видать, вы недавно в должности? Собственное мясо не продавали еще на рынке?

— Я вижу, незачем подписывать эту бумажку...— Шаламов положил договор на стол, на то самое место, откуда он взял его.— Торговать не поможет. Бумажка — и все!

— Так вы это всерьез или как?— спросил посетитель, снова вынимая платок и разглаживая свои лохматые брови, как будто для того, чтобы лучше разглядеть Шаламова.— Мы же и меры примем, ежели что.

Угроза заинтересовала Шаламова.

— Если вы серьезная договаривающаяся сторона, какие же вы примете меры?

— Доложу товарищу Кабанову. Лично.

— А кто такой товарищ Кабанов?

— Должны бы знать: председатель управления рынками. Вот там внизу, на договоре, ими уже подписано...

— Почему же он председатель? Что это — выборная должность?

— Я доложу — вы вообще ведете себя не по существу!

И тут Шаламов в первый раз заметил под бровями старика глаза: они смотрели сердито, упрямо, с неподдельным возмущением.

— А что сделает товарищ Кабанов? Если ему доложить?

— Они? Они, знаете ли, на совещаниях могут с критикой на вас выступить... Нет, вы это как: пошутили или серьезно?

— Серьезно.

— Несерьезный вы человек. Да. Я прямо говорю — не боюсь. «Сами разрубите мясо!» Извините! Можно так разрубить, что мясо жирнее станет. Точно. Взять наискосок, и, ежели слой сала в два сантиметра — он в три станет. А в каком месте рубить, чтобы каждый кусок хозяйка за самый первый сорт взяла бы? Я откровенно скажу: другой мясоруб пустит в топор дрожь — и в палец толщины мяса у него пошло в крошку. А крошка эта уже не хозяйская. Крошку уборщица веничком, веничком, а потом они ее пополам с мясорубом... Точно. За людьми нужен контроль. Нужно следить за порядком. На то и дирекция рынка поставлена. А вы говорите: сами! А не представляете себе дела. Также коснется гирь, весов... Да нет, где там! Кабы вы понимали — не говорили бы: сами! Я тридцать лет в торговой системе. Дело знаю, безотказно сполняю свою функцию.

— Что?— переспросил Шаламов.

— Функцию... Торговую функцию.— Уполномоченный опустился на табуретку около стола и вместе с табуреткой подвинулся к Шаламову.— Говорю вам, тридцать лет в этой системе и знаю что к чему. Вот и вызывает меня товарищ Кабанов: «Сполняй особое задание. Вот тебе пригородный район, вот подписанные договора! Обеспечь». Теперь что я скажу товарищу Кабанову про вашу несознательность? Они не поверят. Скажут: «Ты, Бурундуков, вовсе и не был в колхозе!» Тогда вы распишитесь, что отказываетесь расписаться. Там, на

низу этого листочка, распишитесь. У меня тоже должен быть свой отчет. Перед товарищем Кабановым.

Говорил уполномоченный медленно, как будто с трудом подыскивая слова, и только иногда вдруг делал стремительные движения руками.

Шаламов заметил, это было всякий раз, как уполномоченный упоминал фамилию Кабанова. Именно тогда руки его поднимались вверх, там, вверху, пальцы шевелились, потом обе вместе они опускались, показывая что-то узкое, потом снова широкое. Внизу, у самых колен, руки с опущенными вниз кистями стремительно выдвигались вперед.

Шаламов невольно следил за этими странными движениями, и вдруг у него возникла догадка, что таким образом уполномоченный изображает председателя управления рынками Кабанова: пальцы шевелятся над головой — это волосы на голове Кабанова, высокие, прямые и жесткие, торчат в разные стороны; ниже — толстая физиономия, потом короткая шея и большое туловище. А движение руками вперед показывает, как сидит Кабанов за письменным столом у себя в кабинете — выкинув ноги вперед, навстречу посетителям. В довершение картины Шаламов даже представил себе, что в кабинете очень жарко, Кабанов сидит в расстегнутой рубашке, и на груди у него видны волосы — светлые, прямые, похожие на щетину. «Надо же такое подумать?!» — удивился самому себе Шаламов, но воображение не унималось, и он еще увидел маленькие сердитые глазки Кабанова.

— Вот вы говорите,— продолжал между тем Бурундуков,— у вас нечем торговать. Понятно. Нечем — значит, нечем. А при чем договор? В нем же никаких неустоек не предусмотрено! Вы его не выполните, ну и что ж? Вам от того плохо не будет. Так зачем же меня в погоду гонять? Я на работе. Тридцать лет в системе.

— У вас командировочное удостоверение есть?— спросил Шаламов.

— А как же!— Бурундуков торопливо расстегнул пиджак, достал из кармана бумажник, из бумажника — удостоверение.— Как же! Конечно!

На обороте удостоверения Шаламов сделал отметку «прибыл» и «выбыл», расписался, поставил печать. Пока он делал все это, особенно когда, прижав к ладони удостоверение, прикладывал к нему печать, Бурундуков смотрел на руки Шаламова из-под лохматых бровей не

мигая, затаив дыхание, как будто он был страшно голоден и видел в руках у человека кусок хлеба.

Шаламов долго держал печать прижатой к удостоверению и, наблюдая за этим недоуменным, осуждающим и таким голодным взглядом, думал: «Сейчас уполномоченный выйдет из себя, и мы с ним поругаемся... Я скажу язвительное, злое. Злее — лучше! Надо кончать с этими бессмысленными бумажками! На этот раз надо обязательно поругаться. Выгоню с шумом!» Когда же наконец Шаламов вернул уполномоченному его удостоверение, тот вздохнул и тихо, убежденно проговорил:

— Бывают люди... Бездушные... Бесчеловечные...

И Шаламов так удивился этому возгласу, что невольно и тоже очень тихо спросил:

— Вы что же это — обо мне так?

— Не о себе же. Я честно работаю в системе. Тридцать лет. Сказали: «Выполняй функцию, Бурундуков!» Бурундуков выполняет. Не моя ответственность, что вам торговать нечем. Каждому ясно-понятно — не моя! У меня дочь — невеста, техникум кончила, все экзамены сдала, а вы издеваетесь...

— При чем дочь? При чем невеста?

— Бюрократ вы по отношению к человеку! Точно!

— Я?!

— А то кто же? Дочь — невеста, в ту субботу свадьба. Замуж выдаю за хорошего человека. А вы поставили отметку «выбыл» сегодняшним днем, и я уйду? Не уйду!.. День буду жить в колхозе. Два... Три дня!.. Ходить буду к вам в контору. В райисполком звонить. В торговый отдел. Жаловаться. Доказывать про вашу несознательность. Нельзя мне уйти. Товарищ Кабанов скажут: «Гастролировал по колхозам, Бурундуков! Прибыл-выбыл за один день, а где твоя разъяснительная работа? Где твоя организационная работа? Договор где?» А мне? Мне и крыть нечем. Что ж теперь, без отца свадьбу справлять? А тот человек, жених,— у него тоже мысли в голове, всякое подумать может...

Бурундуков замолчал, и довольно долго они поглядывали друг на друга. Потом уполномоченный снова порылся в бумажнике и протянул Шаламову фотокарточку:

— Вот она, коли не верите!

На Шаламова глянуло неказистое личико, худенькое, с острым носиком и большими бровями. Девушке было лет двадцать — двадцать два, она сидела за столи-

ком в шляпке с пером, в платьице с большими цветами по какому-то серому фону, положив впереди себя руку, на которой виден был что-то уж очень большой браслет. Выражение лица у нее было как будто немножко испуганное, но доброе.

Пока Шаламов рассматривал карточку, уполномоченный все ближе подвигал к нему по столу листок договора и шептал:

— Ну?.. Ну?! — постучал пальцем по бумаге, где было «Место для печати» и снова повторил: — Ну?!

И Шаламов с силой стукнул печатью, так что уполномоченный едва успел отдернуть от бумаги палец.

— Ну вот! — вздохнул Бурундуков всей грудью.— Вот так! А какие там цифры подставить, сколько поквартально будете мяса продавать, крупы и прочего — это не беспокойтесь, я поставлю! Все равно — кто эти договора проверяет? Никто! Никто за это не спрашивает! Как привозят колхозы продукты на рынок, так и привозят! Но раз такой порядок в системе — зачем же вам вставать на волокиту? Зачем бюрократизм? — Должно быть, уполномоченный боялся, что Шаламов спросит договор для подписи и не вернет. Торопливо укладывая бумажку в портфель, он говорил: — Подпись необязательно. Подпишемся «за» — и только. Главное — печать. Печать — главное! — Уже от дверей, завернув в тряпку и портфель и рукавицы и глубоко нахлобучивая на лоб шапку, он торопливо улыбнулся: — А на рынке, не беспокойтесь, для вас теперь преимущественное положение. И весы и гири! Все! А мясо, мясо-то обязательно разрубим! Как надо! — Потом лицо его приняло прежнее, очень строгое выражение, брови сдвинулись: — Все ж таки вы помните: один экземпляр договора у нас, другой — у вас! И вот так-то лучше: не ссориться... Не обижаться... Голоса не повышать! Самое правильное — так!

Оставшись один, Шаламов прошелся по кухне.

Вспомнил — нынче выходной день. На работе не был, ни о чем не хлопотал...

В окно было видно, как по тропинке, плутавшей между сугробами, уходил Бурундуков. Шел он торопливо, но не быстро, и ветер подгонял его в спину, приподнимая мех на шапке. Вдалеке кто-то появился навстречу Бурундукову, и он, чтобы разминуться, сошел с тропки и стоял по колено в снегу, одной рукой прижимая к себе сверток, другой еще натягивая шапку.

Шаламову подумалось: теперь Кабанов обязательно подошьет бумажку к делу... Неведомый Каба́нов подмигнул ему маленьким глазком. «Тьфу, черт!» — выругался Шаламов.

Фигура человека, который шел навстречу Бурундукову, все приближалась, и Шаламов узнал Косю.

Кося шла против ветра, прикрывая лицо рукой без варежки, с красными пальцами. Должно быть, торопилась быстренько сбегать на обед. Миновала Бурундукова, на ходу кивнув ему, поравнялась с домом Шаламова, тут почему-то замедлила шаг. Потом поплотнее запахнула телогрейку, пошла еще быстрее, свернула в узкий проулок.

Она свернула, а Бурундуков все еще стоял, еще пропуская кого-то по тропе.

«А это еще кто бредет? — подумал Шаламов. — Знакомый ведь кто-то?»

Прихрамывая, торопился Еремеев, машинист с водокачки... Минует Еремеев председательскую квартиру или не минует?

Во дворе залаял Тузик.

Неужели всасывающая труба отказала? Окончательно?

1958

БОБ

Давно, лет двадцать пять — тридцать тому назад, на биологическом факультете Н-ского университета произошло одно событие.

Событие это было совсем незначительным, но все-таки на какое-то время оно вызвало всеобщее недоумение.

В самом конце июля, вскоре после выпускного факультетского вечера, стало известно, что при университете из числа выпускников оставлен... Боб...

Человек, носивший это напрочно, навсегда приставшее к нему прозвище, уже в то время был немолод — ему перевалило на четвертый десяток. Хотя он имел рослую и, в общем-то, видную фигуру, самой заметной деталью его облика все-таки была прическа бобриком из каких-то пегих, неопределенного цвета волос.

Всякий раз, как на факультете начинались экзамены и Боб усаживался за стол профессора с экзаменационным билетом в левой руке, правой рукой он вынимал из бокового кармана серого полувоенного и слегка потрепанного френча миниатюрную расческу в серебряной оправе и несколькими неторопливыми, уверенными движениями приводил в полный порядок строй пегих коротких и упругих волос на своей голове.

Затем, не дожидаясь приглашения, он нащупывал локтем точку опоры на профессорском столе, сжимал пальцы в кулак и, опираясь на этот кулак уже седеющим виском, начинал говорить.

Голос у него был неторопливый, сильно глуховатый и с такой своеобразной интонацией, которая все время заставляла слушателя ждать, что вот сейчас, сию минуту, сию секунду будет произнесена та самая сокровенная суть, ради которой люди ведут разговор и этим разговором намерены друг друга порадовать, подбодрить,

чем-то обогатить. Экзаменатор и ждал этой сути, ободряюще и даже дружески кивая.

Проходило пять, десять минут, и экзаменатор терял нить рассуждений уже немолодого, рослого и такого скромного студента. На мгновение экзаменатор задумывался о предмете постороннем, о том, например, сколько студентов за сегодняшний день уже сдало экзамены и сколько еще осталось, или же вспоминал, что нужно обязательно позвонить жене, сказать, чтобы не ждала к обеду, хотя не далее как вчера он обещал никогда больше не опаздывать. И в этот самый момент глуховатый, размеренный голос умолкал.

Экзаменатор начинал смотреть в потолок, тщетно пытаясь вспомнить, чем же студент завершил свои рассуждения по данному вопросу.

Из-под белесых ресниц на него пристально глядели тоже белесоватые глаза. Эти глаза и все лицо — слегка морщинистое, очень серьезное, под высоким лбом и пегим бобриком — отражали добродушную усталость славно поработавшего человека.

— Н-да...— произносил экзаменатор.— Так... так... Ну что же, отвечайте на следующий вопрос!— И, внутренне подтянувшись, давал себе слово слушать студента внимательно, ничего не пропуская.

Глухой голос снова наполнял кабинет ожиданием чего-то значительного, потом эта невысказанная значительность утомляла внимание, профессор снова вспоминал о том, что нужно позвонить жене, вспоминал, кажется, на одно только мгновение и тут же наталкивался на добродушное, очень серьезное лицо изрядно уставшего и замолчавшего от усталости человека... В белесых глазах был теперь упрек.

— Н-да... Так... Ну, что же, отвечайте на следующий, третий вопрос!

Обычно Боб получал на экзаменах «четыре». Он поднимался со своего места, разглаживал бобрик расческой, неторопливо собирал бумаги, улыбался и уходил. Улыбка была значительной, но неопределенной — ее можно было понять и как душевный упрек студента себе за то, что он не ответил на «отлично», и она же выражала недоумение: почему все-таки экзаменатор был невнимателен?

Студенты-однокурсники не любили Боба и не скрывали своего отношения к нему.

Профессора и преподаватели, если разговор между ними случайно касался Боба, слегка растерянно и как-то неопределенно пожимали плечами и вздыхали.

Неопределенное отношение преподавателей к немолодому студенту продолжалось до тех пор, пока он не перешел на четвертый курс. На четвертом курсе был экзамен по самому обширному разделу зоологии, и вот тогда-то завкафедрой, кандидат в члены-корреспонденты академии на ближайших выборах, профессор Карабиров, небольшого роста, злой, вспыльчивый человек, совершенно определенно высказался вдруг в деканате.

— Беспозвоночный грызун! — сказал Карабиров.— Из каждой дисциплины знает по две страницы. Две — из Тимирязева. Две — из Дарвина. Две — из Мечникова. Знает, правда, твердо, наизусть. И представьте, этого, оказывается, вполне достаточно, чтобы учиться на нашем заслуженном биофаке, учиться, имея в матрикулах вполне приличные оценки!

Можно было подумать, что слова эти были сказаны Карабировым в пику своему извечному противнику — декану.

Деканом был еще сравнительно молодой в то время профессор — геоботаник с русским именем и греческой фамилией — Иван Петрович Спандипандуполо. Карабиров уверял, будто такая фамилия подтверждает, что еще в процессе эмбрионального развития ее владелец потерял всякий здравый смысл.

Спандипандуполо имел правилом не оставаться в долгу перед Карабировым, но в тот раз, когда речь зашла о Бобе, неожиданно для всех промолчал. И все поняли тогда, что зоолог обязательно «зарежет» Боба на экзамене, и облегченно вздохнули: надо же было кому-то одному сделать то самое, что давным-давно должны были сделать многие...

Короткое молчание, воцарившееся в темноватой, узкой и высокой комнате деканата, теперь недвусмысленно объяснило отношение преподавателей к студенту, которого все звали не по фамилии, а по краткому прозвищу «Боб».

Однако же для Боба это вовсе не было началом конца его ученой карьеры, как можно было тогда подумать.

Действительно, «беспозвоночный грызун» ходил сдавать экзамен по зоологии два раза и оба раза провалился. Потом он заболел. Потом ввиду болезни перенес экзамены на следующий год обучения. Все это было

обычным для такого случая ходом дела, и декан уже собирался издать приказ об отчислении или хотя бы о годичном отпуске Боба, как вдруг Боб принес для регистрации у секретаря факультета отметку по зоологии: «четыре»!

Разумеется, при первой же встрече Спандипандуполо не преминул спросить у Карабирова:

— Я слышал, коллега, ваш любимый ученик — извините, забыл фамилию — блестяще сдал вам курс?

Не уточняя, о ком идет речь, по одному только слишком любезному тону декана Карабиров понял намек, выскочил из старого кожаного кресла, в которое он всегда усаживался, бывая в деканате, и стукнул об это кресло кулаками:

— А что я могу сделать? Что я могу сделать, спрашиваю я вас? Кто пропустил грызуна вплоть до последнего курса университета? Кто? Это могли сделать только учителя, достойные своего ученика! Только они! Не я! Я тут ни при чем! Нет!

Маленький злой Карабиров снова опустился в глубокое кресло, из которого торчала теперь одна его серенькая, растрепанная и тоже сердитая бородка, и замолчал. А спустя некоторое время вдруг донесся тихий, необычно мирный для Карабирова голос:

— В конце концов, теперь наше дело — выпустить его. Выпустить, выпустить!— Из кресла показались руки, почти что вежливо, но настойчиво отталкивающие кого-то прочь.— Выпустить! Если бы он был еще потупее! Совсем, совсем немного потупее... Но он же имеет все-таки в черепной коробке что-то, что так или иначе позволяет ему кончить... Редко, очень редко, но все-таки встречаются люди с еще меньшими способностями и с университетским дипломом. Мы их тоже выпускали когда-то.

И тут декан Спандипандуполо не воспользовался случаем, чтобы уколоть Карабирова, давным-давно надоедавшего всему профессорско-преподавательскому составу своими дерзостями. Наоборот, так же, как и в тот раз, когда Карабиров дал понять, что он «зарежет» Боба, теперь снова все почувствовали облегчение. Действительно, осталось немного — выпустить человека. И конец. Ведь, в самом деле, бывали же студенты и еще слабее. Случалось. Этот как-никак, а получает четверки, бывают же и такие, что перебиваются с двойки на тройку.

И вот стало известно, что Боб оставлен при университете.

Июль, когда это произошло,— безлюдный месяц в вузах: заведующие кафедрами и деканы в отпуске, студенты — на практике и на каникулах.

Единолично бодрствует на своем служебном посту ректор, да еще приемная комиссия осаждается абитуриентами, родителями и покровителями абитуриентов.

Но когда в конце августа, накануне нового учебного года, Карабиров сверял свою выписку лекций с факультетским расписанием, которое занимало почти всю боковую стенку старинного шкафа, стоявшего в деканате, он вдруг заметил, что практику по ботанике у студентов-зоологов ведет новый ассистент Коробко.

«Коробко, Коробко?! Так ведь это же и есть тот самый студент, которого все и всегда называли кратким словом Боб! Он?!»

Карабиров бросился в партком, в кабинет ректора, в учебную часть, чтобы протестовать, чтобы оградить честь университета.

Никто не спорил с Карабировым, никто не возражал ему в принципе.

Но дело было сделано, и не находилось юридических оснований отчислять только что зачисленного ассистента.

— К тому же,— напомнили Карабирову,— вы, профессор, тоже в свое время, кажется, неплохо оценили знания Коробко?

Возмущен был не один Карабиров.

Секретарь комсомольского комитета сказал ректору, что это очень странно — странно и даже обидно для студентов — видеть перед собой Коробко в качестве учителя.

И так же, как Карабирову, ректор не возражал секретарю. Ректор потер лоб и сказал:

— Действительно, этот человек был у меня. Говорил. О склонностях. О готовности. О призвании. И, знаете, оставил положительное впечатление... Должен признаться, я ни с кем не посоветовался. Подождите, кажется, я звонил своему проректору... Вот именно. Побывайте-ка у Андрея Федоровича. Побывайте!

Андрей Федорович тоже вспомнил посетителя, который производил положительное впечатление, говорил о призвании, склонностях и готовности... И не только говорил — в его личном деле не было абсолютно ника-

ких помарок, зато в натуре чувствовалась уверенность, солидность. Еще был звонок от ректора, и звонок, как он понял, в доброжелательном смысле.

Расписания, отчеты и планы, собрания, кампании, споры между научными работниками и многое, многое другое, что называется учебным годом, уже вскоре вступило в свои права, и о таком странном, но в общем-то незначительном событии, как зачисление Боба на должность ассистента, перестали говорить.

Работа Карабирова по изучению пушных промысловых получила широкую известность, была переведена на многие языки, а сам Карабиров при блестящих результатах голосования прошел в члены-корреспонденты академии, но вскоре после этого, наблюдая в тайге за миграцией соболя, жестоко простудился и умер.

Однако он все-таки успел написать язвительное письмо Ивану Петровичу Спандипандуполо, в котором пытался изложить все обвинения, веками выдвигаемые зоологами против ботаников.

Но Спандипандуполо всегда считал притязания зоологов несостоятельными, а в тот момент он был целиком поглощен дождевыми червями. Он заметил взаимосвязь между расселением некоторых растительных формаций и жизнедеятельностью дождевых червей. Нужно было вмешательство почвоведов, чтобы подтвердить и обосновать эти наблюдения. Почвоведы же наотрез отказались заниматься червями, и Спандипандуполо не оставалось ничего другого, как самому вторгнуться в новую для него область. Он и не преминул это сделать со свойственной ему энергией.

— Прекрасно! Прекрасно! — восклицал этот потомок Аристотеля, вздымая руки над своим тощим, длинным телом и слегка проглатывая звонкие гласные.— Это верно, сейчас у меня есть только один единомышленник — в далеком городе Алма-Ате. Но вскоре, поверьте, наши взгляды будут разделять тысячи! Да, нас будут тысячи, и тогда мы докажем великую роль дождевых червей и ничтожество тех почвоведов-консерваторов, которые пренебрегают червями как биологическим фактором!

Несмотря на эти, полные надежд, пророчества, в университете было отмечено снижение жизненного тонуса Спандипандуполо. Говорили, что для поддержания этого тонуса всегда требовалось язвительное вмешательство Карабирова.

И это была правда... Не только Спандипандуполо — весь факультет почувствовал, как не хватает чего-то и, если поразмыслить, не хватает тех самых дерзостей Карабирова, за которые его так недолюбливали при жизни.

Одну из примет подступающей к Спандипандуполо старости можно было увидеть еще и в том, что профессор стал вдруг стесняться Коробко.

Когда в длинных и сумрачных коридорах старинного университетского здания сталкивались две фигуры — гибкая, высокая и тощая Спандипандуполо и тяжеловесная, медлительная, с дубовой палкой в правой руке Коробко,— тощая фигура проявляла признаки замешательства, смущения и обычно стремилась исчезнуть как можно быстрее.

Напротив, фигура тяжелая ставила палку себе за спину, опиралась на нее, потом свободной рукой попридерживала шляпу на уровне плеча, затем опускала эту шляпу вниз и закидывала ее опять же назад, за спину, и потом долго находилась в этой позе, неподвижная и строго-критическая. Прежде чем продолжать свой путь, фигура произносила обычно: «Ничего особенного...» — и пожимала плечами.

Никто, кажется, не помнил, чтобы в облике Коробко-студента, которым он был еще не так давно, замечалось столько медлительной и уверенной солидности, но каждый невольно вспоминал, что признаки этой солидности присутствовали в нем всегда и вовсе не являются чем-то неожиданным.

Свой строгий и критический вид Коробко сохранял не только при встречах с деканом. Если не полностью, так отчасти строгость не покидала его даже при встречах с ректором, в разговоре с представителями Министерства высшего образования, с самим министром, когда однажды министр, посетив университет, заглянул на кафедру, где работал Коробко.

И только один раз за много лет массивная фигура дрогнула, и видно было, как она хотела остаться незамеченной, уйти куда-нибудь, исчезнуть и как это не удалось ей.

Это случилось года через три после вступления Коробко в должность ассистента, когда в коридоре второго этажа он увидел Вадьку Кузнецова.

Вадька сидел на подоконнике точь-в-точь так же, как он сидел на нем три года назад, когда был еще студентом: свесив одну ногу и согнув в колене другую.

Размахивая руками, Вадька болтал со старшекурсниками, которые, конечно, хорошо помнили его.

Завидев Коробко, Вадька соскользнул с подоконника, изумленно уставился на него сразу поглупевшими глазами и воскликнул:

— Боб! Бобер! Это ты? Если это ты, скажи, что ты здесь делаешь с такой большой дубиной?

Коробко ответил, что сейчас ему очень некогда, но он просит однокашника зайти к нему на кафедру для серьезного разговора, ну хотя бы через четверть часа. Обязательно!

Уходя, Коробко слышал, как студенты что-то шепнули Вадьке и как Вадька проговорил тихо, но с еще большим изумлением:

— Бобер? Боб? Да не может быть! Вы что же, ребята, разыгрываете, что ли?

На кафедре Коробко поставил дубовую палку в узкий промежуток между письменными столами, но не пожаловался, как обычно, на одышку лаборанту, а сел и, взявшись обеими руками за голову, молча просидел так четверть часа.

Он уже все понял, все знал.

Знал, что Вадька Кузнецов вернулся из полярной гидробиологической экспедиции и привез с собой богатейший материал по водорослям, которыми он занимался еще студентом. Знал, что Вадькиным материалом заинтересуются в университете и что теперь-то Вадьку — этого общего любимца, весельчака и неизменного отличника — обязательно оставят при какой-нибудь кафедре. Знал, что уже через три-четыре года Вадька будет доцентом, а еще лет через восемь-девять профессором. Знал даже, что Вадьку назначат деканом биологического факультета вместо Спандипандуполо, который довольно скоро совсем уже состарится, и если не был в этом назначении уверен бесповоротно, так только по одной причине: может быть, Вадька сразу станет проректором по научной работе.

И, уже зная все это, Коробко послал лаборанта за Вадькой.

Нужно было сегодня же, сейчас же, не откладывая ни минуты, встретиться. Встретиться, чтобы раз и навсегда оговорить отношения между ними. Быть может,

Вадька нагло засмеется и оскорбит научного работника Коробко, оскорбит до глубины души так, что придется уйти из университета, может быть; но раз Вадька здесь, другого выхода нет — только объяснение.

Прислушиваясь к шагам за дверью кафедры, вздрагивая и передвигая палку в узкой щели между столами, Коробко с поражающими его самого подробностями вспомнил, как Вадька, бывало, щелкал себя по лбу указательным пальцем, потом сгибал этот палец в знак вопросительный и спрашивал:

— Ну как, Боб? Твой органон отмечает здесь какое-нибудь шевеление? Отмечает! Тогда фиксируй! Фиксируй — тебе все пригодится! Все, все!

Карабиров, будущий член-корреспондент, приводивший в замешательство весь факультет,— этот Карабиров был ничто по сравнению с Вадькой, с этим презрительным, совершенно мальчишеским, но все понимающим взглядом!

Дверь скрипнула, Коробко почувствовал, что вот сейчас, сию секунду ему предстоит броситься куда-то головой вниз, куда — он и сам не понимал, но уже нет больше времени, чтобы подумать, взглянуть вокруг себя, открыть глаза.

Вернулся лаборант и сказал, что Кузнецов обещал прийти, но не сейчас. Сейчас он сидит на подоконнике, а вокруг него собралась большая толпа студентов.

Еще дважды Коробко посылал лаборанта за Кузнецовым, и Кузнецов обещал прийти и не приходил.

На другой день Коробко явился в университет за час до первого звонка, хотя была пятница, а по пятницам в текущем семестре у него не было занятий со студентами.

Потом он ждал Кузнецова в субботу, в понедельник, во вторник, снова в пятницу...

Стояла осень в начале. Накрапывали дожди. Они смывали желтую листву с деревьев, текли по обнаженным сучьям, по трещиноватой серой коре стволов, по лицам и одноцветной осенней одежде прохожих, шуршали в водосточных трубах, по мостовым и панелям городских улиц.

Погода никогда не действовала на нервы и настроение Боба, никогда прежде ему не случалось почувствовать тоскливые напевы осенних дождей, не замечал он и радостного звона вешних вод. Но теперь впервые в жизни его охватило нетерпеливое желание, чтобы

осень, эта бесконечная, отравленная Вадькой Кузнецовым осень, кончилась как можно скорее, чтобы кончился и ее почти беззвучный и упрямый шелест, чтобы настала наконец зима.

Ему казалось, что с наступлением зимы должна наступить и развязка — должен произойти разговор между ним и Вадькой Кузнецовым.

И зима наступила, и в тот день, когда выпал первый снег, Вадька был зачислен в университет на кафедру гидробиологии, но встреча опять не состоялась.

Коробко ждал теперь конца зимы, потом он ждал лета, снова ждал конца осени. И так много, много лет. Очень много...

Несколько раз в неделю доцент Коробко бывал в гербарии. Вооружившись лупой и определителями растений, он выполнял здесь план своей индивидуальной научно-исследовательской работы, а затем беседовал с хранительницей гербария Поливановой.

Профессор Поливанова, седая дева в пенсне, происходила из очень известной фамилии русских ученых, была ученицей и верной последовательницей академика Комарова и под его руководством, чуть ли не в начале нашего века, основала гербарий. Гербарий этот снискал затем известность во всем мире полнотой представленной в нем флоры и безупречно четким порядком.

Коробко раскланивался с Софьей Германовной, справлялся о здоровье, затем долго и подробно жаловался на собственную одышку, а снова обращаясь к собеседнице, спрашивал ее, как двигается работа.

— Вы, Софья Германовна, вероятно, уже сдали в печать том с «Бобовыми»?

Софья Германовна почти всю сознательную жизнь работала над своим поистине колоссальным трудом «Флора Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока» и на вопрос Коробко ответила с едва приметной удовлетворенной улыбкой:

— «Бобовые» уже в наборе.

— И вы, Софья Германовна, не отметили у остролодочника новых, не известных до сих пор форм? — попрежнему улыбаясь, продолжал спрашивать Коробко.

— Нет... Не отметила. И, как мне кажется, в этом нет никакой необходимости. Не так ли? Ведь уже известно более трехсот форм!

— Да? Конечно, конечно... Как будто и в самом деле ничего особенного. А я утверждаю, что новые формы имеют здесь место. Хотя бы в строении лепестка. И не одна форма, я утверждаю,— не одна! Я открыл еще четыре, до сих пор не известные формы. Хотите, я сейчас докажу вам это на тех самых экземплярах растений, которые вы сами собрали в Сибири? Я знаю, в чем я прав.

— О нет, нет!— горячо возразила Поливанова, наклоняясь к столу и закрывая старческой грудью корректуру очередного тома «Флоры Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока».— Нет, с этим нельзя, невозможно согласиться!— Взгляд ее остановился на зеленоватом с блестками камне, которым она обычно придавливала бумаги. Она подняла этот камень с бумаг, как бы из желания замахнуться им, но не замахнулась, а заговорила медленно и тихо:— Вот! Вы видите — медный колчедан! Не так ли? Я не геолог, но думаю, что содержание меди в колчедане не остается строго постоянным, а колеблется в пределах «от» и «до». Не так ли? Однако же никому не приходит в голову подразделять колчедан на отдельные виды в зависимости от содержания в нем меди! Колчедан остается самим собой. Тем более это нужно понять в приложении к живому растительному, изменяющемуся миру! Не так ли?

Коробко отвел камень вместе с подрагивающей рукой Софьи Германовны в сторону, камень блеснул из своей близкой, но недосягаемой глубины желтоватыми искрами, а Коробко кивнул и продолжил разговор:

— Да... Да... Конечно. Но мои исследования опровергают некоторые окостеневшие взгляды. Точно. Нельзя пренебрегать. Совсем наоборот: нужна диалектика...

— Кроме того,— еще и еще убеждала Софья Германовна, с недоумением и заметной боязнью глядя в добродушное лицо собеседника,— кроме того, я хочу спросить вас,— может быть, вам удалось установить связь между морфологическими различиями и условиями произрастания? Собирая гербарий, вы, может быть, отметили, что одна форма произрастает в степи, другая — в горах; одна — на черноземах, другая — на подзолах? О, тогда действительно я готова с вами согласиться, более того, поблагодарить вас от всей души и взять том «Бобовые» из типографии для переделки и дополнений! Но если это не так? Если различия только случайны,

как случайны бывают, скажем, различия в цвете волос и глаз между родными братьями?

Она слегка приподнялась над стопой корректурных листов, но тут же снова склонилась к ним грудью, а потом, спустя несколько молчаливых секунд, еще и обняла эти листы сухими, морщинистыми и музыкальными руками.

Коробко никогда не собирал гербария, он считал, что эту работу должны выполнять студенты под руководством начинающих ассистентов, к тому же он страдал одышкой и в своей научной деятельности с успехом использовал гербарий, собранный Поливановой. И он ответил на ее взволнованный вопрос благосклонным кивком стриженной под бобрик головы и проговорил:

— Да, да... Конечно, конечно... На первый взгляд ничего особенного, а в действительности...

— Но если мы будем подразделять и подразделять,— совсем тихо, но еще более взволнованно, уже глядя куда-то в сторону от добродушного лица Коробко и лежа грудью на корректуре, говорила Софья Германовна,— только подразделять? Разве мы когда-нибудь охватим все разнообразие природы? Невозможно! Не так ли? Схоластическая цель, хотя внешне она диалектична. Так зачем, зачем же и кому это нужно? Кому? И разве мы сможем тогда представить себе систему растительного мира, систему, которая так нужна и сельскому и лесному хозяйству? Нет, не сможем! Не так ли? Бесконечное, беспредельное подразделение явлений и фактов природы не принесет людям пользы! Никогда!

— Может быть, может быть... А знаете ли, дорогая Софья Германовна, я написал в издательство академии. О результатах своих исследований. О новых, открытых мною формах... Нельзя пренебрегать...

— А я получила на днях извещение — печатание тома «Бобовые» приостановлено...

Молчание длилось, и Коробко пришлось дважды повысить тон, задавая новый вопрос — об эспарцетах.

— Что?— встрепенулась наконец Софья Германовна.— Эспарцеты? У нас имеется целая полка. Много дубликатов. Некоторые собраны лично Владимиром Леонтьевичем (так называла в разговоре покойного академика Комарова Софья Германовна) и отчасти мною. Я очень интересовалась эспарцетами в начале тридцатых годов в связи с организацией в Сибири первых животноводческих совхозов. Это прекрасное кормовое рас-

тение, все достоинства которого мы еще далеко не оценили по заслугам...

— А различия?

— Какие различия?

— Как, по-вашему, могут быть в пределах, ну, скажем, песчаного эспарцета такие различия, которые позволят выделить новые промежуточные формы?

— Различия, вероятно, могут быть. Отчего же? Вероятно, их не может не быть...

— Вот-вот, дорогая Софья Германовна! Вот и я думаю точно так же! И я прошу вас — передайте своим сотрудникам, чтобы подготовили эспарцеты ко вторнику. Не забудьте. Запишите, пожалуйста,— ко вторнику мне эспарцеты. Займусь исследованием!

Коробко сделал несколько шагов и вдруг неожиданно остановился, как человек, забывший сказать еще что-то очень важное. Он оглянулся и посмотрел на Софью Германовну все с той же солидной, добродушной улыбкой, но не сказал ничего.

Не сказал ничего, но про себя вспомнил, как профессор Поливанова принимала когда-то от студента Коробко экзамен: она делала это очень торопливо и как-то безразлично, ее длинные сухие музыкальные пальцы, в которых она держала тоненькую ученическую ручку, подписывая зачетную книжку, и те выражали пренебрежение.

Сейчас в этих пальцах дрожали листы корректуры. А заметив эту дрожь, Коробко промолвил:

— Дорогая Софья Германовна... Да... вот так-то... Будьте здоровы!

И снова не ушел, а остановился около дверей, поставил палку, присел на нее и в этой излюбленной своей позе провел с минуту неподвижно и торжественно, а потом стал поворачиваться на палке и внимательно и строго глядеть вокруг себя.

Поглядел на стеллажи гербария, до самого потолка заполненные коробками, на которых стояли номера и наклеены были снежно-белые этикетки с черным латинским шрифтом. И коробки и этикетки бесконечными правильными рядами уходили в сумрачную даль огромного зала... Потом, чуть наклонившись, заглянул в открытую дверь препараторской — там лаборантки в серых халатах подшивали к серым же листам бумаги растения, привезенные университетскими экспедициями нынешнего года чуть ли не из всех уголков страны.

Внимательно рассмотрел на потолке под люстрой старинную лепку. А снова обратив взгляд на Софью Германовну, заметил, что пальцы ее все еще дрожат, и, почувствовав к Софье Германовне расположение, которого до сих пор у него никогда не было, заговорил вдруг помолодевшим, без обычной глухоты голосом:

— А ведь время-то идет, дорогая Софья Германовна... Идет, идет! Были и мы, представьте, молодыми, не знали забот о научных наших трудах. Да... А время-то идет и ведет нас... И что вы думаете — куда оно привело нас? А? Не догадываетесь?— Он засмеялся, склонил голову к левому плечу и многозначительно произнес: — Шестьдесят, Софья Германовна! Вот-вот стукнет мне шестьдесят! Кажется, ничего особенного? Наоборот, знаменательно! Оч-чень! Юбилей!

«Шестьдесят, шестьдесят, шестьдесят...» — уходя наконец из гербария, задумчиво и как-то вопросительно нашептывал Коробко, будто не совсем доверяя своему собственному шепоту.

И действительно, в том, что доценту Коробко — шестьдесят, была какая-то неожиданность. Уже в студенческие годы он был немолодым человеком, а выглядел еще значительно старше. Зато где-то между сорока и пятьюдесятью он вдруг перестал стариться совершенно и теперь казался гораздо моложе своих лет. Трудно сказать, почему так происходило, вероятно, он был обязан этим пегому, бодрому, аккуратному и неседеющему бобрику на голове и еще той значительности, которая всегда присутствовала в его фигуре.

Он любил значительность, исходившую от него не только в общении с людьми, но и наедине с самим собою.

Нередко раздумывал он о своем жизненном пути, и тогда ему казалось, будто каждый его шаг, каждый поступок что-то такое отражает, чем-то обязательно должен быть знаменит, а если и остался неизвестен людям, так только по какому-то недоразумению.

И, чувствуя себя одним-единственным хранителем своих собственных заслуг и достоинств, он, хотя и страдал одышкой, все-таки охотно позволял переполнявшим его чувствам распирать ему грудь.

Между тем в ученой карьере Коробко отнюдь не было ничего значительного.

Когда ректор составлял годовой отчет о работе университета и писал, что: «Наряду с достижениями у нас

имеются еще серьезные недостатки... Все еще слабо ведут научно-исследовательскую работу и проводят занятия со студентами на недостаточно высоком идейном и научном уровне товарищи...», ничуть не задумываясь, он проставлял далее фамилию «Коробко» и только после этого начинал звонить деканам:

— Кто там у вас подойдет под порицание? Факты? А зафиксированы эти факты в протоколах ученого совета? А общественность подтвердит?

Но вот где-то между пятнадцатым и двадцатым годами своей научной и педагогической деятельности Коробко положил на стол ректора довольно полную, хорошо оформленную, тисненную золотом папку.

Нащупав локтем точку опоры на ректорском столе красного дерева и расчесав пегий бобрик, Коробко сказал:

— Спасибо... Помогаете... Очень помогаете критическими замечаниями... Вот и удалось в меру сил... Диссертация на соискание...— Коробко серьезно и грустно взглянул на ректора.— А как же с кандидатскими экзаменами? Перед вами — не мальчик. Возраст. И вы должны помогать не только критикой. Если бы в высшую аттестационную комиссию просьбу об освобождении? От экзаменов?

В звании доцента аттестационная комиссия Коробко, правда, отказала: у него не было печатных работ. Хотя Коробко всегда выступал с докладами на конференциях, однако случалось обычно так, что доклады его в «Труды» этих конференций не включались, и только в списках, среди перечня лиц, «принимавших участие», значилась его фамилия. И все-таки после защиты диссертации он был уже неоднократно отмечен как «растущий», а имея должность старшего преподавателя и степень кандидата наук, в зарплате приравнивался к доцентам со стажем работы свыше десяти лет.

Видимо, это последнее обстоятельство и побудило Коробко окончательно отказаться от букв «и. о.», и он стал подписываться просто: «Доцент Коробко».

Как доцент он вел теперь самостоятельный курс.

Аудитория, в которой доцент Коробко читал лекции, была вдалеке от кафедры — в противоположном конце коридора, а все простенки были заняты там портретами великих ученых. Несколько ниже портретов висели розовые листы бумаги, одинаково продолговатые, одинакового размера, и через пульверизатор эти листы были

покрыты мельчайшими каплями золотистой и серебряной краски. На розово-серебристо-золотистом фоне черной тушью выписаны цитаты из трудов ученых.

Цитаты были длиннее или короче, и в зависимости от этого мельче или крупнее были прямые, четкие буквы, заполнявшие листы от верхней до нижней кромки.

Время от времени портреты и цитаты исчезали, случалось, что они вновь, уже во второй раз, занимали прежние места, но всегда было известно, что портреты исполнены сыном Коробко — Коробко-младшим, студентом все того же биофака, которого однокурсники звали не по фамилии, а по прозвищу — Бобик, и что рамки, обрамляющие портреты, сделаны лично Коробко-старшим в университетской столярной мастерской.

Обычно портретами занимались в семье Коробко в субботние вечера в начале каждого учебного года.

Коробко-младший расчерчивал на репродукции портрета квадратики размером три на три сантиметра и точно такие же — на чистом листе ватманской бумаги, производил их нумерацию и там и здесь, а затем тщательно копировал все линии портрета из одного квадрата в другой.

По окончании работы репродукции рвали, а на листе с копией создавался фон — тени над головой и плечами. Коробко-старший, даже если в этот творческий вечер он был занят в университете, и тогда старался прийти домой пораньше. В прихожей обычно встречала его жена. Маленькая, состарившаяся гораздо раньше мужа, она помогала ему снять пальто, обмахивала пальто щеткой и вешала в прихожей, палку же, шляпу и большой коричневый портфель Коробко уносил к себе в кабинет.

Пообедав, Коробко усаживался рядом с сыном. Тут и начинался неторопливый разговор.

— Вот был Карабиров. Злой, дерзкий человек. Это факт. А все остальные? — Коробко делал паузу, замолкал, резко пожимал плечами.— Ничего особенного!

Коробко-сын кивал, морщил лоб, вместе они соображали, точно ли перенесена из квадратика в квадратик ломаная линия уха или носа копируемого портрета, потом Коробко-отец продолжал разговор:

— Всегда знать, в чем ты прав. Спандипандуполо — про него еще покойничек Карабиров говорил, что, не

родившись, он уже потерял всякий здравый смысл. Фантазер! И больше ничего. Ничего особенного!

Слова «ничего особенного» произносились по-разному: в адрес Карабирова — со злостью и даже с некоторым волнением, в адрес же Спандипандуполо — презрительно, почти добродушно.

— На факультете спор...— рассказывал Коробко.— В связи с каким-то там от-кры-тием! Все друг на друга... Оскорбления даже. Конечно, нужно проработать, поговорить. Нужно знать, в чем ты прав. А они? Года два пройдет — вылупят друг на друга глаза: кто кого и за что бил? И опять — ничего особенного. Была беседа с Поливановой Софьей Германовной. Я твердо знал, в чем я прав, и она как ни оправдывалась — не оправдалась. Не смогла.

Появился младший сынишка, взглянул на портрет:

— Папочка, это кто?

— Чарлз Дарвин, сынок...

— Папочка, скажите, пожалуйста, что изобрел Чарлз Дарвин?

— Чарлз Дарвин — великий человек, написал книгу «Происхождение видов». Подрастешь — узнаешь... Дойдешь до девятого класса и все, что нужно, узнаешь. Не мешай нам.

Мальчуган ушел, Коробко продолжал размышлять:

— Великий был человек Дарвин, обеспеченный был человек. Родители обеспечили все необходимые условия для научной работы — корабль, дачку. Можно было точно соблюдать режим рабочего дня. Если разобраться — чего особенного? К тому же — антимарксист. Имеются сведения — вернул Марксу книгу с автографом.

За вечерним чаем вся семья внимательно слушала рассказ отца о себе: о его планах, о его трудах. Говорили, что, когда выйдет большой труд Коробко-отца, он обязательно посвятит его сыну, а когда будет опубликована первая работа Коробко-сына, он напишет на ней посвящение отцу. В комнате воцарялось глубоко переживаемое всеми ощущение значительности.

Однако не всегда это ощущение сопутствовало Коробко-старшему, не всегда его воодушевляло...

Вдруг охватывала его беспричинная тревога, начинало казаться, что сильно постаревший, отчасти уже дряхлеющий Спандипандуполо поставит целью перед своей смертью уничтожить его, Коробко.

Такой, какой он есть сейчас, Спандипандуполо ничуть не страшен, но вдруг этот человек потерпит полнейший крах с идеей о значении дождевых червей в почвообразовательном процессе и, отчаявшись, захочет на ком-нибудь выместить свои неудачи? Или, наоборот, Спандипандуполо будет признан во всех без исключения сферах, войдет в силу и ни за что ни про что, между делом, возьмет и уничтожит Коробко?

И Коробко беспокоился и не знал, что лучше: чтобы Спандипандуполо начисто провалился со своими дождевыми червями или чтобы он возвысился с ними, чтобы он скорее умер или чтобы дольше жил?

А профессор Поливанова... Дрожала перед ним, но ведь у нее связи, знакомства.

А Вадим Кузнецов? Вадим Иванович Кузнецов?

В нем действительно не было ничего особенного, никаких странностей, но именно о нем Коробко даже самому себе не мог сказать: «ничего особенного».

Он не мог сказать так о Кузнецове и всегда ждал от этого очень деловитого, очень занятого, слегка прихрамывающего после ранения на войне человека, что тот вдруг вытаращит глаза и громко, при всех, спросит:

— Бобер? Наблюдается ли в твоей черепной коробке шевеление?

Годы шли в ожидании подобного удара, долгие годы.

С пристальным вниманием следил Коробко за этим человеком, за всеми его поступками, за всем тем, чего этот человек достиг и в чем он ошибался, и даже когда Кузнецов отсутствовал в университете — когда он уезжал в экспедицию, когда был в отпуске, когда воевал,— Коробко думал о нем каждый день и каждый день подбирал все новые и новые слова и фразы для разговора, который рано или поздно должен был состояться между ними.

Первоначальный замысел этого разговора, возникший в тот страшный день, когда Вадька Кузнецов сидел на подоконнике, свесив одну и согнув в колене другую ногу, а он, Коробко, сжимал голову обеими руками у себя на кафедре,— тот давний замысел изменился, совсем исчез. Другие слова нужны были теперь Коробко для объяснения с Кузнецовым, но случая для этого объяснения он ждал все с тем же неослабевающим волнением.

Но вот — шестьдесят. Наступил юбилей. Наступил этот случай.

В канун выходного дня после семи часов вечера деканат опустел, а еще немного позже притихли и длинные сумрачные коридоры.

Декан Вадим Иванович Кузнецов, должно быть, один только и бодрствовал в эти часы, составляя переходный учебный план для третьего курса.

Сначала дело как-то не клеилось, потом пошло довольно быстро, а спустя еще некоторое время Кузнецов вдруг подумал о том, что на его памяти ни один выпуск биологического факультета не закончил полного курса без переходных планов. То и дело менялись программы, число часов на каждую дисциплину и сами дисциплины, а значит, менялись и планы.

«Все течет, все изменяется,— подумал со странной какой-то грустью Кузнецов.— Даже планы».

Вынул из стола папку и перебрал письма — из Исландии и Канады, из Норвегии, Дании и Англии, из многих стран.

В тишине огромного университетского корпуса, в одиночестве нынче можно было как-то особенно глубоко почувствовать людей, о которых не имеешь никакого внешнего представления, но которые так же, как и ты сам, видят водоросли полярных морей во сне и так же мечтают об экспедициях в высокие широты.

Сквозь небольшое оконце деканата, которое с улицы было очень похоже на луковицу корешком вверх, а изнутри было просто круглым, проникал вечерний свет, окрашенный множеством красок. Краски, однако, были едва-едва заметны, но все-таки почему-то казалось, будто этот вечерний свет стекался сюда отовсюду, со всей земли — из Заполярья и южных широт, с востока и с запада, и приносил с собою приветствия тех, чьи письма лежали на столе перед Кузнецовым.

Прежде чем снова приняться за составление переходного плана, Кузнецов почему-то вспомнил своего любимого героя — Василия Теркина, закинул руки за спину и, чуть прихрамывая, молча стал ходить из угла в угол.

Скрипнула дверь.

Кузнецов занял свое место за столом.

Вошел доцент Борис Никонович Коробко... В его фигуре сегодня присутствовала особая торжественность.

С этой торжественностью он поклонился, с нею же выразил желание поговорить с деканом и сел сбоку от

стола, в старинное кожаное кресло, в котором сиживал когда-то Карабиров. Не сразу поставил локоть на стол, а когда поставил, заговорил:

— Простите, Вадим Иванович, простите... Понимаю — мне не совсем удобно об этом, но ведь итог! Черта! Некий предел — шестьдесят! И вот чувствуется необходимость...

«Слишком скромно отметили юбилей»,— подумал Кузнецов, подвинул к себе огромный лист переходного учебного плана и сказал:

— Конечно, надо было по-другому, пошире, и приглашения были без портрета, но вот... Вот переходные планы, подготовка к экспедиции будущего года, выпуск трудов. Неотложно, срочно. И к самим себе относимся слишком торопливо. Без должного внимания и понимания. Ну, и еще раз разрешите поздравить!

Кузнецов встал, протянул через угол стола руку и, протягивая, быстро спросил себя: «Лишнее?»

Но его рука была уже в руках Бориса Никоновича... Борис Никонович приподнялся и снова сел, увлекая за собой Кузнецова.

— Поверите ли, Вадим Иванович,— заговорил он,— поверите ли! Сколько лет было намерение — поговорить. Почти тридцать лет! Имел в виду многое сказать... Твердо знал, что сказать, а сейчас... Не надо, ничего не надо, не понадобились те слова. Спасибо! Спасибо вам, дорогой Вадим Иванович!

— Ну, ну, позвольте... Право, вы это напрасно! Больше того, у вас есть причины обижаться на меня. Серьезно обижаться.

— За что? Вадим Иванович, дорогой, за что? Было время — не скрою... Было, было! Помните вопросы о шевелении... прямо скажу — о шевелении мозгов?— Борис Никонович прикоснулся ко лбу.— Помните? Верно, уже забыли? Нет, я не забыл, признаюсь прямо и честно! А когда вы после первой экспедиции вернулись в университет, сидели на подоконнике, на втором этаже, одна нога так, а другая вот этак, и я вас увидел, я подумал...— Борис Никонович отпустил наконец руку Кузнецова, а обе свои руки прижал к вискам. Он сидел так, закрыв глаза, с одной подогнутой и другой выброшенной далеко вперед ногой, и, кажется, впервые в этой его позе не было и признака солидности и тем более не оставалось той торжественности, с которой он

только что вошел в деканат. Снова открыл глаза и, всплеснув руками, глуховато засмеялся:

— Ах, стоит ли вспоминать?! Хорошо, как хорошо, что вы не пришли тогда ко мне на кафедру и разговор не состоялся! По молодости мы такого могли бы наговорить друг другу! Не знаю, как я, но вы бы мне тогда сказали... Ах, зачем об этом думать теперь? К чему? Даже смешно! Не знаю, как вам, а мне... Мне была бы испорчена жизнь в науке, это точно! А потом вдруг вижу — Вадим Кузнецов, который неприлично тыкал в меня пальцем, Кузнецов меня поддерживает!

— Я? Вас? Поддерживаю?!

— Вадим Иванович, не надо! Будьте искренни! В первый раз к Седьмому ноября тысяча девятьсот тридцать шестого года мне была благодарность в приказе по университету. Вы тогда были секретарем партбюро нашего факультета. Я думал, это случайность, и ждал. Ждал, что же дальше? Дальше — благодарность в приказе к Первому мая тысяча девятьсот тридцать девятого года... Иду в канцелярию, разыскиваю подлинник приказа, там, в уголке, виза замдекана. А замдекана — вы!

— Если помните, я за эти годы и критиковал вас. Серьезно критиковал! И даже ставил вопрос...

— А как же без этого? Тем более все знают, мы однокашники, из одного выпуска, из одной учебной группы. Так ведь и я — разве я не критиковал вас? Серьезно? И разве не ставил вопросов? Но ведь когда нужно было сделать исключение для преподавателя с большим стажем и освободить его от кандидатских экзаменов, кто составил бумагу в главк? И по поводу представления в доцентуру — кто составил? А все вот это шестидесятилетие? Кто подписал адрес юбиляру? Вот это ваша благородная рука, Вадим Иванович, это все ее благородное дело. А сейчас вы еще протягиваете мне свою руку!— Борис Никонович привстал в кресле навстречу Кузнецову, а тот прислонился к стене.

— И все-таки я хотел бы сказать вам, и вполне недвусмысленно: вы напрасно благодарите меня, товарищ Коробко. Совершенно напрасно.

— Тогда кого же благодарить? Я много потрудился на благо, верно, так ведь человек-то не может быть один? Один служить, один защищать диссертацию, один писать просьбы в главк? Один я бы в науке ни шагу. А

с вами... Так кого же я должен благодарить? Спандипандуполо я обязан?

Эта мысль показалась Борису Никоновичу настолько странной, даже смешной, что он не счел нужным опровергать ее на словах, а усмехнулся, как усмехаются самым нелепым вещам, и махнул рукой.

— Отчего же?— удивился Кузнецов.— Иван Петрович Спандипандуполо много сделал для факультета, для всех нас. Быть может, нашего факультета и вовсе не существовало, если бы он в свое время не пришел в университет... Вероятно, так...

— Ах, оставьте!

— Нет, отчего же? Иван Петрович — исключительно широко эрудированный ученый. Энциклопедист и притом со своими собственными и весьма оригинальными взглядами.

— Это всерьез?— Борис Никонович пожал плечами, что-то хотел сказать, но только повторил свой жест рукой. Потом кашлянул.— Вы знаете, в чем все дело? Нет? Вот слушайте: если бы я только лет на пять раньше окончил университет, если бы раньше уяснил роль науки, я не встретил бы таких трудностей на своем пути. А тогда я, тогда б мы, Вадим Иванович, да-да, мы — вы и я,— мы бы вместе какого-нибудь там Карабирова...

— Карабиров — не какой-нибудь, а мой глубокоуважаемый учитель. Кстати, и ваш тоже. И автор...

— Знаю, знаю! Трехтомник по биологии пушных промысловых.

— Который будет читаться, по крайней мере, еще сто лет!

— Ничего особенного...

— Карабирова нет, и он не может бросить вам дерзость. Он умер. И умер, как редко умирают академики: в тайге, в охотничьей избушке.

— Мало ли что... Ничего особенного. А я вижу ваше благородство, Вадим Иванович! Ваше, и только ваше! Отнюдь не Спандипандуполо, Карабирова или, скажем, Полнвановой!

— Софья Германовна — героиня! Я не преувеличиваю — чтобы создать труд, какой создала она, нужно быть героем. И только чтобы мешать таким людям, достаточно быть посредственностью!

Борис Никонович вынул расческу в серебряной оправе. Покуда он приводил в порядок строй пегих, не-

седеющих волос на своей голове, лицо его вновь приняло торжественное выражение.

— У нас студенты были. И студентки — наши с вами ученики, наши выпестованные специалисты: Кайгородцев, Пузырькова, Шахонин, Сливкин... Помните? — спросил он в ответ.

Фамилии были Кузнецову как будто знакомы, но какие-то безликие. Обычно, если уж Кузнецов вспоминал фамилию студента или студентки, так тут же возникало перед ним и лицо, но сейчас фамилии были, лиц, обликов не было.

— Нет... Не помню.

— Так и знал. Так и был уверен — не помните. Вы, Вадим Иванович, человек, как бы отвлеченный от реальной действительности, в другие времена вас просто можно было назвать идеалистом. Для вас это — не то. Не те люди, не талантливы, а — наоборот. Между тем, кто же этот Кайгородцев? Кайгородцев Иннокентий Семенович — он член-корреспондент. Хотя и узкоколейной академии, не самой большой, но член-корреспондент ВАСХНИЛ. И обождите — еще неизвестно, чего он достигнет. Еще неизвестно! А Пузырькова? Доктор медицинских. А Шахонин? Работая в системе высшей школы, нельзя не знать Шахонина. Извините за каламбур — система должна знать своих героев. Обязана! Извините! Конечно, все эти люди не открыли законов всемирного тяготения, но кое-какие законы они утверждают. В действии. А к всемирному тяготению ведь и вы, Вадим Иванович, тоже не имеете близкого отношения! Нет — но простого человека обходите вниманием и памятью. Не надо бы этого. За себя лично упрекнуть вас не могу, даже наоборот, но за других, если подходить критически, упрекнуть вас следует. Дружески, благожелательно, но следует. За многих-многих других, да!

Борис Никонович помолчал и заговорил дальше:

— И поймите меня правильно, Вадим Иванович. Я знаю, в чем я прав: я обязан вам. Именно вам. И, как человек, который помнит и родство и добро, в свой юбилей я счел необходимым сказать вам об этом. Без обиняков. Выхожу на пенсию и не мог не поблагодарить.— Коробко помолчал, хотел, должно быть, еще рассказать что-то о себе, но кончил, привстал и улыбнулся.— Вот так, как с вами, дорогой Вадим Иванович, такой разговор у меня впервые в жизни. Больше ни с кем. Поэтому

извините, если выразился не совсем так, как это необходимо. Еще раз — от всей души!

Борис Никонович Коробко ушел — торжественный, строгий, исполнивший наконец свой долг.

Дверь закрылась, стихли шаги в длинном коридоре, а Кузнецов все еще слышал глуховатый голос и видел перед собою белесоватые глаза.

Кузнецов сел, положил обе руки на огромный лист переходного учебного плана и начал внимательно их рассматривать.

Потом опять, прихрамывая, он долго ходил из угла в угол деканата.

1958

БЛИНЫ

Блины горячие хорошо макать в масло. Идут они и со сметанкой. И с вареньем из черной смородины. Идут блины под стопку, идут с утра натощак, не упрямятся и в обед.

Лбов Тихон, главный бухгалтер и член правления колхоза «Сибирский партизан», вот уже сколько дней видел перед собой блин.

Не только видел — ощущал. Вдыхал запах блина — ароматный, густопшеничный. Никогда и нигде на земле не пахнет так пшеница, как в блинах. Чувствовал он блин и в своей большой, когтистой руке — жаркий, будто полуденное солнце в июле месяце, мягкий и даже пушистый, как только что вылупившийся из яйца гусенок. На слух блин тоже давал о себе знать — снятый со сковородки, он долго еще вздыхал, но только уже не громко и сердито, а тихо и ласково, как зажмурившийся кот перед сном.

Цвет у блина золотистый, тоже солнечный и совершенно съедобный. Все, что имеет такой золотистый цвет,— все обязательно должно таять во рту.

На вкус... Ничего не скажешь о том, как ароматный, пшеничный, жаркий, пушистый, вздыхающий и золотистый блин тает под стопку. Ничего не скажешь, потому что нет таких слов, чтобы не только сказать — подумать словами об этом.

Если считать по-старому, шел великий пост, но Лбов Тихон, хотя и соблюдал Михайлов день, Рождество, Пасху, Троицу, к Великому посту относился без всякого сочувствия.

И если произошла задержка с блинами, так все из-за

нового председателя. Новый председатель Пыжиков не давал машины, чтобы съездить в город на мельницу, намолоть настоящей, годной только под блины, крупчатки и еще гречки к ней.

Точный счет председателям в колхозе «Сибирский партизан» велся до десятого колена — не дальше. В более отдаленных временах фигуры председателей как бы уже таяли, маячили, словно тени. Кто-нибудь, случалось, и вспоминал, что вскоре после войны был такой председатель — Колупенков, но кого Колупенков сменил и кто сменил Колупенкова — уже никак нельзя было вспомнить. Даже терпеливое изучение архива правления не приоткрыло бы, наверно, исторической загадки.

Последним председателем, которого сменил Пыжиков, был Калистрат Калистратович Обменяйло-сын. За полгода своего руководства он превзошел всех своих предшественников, в том числе и Обменяйло Калистрата Калистратовича-отца. Превзошел он их всех по графе «кредит». В бухгалтерских книгах колхоза заключительная цифра этой графы достигла при нем шести знаков. Оставалось еще немного потрудиться Обменяйло-сыну, и все шесть восьмерок и девяток этой шестизначной цифры преобразились бы в пузатые нолики, а возглавила бы это шествие нулей седьмая значащая цифра — тощая единичка.

Но не довелось Обменяйло Калистрату Калистратовичу-сыну довести начатое дело до конца, не довелось отметить свой рекорд-миллион по графе «кредит»: пришел Пыжиков.

С его приходом цифры в этой графе поползли вниз, вниз пошло и настроение бухгалтера Лбова, всех братьев Лбовых: родных Тихона, Игната, Алексея, двоюродных Федора, Прохора, Семена.

В Петровке, впрочем, уже давно не различали степеней родства между братьями Лбовыми, знали только, что главный среди них — Лбов Тихон, что живут братья по принципу «чем хуже, тем лучше». Чем хуже шли дела в колхозе, чем больше запутывался в долгах, сделках и попойках очередной председатель, тем больше набирали силы Лбовы, особенно Лбов Тихон. Чем ниже падал трудодень, тем больше лбовской скотины паслось в колхозных посевах и меньше находилось охотников эту скотину выгонять — потрава, нет ли потравы, трудодень все равно ничего не стоил.

И вот тут уж громко и смело звучали речи братьев Лбовых на собраниях — критические, обличительные, миролюбивые, агитационные и хвалебные,— всегда направленные в свою пользу; Лбов Тихон уверенно стучал в конторе костяшками счетов, а кладовщик Лбов Игнат — гирями весов; фуражир Лбов Прохор громче ругался с доярками, чтобы они не бузили, проворнее принимали корм для скота; завптицефабрикой Лбов Федор не только что днем — ночью, радея, проверял тогда теплые гнезда несушек; старший конюх Лбов Алексей чаще ездил в город на базар, и веселее звучал тогда баян в руках Лбова Семена. Лбов Семен — самый младший из братьев — второй год отдыхал в Петровке после заключения, все присматривался, какая работа в колхозе придется ему по вкусу. Старшие братья ублажали Сему, как малое дитя.

Нового председателя Пыжикова братья Лбовы пригласили на крестины. Не пришел.

Приглашали потом на поминки, на свадьбу, на престольного Петра и Павла — в каждой неделе без труда находили братья Лбовы день, чтобы собраться за столом, пригласить гостя. Пыжиков не приходил. И на Седьмое ноября тоже не бывал у них Пыжиков, и на Новый год не заглянул, и в Восьмое марта не поздравил Лбовых жен и дочерей.

Тогда большинством голосов правление постановило продавать председателю продукты из кладовой по базарной цене. Цены эти назначал жене Пыжикова кладовщик Лбов Игнат. Расплачиваясь, вздыхала жена Пыжикова громко, деньги отсчитывала медленно, но сам Пыжиков по-прежнему говорил Лбову Тихону «спасибо», когда тот приглашал его зайти повечерять, и не приходил.

Потом пропало с председательского «Москвича» зажигание. Лбов Тихон сочувствовал, возмущался народом, проживающим в Петровке, сказал доверительно, что есть у него знакомый человек, который не то что зажигание — полного «Москвича» и ЗИЛ может представить в придачу в любой момент. Встретиться же с этим нужным человеком можно хоть сегодня то ли на квартире у Лбова Игната, то ли у него, Тихона.

Не пришел Пыжиков повидаться с нужным человеком.

Потом отказал Лбов Прохор в квартире молоденькой

агрономше. Помыкалась та и поселилась в одном доме с Пыжиковым. Через неделю в районе сделали Пыжикову замечание — зачем, дескать, ты, товарищ, эксплуатируешь чужой труд, используешь агронома как домашнюю работницу? Почему она умывает твоих ребятишек из колхозной фляги? За это ли платит ей колхоз деньги?

Седьмого ноября на столе у братьев Лбовых дымила сытным паром вареная, жареная, тушеная живность двух колхозных дворов; ягушка, весенний приплод свиноматки, гуси, утки. Еще из головы и ножек теленка-годовичка было приготовлено холодное. Центнер сахара был переведен на брагу.

У Пыжикова тоже был праздник, была баранья ножка, купленная в кладовой у Лбова Игната по предпраздничной базарной цене, были гости — эксплуатируемая агрономша, еще двое-трое комсомольцев и две-три солдатки.

Пыжиков спел, сплясал, изобразил в лицах, как жена покупала у Лбова Игната баранью ножку, сказал, что когда-нибудь жена его поедет в солнечную Грузию, на берег Черного моря, отдыхать — заслужила.

Позже показывали Пыжикову в районе сигналы. Сигналисты утверждали, что председатель спаивает молодежь и агронома тоже спаивает, и зоотехника.

И вот уже не бывает больше приглашений председателю Пыжикову от братьев Лбовых и, по всему видно, не будет никогда.

Не будет потому, что запьянствовал на Михайлов день и прогулял неделю Лбов Прохор, фуражир. Большинством в семь голосов против четырех правление освободило Лбова Прохора от обязанности фуражира.

Не будет приглашений Пыжикову к столу братьев Лбовых, потому что большинством в восемь голосов против трех правление колхоза перевело старшего конюха Лбова Алексея в рядовые конюхи: Лбов Алексей лошадей и телегу с колхозной конюшни ссудил на время промартели в городе.

И уже совсем незадолго до Октябрьских праздников в колхозе обнаружена была крупная приписка по молоку.

Зачастили в колхоз комиссии. Районная газета сооб-

щила о вопиющем факте. Девушка-секретарь в приемной председателя райисполкома перестала здороваться с Пыжиковым.

Ночь накануне того дня, когда Пыжикову предложено было явиться в райком и положить на стол партбилет, провел он, не смыкая глаз, в конторе. Ворошил бухгалтерские книги, листы учета надоев, ведомости начисления трудодней дояркам, квитанции маслозавода на сданную продукцию.

Считал на маленькой карманной линейке и на огромных канцелярских счетах.

Часов в пять утра Пыжиков вскочил на ноги, закурил, забегал от дверей к темному окну, от окна к двери. На линейке вышло — приписки нет и быть не может. Было это видно по денежной сумме, полученной за молоко. По бухгалтерским точным книгам получалось наоборот — приписка есть. Еще получалось по этим книгам, что как раз за неделю до годовщины Великой Октябрьской социалистической революции коммунист Пыжиков станет беспартийным, получалось, что Пыжиков жулик, что место ему на скамье подсудимых, что немало слез еще прольет жена Пыжикова, немало проведет она бессонных ночей.

Часов в семь утра в конторе появилась тетя Фенья, уборщица. Молча она подметала контору веником из полыни; полынный запах показался Пыжикову особенно горьким. Сердито он сказал тете Фенье:

— Обождала бы с уборкой...

Тетя Фенья в ответ подняла пыль еще круче, принялась ворчать, что порядка в конторе никогда не будет, ежели не только днем — всю ночь в помещении курят. Потом сказала:

— Все ищешь? Ищешь все... Нет чтобы поглядеть, каким таким манером нетели рекорды по молоку ставят...

Вот где была ошибка: двенадцать нетелей по акту председателя ревизионной комиссии Лбова Прохора были записаны дойными коровами, одни за три месяца, а другие и за полгода по первого отела. Вот и получилось: валовый надой преувеличен, а молока нет и не было в природе.

За эту ошибку бухгалтеру Лбову Тихону правление объявило выговор большинством голосов (при двух воздержавшихся).

Вот с тех-то самых пор никогда больше братья Лбо-

вы и не приглашали председателя Пыжикова погостевать, провести вечер в свойской компании.

С тех пор, собираясь вместе, братья Лбовы чаще и чаще предавались нерадостным воспоминаниям о телке-годовичке, с которого все началось между ними и председателем Пыжиковым, о проклятом телке.

А началось это в первый же день, как Пыжиков приступил к своим обязанностям.

В кукурузе он увидел тогда десятка два разномастных сытых телят и сказал старшему скотнику:

— Что ж ты, папаша, смотришь — на твоих глазах скот травит колхозный посев. Выгони-ка телят поскорее!

— Каких? — спросил скотник.

— Да вон тех, что в кукурузе!

— Это телят-то? Телятушек, значит?

— Ну да, их...

Скотник почесал в затылке, вздохнул:

— Где мне за теми телятушками — разве угнаться. Куды там!

Пыжиков пожал плечами, подозвал случившегося здесь мальчугана:

— Выгони-ка, малый, телят из кукурузы... Да в конюшню их!

— Телят? — спросил мальчишка — так спросил, будто впервые в жизни увидел диковинных зверей.

— Ну да, телят! Не видишь, что ли? — удивился Пыжиков и подумал про себя: «Народ не очень-то, видно, сообразительный в Петровке!»

Мальчишка же погрозил пальцем Пыжикову и сказал:

— Хитрые вы, дяденька... Телята, чать, лбовские...

— Какие?

— Лбовские, говорю. Непонятливые вы или как?

— Ну и что же из того — лбовские?!

— А загоните сами, узна́ете, что из того... — Мальчишка покосился еще раз на Пыжикова, улыбнулся и тут же исчез — как ветром сдуло.

Пыжиков погнал телят сам. Подобрал прут, зашел в кукурузу, хлестнул одного, другого. Телята сначала ткнулись бестолково в разные стороны, потом собрались кучей, пошли. Гнал Пыжиков телят улицей, каждый раз, когда миновал двор кого-нибудь из братьев Лбо-

вых, или тот, из которых братья брали себе жен, или куда они выдавали дочерей, кто-нибудь да выскакивал на дорогу. Телята шарахались, собаки лаяли кругом. Лбовская родня громко комментировала событие:

— Пастух-то, видать, с высшим образованием!

— Сколь же ты себе трудодней начислишь за пастьбу, сердешный?

— Держи красного-то, комолого, за роги — не то ускочит!

И был у Пыжикова только один помощник в этом деле — годовичок, темный, какой-то лошадиной, почти гнедой масти. Помахивая вниз и вверх приплюснутой головой с черным пятном на носу, он шел, не обращая ни малейшего внимания на собак, шел туда, куда гнал его Пыжиков, за ним неохотно, лениво, но все-таки плелись и другие телята.

Когда оставалось всего несколько шагов до распахнутых дверей конюшни, оттуда вышел вдруг Лбов Алексей — старший конюх. Вышел, поглядел на солнце, зевнул, рот прикрыл волосатой, в навозе рукой.

Телята шарахнулись в обе стороны от человека, один несмышленыш угодил в кадушку передними ногами, жалобно мыкнул. Только годовичок как шел, так опять же и ударился вперед, едва не сбив с ног Лбова Алексея, забежал в конюшню.

Лбов Алексей сказал:

— Здрасьте, товарищ новый председатель! Откудова же это телятушек понабежало? Шасть, подлые!

Белобрысый телок в кадушке мыкнул еще жалобнее, провалился ногами глубже. Не отвечая Лбову Алексею, Пыжиков прошел в конюшню, загнал годовичка в боковой тамбур, на двери навесил амбарный замок.

Лбов Алексей сказал:

— Это брата моего, бухгалтера вашего Лбова Тихона, скотина...

Два дня в контору доносились истошные вопли годовичка, два дня Лбов Тихон, бухгалтер, сидя за своим столом против председателя, был весел, смеялся, называл Пыжикова на «ты».

На третий день он сказал:

— Надо бы на правлении обсудить телка-то... Какое взыскание правление наложит, то и будет. По демократии...

Пыжиков заметил, что демократия телку ни к чему, есть закон: за потраву двести рублей штраф.

На третий день утром Лбов Тихон принес двести рублей и стал называть Пыжикова на «вы».

Уже на Михайлов день братья Лбовы доели годовичка, но забыть его не могли никак: все беды шли от той гнедой скотины, казалось им, все напасти.

Надо было выдержать в свое время, не отдавать за потраву штраф, пусть бы тот телок околел в конюшне с голоду, пусть Петровка узнала бы, каков живодер председатель Пыжиков.

Трех телков не пожалели бы братья Лбовы, чтобы повторить все сначала, чтобы не насмехались над ними в Петровке, не напоминали при всяком случае о гнедом черноносом председателевом телке.

Однако история, как известно, не повторяется.

И молча гоняет теперь Лбов Тихон костяшки на счетах, а напротив него нет-нет, заскочив с поля, со скотных дворов, еще откуда-то, усаживается Пыжиков. Усядется, вынет из кармана счетную линейку, двинет планку туда-сюда, поведет стеклышком, подумает, и не успеет Лбов Тихон сообразить, что к чему, как председатель говорит, сколько должен колхоз выручить за рыжик, сколько нужно заплатить МТС, во сколько обошлось на ферме одно куриное яйцо.

Придет кто-нибудь из колхозников, выскажется за посев могара:

— Вот так, председатель, я соображаю, а ты проверь, правильно ли? Потяни-ка!

Пыжиков за планку потянет, кивнет:

— Соображаете правильно... Какие с вашей стороны будут еще предложения?

Молчит Лбов Тихон. Не вмешивается. Не успевает он положить все эти цифры на свои огромные счеты, которые еще отец его в тысяча девятьсот тридцать первом году, не продешевив, продал колхозу.

Считает Лбов на этих счетах, чтобы копейка сошлась с копейкой. А тысячи, десятки, сотни тысяч рублей тянет взад-вперед на своей карманной линейке Пыжиков.

Сидят они мирно, разговаривают, спокойно, вежливо — черный, с лохматыми бровями, с красными подпалинами в небритой бороде Лбов Тихон и невысокого роста, остроглазый председатель Пыжиков.

И только уборщица, тетя Фенья, поглядит-поглядит на них и вздохнет про себя:

— Уж случилось бы что-нибудь...

И вот как раз в ту пору затеяли братья Лбовы блины.

* * *

Пыжиков вбежал в дом бледный, лица на нем нет. Сбросил тужурку, натянул торопливо шубу. Жена подумала — срочно вызвали Пыжикова в район, неприятный разговор ждет его там, а было еще хуже.

Пыжиков крикнул:

— Нож! Нож, спрашиваю, где сапожный?

Жена метнулась от детской кроватки:

— Сашенька, что с тобой? Опомнись! Зачем нож?! Не знаю, где нож! Обо мне подумай, о детях!

А у Пыжикова нож уже в руках, поцарапал по лезвию ногтем — усмехнулся:

— Будут блины нынче у Лбовых! Будут блиночки со сметаной!

Сунул нож в пим на правой ноге и выскочил на улицу. Прохрипел осипшим на морозном воздухе голосом председательский «Москвич», крутнул по деревенским улицам вправо-влево и выскочил на большак.

На большаке Пыжиков и шофер Степан вышли из машины, внимательно стали разглядывать следы на утреннем скрипящем снежке.

Шофер сказал:

— Направо свернули... Значит, в город!

Молча кивнул Пыжиков — согласился с шофером.

Потрепанный ЗИС в это время и в самом деле подъезжал к городу, были уже видны запорошенные снегом с наветренной стороны фабричные трубы, темные, распахнутые настежь вагоны на железнодорожных тупиках. Там и здесь выбегали в степь окраинные городские улочки.

В кузове ЗИСа, подняв воротники тулупов и плотно заклинившись между мешками с зерном, сидели Лбов Тихон, Лбов Алексей, Лбов Игнат и еще пятеро — лбовские племяши и дядья. Разговаривали на морозе не бойко, но и молчать тоже не могли — распахивался воротник то одного, то другого тулупа, из бараньего меха высовывалось лицо то одного, то другого Лбова, реже — кого-нибудь из племяшей и дядьев.

Лбов Тихон, закрыв нос рукавицей, выдыхал на мороз с густым паром:

— Бабы-то, солдатки-то, его теперь живым стерзают! Обстругают до костей, одни мослы останутся! Покажут ему авторитет! — Лбов Тихон хохотнул густо, басовито и быстро спрятался в воротник.

Высунулся Лбов Алексей, бывший старший конюх:

— Валерьянт что надо! На все сто двадцать! И за твой выговор, и за моих кобыл!

Лбов Игнат добавил:

— За телка!

Лбов Тихон повторил:

— За телка! — Потом качнулся в сторону Алексея, чтобы тот лучше слышал. — Вариант — надо говорить! Понял: ва-ри-ант!

Лбов Алексей остался при своем мнении:

— Валерьянт — точнее точного!

Лбов Игнат долго запасал под воротником тепло, наконец и он показался на воздух:

— Вчерась на скотном к ему старуха Спиридоновна: «Ксения, говорит, полухлебница наступает по старому численнику. Той, говорит, половине зимы, что с хлебом, конец приходит, наступит, говорит, бесхлебная половина. До выпаса, говорит, тоже одна голодная треть зимы скотине останется. Так по-старому-то было!» — Лбов Игнат снова запахнулся в тулуп, но Тихон помахал ему рукавицей — вылезай, мол, наружу, досказывай, при чем тут Ксения-полухлебница?

Не так скоро, но Лбов Игнат пояснил:

— От этого и пошел дальше их разговор: он-то ей, что, мол, пора отставку дать этой Ксении, отметить лучше праздник Советской Армии, а она говорит: «Неплохо бы блины в таком случае, все едино посты не блюдем». А он: «Очень, говорит, хорошо — сделаем». А она: «Лбовы, говорит, на помол ехать затеяли». А он: «Лбовы обождут». А она...

Тут Лбов Игнат зазнобил нос, снова спрятался в воротник; его толкнули, чтобы рассказывал все, как было, верно, уже в десятый раз, но все-таки рассказывал во всех подробностях. Лбов Игнат, шоркнув по носу рукавицей, продолжил:

— Она говорит: «Против Лбовых, говорит, не суйся... Сперва им, потом всем остатним». А он предлагает: ежели, мол, как раз наоборот?

— Она?

— «Не выйдет»,— говорит.

— А он?

— «Еще, говорит, как получится! Вот ты и поедешь в первую очередь на мельницу».

— А она?

— Сперва-то не поверила... Потом говорит: «Спробую».

Братья, племяши и дядья все разом распахнули воротники:

— Ну, вот и спробовали солдатки! А мы — едем!

— Пробники, значит!

— Подержали комолого бычка за роги!

На городской мельнице было нынче незавозно: с десяток машин, две или три подводы — и все. Мало нашлось охотников ехать в этакий мороз... Шофер ЗИСа Виталька, тоже из лбовских племяшей, воткнул машину в очередь, помог вылезти из кабины тетке — жене Лбова Тихона. Лбова Тихона жена, едва коснулась одной ногой земли, закричала, чтобы мужики в кузове порасторопнее сгрузили ее кадушку с солеными помидорами, живее отнесли ту кадушку на базар, что тут же, рядом с мельницей, протянулся двумя деревянными навесами, да чтобы бегом сбегали за гирями и весами. У нее был свой расчет: мало помольщиков на мельнице — невелик и подвоз на базар.

Лбов Тихон пошел в парикмахерскую, наказав кликнуть его, если подойдет очередь на помол. Лбовы Игнат и Алексей похлопали рукавицами, поглядели на вывеску: «Буфет № 3 от столовой № 2», не сговариваясь, распахнули дверь под этой вывеской. Племяши и дядья отнесли на базар кадушку с солеными помидорами Лбова Тихона жены, затем потолкались у той же двери под синей вывеской, зашли.

Сказали:

— Здрасьте...

Лбовы Игнат и Алексей уже чувствовали здесь себя хозяевами, ответили:

— Не стесняйтесь... Проходите.

— За свои-то деньги да здороваться?

Племяши и дядья побросали тулупы и шапки на пол, заняли два столика, заказали по кружке пива. Перед Лбовым Алексеем уже стояли две, он сказал, чтобы ему подали еще светленькой двести граммов. С нее он и начал. Опрокинул стакан, похлопал себя по кадыку — все они, братья Лбовы, были кадыкастые.

— Порядок! Будто сам господь бог босиком прошелся в нутре раба своего Алексея Лбова — не побрезговал! — Дунул в пивную пену, в образовавшуюся скважину ткнул пальцем: — Гляньте-кось, ребята, блинок оттедова мигает! К чему бы это?

— К тому, — не растерялся кто-то из племяшей, — что ты, дядя Леша, сам блины будешь есть и нас позовешь!

Лбов Игнат посмотрел на бойкого племяша с укоризной. Лбов же Алексей стукнул кулаком по столу:

— Точно, племяш! Лбовы гуляют — и родня вся гуляй! Лбовы, они такие: ежели ты им хорошо, они для тебя того лучше! Вот так! У меня баба проворная, ежели к полудню управимся с помолом — к вечеру блины будут, что твое солнце! Баба у меня, ежели по совести, — цельный люкс!

Хвалил Лбов Алексей свою бабу и блины, блины и бабу — какие они жирные и жаркие. Покуда не было Лбова Тихона, хвастался, что его баба жирнее тихоновской, и только когда помянул Пыжикова, как-то сразу посинел весь, в кадыке у него что-то булькнуло.

— Поперек жизни встал Пыжиков! Не выйдет!

Подхватили все:

— Не выйдет! Блины будут сегодня печь в Петровке Лбовы, гостей звать — Лбовы. Кто сильнее в Петровке — Лбовы или Пыжиков, каждый увидит, чей авторитет стоит выше, каждому будет ясно! Общее собрание будет — мало найдется охотников выступать против Лбовых! Скорее бы собрание! Дадут жизни на собрании Лбовы Пыжикову! Ходил под Лбовыми не один председатель, и этот походит! По-хо-дит!

Шумели еще, потом услышали — на улице хрипловато прогудел ЗИС.

Виталька накинул полушубок, вышел поглядеть, не зовет ли кто, может, и очередь на помол подошла уже, может, кто из своих сигналит радиатор разогреть?

Обошел машину, глянул туда-сюда — никого нет. И вдруг чья-то рука прочно зажала его руку повыше локтя.

Пыжиков! Он!

— Сядем-ка, Виталий, в кабину...

Сели в кабину. Опять так же тихо, спокойно Пыжиков приказал:

— Включай скорость!

Виталька провел пальцами по вспотевшему лбу, нажал на стартер, потом сказал:

— Ключ в тулупе остался... В буфете. Сию секунду.

— На тулупе карманов не бывает.

— Честное благородное... Сию секунду...

— Подожди. Не торопись...— Левой рукой Пыжиков придержал за локоть Витальку, правой вынул из пима нож, поскреб по лезвию ногтем, и видно было — остался доволен: нож острый, что бритва.

Виталька побледнел, икнул. Поглядел, как улыбнулся Пыжиков, икнул снова, и заметно громче.

— Посиди-ка здесь,— сказал Пыжиков, быстро выскочил из кабины, поставил нож на покрышку переднего левого колеса.— На всех шести скатах лапти твои полетят к черту. Ясно? Пока новые не пришлю — будешь загорать! Неделю на поправку здоровья гарантирую. По краткосрочному прогнозу, завтра сорок три — сорок пять градусов ниже нуля!

Прошло несколько секунд. Пыжиков приподнял руку с ножом — вот-вот ударит в покрышку.

Мотор тяжко вздохнул, заработал...

Пыжиков метнулся в кабину.

Машина рванулась с места, задний борт с грохотом распахнулся, мешки с метками «Л. Т.», «Л. И», «Л. А.» начали торопливо один за другим выпрыгивать из кузова, падали на попа и навзничь, прижимаясь к мерзлой земле.

Первым выскочил из парикмахерской Лбов Тихон; держал он в руках тулуп, на шее у него болталась белоснежная салфетка, одна щека была в мыле. С бритвой в одной руке и с помазком в другой преследовал его тучный парикмахер. Лбов Тихон был поджарее, шаг у него был податливее, парикмахер заметно отставал. Но тут Лбов Тихон наткнулся на мешок с меткой «Л. Т.», закружил вокруг него и только успел взглянуть на Витальку, который в тот самый момент разворачивал машину влево, с площади в переулок.

Еще было видно, как распахнулись двери «Буфета № 3 от столовой № 2» и с порога взяли старт Лбов Игнат и Лбов Алексей, за ними — племяши и дядья.

В переулке стоял «Москвич», рядом с ним — шофер Степан. Пыжиков сказал Витальке:

— Придержи-ка!

Заскрипели тормоза ЗИСа. Виталька услышал, как Степан быстро закинул борт на место, как он хлопнул дверцей «Москвича» и загудел ему сзади: не задерживай, снова давай полный вперед!

Так они и ехали: ЗИС впереди, «Москвич» — по пятам. Чуть только сбавлял скорость Виталька, шустрый «Москвич» сигналил ему сзади простуженным голоском.

Отстал «Москвич» уже на проселке, который расчищали от снега петровские колхозники. Скосив на повороте глаз, Виталька увидел: Степан вышел из машины, разговаривает с людьми.

На следующем левом повороте Виталька снова скосил глаз: Степана уже не было видно — со всех сторон его окружили люди с лопатами.

Однако перед гаражом «Москвич» настиг ЗИС. Пыжиков со Степаном молча и быстро спустили воду из машин, на двери гаража навесили замок, ключ положил в карман Пыжиков.

Когда уходили из гаража, Виталька слышал, как Степан спросил Пыжикова:

— А скажи, председатель, когда воевал на фронте — горячий был в бою?

Пыжиков на мгновение остановился, вспоминая, потом кивнул:

— То ли соображал, то ли чуял... Вот так — гляну из окопа, а там уже любой ориентир с закрытыми глазами найду. Услышал команду раз, помирать буду — повторю... Было так... Помню.

Витальку Пыжиков и Степан не замечали, будто его и вовсе нет на свете рядом с ними. Не ругали его, не корили, не смеялись над ним, и вот это было для парня всего обиднее.

Совсем уже затемно к Лбову Тихону пришли Лбовы Алексей, Игнат, Прохор, Федор, Семен.

Говорили тихо, почти шепотом. В горницу не проходили, сидели на кухне вокруг стола, к поллитровкам и закускам, что были на этом столе, не притрагивались. Семенов баян лежал на лавке около дверей, поблескивая перламутром.

Вопрос обсуждался один: ситуация.

Лбов Игнат предлагал жаловаться на Пыжикова в район. За самоуправство. За издевательство над людь-

ми. За превышение прав. За угрозу холодным оружием Витальке. За нанесение ущерба личному имуществу колхозников.

Лбов Тихон не поддержал предложения:

— Не наделать бы смеха на весь-то район! Смех придушить здесь, в Петровке, а вышел он за околицу — его не остановишь. Может, и так: самим над собой посмеяться... Я, к примеру, согласен,— вздохнул Лбов Тихон,— сам не видел, а вы рассказывайте, как парикмахер хлестал за мной с помазком...

Лбов Тихон хотел улыбнуться — не получилось.

Лбов Алексей, бывший старший конюх, спросил Тихона:

— Ты в деревню по проселку маршировал строевым либо вольно? Я покуда дошел, изгалялись люди — больше некуда. И трудодни начисляли за лошадиную работу — мешок на своей горбушке волок, и на блины набивались. Кому как — с меня хватит.

— Ну и дурак...— пожал плечами Лбов Тихон.— Мне никто ни слова. А почему? Очень просто. Мы с бабой-то и мешок и пустую кадушку закопали в березках под снег, а сами задами, задами — и домой.

— Может, и так — не сподобились мы до твоего ума, Тихон, однако смеяться над собой, зарежь — не будем!

Прохор с Игнатом подтвердили:

— Зарежь — не будем!

Порешили неделю-другую показываться на людях реже, держаться кучно и строго, каждый вечер собираться у Тихона либо у Игната и тушить в окнах свет — пусть каждый видит, что братья Лбовы замышляют что-то, к чему-то готовятся не шутейно.

Будут ждать-ждать — догадываться, что замышляют братья, тем временем блины эти забудутся. Самое главное — чтобы забылось до собрания, а там обязательно будет еще какой-либо случай — кто-нибудь в колхозе нарушит дисциплину или случится злоупотребление. На этот случай и навалятся братья Лбовы в ближайшее собрание, покажут себя с лучшей стороны. А потом... Потом Пыжиков, председатель, увидит, каковы они бывают, братья Лбовы, если кто бесповоротно пошел против них: все, что до сих пор было, было только цветочками!

Братья еще плотнее склонили друг к другу лохматые головы, начали размышлять, что за ягодки уготовят они

председателю Пыжикову. Одна только Семенова голова приподнималась над ними. Скучно, что ли, было Семену — он позевывал, ухмылялся. Ухмылка была у него то безразличной, то ядовитой — принес он такую из заключения.

Вдруг дверь распахнулась, в дом вошла тетка Фенья, уборщица.

— Здорово, граждане мужики! А я думала, в избе нет никого — тихо-то как!

— Здорово! Чего тебе?— спросили братья Лбовы, раздвигаясь на лавках.

Фенья еще огляделась:

— Хозяйки-то нету, видать, дома?

— Нету хозяйки...— ответил Тихон.— Ушла.

— Далече?

— Да уж далече...

— Надолго ли?

— Видать, надолго... Чего тебе?

Тетка Фенья застенчиво улыбнулась, расстегнула телогрейку, повесила ее на крючок у дверей.

— Порядок... Значит, нету хозяйки...

— А тебе-то что?

— Да вот и я говорю — нету, и слава богу. Без ее обойдемся, Тихонушка!

Лбов Тихон, все братья Лбовы поняли тетку Фенью: было время, бухгалтер задерживал ее при себе в конторе, надолго задерживал, покуда с воем и криком не прибегала под окна Тихонова жена. Но было это давно, запамятовалось, тетка Фенья с тех пор заметно постарела, морщины покрыли ее когда-то смешливое лицо. Главное же, стала она тише, молчаливее, и теперь от ее громких слов братья Лбовы поморщились, словно у них разом стрельнуло в ушах. Один только Семен заржал и громко шлепнул себя по коленке.

Между тем тетка Фенья сбросила еще и шаль, села на лавку, поболтала ногой:

— Холоднó на улице-то — спасу нет. Зазнобила вот пальчик!

— Ну ладно!— поднялся Лбов Тихон.— Чего расселась-то? Кто тебя звал? Чего пришла?

— Вы, Тихон Тимофеевич, звали.

— В уме ты?

Тетка Фенья шагнула вперед, ткнула пальцем в лицо Тихона:

— Вы поглядите, братовья, до чего нродовой он,

ваш-то Тихон? Звал, значит, прийти, а теперь корчит: не знаю, дескать, что и к чему!

Братья переглянулись. Семен снова хохотнул. Тихон рявкнул:

— Чего брехать-то! Цыть отсюда!

— А-а-а! Ом-манывать бедную женщину! Уговорит, а потом в кусты! Ирод-то напротив тебя чисто ангел небесный!

Покуда Лбов Тихон собирался крикнуть еще чего-то, тетка Фенья снова села на лавку, постукала ногами в подшитых пимах, внимательно свои пимы разглядела и повторила жалобно:

— Зазнобила пальчик!

Лбов Семен поднялся, подмигнул Тихону:

— Ну дела-то делами, всех не переделаешь. Пора до дому! — И потянулся за шапкой на печь.

— Да уж ты извиняй-ка, Сема, — все еще стукая пимами, сказала тетка Фенья. — Понятливый ты парень, Сема...

Тихон вырвал из рук Семена шапку.

— Сиди, говорю!.. Тоже ведь пойдешь по деревне зубы скалить! У-у, каторжник!

Семен помрачнел, разом стал на десять лет старше, положил руку с синей татуировкой на плечо Тихона:

— А ну, повтори, как сказал? Повтори, говорю!

Вскочил Игнат, встал между Тихоном и Семеном. Семен и его другой рукой взял за грудки, повторил вопрос:

— А ну, как сказал?! Говори, не бойся... Я не таких видывал!

Вскочили со своих мест Федор и Прохор. Затрещала чья-то рубаха, пуговицы стукнулись об пол и покатились одна к дверям, другая под стол. Повозившись, братья оттащили Семена в сторону, он, не торопясь, застегнул на себе ворот, сказал Тихону:

— Тявкаешь, а повторить боишься. Я ведь тоже скажу тебе, кто ты есть сам!

— Кормим тебя второй год... Понимать бы надо...

— И еще десять лет будешь кормить! Пока жив будешь... Не ты за меня — я за тебя срок отбывал!

— Забижают тебя, Сема! — вздохнула тетка Фенья. — Как есть забижают... Коли кормят они тебя, значит, есть за что. Все в Петровке говорят. Об чем разговор!

Тихон бросился к Фенье:

— Твое ли тут дело? Зачем, подлая, пришла? Кто тебя звал? Когда?

— Сам подлый! — взвизгнула тетка Фенья.— Сам и звал! Тоже мне мужик! Притворяется хуже девки! Испугался, трясется, что овечий хвост! А ну, поскули по овечьи-то — бэ-бэ-бэ! Сам звал! Сегодня утрось и звал-то!

— Рехнулась?!

— Мешок мой с пшеничкой-то сбрасывал с машины, а свой грузил, так говорил: «Приходи, тетка Фенья, вечером на блины! Угощу!» Говорил либо нет? То-то! — В наступившей тишине тетка Фенья громко потянула носом.— Ну ладно... Не прячь блины-то... Дух-то от их пшеничный, ядреный. Выбрасывай на стол! Не жалей, говорю, блинов-то! ...А пальчик-то я зазнобила...

Лбов Тихон тяжко вздохнул:

— Чего ты на меня свои глаза-то коровьи вылупила?

Тетка Фенья снова повела плечами:

— А какими же теперь на тебя и глазами-то глядеть, ежели не коровьими? Ты ить сам-то в точности как тот председателев телок, какого он в конюшне заарестовал. Чисто его, телкова, сноровка: моргнешь, потом, значит, вылупишься, моргнешь, обратно вылупишься! Ну что, не веришь? Побожиться? — Тетка Фенья еще ударила пим о пим, выпрямилась, повернулась в угол к иконам и уже замахнулась перекреститься, но вдруг остановилась: — А может, и нет надобности-то божиться? Может, так поверишь?

Лбов Тихон попятился, не оглядываясь, пошарил рукой по столу. Попалась вилка, он перебрал ее когтистыми пальцами, зажал рукоятку.

— Ну, гляди у меня...

Фенья побледнела.

— Кровопийца-а-а! Режь, коли, кровопийца! Это сколь же ты вдовьей крови выхлебал, и все одно тебе мало?! Тебе весь колхоз сладить из вдовых баб, ты бы уже разжился, бухалтёр, озолотился, проклятый, до небес! Тебе председатель все одно какой, лишь бы вдов бессловесных поболе, и жизнь тебе будет — чисто малина?! У-у-у, хад!

Потом вздохнула и еще сказала:

— И зарезалась бы на вилке твоей. Попытала бы еще раз — может, ныне и не прошло бы тебе даром. По-

пытала бы... Но ребятёшки. Ребятёшек жалко, не себя! — Крикнула вдруг громко и пронзительно: — Девоньки! Девоньки, да иде же вы? Входите чё ли — хозяева принимають!

Из темных сеней, щурясь на свет, вошли «девоньки» — бабка Семенихина, вся в морщинах, но подвижная и бойкая, и нерасторопная тетка Спиридониха, та самая, что объяснила председателю насчет ксениева дня — Ксении-полухлебницы.

Бабка Семенихина еще с порога радостно всплеснула руками:

— Здорово, значит, живете, мужики! А мы к вам! По обчественному по делу! Ты им не сказывала, Фенья, про дело-то?

— Нет, не сказывала покамест... Мы тут амуры с Тихоном-то разыгрывали, да Сема вот помешал. Держит брата — не пускает. Бережет брата, не дает ему рядком со мной на скамейку притулиться!

Тетка Спиридониха сокрушенно покачала головой, повздыхала, потом уже вымолвила:

— Младший брат — и над старшим строжится! Да ты как терпишь-то, Тихон?

Тихон промолчал, за него ответила тетка Фенья:

— И не спрашивай, Спиридоновна! У Тихона Тимофеевича и так чашка терпения чуть что не лопнула... Вы там, в сенках-то, поди, слыхали, какой тут в избе шум у их поднялся!

— Известно, — сказала бабка Семенихина. — У Лбовых-братовьев кровь не стареет, кровь в их, можно так сказать, что все в одну игру играет! Значит, братовья в полном сборе! И здоровые? Больных-то нет ли?

— Что ты, старая, мелешь языком? Ну, нет больных, тебе-то что? — спросил от стола Лбов Федор.

— А с этого нам председатель Пыжиков и велел начать — узнайте, мол, бабоньки, все ли они в сборе у Лбова Тихона в дому! Нет ли кого среди их больных!

— Зачем ему? По какому случаю?

— По случаю общего собрания! — ответила тетка Фенья официально. — Наказывал вам прийти в точности, раз здоровые... Блюсти всем порядок, поскольку у вас тут два члена правления! Ну, засиделись мы у вас! Пошли, девоньки!

Тетка Фенья усмехнулась, усмехнулась так, как, бывало, давным-давно, еще девчонкой, вспомнил Лбов Тихон, могла усмехаться она одна: озорно, лукаво.

Женщины вышли. Подхватив за ремень баян, ушел и Семен.

Остальные Лбовы еще долго и неподвижно стояли кучей, слушали, как тетка Фенья и бабка Семенихина громко стучат в ставни соседнего дома:

— На собрание! Всем на собрание! Вопрос разбирать!

Долго еще стояли Лбовы молча и кучно.

1960

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Что случилось у нас в Сибири: как ни осень, так ненастье?! И еще — как ненастье, так хороший урожай!

Утром просыпаешься, в окне — маленькие кусочки синего неба и большая крыша пятиэтажного дома. А еще — тучи торопятся на восток, разорванные, пестрые, фиолетовые и даже коричневые. Это они уходят прочь, и думаешь, что, наверное, день будет без осадков.

Как бы не так: часа два-три — и небо уже серое, неподвижное, тусклое, и во второй половине дня — дождь.

А сегодня не пришлось даже помечтать о ясном и безоблачном дне, о теплом и тихом вечере.

Еще не проснулся, звонят:

— Карпенок, спишь, поди-ка?

Это шеф, завсельхозотделом нашей газеты Павел Исидорович Шебалин.

Он, во-первых, звонил мне вчера вечером, расспрашивал о положении дел в Суетинском районе. Что ему снова понадобилось в такую рань? Во-вторых, почему Карпенок? Не в бабки играем, областную газету делаем! Поедешь в район — для всех ты корреспондент, товарищ Карпекин Федор Семенович, все читали твои материалы на газетных полосах. В редакции же только и слышно: «Карпенка в набор сдали?», «Карпенку правку сделали?», «Карпенок идет ящиком!» В-третьих, я только вчера вернулся из Суетинского района...

— Ты что же, Карпенок — спишь?

— Точно!!

— Что значит новая комната! С телефоном. Жил в частной комнатушке, не знал забот, никто не тревожил!

— Федор Семенович! А комбайны из совхозов Суетинского района перебрасывают в Черемисино... Да? Тебе известно?

— Известно. Ночью эшелон должен быть на месте.

Соображаю: «О Суетке кто-то запрашивает шефа. Вот и все. Сейчас успокоится. Восьмой ряд, одиннадцатое и двенадцатое места... Два билета на «Барабанщицу».

— Так вот, Федор Семенович...

Так вот, через полтора часа я ходил по путям хорошо знакомой мне пригородной станции Первомайка, откуда я совсем недавно переехал в город, в новый дом, и разыскивал эшелон с техникой из Суетинского района. Нашел на восьмом пути. Билеты на «Барабанщицу» тоже были в восьмой ряд. Я отсчитал от головы одиннадцатую платформу, о чем-то подумал и решил взобраться на двенадцатую.

Здесь стояли комбайн-ростовец и трактор-алтаец. В кабине трактора были люди.

Кабина открылась, и кто-то изнутри сказал совершенно спокойно, ничуть не сомневаясь в том, что я должен ехать с эшелоном:

— Товарищ Карпекин, давай сюда! Вот сюда! Скоро ли тронемся?

Наружу торчал довольно крупный нос, выше — козырек синей фуражки, а ниже — губы и часть подбородка с рыжеватой шерсткой. Все остальное было плотно упаковано в кабине.

Я ответил, что и сам бы не прочь узнать, когда тронется экспресс Суетка — Черемисино, поскольку он должен быть на станции назначения двенадцать часов тому назад.

Никто в кабине не обиделся, синий козырек чуть приподнялся, должно быть, его владелец провел рукой по затылку сверху вниз. Тот же голос ответил:

— Семафор открыт... Вроде и гудок был. Только вы заходите с левой стороны и сзади. Удобнее.

В кабине трактора было трое, но один, должно быть, штурвальный, вылез наружу и уступил мне место. Облокотившись о траки, он приготовился слушать, о чем пойдет разговор с новым человеком.

Все тот же голос обратился ко мне:

— Значит, помогать суетинцам! Порядок! Пресса, скажу вам,— сила!

Я же принялся ругать погоду, а тем временем мысленно ругал еще и своего шефа и поглядывал влево: что это за человек сидит в углу кабины и откуда-то знает меня?

Но между этим человеком и мною сидел еще один — полный, с опущенной на плечо головой. Я почему-то сразу решил, что он водитель того самого трактора, в котором мы сидели. Он дремал, заслонив собою большую часть кабины, и я снова видел только крупный нос, синий козырек и невыбритый подбородок человека, разговаривавшего со мной, как со старым знакомым.

Накрапывало. Тучами было затянуто все небо, и все оно медленно-медленно вращалось в ту сторону, куда должен был тронуться наш эшелон.

Я стал смотреть, как вращается небо, снова думать о Шебалине, о «Барабанщице», но вдруг толстяк тракторист вскинул голову:

— Это что же такое? А? Это как же называется? Каким образом?

Я не знал, каким образом это хотел назвать тракторист, но тоже сразу понял, в чем дело: вместо нашего состава с десятого или одиннадцатого пути тронулся другой. Влажные крыши пульманов и теплушек все быстрее ускользали мимо нас на зеленый огонек семафора, нам хорошо их было видно сверху, из кабины.

— Пошли, товарищ Карпекин! Пошли, пошли!— тревожно позвал все тот же голос.

Я не понял еще, куда и зачем должен идти, как перепрыгивал уже через рельсы и подлезал под вагоны, стараясь не отстать от человека в брезентовом плаще и в синей фуражке. Мы бежали все быстрее, и вслед за ним я ворвался в дверь железнодорожной станции, на которой было написано: «Вход посторонним строго воспрещен», и только тут увидел этого человека — он стоял посреди небольшой сумрачной комнаты и обеими руками держал спинку стула. На стуле сидел железнодорожник в новенькой форме и говорил:

— Выйдите, я вам говорю, гражданин! Я вам как человеку говорю: выйдите! Я вам как человеку объясняю: сейчас все составы срочные и сверхсрочные. Выйдите! Вы без расписания, и никто из-за вас график нарушать не будет. Выйдите!

Мой знакомый незнакомец поглядел влево, потом вправо, я подумал, что сейчас железнодорожник со стулом окажется либо в палисаднике с чахлой и мокрой

травкой, либо в темном коридоре с обшарпанными стенами.

Но мой незнакомец только нагнулся резко к столу и спросил:

— Это что такое?

Железнодорожник почувствовал, что останется на своем стуле, и сказал, не поворачиваясь:

— Вам какое дело? Выйдите! Это селектор! Выйдите!

— Пишите, товарищ корреспондент областной газеты, товарищ Карпекин,— вдруг как-то неожиданно спокойно сказал этот человек:— «Сидящий около селектора дежурный станции Первомайка...» Как ваша фамилия?

— Выйдите, гражданин, как человеку говорю,— ответил дежурный, но теперь он уже сам привстал со своего стула...

— «...сидящий около селектора бюрократически ответил представителю Суетинского района...»

Я вынул записную книжку с позолоченным штампом газеты и самопишущую ручку.

— Литературно это мы позже обработаем,— сказал я.— Пока что запишем факты как таковые: «сидя-щий око-ло селектора...»

— Само собой,— подтвердил мой товарищ,— само собой, литературу отложим на после. Вы какой институт кончали?

— Ленинградский государственный университет имени Жданова. Факультет журналистики!.. «Де-журный... бюро-кра-ти-чески ответил...»

— Порядок! А мне копию этой заметочки для транспортного отдела обкома. Можно будет?

— Конечно... «...тически ответил представителю Суетинского района». Как ваша фамилия, товарищ дежурный?

Спустя минут двадцать мы снова сидели в кабине трактора. Под нами потряхивалось сиденье, трактор трясло на платформе, платформу — на стыках железнодорожного пути.

— Вечером будет Черемисино — никак не раньше!— вздыхал представитель Суетинского района.

Я сидел теперь с ним рядом и хорошо видел лицо — смуглое, с неровной кожей на щеках. Нос оказался не таким большим, как я увидел его в первый раз, сбоку, а глаза были чуть раскосые, серые и встревоженные.

Тракторист называл его Николаем Петровичем, но это ничего мне не подсказало — я никак не мог вспомнить человека.

Между тем Николай Петрович нагнулся к моему уху и сказал:

— Пресса! Никому нет охоты под общественное мнение попадать! Помните, вы меня пропечатали за строительство! Я тоже переживал! Струнков тот раз говорил: «Брось! Через две недели быльем зарастет!» Может, для кого заросло, только я лично до сих пор помню!

Знаю, была у меня корреспонденция о неудовлетворительном ходе строительства больничных учреждений в Суетинском районе. В связи с месячником здравоохранения. Знаю, что разговаривал с председателем райисполкома Струнковым — брал материал. А кто в корреспонденции еще упоминался? Под какой такой фамилией назван там вот этот нос? Не знаю, не помню!

И спросить совершенно невозможно. Уже поздно. Надо было позаботиться, когда он меня в первый раз окликнул в Первомайке, когда я садился в эту кабину.

— Вы когда весной тот раз в Суетку приехали,— продолжал Николай Петрович, который теперь, когда я узнал это имя-отчество, стал еще больше мне незнаком,— мы сидели у Стрункова, Струнков мне говорит: «А ну-ка, дай интервью о ходе строительства!» Я говорю: «Больнице центральное отопление дадим, тогда уже». И Струнков сам все положение обсказал. Он интервью умеет давать, очень приспособлен, мы оба после нисколько не сомневались, что все будет хорошо. И вдруг — отрицательный материал в газете! И прямо обо мне — как об ответственном за здравоохранение. Струнков после долго вроде бы удивлялся.

Николай Петрович и еще говорил о больницах, о школах, об РТС, еще вспомнил, как я его пропечатал. Из-за грохота слышалось или он на самом деле неправильно произносил это слово — у него получалось: «припечатал».

Неубранные хлеба надвигались с востока... Кое-где зеленые пятна березовых колков, а вот чем дальше, тем больше хлеб был полеглый. И везде густой, перестоявший и матово блестящий от влаги. Разговор наш прервался, мы молчали.

Состав прибыл на станцию Черемисино под вечер, остановился около платформы, такой короткой и неудобной, что разгружаться мы стали бы здесь до утра.

И опять мы с Николаем Петровичем ходили к начальнику станции, звонили в райком, и только тогда нас расцепили на две части, расставили к двум разгрузкам.

Но все равно очень трудно, медленно двигалось дело, особенно с несамоходными комбайнами.

Николай Петрович бегал от одной платформы к другой, кричал: «Эх, взяли!» — налаживал вместе с комбайнерами и трактористами козлы, а когда порожние платформы отходили в сторону, обязательно осматривал каждую: не забыли ли там чего-нибудь.

Сгруженные машины Николай Петрович расставлял в колонны, которыми они должны были двинуться по совхозам Черемисинского района.

Я и сам не заметил, как тоже стал бегать от платформы к платформе, кричать: «Эх, взяли!», таскать какие-то бревна и только однажды подумал, что время — семь тридцать вечера и сейчас открывается занавес в областном театре, а в восьмом ряду — два свободных места.

Тут вскоре подошел пассажирский поезд, и с подножки вагона соскочил высокий человек в кожаном пальто, в фетровой шляпе. Он торопливо направился к нам. Его-то я узнал сразу: председатель Суетинского райисполкома товарищ Струнков.

Струнков тоже сказал:

— Какой судьбой, товарищ корреспондент? Приветствую, приветствую! Значит, так: мы помогаем отстающим, а вы уже помогаете нам — помогающим! Дело! Мы-то взяли на себя соцобязательство, а вы, пресса, взяли или нет?— Тут же, не дожидаясь ответа, протянул руку Николаю Петровичу:— Докладывай. Как дела? Почему на день опоздали? Нехорошо получилось, нехорошо! Я-то в уверенности, будто наша техника сегодня уже в полную катушку работает!

И Струнков двинулся вдоль платформы, а Николай Петрович пошел-пошел рядом и все время чего-то докладывал.

Они сделали круг, вернулись на прежнее место, Струнков сказал:

— Пойду в райком. Утрясать. Ты мне потом позвонишь.

Николай Петрович кивнул: «Позвоню обязательно» — и тут же позвал меня:

— Пойдемте на связь... Снова слишком ответственное дело начинается! Слишком!

Мы оккупировали кабинет, а точнее — маленькую комнатушку конторы «Заготзерно», которая находилась тут же, на станции. Николай Петрович положил перед собой отпечатанный на машинке листок; в листке указывалось, в какие совхозы и сколько направляется суетинских комбайнов и тракторов. Первым в этом списке был совхоз под названием «Боевой». Николай Петрович и соединился с «Боевым», но телефонистка ответила, что в конторе никого нет.

— Ищи!— ответил Николай Петрович сердито.— Я у тебя контору и не спрашиваю, мне люди нужны: директор, главный агроном, главный инженер. Ищи! Не найдешь, имей в виду: в совхоз не придет техника по причине отсутствия связи! Ясно?

Спустя минут десять уже шел разговор с директором «Боевого».

— Автомашин под наши комбайны сколько дадите?— спрашивал Николай Петрович.— Людей? Горючего? Бочкотары? Имейте в виду — запчастей у нас нет!

Солидный бас на другом конце провода возмутился:

— Собственно, о чем разговор? Есть разнарядка на технику — выполняйте! И так запоздали, вчера должны были приступить к работе! Для вас что — решение обкома необязательно, да? Я вот доведу до сведения...

Николай Петрович закрыл рукой трубку:

— Вот, пресса, тот самый случай.

— Какой?— не понял я.

— Опасный. Ну, ничего, он сейчас по-другому заговорит.— И снова в трубку:— Значит, «Боевой» не готовый нашу технику и людей принять? А когда так...— Николай Петрович скосил глаз на список,— когда так, то совхоз «Белоярский» просит дать ему комбайнов вдвое больше, чем первоначально записано. Дадим! Нам что — мы дадим, нам обком разнарядку по хозяйствам не утверждал, а в целом мы цифру выполним, будь здоров! «Белоярский»— тот, будь здоров, твердо обещает и людей и автомашины! И даже запчастей подбросит!

Когда же Николай Петрович звонил главному агроному Белоярского совхоза — он подробно перечислил все то, что обещал ему «Боевой». Оказывается, много обещал.

Так он вел переговоры со всеми совхозами Черемисинского района, иногда говорил: «Вот здесь присутствует представитель областной газеты, он записывает ваши обязательства перед нами», а еще он выскакивал

к платформе и напутствовал комбайнеров и трактористов:

— Прибудете к месту — требуйте и требуйте! А когда они будут там вилять, хозяева,— ту же минуту сообщайте мне. Требуйте!

Усталые и сердитые, механизаторы отваливали на своих агрегатах от платформы, Николая Петровича будто и не слышали, только отрывисто перекликались между собой, с грохотом выезжая на дорогу, уже всю разбитую колесами и гусеницами, а тот тяжело ступал по грязи и все напутствовал:

— Требуйте! Требуйте!

Я спросил:

— Да что вы так беспокоитесь, Николай Петрович? «Боевой», «Белоярский» — все совхозы заинтересованы, чтобы им оказали помощь, все они...

— Знаю я ихнюю заинтересованность, товарищ корреспондент,— неожиданно прервал меня голос, который я не сразу даже как будто и узнал,— сердитый, точь-в-точь комбайнерский, как будто даже пропитанный горючим и соляркой.— Знаю!— повторил еще раз Николай Петрович.— И не уговаривайте меня, не внушайте, я не в первый раз сталкиваюсь. Черемисинские совхозы заинтересованы — как? Свою технику поберечь, а нашу побить — вот как.

— Ну а ваши комбайнеры, трактористы? Они-то этого не допустят!

— Это почему же?

— Естественно: заинтересованы в сохранении своих машин!

— Опять у вас не та естественность. А они вот как сделают: у кого трактор либо комбайн старый, разбитый — он его здесь до конца постарается разбить. Покуда нету над ним глаза.

— Ну для чего же это?

— Или вы молодой еще специалист? Старую машину добьет — значит, давай ему новую. Он тебя же и укорит: — «Говорил — нельзя посылать в чужой район. Не послушал, послал — получай металлолом заместо самоходки!»

И Николай Петрович продолжал звонить по совхозам, а своим механизаторам неустанно твердил:

— Требуйте! Требуйте! Требуйте!

Из одного совхоза ему ответили:

— Что вы от меня требуете? Я — заместитель! Спрашивайте с начальства!

Тут в первый раз Николай Петрович засмеялся:

— Так я тоже заместитель. Так вот на нас-то, на заместителях, всё и дёржится. Всё и дёржится! — повторил он, громко и звучно, по-сибирски растягивая «ё».

Из трубки еще что-то сказали, теперь — неразборчиво, а Николай Петрович еще веселее ответил:

— Вы что же — завтра доложите своему начальнику, что вы побоялись взять на себя ответственность, оставили совхоз без нашей техники? Так? Не-ет, вы так не доложите! Совсем наоборот. Вот и действуйте, а нет — я тоже начну действовать и уже — против вас! Всё на заместителях дёржится!

И как раз тут позвонил Струнков, спросил:

— Идет дело?

— Идет! Идет, идет, Василий Степанович,— ответил Николай Петрович.— Идет, как надо, не беспокойтесь!

Потом он положил трубку, потянулся, разбросав руки в стороны и вглядываясь в неяркую тень, которая появилась при этом его движении на желтоватой стене комнаты.

— Верно, что на сегодня конец уже виден,— сказал он.— Спасибо за помощь, пресса.

— А что, Струнков — сильный работник? — спросил я между прочим, когда мы вышли из конторы «Заготзерно» и направились в районную гостиницу.

Николай Петрович остановился и отчетливо сказал мне:

— Хороший товарищ! Оч-чень хороший товарищ! — Вздохнул.— Единственно — на продвижение ему не сильно везет. Надо бы уже, давно надо продвинуться, но — обходят его. А надо. Ох, как надо бы!

1961

АНГЕЛЬСКАЯ НОЧЬ

Над заводской печью, огромной, шумной и железной, приподнялась крыша, послышался грохот, послышались удары одной силы о другую, в низкую синеву неба метнулись искры, множество искр, каждая разматывала за собой нить — яркую и тонкую, как лезвие.

Потом нити обрывались, а искры, которые становились свободными и должны были лететь дальше, в высоту, начинали легко, сами по себе, падать вниз и гасли тоже.

Когда печная кровля захлопнулась и внутри печи отшумел гулкий ливень породы, которой печь за свою долгую жизнь была загружена в тысячный или еще в какой-нибудь раз, тишину сразу же заняли журавлиные голоса, шум падающей через плотину воды, продолжительное мычание коровы и тот ничем не объяснимый шелест, который слышен только ранней осенью и только сквозь прозрачные послеполуденные часы. Теперь, на вершине горы, обязательно нужно было остановиться, оглядеться, увидеть в складках между горами улочки, площадь и пожарную каланчу завода, увидеть пруд, отглаженный солнцем, словно утюгом, услышать тишину и все звуки, которыми тишина была наполнена, но мать не остановилась, даже не перевела дыхания.

Мать была молодой, не всегда и не все догадывались, что она уже мать, что мальчик, которого зовут Павликом,— не чужой, а ее сын. А сыну было весело и приятно за эту человеческую недогадливость, он смеялся, и в такие минуты ему нравилась строгость его матери.

В такие минуты он душой понимал ее строгость, хотел ее, и чем строже бывала мать — молодая, с шелковой тугой косынкой на голове, в серо-зеленом пальто, перехваченном очень широким поясом,— тем ему было интереснее жить на свете и любить свою мать, глубоко понимая ее.

Но сегодня мать была строже, чем строгая, она молчала и молча вела Павлика через гору, крепко, как будто навсегда, обхватив его ладонь своей ладонью, а он удивлялся, уставал и устало томился по самому себе взрослому, по мужчине, в которого он так долго не может вырасти, который будет сам по себе ходить дорогами и улицами, широко размахивая руками и останавливаясь, чтобы посмотреть в небо, а потом идти дальше.

Какой нынче порядок в небе? Какое облако плывет за каким, какое отстает, а какое всех перегоняет? Что там делается, в небе, отчего земле часто становится хорошо и уютно? Что там делается, отчего так торопится мать и торопит Павлика?

То и дело спотыкаясь о камни, которые узкая, извилистая дорога выщербила из-под земли, Павлик глядел и глядел в небо и, зная, что мать не хочет отвечать, все-таки спрашивал ее:

— Значит, они там?

— Смотри под ноги, Павлик!— отвечала мать.

— Их не видно, а они все-таки там?

— Некогда, Павлик!

— Ты их когда-нибудь видела? Один раз? Ну, малюсенький раз?!

— Их никто не видел.

— Почему?

— Они — невидимые.

— А кто их родит?

— Никто. Ангелы всегда родятся сами...

Это было особенно интересно, потому что имело к Павлику прямое отношение. Павлик знал, что его родила мама, однако еще больше был уверен, что он тоже родился в основном сам. Другое дело, что матери не совсем приятно говорить кому-нибудь о такой самостоятельности собственного ребенка. Тем более мать не должна говорить об этом Павлику — чтобы он не подумал о себе слишком много и не избаловался.

Но в его понятии только мертвые камни могли не участвовать в собственном рождении, потому они всю

жизнь и мертвые; живые же существа, и особенно люди, когда родятся, то знают, как и ради чего они это делают, не могут не знать, и только на какое-то время забывают свое рождение по недостатку разума.

Когда же человек вырастает, делается умным и взрослым,— для него становится приятным вспоминать свое прошедшее детство, любить и понимать детей, и вот он уже взрослой памятью вспоминает все, без чего дальше не может,— все свое рождение. А тем, кто ничего этого так и не вспомнит, незачем жить, смотреть и слушать вокруг себя, им лучше сделаться мертвыми покойниками и точно так же, как лежат камни, неподвижно и глубоко лежать в земле.

И это тоже было удивительно и приятно, что ангелы родятся совершенно сами, когда захотят, а от удивления возникало множество вопросов.

— Почему они нарисованы, если они невидимые? В церкви? На стенах? И на потолке, на самом верху? Если их никто не видел — кто их нарисовал? Они сами нарисовались, да? Они умеют сами нарисовываться? Если умеют сами родиться?

— Быстрее, сынок!— ответила мать сразу на все вопросы, не то чтобы шлепнув Павлика по голове, но очень твердо к ней прикоснувшись.

Мир был устойчиво тих, в нем, теперь уже почти полностью спрятавшись за горой, негромко шумел только один завод, со всех сторон окруженный безмолвными далями; позванивала, выливаясь из пруда, только одна речка, и слышны были шаги только двух людей — Павлика и его матери.

Все, что было вблизи, замерло и казалось только отражением далей, таким же, как отражение ближних гор в заводском пруду, голубом и солнечном, но и дали тоже были нынче отражением чего-то еще более отдаленного, чем они сами, и так без конца, так что все, что есть,— это лишь рисунок с чего-то другого, бесконечно далекого и самого настоящего. Этот рисунок был нарисован и разукрашен с помощью множества кисточек, больших и маленьких, самых различных, а эти кисточки были не что иное, как солнечные лучи.

Мир был тих, разговорчив, но безмолвен, словно очень интересный рисунок, он был легким и свободным от всего — даже от самого себя, точно так же, как рисунок бывает свободен от предмета, с которого он когда-то был нарисован...

Нужно быть очень высоко, чтобы охватить взглядом не только рисунок, но и тот самый настоящий предмет, и нужно иметь бесконечную зависть к тому, кто живет в такой высоте, что запросто видит и то и другое.

Павлик стал думать о том, что он знает об ангелах.

Два раза мать водила его в церковь, и он знакомился там с ангелами, которые были на стенах и в той глубокой высоте, куда их возносил церковный купол.

Там, наверху, неподвижный сумрак, который был заключен в куполе, рассекался постоянно трепетавшими полосами света, этим светом и этим трепетом внутрь церкви продолжались узкие, перекрытые железными решетками окна, туда было больно смотреть, и было непонятно, каким образом прохладная и сумрачная глубина, очень похожая на глубину пруда или озера, вдруг оказалась над тобой, и вот чтобы вглядеться в нее, приходится запрокидывать голову назад, терпеть боль в затылке и даже в плечах.

Павлик терпел и ждал, что через полосу света сейчас кто-нибудь проплывет, какая-нибудь рыбка, может быть, даже две, плотвичка или окунь, и тогда будет виден чуть красноватый глаз слегка склоненного набок окуня, как это бывает, когда в ясную погоду стоишь на плотине и смотришь вниз, в омут, в который падают и в котором мгновенно стихают вода и солнечный свет, как бы застывая в прозрачный и совсем не твердый лед...

Никто там не плавал вверху, и спустя некоторое время Павлик уже понимал, что никто и не будет плавать, потому что там обитали только неподвижные ангелы.

В изгибах, которые придавал купол ангельским телам, была какая-то загадка, неизвестно какая, можно было видеть и кругленькие кудрявые головки ангелов, и крылышки, которые они показывали так же, как и рыбки, склоняясь на один бок, и голенькие животики, и пухлые, слегка согнутые в коленях ножки, которыми они опирались прямо на воздух, но что-то еще видеть и что-то еще понять в них было никак нельзя...

Гораздо проще были нижние ангелы, нарисованные на прямых стенах. Они тоже имели распущенные

крылья, но полета у них не было, и они существовали только для того, чтобы, бросив на них взгляд, облегчить себе дальнейшее рассмотрение тех, самых верхних, временами уже почти невидимых сквозь высокую глубину парящих ангелов, увидеть их сквозь головокружение и даже тошноту, которые вызывала у человека эта глубина.

Бросить взгляд па стенных, очень доступных и понятных ангелов было то же самое, что, не дослушав сказку, спрашивать, чем она кончится.

Павлик не любил таких вопросов, никогда и никому не задавал их и уходил из церкви, ощущая на себе загадочные взгляды верхних и укоризненные — нижних ангелов.

Дома отец, обедая, спросил не то мать, не то Павлика:

— Были?

Сначала ответила мать.

— Были...— сказала она, наливая в тарелку суп, а потом отодвинула от стола стул, на котором лежала отцовская форменная фуражка с крохотными молоточками крест-накрест.

У отца была привычка — класть рядом с собой свою фуражку, все знали, что это дурная привычка, отец тоже знал и все равно неизменно занимал стул своей фуражкой, очень похожей на гимназическую.

Еще он любил читать за столом, не без удовольствия выслушивая мать и даже Павлика, когда они объясняли ему, что это нехорошо. Согласившись с ними, он продолжал еще внимательнее читать дальше.

Павлик тоже ответил в тот раз отцу:

— Мама была, я тоже был. Мы двое были.

— Ну? И что там?— спросил снова отец, обращаясь только к матери.

— Ничего...

— Понравилось?

— Хор красивый. Людей много.

— Много?

— Когда поют — красиво. И молчат — тоже красиво.

— Ну-ну...— сказал отец.

«Ну,— думал теперь Павлик, как можно быстрее шагая за матерью по каменистой и неровной дороге,— ну, вот, кажется, и все, что я знаю об ангелах...»

От того, что Павлик не знал о них больше ниче-

го и даже ничего больше не мог о них придумать, ему вовсе не казалось, будто он знает о них слишком мало.

Ведь у него было такое множество вопросов к ним: кем они могли быть нарисованы, если их никто не видел; почему их узнают все, если никто их не знает; почему они есть, если их нет? — эти вопросы, этот бесконечный интерес вполне заменяли ему знание.

Неразрешимым вопросом был для него нынче другой: почему мать не хочет говорить с ним и отвечать ему, почему она хранит тайну своей нынешней строгости?

Она шла быстро и ни за что не хотела заметить, как он устал, как истомлен вопросами к ней, как вынужден в ее присутствии оставаться совсем один и тоже один смотреть в огромное небо, такое недоступное для мальчика, который еще не умеет быстро читать книги, потому что буквы не всегда складываются для него в слова.

И ему было стыдно за мать и за себя тоже, он попробовал отнять свою руку от материнской руки, но тут же сильно споткнулся ногой о камень, а мать сжала руку гораздо крепче, чем сжимала прежде.

И в этом одиночестве Павлик увидел крылышко ангела.

Оно махнуло ему с неба, белое, как облако, из-за которого оно показалось, еще белее, гораздо и несравненно белее. Оно было сложено из перьев, но не из округлых и плавных, как у птиц, а только одними прямыми линиями, четко и правильно образующими мелкие зубчики с нижней стороны крыла.

Правильность и четкость линий вызвала сомнение и тревогу, но ненадолго, до тех пор, пока Павлик окончательно не был поражен удивительной белизной крыла, по сравнению с которой все то белое, что он когда-либо видел в своей жизни — белые простыни, белый пух, белый снег, белую кору берез, белую бумагу и даже нынешние белые облака,— все переставало быть по-настоящему белым, а становилось только отражением увиденной в этот миг белизны.

Она была такой, что и синева всего неба становилась синей только благодаря ей.

Была такой, что зелень всех лесов, окутавших горы, была всегда зеленой только потому, что существовала она.

Павлик крикнул кому-то: «Ой!», наверное, матери, и мать сказала:

— Надо смотреть под ноги!

Он снова посмотрел вверх, крыло снова сверкнуло ему, и теперь он почувствовал его белое дуновение.

Кажется, он уже не мог больше молчать, но и мать все еще не хотела говорить.

Торопливая и строгая, она ни слова не хотела сказать ему.

Павлик вздохнул: становилось легче, если вздыхать.

— Устал? — спросила мать.

— Да...— ответил Павлик, и ноги у него задрожали точно так же, как в прошлогоднее лето, когда он, купаясь в пруду, утонул, но не совсем, потому что его спас дядя Василий, толстый и высокий, не совсем родной брат матери.

Теперь было то же самое состояние, только наоборот: тогда он тонул, а потом дрожал; теперь он сначала дрожал, а потом должен был утонуть в синей глубине небесного купола, куда увлекало его яркое притяжение белого крыла.

Он хотел попрощаться с матерью, поцеловать ее, ни о чем больше не спрашивая, простить ей ее ничем не объяснимое молчание, простить ей тайну ее строгости и только после этого в третий раз взглянуть вверх, в небо, чтобы навсегда исчезнуть в нем, чтобы перестать быть Павликом, а сделаться ангелом, которого все знают, но никто не видит.

Но что-то влекло и торопило его так, что ему уже не были важны все эти соображения, и он отверг слово прощания со своей матерью, затаил дыхание и молча посмотрел вверх, уже чувствуя, как согласие исчезнуть за пределы земли навсегда освобождает его от общения со всеми людьми, от множества вопросов к ним, от тайны его матери и даже от своей собственной, только что возникшей, но такой невероятной тайны.

Вверху было небо, были белые облака, но белого крыла там уже не было.

Павлик не поверил этому отсутствию, он только передумал и решил, что, когда крыло все-таки помашет ему в третий раз, он не помчится к нему навстречу, нет, не исчезнет с земли, а покажет его матери — пусть она тоже увидит самую белую в мире белизну, пусть у него этой тайны больше не станет, он готов пожертвовать ее

своей строгой матери. Пусть она тоже узнает его тайну и подумает обо всем так, как уже подумал он. «Пусть будет так!» — сказал он, твердо уговариваясь с кем-то, и, уговорившись, снова посмотрел в небо.

Сопровождая Павлика и его мать по их земной дороге, в небе плыли уже не совсем знакомые облака. Павлик понял, что теперь, а может быть, и никогда, никто не подаст ему с неба третьего знака.

— Ну вот ты и пришел! — сказала Павлику мать.

* * *

Место, на которое его привела мать, было не очень красивым — пологий склон, из которого торчат камни, небольшие деревца, а чаще всего толстые и тонкие пеньки; сразу к этим камням и пенькам выходит синяя стена дремучего леса, мимо камней и пеньков течет речка, и в ней, посредине и по колено в воде, стоит красная корова, небольшая, но взрослая, потому что у нее огромные круглые рога.

Людей здесь не было, но была избушка без изгороди, с кривой и черной трубой, сама тоже кривая и почти черная, с открытой внутрь очень узенькой дверью.

Через эту дверь быстро выскочила и залаяла собака, а чуть спустя медленно вышла и заругалась на собаку горбатая, как в сказке, старуха.

Не поздоровавшись, а только одернув на себе мокрый и грязный передник, старуха сказала матери:

— Вчерась ждала,— и увела мать с собой, обратно в узкую дверь, а собака встала между дверью и Павликом и сердито посмотрела на него.

Собака была большой, пестрой — серое, желтое и опять серое, но это было нисколько не смешно, даже сердито, а вся собачья морда в светлых пятнышках и серых полосках по желтому показалась Павлику нарисованной, нарочно кем-то выдуманной.

Не очень заметно пятясь от этой морды, Павлик опустился на пенек, изрубленный топором по всей поверхности и потому совсем неровный, а собака легла, вытянула вперед пестрые передние ноги, задние подтянула под живот и принялась укладывать свой хвост — сначала с одного бока от себя, потом с другого, а потом вытянула его по земле далеко назад.

Покончив с этим делом, собака сморщила нос и поворчала на Павлика, но скоро раздумала ворчать и закрыла глаза.

Она закрыла их не совсем и не оба глаза, а только один, другой же лишь прищурила и собрала в нем все то недоброе внимание, с которым она почему-то с самого начала отнеслась к Павлику.

Прошло некоторое время, собака поняла, что Павлик не собирается входить в избушку, а Павлик понял, что, пока он сидит на изрубленном пеньке и не шевелится, собака его не тронет,— и к нему вернулась та усталость и все то недоумение, которые он пережил, когда шел сюда.

Теперь он, кажется, знал, что пережил свое несуществование, непохожее, однако, на смерть или на какое-нибудь другое окончание самого себя.

Усталость мешала ему думать о том, что же все-таки он пережил, когда шел сюда — к этой собаке и к этой избушке, и он никак не мог назвать ту загадку, которую ему предстояло разгадывать, и тот вопрос, на который он обязан был ответить, но ответ на этот неизвестный вопрос вовсе не удалялся от Павлика по причине своей неизвестности, наоборот, ответ как раз поэтому и приближался к нему, был совсем рядом. Ответ как бы миновал сам вопрос.

Примерно так же иногда бывало с ним и раньше: отец, а еще толстый дядя Василий, тот, который спас его, когда он тонул в пруду, любили задавать ему загадки и вопросы, а он, еще не поняв и не дослушав все то, о чем его спрашивали, уже отвечал им правильно и без всякой запинки.

Еще одно ничтожное усилие оставалось ему нынче, и он тоже ответит сам себе, все будет ясно, и можно будет жить дальше, жить всегда, до самой старости.

Сил не было, и он успокоил себя мыслью, что совершит это усилие потом, когда-нибудь, например, когда пойдет в гимназию или когда будет взрослым. Впереди у него еще много времени для жизни, а пока можно отдыхать от нынешней усталости.

И он стал снова смотреть на собаку, предполагая, что она, может быть, не очень сердится или же сердится из-за того, что добрая: она хочет Павлику добра, поэтому и не пускает его в узкую дверь избушки, в которой так

ужасно-ужасно темно, и затхло, и низко, и может жить и дышать одна только сказочно-горбатая старуха, да еще очень ненадолго туда может войти Павликова мать.

Дальше ему представилось, будто внутри, в углу этой избушки, находится колодец, наполненный густой, как вода, тьмой, в которую погружается каждый, кто туда войдет: один неглубоко, только по колено, другой — по пояс, третий — с головой, кто насколько может и выдержит, а глубже всех, до самой середины земли, может погрузиться старуха, хозяйка этой странной избы.

Только она может преодолеть столько темноты, глубины и жара, сколько их находится в середине земли.

«А зачем нужно было идти сюда матери?» — задал себе новый вопрос Павлик, но на этот вопрос ответ складывался легко: мать тоже хочет испытать себя, хочет испытать себя и за него, своего сына,— взрослые, особенно матери, многое делают за детей.

И старуха ради этого испытания еще вчера ждала мать, старухе нужно испытание матери, потому что ей хочется, чтобы все побывали там, в той темной глубине, где за свою долгую жизнь, наверное, не один раз побывала она.

«Жаль, что мать не видела неба, когда там два раза мелькало белое крыло,— размышлял Павлик.— Если бы видела, они вернулись бы с дороги домой, не заходя к старухе... Вернее всего, ангел хотел показать своим крылом, что матери, а тем более Павлику, совсем необязательно проходить через это испытание. Кажется,— думал он еще дальше,— сейчас выдумывается какая-то сказка, в которой участвую я сам. Это странно, потому что сказки всегда складываются о других, а не о себе. Ведь сказки всегда складываются о каких-нибудь ненастоящих людях?..» И Павлик пощупал самого себя: свою голову на макушке и правое ухо.

Уже в том, что именно сегодня и после того, как Павлик увидел в небе белое крыло, мать привела его сюда — к этой собаке, к этой старухе и к этой избушке,— было гораздо больше ненастоящего, чем его бывает в настоящей сказке.

...Когда они с матерью уходили домой, их провожала старуха, но провожала не навсегда, и Павлик понял, что мать еще приведет его к этой избушке. Может быть, она сделает это очень скоро.

Мать этого не хочет, старуха, кажется, тоже, собака не хочет этого совсем, и все-таки они снова будут здесь все вместе.

Павлику стало скучно, стало грустно, однако он уже знал, что взрослые часто делают то, что не нравится даже им самим.

* * *

Два дня, которые Павлик прожил после того, как вернулся домой из своего далекого-далекого путешествия, составляли как бы уже другую жизнь — загадочную и томительную, ничем не похожую на прежнюю.

Может быть, даже эти два дня отличались от всех вообще дней, прожитых когда-либо на земле людьми и всеми другими существами...

Теперь дни только снаружи состояли из утра, полудня и вечера, из часов, из половинок и четвертинок часа, на самом же деле время уже не значило ничего, кроме надежды и ожидания, которыми оно было заполнено изнутри, из самой своей недоступной середины.

Ведь все, что случается, может повториться?

Ведь все, что случается — случается ради своего повторения? Даже если для этого нужно ждать нового сотворения мира?

Павлик об этом, должно быть, знал, догадывался и ждал с той скрытой от чужих глаз и от самого себя надеждой и терпением, которые убеждены, что через час, через день, через неделю терпеть уже будет не нужно, о терпении можно будет забыть навсегда.

И вместо того чтобы помогать матери поливать огород, Павлик выходил на улицу, садился на скамеечку у ворот своего дома, как будто для того, чтобы поиграть черемуховой палочкой и поглазеть на прохожих, на самом же деле он вслушивался во все, о чем говорили прохожие.

Он хотел узнать, видел ли еще кто-нибудь из прохожих белое крыло, которое махнуло на землю два раза и не махнуло в третий раз?

Подозревая кого-нибудь в таком свидетельстве, Павлик прижимался к скамейке и к забору настолько сильно, что становилось очень трудно дышать, становилось страшно: он ведь не знал, что ему нужно будет сделать

после того, как он услышит долгожданные слова о белом ангельском крыле не от себя, а от кого-то другого,— броситься к этому другому, обнять его и радостно заплакать или испугаться, убежать прочь куда-нибудь, потому что в тот роковой миг он уже перестанет обладать всем, чем он обладал теперь один, только один на свете, испытывая непрерывную жадность к этому тайному обладанию.

Он знал, что знаки, поданные ему с неба, невероятны, но невероятны только потому, что он ожидал их всю свою жизнь: он жил еще мало, еще не успел привыкнуть к тайне существования людей, существования того человека, которым был он, и ожидание чьих-то слов или чьих-то знаков, которые все объяснят ему, было для него подлинным и живым смыслом его жизни, хотя он и не смог бы сказать обо всем этом ни себе, ни матери — никому. Давным-давно известными словами прохожие говорили друг с другом совсем о другом: о войне и о том, какие цены на базаре; сколько Павлик себя помнил, ни о чем они не говорили так часто, и теперь снова можно было понять, что никому из прохожих попрежнему не было известно самое большое событие, которое произошло два дня назад, что все прохожие ошибаются, интересуясь совсем не тем, чем в действительности должны были интересоваться.

Конечно, война, о которой говорят с каждым днем все настойчивее, все громче и все с большим страхом, о которой говорит даже мать, хотя она никогда и ничего не боится,— война с каждым днем становится все ближе к заводу, и это страшно! Но ведь все страшное имеет одну слабость: все страшное непонятно. Нужно понять страшное, понять страх, и его не будет. Темнота в комнате перестает быть страшной, если ее понять, если представить комнату без темноты. Нелегко понять всё непонятное, но, должно быть, как раз о том, как это сделать, и хотели сказать небесные знаки?

Прохожие шли то в одну, то в другую сторону, как только они миновали Павлика, лица у них стирались, и без лиц прохожие теряли даже свою походку, приобретая почти полное сходство с тенями. Не оставляя в его памяти никакого следа, они исчезали в других, общих для всех и по-облачному огромных тенях, которые в эти дни неподвижно установились и в том и в другом конце короткого переулка, Павлик же снова начинал играть черемуховой палочкой.

Мимо Павликова дома часто шли лошади, они везли древесный уголь, пахнущий дымом и похожий на спрессованный в мелкие кусочки дым, везли его на завод, и там люди, грохоча, сбрасывали его в заводскую печь, сжигали и выбрасывали обратно, в небо, уже совсем жидким и малозаметным дымком. И вот ради всего этого лошади двигали сквозь переулок большие грязные короба и смотрели перед собой выпуклыми, удивленными и тоже слегка дымящимися глазами.

Павлик подумал, что в лошадиных глазах вполне могли отразиться знаки небесного крыла. Он стал выходить на дорогу и заглядывать в глаза лошадей.

В них действительно отражалось небо, даже более явственно, чем земля, но все равно лошади, как и люди, тоже не знали ни о чем.

Когда Павлик оставался один в своей комнатушке, отгороженной от кухни картонной перегородкой, он прислонялся к дверному косяку, на котором карандашами разного цвета и разной толщины делались отметки его роста: каким он был, когда был совсем еще маленьким, и какой он есть сейчас, еще не совсем большой, но уже и не маленький.

Ему казалось, что в то время, которое он проводил на улице, заглядывая в человеческие и лошадиные глаза, он должен был сильно вырасти, однако же кусочек зеркала, который он держал в руках, чтобы видеть одновременно и карандашную отметку на косяке, и свою почти что круглую макушку с растрепанными в разные стороны светлыми волосами, показывал, что он не вырос нисколько.

Он вглядывался в собственные глаза — зеленоватые и серенькие, материнские — и допытывался — не обманывают ли они его?

Так и не поверив им, он прикладывал к макушке и к косяку потную ладонь, а потом выскальзывал из-под нее и смотрел со стороны, но ладонь опять показывала, что он не вырос. Ему становилось страшно: вдруг он так и не вырастет, а останется на всю жизнь маленьким мальчиком, так и не вспомнит, для чего он родился? Так и умрет, не вспомнив этого? Даже не поняв тех небесных знаков, которые он видел?

А тогда, наперекор всему, Павлик заставлял себя чувствовать, какая идет в нем жизнь, как делает она взрослого мужчину из маленького мальчика, начинал стыдиться своей детской растроганности, которая охва-

тила его, когда с неба ему два раза махнуло ангельское крыло.

Надо было быть построже с этими ангелами, не удивляться их знакам, а требовательно призвать к себе и выяснить все, что нужно.

Потом он засыпал, раздумывая, что если день не принес ему ничего, так, может быть, ночью он как раз и встретится с ангелами?

Кажется, он где-то слыхал, что так бывает.

* * *

Ангелов было двое.

Они осторожно приоткрыли дверь и вошли — сначала один, потом другой.

Полагая, что Павлик ничего не видит во сне, они быстренько примерились к отметкам на дверном косяке.

Они оказались почти одинакового роста, оба маленькие, меньше самого маленького Павлика, которым он был, когда отец поставил перегородку, навесил дверь и, сделав на дверном косяке первую отметку, поселил здесь Павлика, а комнату назвал картонной.

Померившись, один из ангелов подошел к изголовью Павликовой кровати, молча постоял и сказал:

— Спит...

— Придется подождать...— вздохнул его друг.— Ведь он ждал нас очень долго, а теперь наша очередь.

Оба ангела, тесно прижавшись друг к другу, уселись на стул и начали ровно и спокойно дышать, а Павлик, чувствуя ангельски-теплое дыхание, стал их рассматривать сквозь прищуренные глаза.

Это были голопузенькие и толстопузенькие ангелочки с синими кругленькими глазками, в которых Павлик не заметил много ума или строгости, они сидели тихо, без всяких шалостей и, кажется, даже без той тоски, которую вызывает всякое ожидание.

Очень скоро Павлик ощутил свое превосходство над ними, у него было гораздо больше мускулов, чем у них, и ума тоже больше.

Павлику сделалось приятно, и он сказал, не торопясь и потянувшись в кровати, как взрослый:

— Здравствуйте, детки! Который нынче час?

— Здравствуй, Павлик!— ответили ему ангелы и дружно соскочили со стула на пол, но насчет часа оба

промолчали — наверно, нетвердо знали, как нужно ответить на вопрос.

— Значит, прилетели?

— Прилетели! — подтвердили ангелы.

— Это хорошо, потому что у меня есть к вам дело...— И Павлик рассказал ангелам все и подробно о том, как неизвестно зачем он шел с матерью в избушку к горбатой, словно в сказке, старухе и как с неба ему махнуло белое, белее всего на свете ангельское крыло. Махнуло два раза, а в третий — нет.— Я предполагаю,— сказал Павлик серьезно, как взрослый,— это кто-нибудь из ангелов предупреждал, что матери незачем было вести меня в избушку горбатой старухи, а гораздо лучше оставаться дома и поливать огород... А может, это кто-нибудь из вас просто так баловался в небе? — спросил еще Павлик.

— Может, ты? — спросил один ангел у другого.

— А может, ты? — спросил тот у первого.

— Не-ет,— ответил первый,— у меня с того понедельника кашель был, и я дома сидел, меня никуда из дому не выпускали. Нынче в первый раз вылетел... Да у нас с тобой и крылышки-то не очень уж белые!

И ангелы, как по команде, распустили свои крылышки, которые в сложенном состоянии прятались за пухлыми плечиками.

Крылышки и в самом деле если уж не были темными, то и белыми тоже не были, по цвету они скорее напоминали тот серый картон, которым Павликова комната отгораживалась от кухни.

— Кто же это мог быть? — рассуждали ангелы между собой, покуда Павлик с интересом продолжал рассматривать и ощупывать их мягкие, почти гусиные крылышки.— Может, это был Петюнька Хроменький? Или Андриашка? Или Санька Пупок? Или Бориска? Вернее всего — Бориска! — Они еще довольно долго перебирали имена своих сверстников, но в конце концов оба сошлись на том, что это был Бориска, и решили ему погудеть...

— Пожалуй, погуди ты! — сказал первый ангел второму.— А то у меня трубы нету. У меня долгое время кашель был, я охрип и оставил трубу дома. После кашля она мне все равно ни к чему.

— Ты вечно такой! — ответил второй ангел первому.— Ну, ладно, так и быть, погужу.— И второй ангел

потянул рукой за цепочку, которая была у него на шее, вытянул из-за своей спины серебряную трубу, откашлялся и загудел.

Несмотря на то, что у Павлика не было крыльев и потому он совсем не мог летать, ему все равно захотелось прилететь на звук трубы — сильный и певучий, серебряно-ясный. Ему так хотелось прилететь, что в нем просыпалась какая-то неведомая прежде способность летать. Сначала едва шевельнувшись, эта способность спустя некоторое время уже не оставляла в себе никаких сомнений. Однако лететь было некуда — ангел трубил совсем рядом, и Павлик пожалел, что между ним и трубящим ангелом нет расстояния.

Однако ангел Бориска, вероятно, отлетел нынче в такие неведомые дали, что не слышал даже этого призыва и не появлялся.

Павлик не был от этого очень расстроен, так как с удивлением и восторгом воспринимал трубную музыку и стыдился того чувства собственного превосходства, которое он испытал в первые минуты появления ангелов в картонной комнате: все-таки они были возвышенными, небесными и даже необыкновенными существами, если совсем запросто могли создавать такое звучание.

Однако спустя еще какое-то время, поборов в себе стыд и чувство некоторого унижения, он протянул руку к трубящему ангелу и сказал:

— Теперь — я!

Ангел отвел трубу в сторону, оторвал от нее губы и ответил:

— Не полагается!

Его друг тоже сказал, что Павлику не полагается, но не так резко, а с некоторыми пояснениями:

— Знаешь, какая это получается музыка? — спросил он у Павлика.— Ангельская музыка! Небесная! У тебя, земного жителя, она все равно не получится!

— Теперь — я! — подтвердил Павлик свое желание.

— Она у нас-то и то не всегда получается,— снова стал объяснять тот ангел, который был без трубы.— Это только нынче так хорошо получается. Знаешь почему?

— Почему?

— Потому что сегодня — ангельская ночь!

— Теперь — я! — сказал Павлик, а тот ангел, кото-

рый был с пустыми руками, развел этими руками и вздохнул:

— Ну, если бы я взял свою трубу с собой, я, так и быть, дал бы тебе дунуть один раз. Но только один. И у тебя сразу ничего бы не получилось.

— Теперь — я! — снова сказал Павлик, окончательно преодолевая чувство стыда и неловкости и сознавая, что не сможет дальше жить, если сейчас же, сию минуту, не погудит.

— Ты и матери, поди-ка, не слушаешься? — угрюмо сказал тот ангел, который был с трубой.

— Слушаюсь! А поиграю — вовсе буду послушный, всегда, всю жизнь буду!

— Ну, конечно! — сказал тот же ангел, плотнее сжимая в руках трубу. — Все вы одинаковые — сегодня обещаетесь, а завтра посмотришь оттуда, сверху, — отцы вам уже штаны спускают. Для науки!

— Про моего отца все соседи, и дядя Вася, и мать говорят, что он мухи не обидит! — горячо стал убеждать упрямого ангела Павлик. — Мой отец — на заводе мастер, а дома он молчит и книги читает, больше ничего. Редко-редко когда чего-нибудь... А я у него один.

— Тем более если один! Отец тебе потакает, мать — женщина, значит, больше тебя любит, чем учит. Матери вообще не очень умеют со своими мальчишками заниматься!

— Моя — умеет! Моя мать учительница, у нее много было мальчиков, а я у нее родился — она стала мной одним заниматься! Теперь — я!

Не совсем было приятно вдруг рассказывать о своих родителях, но Павлик пренебрег и этой неловкостью. Он готов был пренебречь бог знает чем, только бы поиграть на трубе.

— Дай ему! — неожиданно сказал ангел, который был без трубы, своему другу. — Как-никак, а все-таки сегодня ангельская ночь, и нам нужно быть совсем добрыми!

— Не полагается! — все еще упрямился ангел с трубой.

— А вдруг он будет трубачом? — спросил тогда у своего друга ангел без трубы. — Вдруг из него на всю жизнь трубач получится? А?

Павлик горячо подтвердил догадку, высказанную о нем, отчетливо понимая, что наступил самый последний и самый решительный момент спора:

— Я буду трубачом! Всю жизнь! Даю честное слово! — говорил он в отчаянии и надежде.

— Перекрестись! — потребовал ангел с трубой.

Павлик торопливо перекрестился, оба ангела тяжело вздохнули, а один покраснел и сказал:

— Он снова перекрестился! Перекрестись снова, Павлик!

— Тебе что — тебе-то хорошо меня уговаривать, когда ты свой инструмент дома оставил,— говорил своему товарищу ангел с трубой.— Ты — добрый, добрый, а хитрый! А ты погляди на его крещение!

— Вот тебе святой крест! — истово крестился Павлик вздрагивающей рукой.— Святой крест — буду трубачом!

И почти в тот же миг Павлик, прильнув губами к трубе, прохладной и сияющей, как небо, узнал, что такое небесная музыка, не сразу догадавшись, что это он создает ее.

Слушая себя, он быстро-быстро думал, что теперь-то ангел Бориска из любого далека непременно тоже услышит его, прилетит и объяснит всю тайну, которую он хотел передать ему двумя взмахами белого крыла, но даже не это было сейчас самым главным — самым главным была сейчас музыка, которую он так неуемно создавал.

Снова и с новой силой чувство превосходства над ангелами овладело Павликом, он понял, что ангелы были не сами по себе,— они владели и умели владеть серебряными трубами. Но ведь он тоже умел! Умел даже лучше, чем они!

«Бог с ними, со всеми знаками, которые подавал мне с неба ангел Бориска,— думал он,— только бы мне трубить! Трубить и трубить!»

И должно быть, ангелы поняли все, что происходило сейчас с Павликом, они сидели, тесно прижавшись друг к другу, на стуле и молча, удивленно, восхищенно и еще как-то смотрели на Павлика.

Наконец тот ангел, который все-таки дал Павлику поиграть на своей трубе, сделал ему робкий знак — на мгновение замолкнуть и, когда он замолк, спросил:

— Будешь у нас главным, ладно?

— Ладно! — торопливо кивнул Павлик.— Буду! — И заиграл снова.

* * *

Очень строгим голосом кто-то говорил:

— Быстро, быстро!

Говорила мать. Павлик узнал ее, но не сразу узнал человека, который сидел у него в изголовье на стуле, там, где только что сидели ангелы.

Этот человек был почему-то в меховой шапке, в теплой куртке и с ружьем за плечами.

Это был отец, свет лампы падал на него с непривычной стороны — снизу, потому что лампа стояла на полу, освещая картонную комнату так, как она никогда еще не была освещена.

Павлик хотел спросить у отца, что произошло, куда исчезло одно и откуда появилось все это — другое, но отец склонился к нему и закрыл его губы своими губами.

Потом он встал, опять-таки без поцелуя поцеловал мать и очень громко сказал в кухню:

— Готовы?

— Василия нету! — ответил чей-то чужой голос, и Павлик узнал, что в кухне много людей, что люди там тоже одеты в зимние шапки и в теплые куртки, что за плечами у них ружья и что его отец — старший над ними.

— Он во дворе, Василий,— ответил отец чужому голосу.— Он там гранаты заправляет.

И отец ушел, а вместо него у кровати встала мать и начала говорить слова, к которым Павлик уже привык за последние дни:

— Быстрее, Павлик! Быстрее, быстрее!

Павлик же не мог быстрее, потому что изо всех сил прислушивался к словам, которые доносились к нему сквозь перегородку:

— Ты своих, значит, эвакуируешь?

— Считаешь, лучше?..

— В лес, либо?..

Спрашивали разные голоса, спрашивали о судьбе Павлика и его матери, а один голос, отцовский, ответил всем сразу:

— Да!

Но тут же, почти в тот же миг, голоса снова обратились к отцу:

— Надежнее?

— Лучше или...

— А я-то своих...

— У меня — мать и ребятишки. Трое... Не знаю, где лучше, здесь или?..

— Не знаю,— опять всем сразу сказал отец.— Не знаю, не знаю! Жена так решила — уйти отсюда. Спрятаться. Может, ей и виднее.

Кто-то громко зашептал:

— Мы тоже не поглядим... Им тоже сообщено — в нашей тюрьме ихних семнадцать человек имеется. Шестеро офицеров и еще разные!

— А что поделаешь?— снова сказал для всех отец.— Ничего другого не поделаешь. Если они с нашими что сделают, значит...

Мать втискивала Павлика в штанишки, а он уже и сам торопился, уже сам знал, что так надо, потому что к заводу подходят белые со своими офицерами, а все заводские будут воевать с ними, а женщины и дети, которые не будут воевать, будут прятаться от войны.

Павлик прислушался: гул, похожий на заводской, и все-таки не он, а военный, пушечный, звучал где-то в горах, а по соседней улице кто-то верхом промчался на войну, а кто-то где-то, совсем недалеко, громко крикнул, побоявшись войны.

Павлик не боялся.

Раздался гудок заводской трубы — незнакомый в ночи, потому что он всегда был только дневным и утренним, сильный и тревожный, готовый заглушить все, всякие звуки, всякие трубы, хотя бы и серебряные, всякие голоса.

Мать глубоко вздохнула, чтобы не бояться, и подхватила на руки какой-то узел, а Павлик по-прежнему дышал ровно и спокойно.

В кухне послышались неровные шаги, много шагов — и все неровные, послышалось покашливание, позвякивание железа о дерево и еще обо что-то, люди быстро вышли в наружную дверь, стало тихо, и Павлик тоже приготовился идти в ночь, идти через гору, в избушку горбатой старухи, и прятаться в темной глубине, и бояться собаку с нарисованной мордой, и слушать — не залает ли собака на людей, от которых они — мать и сын, тоже люди — изо всех сил будут прятаться.

Павлик вспомнил, что обещал ангелам сделаться трубачом, сделаться главным над ними, но, странно, никакой тяжести этих обещаний он не испытал.

Ему было легко сейчас.

Через минуту он вложит свою ладонь в строгую, взрослую и умную ладонь матери, и пусть мать ведет его в избушку старой старухи, пусть ведет куда хочет и куда знает. Может быть, ангельское крыло и предупреждало, что им не надо идти туда, а лучше оставаться дома и поливать огород,— но все равно, мать лучше знает, что надо делать, как поступить...

Павлик почувствовал, что он повзрослел сию минуту, а повзрослев, понял, что он совсем еще маленький мальчик.

1972

КОРОВИЙ ВЕК

Продолжительность жизни
крупного рогатого скота
около двадцати лет.

Большая Советская Энциклопедия

Было тепло... Тепло было коже, и кожа впадала в спокойствие, ей не надо было скрывать и беречь все то, что было под нею, ни от холода, ни от жары, ни от ветра, ни от чего, и она сначала расслабилась, переставая замечать самое себя, лениво пропуская сквозь себя два почти одинаковых тепла: одно шло от солнца внутрь коровы, другое — изнутри коровы к солнцу.

Потом, окончательно расслабившись, кожа и гладкая, короткая, густая шерсть на пей начали существовать как бы только ради самих себя, для собственного удовольствия, вспоминая что-то далекое и необыкновенно приятное.

Было так устойчиво и надежно тепло, что кожа совсем не слушала, с какой стороны и откуда может приблизиться холод, невозможно было об этом догадаться, а раз невозможно, значит, и не нужно.

Было светло...

Присутствие света ощущалось в густых тенях, которые бросали на землю деревья и камни, оно было явственным при закрытых глазах, потому что свет просачивался даже через костную полость, между глазами и языком коровы, свет просачивался на язык, слегка щекотал его, и от этого корове снова хотелось пить, хотя она совсем недавно ходила к реке и, погрузившись по брюхо в воду, долго и неторопливо пила, посматривая то в реку, то в небо. Свет всегда подталкивал корову к воде, и только по ночам, когда его не было совсем, она надолго забывала о том, что должна пить.

И корова сейчас, наверное, встала бы и напилась, если бы вода была рядом и ее было бы немного, она поторопилась бы ее с жадностью выпить, но воды было много, и она бежала ручьем в ту сторону, где ее будет еще больше. Вода всегда бежит туда, где ее много.

Было сытно...

Был тот редкий случай в жизни коровы, когда сытость не нарушалась ничем, даже тревогой о том, что она исчезнет, что она вот сейчас может вдруг кончиться.

Голодность и необходимость насыщаться покидали корову редко, но и тогда они не уходили куда-то вне, далеко, а ненадолго прятались в ней же, корове, готовые каждую минуту распространиться по всему ее телу и двигать им в направлении корма, двигать быстро и решительно, если надо — отталкивать тела других коров и бодать их, если надо — ломиться к корму сквозь изгороди, перепрыгивать через канавы, переплывать к нему через реки, проходить через болота.

Сегодня было так, как бывало очень редко, но эта редкостность ничуть не смущала корову, не могла удивить ее, не могла и вызвать ту радость, в которую она все еще время от времени впадала, оборачиваясь перед самою собою молодой, легкой, игривой, бестолковой нетелью, а то и телочкой. Эта редкостность ничуть не удивляла корову.

Нынешнее тяжелое, гулкое изнутри, переполненное сердцем, кровеносными сосудами, органами пищеварения, деторождения и молочными железами тело коровы более всего было приспособлено именно к этой исключительности, к ощущению полной сытости, именно такого ощущения этому телу почти никогда не хватало, чтобы быть самим собой.

Теперь телу ничто не мешало быть самим собой, и оно забывало, что такое холод, голод, жажда, страх, боль; мышцы его наполнялись неподвижностью, оно забывало, что может бегать, бодаться, плавать, увертываться от ударов кнута, который всегда находился при пастухе Василии, и, если бы вдруг в какой-то момент возникла необходимость куда-то и от кого-то бежать, корове потребовалась бы секунда, может быть, две, для того, чтобы ее тело вспомнило о своей способности к бегу.

Корова все больше погружалась в свое тело, чутко слушая пищеварение, кровообращение и все, что происходило в его глубине.

Она слушала все это так же чутко, строго и восторженно, как музыкант наедине с самим собою слушает собственную музыку, она слушала себя еще и еще, предчувствуя какой-то дальнейший, почти невероятный полет подступавших к ней ощущений.

Организм производил все, что было жизнью коровы, а вместе с этим корова погружалась в одиночество, в котором только и возможно общение с жизнью, с ее вечным течением, почти что в творческое одиночество, подобное тому, в котором философ производит мысли, а музыкант — музыку...

Глаза ее излучали неопределенно-синеватый свет глубины — глубины неба, земли, воды и глубины ее собственного дыхания.

Лежа на брюхе, гулко дыша, подогнув под себя передние и задние ноги и подняв голову, она сосредоточенно вглядывалась вдаль, как будто и там, вдали, тоже происходила ее жизнь, ее пищеварение, как будто этот взгляд помогал ей безошибочно угадывать миг, когда ее дыхание сходилось с ритмом пищеварения, а тогда она задерживала вдох...

В глубине тела, в области входа в желудок тотчас понижалось давление, а это, в свою очередь, вызывало антиперистальтику пищевода, и очередной комочек пищи отрыгивался коровой из желудка, из желудочных рубца и сетки, обратно в рот.

Каждый комок пронизывал ее своим движением снизу по наклонной вверх, опять-таки примерно так же, как звук пронизывает существо музыканта, и уже во время этого движения она угадывала будущий вкус комка, еще не очевидный, но уже требующий очевидности, угадывала его плотность и округлость его форм. Она приготавливалась к пережевыванию этого еще не совсем узнанного и не совсем понятного, в какой-то мере даже таинственного вещества, укладывая его то на одну, то на другую сторону рта, так как зубы у нее в разных местах были стерты неодинаково и обладали различной способностью измельчения и растирания пищи, кроме того, часть зубов почти всегда была еще занята окончательной обработкой предыдущего комка, и поэтому их не следовало перегружать.

Обычно ее догадки, ее краткосрочный прогноз оправдывались и в отношении вкуса, и в отношении плотности поступающего снизу вверх пищевого комка, тем более что комки все были из одного приема одной и той же пищи и не очень отличались друг от друга.

Однако все-таки отличались: травы, которые она недавно сорвала на лугу, торопливо разжевала и отправила в рубец, были разными, разных видов, разной спелости, с разным соотношением между стеблем и листь-

ями, и корова пережевывала их в первый раз тоже с разной тщательностью, в рубце и сетке они по-разному пропитались слюной — одни больше, другие меньше, и вот теперь угадывание особенностей каждого пищевого комочка было для коровы работой, наслаждением, мастерством, искусством.

Для того чтобы погрузиться в это искусство, ей нужен был покой, сочная трава и солнечное тепло, и, когда все это было, она начинала искать приятное в самой себе, твердо зная, что оно есть в ней, что оно в ней происходит и двигается.

Теми движениями, которыми она проглатывала пищу, направляя ее в рубец и сетку, а потом отрыгивала обратно в рот, она руководила полностью, она могла их возбудить и могла прекратить их, но, когда окончательно измельченную на зубах пищу, смешанную со слюной, полужидкую, она проглатывала снова, направляя ее в третий отдел своего желудка — в сычуг, она уже теряла над нею руководство, и это дальнейшее движение пищи выходило из ее повиновения. Однако слушать ее, эту уже не управляемую пищу, корова все равно продолжала. Вернее, она слушала не ее, а себя — какое она сама испытывает состояние в зависимости от дальнейшего состояния ее пищи?

Она слушала, как сливаются в ней подчиненные и не подчиненные ей движения, а это были движения не только пищи, но и сердца, и крови, и молока, и вот она слушала, в каких сочетаниях и комбинациях все это происходит.

Корова ощущала, что даже тем движениям сердца, крови, молока, которыми она никогда не могла управлять и руководить и которые поэтому совершались сами по себе, независимо от ее желания, начало все равно дала она, она сама, и сделала это в то время, когда рвала и пережевывала пищу. Не будь пищи, не будь ее упорной, тяжелой и вдохновенной работы над пищей, все потеряло бы этот великолепный ритм, а потом и совсем все замерло бы в ней — и сердце, и кровь, и молоко.

Теперь же, слушая все эти движения в самой себе, бесперебойные и ритмические, уверенные в своей необходимости и в своей ритмике, корова любовалась ими, лелеяла их, испытывая полное удовлетворение от своей работы над пищей, испытывая подобие гордости и чувства своего превосходства над окружающим ее миром,

который едва ли достигал такой же гармонии и целесообразности всех своих движений.

Может быть, именно потому, что корова не очень-то много, быстро и ловко умела двигать себя по земле, по земному пространству, ее внимание было почти всегда сосредоточено на том движении, которое происходило в ней самой, для которого она сама была пространством.

Когда однажды в засушливый год, уже давно, корову перегоняли далеко на северные пастбища и она шла сотни километров разными дорогами, сначала туда, а потом оттуда, сначала летом, а потом глубокой осенью,— ей было очень трудно идти каждый день с утра и до вечера, работать и работать мышцами ног, и в этом непосильном труде она почти разучилась слушать свои внутренние движения, ощущать через них себя. Они как будто совсем потухли в ней.

Но потом, на покое, на скотном дворе, она снова научилась этому искусству и теперь владела им в совершенстве и даже научилась бояться потерять его когда-нибудь снова.

Когда поутру корова, подоенная и проголодавшаяся, становилась пустой, пустота требовательно и голодно звенела в ней разными и резкими голосами, шея и голова, казалось ей, становились тяжелее, потому что легкими были брюхо и вымя, шея и голова быстро толкали ее вперед — на передние ноги приходился тогда относительно больший груз, корова волновалась так, будто для нее вот-вот кончится жизнь, она громко и протяжно мычала, предупреждая пастбища о том, что скоро будет к ним.

За день она, успокаиваясь, наполняясь кормом, питьем и молоком, все отчетливее ощущала свой вес задними ногами — центр тяжести того тела, которым была корова, перемещался в течение суток, приближаясь то к сердцу, то к вымени, и это тоже, это опять-таки было ощущением непрерывного движения, происходящего внутри ее.

Оно было не одиноким, это движение.

Далеко по небу двигалось солнце с облаками, вблизи и по камням двигалась вода, около воды двигался пастух Василий с кнутом, корова тоже могла двигать свое тело по земле, и для других существ, для человека например, на этих двух видах движения оно и заканчивалось: в пространстве двигались другие тела, двигалось и собственное тело.

Но для коровы движение вне ее только начиналось, слабо и невнятно, заканчивалось же оно в ней самой, в пространстве, которым была она, которое неизменно надо было оберегать и тоже неизменно слушать его.

Она — слушала.

Корове нужно было бы сию минуту встать, пойти и пощипать траву, а потом еще пойти напиться, но сытость ее была больше, чем эта необходимость, и корова не встала.

* * *

Она не встала не потому, что была нынче ленива, а потому, что чувствовала требование своего организма — не вставать.

Она опустила голову, уложив ее сбоку от себя, слева, как бы по-птичьи желая скрыть ее от всего окружающего под крылом и забыться окончательно, окончательно уйти в свой слух.

Крыльев у коровы не было, и она могла только теснее прижимать шею и голову к туловищу, могла быть ближе к собственному сердцу и явственнее слышать непрерывную и могучую работу, полет, который совершало ее сердце на своем месте.

Складки ее шеи — того удивительного цвета, который был составлен из красной, желтой, бордовой, коричневой, лиловой, бежевой и еще какой-то неизвестной краски — свободно лежали на земле, немного выступая из-под нее в сторону, так, что казалось, будто корова сперва бросила под голову эту блестящую, мягкую и очень дорогую ткань, а потом уже легла на нее.

Внутри этих складок, которые очень украшало солнце, была заключена плоть, по каким-то неуловимым признакам это можно было увидеть и снаружи, хотя бы по тому, как эти складки принимали на себя солнце... Только к живой ткани солнце могло ласкаться так, как оно к ней ласкалось: бесконечно удивляясь тому, что оно само создало.

Подстелив себя под себя, лежа тихо, корова предалась собственному приближению к чему-то, что само по себе тоже двигалось ей навстречу.

Сначала она по-прежнему слушала свое сердце, мощные токи своей крови и набухание своего вымени.

Но потому, что и то, и другое, и третье были так упорны, так настойчивы и сильны, они не могли проис-

ходить только из-за своей собственной пользы и цели, должно было существовать что-то еще, из-за чего так гудела в корове ее кровь и так набухало ее вымя.

Красная, обильная и горячая коровья кровь все время текла в вымя, из вымени возвращалась в сердце, из сердца — опять в вымя, и в этом бесконечном круговороте красная кровь — каждые пятьсот ее литров — оставляла в вымени один литр крови белой, а белая кровь — молоко — уже переставала принадлежать самой корове, ее жизни и ее собственному движению.

Белая кровь не могла снова вступить в круговорот, она уже была отчуждена от него, была неподвижна и тяжко накапливалась в вымени, во всей его глубине, по всей почти двухметровой его окружности.

Белая кровь должна была покинуть тело коровы, чтобы обрести новое жизненное движение в других телах, и томительное ожидание этого все сильнее охватывало корову.

В конце концов, в какой-то перспективе корова должна была расщепиться, из ее одной жизни должно было возникнуть две, а тогда-то в ту, другую, жизнь и перельется белая коровья кровь.

Ощущение этого расщепления было будущим коровы, единственно доступным для нее будущим, другого она не знала, а без него, без этого доступного ей будущего, переставала быть коровой, превращалась во что-то другое — незнакомое и ненужное.

Она боялась этого превращения, это был самый большой ее страх.

Она ничего не знала ни о начале, ни о конце своей жизни, не имела понятия ни о своем прошлом — о рождении, ни о своем будущем — о смерти, она только подозревала, что когда-нибудь может потерять себя, превратиться из коровы в некорову, из себя — в несебя, и всю жизнь старалась, чтобы этого не произошло. Для этого она и жила.

А чтобы еще убедиться в самой себе, во всех тех движениях, которые происходили в ней, она воображала апогей этих движений, их высшую кульминацию — воображала родовые боли и то расщепление, которое они вызывают.

Тем более она могла их вообразить, что они всегда были при ней, даже если и не были слышны. Она могла вызвать их в себе всегда, почти полностью могла воссоздать свою родовую жизнь.

Каждое доение было для нее началом этой родовой жизни, пусть самым началом, но все-таки им, потому что все то движение, которым она была переполнена изнутри — движение сердца, легких, крови, молока, пищи,— обретало свою цель, чем-то должно было завершиться.

В свое время, когда корова была не домашним, а диким животным, она за два месяца выкармливала своего теленка молоком, но человек отбросил ее назад, в биологию гораздо более отдаленную, чем та, которой она уже достигла в результате очень длительной эволюции, человек так использовал ее инстинкт материнства, что теперь только два месяца она находилась в запуске, то есть не доилась, а в один месяц она производила теперь столько же молока, сколько весила сама, и вот родовая жизнь мнилась ей ежедневно.

Родовая жизнь — это были не только боли, но еще и совсем другое состояние, в котором она, полностью оставаясь самою собой, отвлекалась от себя, от себя отдыхала, переставала слушать себя вот так же внимательно, потому что ей казалось, будто теленок высасывает из нее не только белую, но и красную кровь, высасывает все ее внутренние движения и даже то пространство, в котором эти движения происходят.

В этом состоянии, когда корова была отвлечена от самой себя, а целиком привлечена к своему теленку, весь окружающий мир становился отчетливым и понятным ей, потому что сокращался до размеров ее теленка и был заключен только в нем.

Все, что оставалось вокруг теленка — небо, люди, стены коровника, корм, питье и она сама,— все это существовало, поскольку было или необходимо для теленка, или вредно для него. Рядом с теленком корова знала о мире все: каков он и для чего он, кто в нем враг, а кто — друг.

Все, что было хорошего или плохого вокруг нее, становилось еще лучше и еще хуже, когда около нее начинал расти теленок.

Голод — это всегда было плохо, но он был совершенно невыносим в это время; тепло — было хорошим, но становилось еще лучше и еще необходимее, если рядом был теленок.

Позже, когда теленок вырастал, мудрость ее родовой жизни сглаживалась, становилась не такой отчетливой и не такой уверенной в себе, в мире снова возникали

утерянные было предметы, внимание коровы рассредоточивалось на них, то и дело она должна была проходить мимо камней, изгородей, ручьев, людей, червяков и ветров, не зная — хороши они или плохи. И, не зная о них ничего, она отворачивала голову в сторону, пропускала их сквозь свое зрение, не оставляя в себе никакого следа от них; она скорее уставала, потому что больше обращала внимания па себя и легче, с охотой, шла за пастухом Василием.

Стоило только Василию посмотреть на нее, и она уже знала, в какую сторону должна идти — в сторону травы, воды, стада или дома,— и охотно шла, подчиняясь Василию.

Но и тогда она все равно несла в себе скрытую до поры мудрость и определенность родовой жизни.

По мере того как из года в год корова приносила телочек и бычков, становился все более зрелым опыт ее жизни, а всякий раз, расставаясь с не настоящими, а только с воображаемыми родовыми болями, она испытывала чувство потери: потери себя, потери своего теленка, который должен был оказаться рядом с нею, но которого не было, может быть, потому, что она не сумела довести эти боли до той значительности и до того предела, за которым теленок являлся обязательно.

Корова с тоской оглядывалась вокруг себя и на себя, ей нужно было что-нибудь теплое около, ей хотелось облизать что-нибудь живое, чтобы начавшееся, но так и не достигшее ничего ощущение родовой жизни окончательно рассеялось, а вернулось бы нынешнее ее существование. С недоумением она облизывала себя, свое вымя.

Она ведь все еще была готова к тому, чтобы чувствовать только боли и больше ничего на свете... Она в своей собственной, изнывающей от боли протяженности — вот и весь мир, в который она приготавливалась уйти и который ее не принял к себе, совершив над нею какое-то насилие.

Не сразу она была способна отрешиться от этой готовности и принять это насилие.

Сладостность болей покидала ее медленно, она возвращалась в существование с тоской сильного, но не исполненного желания, испытывая усталость, понапрасную, и все это она заглушала, возбуждая в себе чувство голода.

Быстро и жадно она припималась рвать траву или хватать сено, пить воду, она становилась подвижнее, заглушая в себе то, другое, самое главное, но ушедшее вглубь и не состоявшееся до конца движение.

Так с нею бывало почти всегда, но не всегда.

Случалось, что ощущения родовой жизни проходили, и она все равно не возвращалась к себе настоящей, к миру, который ее окружал и проявлялся вокруг нее. Так тоже бывало.

* * *

Теперь корова лежала, вытянув шею, и, если бы шея не была у нее такой большой, она бы походила на черепаху, вдруг сбросившую панцирь и всю себя удивленно подставившую солнцу.

Она дышала мерно и почти не жевала, только иногда глоток скользил по пищеводу, быстро замирая, потому что он был один.

Корова распространяла вокруг теплый пеленочный запах, как будто она сама, огромная и тяжелая, только что была распелената природой для жизни и вот теперь обдумывала — зачем это с ней сделано?

Повсюду кругом коровы происходил мир: текли облака, солнечный свет, река, все было в движении от чего-то к чему-то, и птицы двигались в высоте, а по земле — ящерицы и совсем крохотные букашки. Негромко шумели в горах леса. Люди, то один, то другой, и каждый обязательно на свой собственный лад, подавали свои голоса и еще вызывали множество других звуков из дерева, из железа, из камней, изо всего, что было вокруг них, что они передвигали, дробили, пилили, скребли, выкапывали и выплескивали в своей деревне и на ближнем поле.

Мир происходил повсюду и во всем, но корова все меньше и меньше замечала его, каким он был сейчас, потому что ее слух и даже зрение, ее осязание и обоняние снова и все теснее смыкались только с тем пространством, которым была она сама.

Она снова и снова себя ощущала, и туманный взгляд ее тоже был обращен в глубину себя. А если вдаль — и там он искал движение, подтверждающее все то, что происходило в ней самой.

Но не было отчуждения коровы от окружающего мира, может быть, даже все, что происходило с ней, бы-

ло ее причастностью к нему, огромному, в котором корова если и существовала — со своим сердцем, со своей пищеварительной системой, со своею только что пережитой родовой жизнью,— так существовала крохотной клеточкой, почти что равной тем клеткам-букашкам, которые ползали вокруг нее по земле и с удовольствием нежились на теплой изнутри и снаружи ковровой шкуре коровы.

Но в то время как все эти букашки чего-то обязательно хотели и желали, зачем-то и куда-то ползли, корова сейчас не хотела уже ничего.

С утра, спустя некоторое время после того, как стадо вышло на луга, ей несколько раз мнилось, будто она — все еще телочка. Ощущение легкости ее прошлого, того времени, когда у нее почти не было вымени и совсем не было молока, теперь смущало ее, ощущение было странным, чужим, она вздрагивала от него всей кожей, поводила рогатой головой, оглядываясь на себя и справа и слева, и, покуда солнце поднималось все выше, она приводила себя к себе — настоящей, тяжелой от плоти и от ощущения необходимости этой тяжести.

Потом она пережила родовые ощущения и желание, чтобы около нее был теплый, слабый, яростно пахнущий ею самою, ее собственным нутром теленок. Это была ее мечта, ее единственное будущее, которое она в состоянии была себе представить. Пережив это будущее, корова освободилась и от нее, от этой мечты.

А когда у нее не стало даже такого прошлого и даже такого будущего, не стало никаких желаний, жизнь, освобожденная от желаний, до конца заполнила все то пространство, которым она была.

Настоящая жизнь, сегодняшняя. Происходящая в ней при сегодняшнем солнце.

И таким образом корова погрузилась в состояние бесконечности. Ведь настоящее без прошлого и без будущего — это бесконечность?

Корова не знала, что она не вечна, и не делила время и собственную жизнь на прошлое, настоящее и будущее. Она жила сейчас во Времени как таковом, для которого нет ничего, кроме него самого, она погрузилась в него — вечное и неизменное.

Все прошлое, все будущее, все другое, все не это, не то, что происходит сейчас,— и всегда-то было для нее только намеком, легкой тенью, но теперь исчезли и эти намеки и тени, она не хотела ни подняться на ноги, ни

вытянуться еще больше по земле, не хотела ни есть, ни пить и не подозревала о том, что когда-нибудь в будущем захочет есть и пить, что когда-нибудь у нее появятся какие-нибудь желания.

Совершенно не имело значения, сколько времени продлится для нее это состояние — несколько минут или несколько веков,— бесконечность не знает счета времени.

Корова не ощущала сейчас ничего, зато она ощущала все.

Все, что было с коровой когда-то в прошлом — рождение ею телочек и бычков и память о собственном рождении, которую немного, а все-таки сохранила ее кожа; ужас, который она пережила однажды, когда горел скотный двор, и ощущение прохладной речной воды, в которой она любила стоять по брюхо во время солнечных полдней; прикосновение губ теленка к ее вымени и прикосновение ее губ к вымени матери; вкус разных трав, и голод, и тяжесть быка на ее спине, и страшный запах только что освежеванной шкуры, в которой она узнала свою давнюю соседку и славную подругу по скотному двору, комолую Красавку, и свобода, которую она пережила когда-то, убежав от стада далеко в горы, а потом — страх этой свободы, и какие-то сны, и какое-то зло, принятое от полузабытого теперь пастуха незадолго до того, как она принесла своего второго теленка, и ту ни с чем не сравнимую ласку, с которой долгое-долгое время ее доила доярка Нина Матвеевна Митрошникова, пока не исчезла, тоже надолго, навсегда, из скотного двора,— все это вспомнила сейчас ее кожа, вспомнили ее внутренности, и, наконец, слабо вспомнил ее мозг, вся она вспомнила это, но — все сразу, ничто не расчленяя на первое, второе, третье и тысячное, на хорошо и на плохо, на так и не так, на давно и недавно.

Все это было для нее сейчас, было текущим временем, ее состоянием.

Для нее стало невозможным обратить сейчас внимание на что-нибудь одно, что-нибудь одно желать, что-нибудь одно вспомнить, что-нибудь одно увидеть, услышать, осязать или обонять, потому что все ее чувства не существовали больше раздельно, а тоже только все сразу. Их больше не было, потому что они были все вместе, слившись во всеобщее чувствование жизни. Ни одно из них не забегало вперед других, и поэтому ничто конк-

ретное из существующего сию минуту вокруг коровы не воспринималось ею и не вызывало у нее какого-нибудь желания. И ничто из ее памяти о прошлом не могло вызвать обособленной и самостоятельной реакции только одних каких-нибудь ее нервов — осязательных или тех, которые воспринимают вкус,— все равно. Она снова и снова воспринимала сразу все и сразу всем, всею собою.

Она видела звуки и слышала краски, а за всем этим ощущала жизнь — и свою, и вообще всю, это стало одним и тем же для нее.

Все это и было бесконечностью, но только не понятием бесконечности, которым обладают люди и которое они нередко обозначают знаком ∞, это было состоянием коровы, когда терялась конкретность существования, его истоки, происхождение, его желания. Она ничего не знала о своем прошлом, ничего о своем будущем, зная только настоящее. Но так оно и есть: настоящее без прошлого и будущего — это бесконечность. Только изредка ей удавалось в такое состояние погрузиться, но ей всегда хотелось его, она всегда к нему стремилась.

* * *

Пастух Василий, проходя на своих заметно вывернутых внутрь пятками и кривоватых ногах, хлестнул корову кнутом по брюху.

Он хорошо относился к этой корове и потому позаботился, чтобы она встала и еще пощипала травы, а в вечернюю, самую главную дойку дала бы молока побольше других коров, как это она делала обычно.

Пастух Василий перед тем сам вздремнул немного, спрятав в тень лицо, которое уже давно не нуждалось в подобной заботе, потому что разучилось бояться яркого солнечного света — лицо у него было бурым, с бесцветными густыми бровями и с бесцветной же редкой бородкой.

Во сне Василий обычно тоже что-нибудь вспоминал или желал — в этот раз он желал спать не на земле, а на прохладной печи с пуховой подушкой в изголовье.

И, проснувшись, Василий тотчас стал думать —

что он должен пожелать? Догадался: чтобы хозяйки всех коров были довольны его пастушьей работой. Он встал и коров тоже стал поднимать на ноги, стадо без его присмотра перестало рвать траву и лежало неподвижно.

Спустя несколько секунд корова с жадностью набросилась на траву и уже ничего не знала о том состоянии, в котором она только что была.

Другие коровы требовательно мычали, они были переполнены молоком и хотели домой, хотели доиться, и чужое мычание тревожило корову, она поднимала свою большую рогатую голову вверх, чтобы замычать тоже, но всякий раз молча опускала ее к траве.

Все еще было по-дневному тепло, солнце, опустившись с неба, начинало сгонять мошек со своего края земли на тот луг, где паслось стадо; река потемнела, над нею начали движение неугомонные пичужки, играя с солнечными пятнами, вспыхивающими в воде; лес в горах замолк, приготавливаясь ждать утра следующего дня, и только люди из своей деревни наполняли окрестности еще более беспокойным шумом, чем они это делали в течение всего дня.

Домой корова шла чуть впереди стада и правой обочиной дороги, так она привыкла ходить каждый день каждого лета.

В ее вымени было немного пустоты, которую она чувствовала всем телом, потому что в такие часы, на закате, когда она шла домой впереди стада правой обочиной дороги, шумно вдыхая пыльный воздух, а большое, близкое солнце светило ей чуть сзади и тоже справа, когда в мире, который она видела и который как бы сама все время несла перед собою, начинал уже появляться деревянный мост, а за мостом — избы и сараи, а за избами и сараями — бревенчатые стены усадьбы и кирпичные — скотных дворов, в эти часы и в этом движении тело коровы привыкло быть переполненным молоком.

Корова не знала, как это случилось, что в вымени ее оказалась пустота, когда это случилось с ней — сегодня или, может быть, еще вчера? Или совсем давно? Она не знала, сколько она прожила за сегодняшний день — мгновения или целую вечность? Или весь свой коровий век?

Ведь бесконечность никому не дано запомнить...

* * *

Корова жила почти девятнадцать лет — с января тысяча девятьсот тридцать девятого по ноябрь тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года.

В ноябре тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года она была уже старой коровой, не приносила больше телят, мало давала молока, ее стало трудно доить, потому что вымя у нее затвердело, и она была зачислена в план мясопоставок текущего квартала.

1972

ВЫЛЕЧИЛА

Пенсионер союзного значения Александр Александрович Кукреев в последнее время стал жаловаться на здоровье: там болит, тут колет.

И это бы еще не беда — у кого из пенсионеров союзного значения ни там не болит, ни здесь не колет,— но больше всего его, Кукреева, угнетало другое, а именно — состояние его памяти: дня не проходило, чтобы он чего-нибудь не забыл!

То ключ, то бумажка какая-нибудь, то спички, то носовой платок,— словом, какая-то вещь обязательно каждый день у него терялась.

Не говоря уже о телефонных звонках, которые нужно было сделать сегодня, а он вспоминал о них лишь назавтра.

В результате, куда ни придешь — а Кукреев, несмотря на свой весьма солидный возраст, где только не бывал — и в конторах, и в издательствах, и в месткомах, и в исполкомах,— куда ни придешь, всюду получается одно и то же: чего-то тебе обязательно не хватает! Справки какой-нибудь, записной книжки с телефонными номерами, приличного листочка бумаги, чтобы срочно записать самое важное и необходимое, наконец, все того же носового платка нет, да и только. Забыл, и все тут. Хоть вози за собой тележку или вагончик со всем необходимым, что может в течение дня понадобиться. Без этого — куда ни придешь, чего-нибудь у тебя обязательно нет!

И Кукреев решил обратиться к невропатологу.

Тем более что в печати сообщают об успехах в области лечения нервных и психических заболеваний.

Врач-невропатолог в общем-то понравилась Кукрееву: молодая, лет двадцати семи, не более, так ведь кому

же и трудиться в прогрессивных областях, как не молодым?

С двумя колечками на тонких пальчиках этот невропатолог, но скромная — такое у Кукреева состоялось общее впечатление.

«А что бы это — она была вдруг старая? Или даже — он был бы старым, мой врач-невропатолог? Вот бы мы и собрались, двое беспамятливых стариков, а что толку? А эта сейчас все сделает как надо — измерит кровяное давление, постучит по коленке молоточком, велит встать и вытянуть руки вперед. Скажет — с закрытыми глазами попасть указательным пальцем правой руки в кончик собственного носа! Он, Кукреев, попадет! Да еще как попадет-то — молодой позавидует!» — так думал Кукреев, покуда врач-невропатолог записывала что-то в карточку предыдущего пациента и покуда он сам в себе не пресек некоторые мысли, вспомнив, что ведь он к врачу же пришел! Жаловаться же пришел! На здоровье и, главным образом, на собственную память!

Впрочем, врач писала долго и даже выбегала поспешно из кабинета в коридор спросить что-то такое у медицинской сестры о своем предыдущем пациенте. Какие-то сведения о нем, которые она сама вовремя не узнала, а сестра должна была знать.

Ну, это дело Кукреева не касалось, он не вникал: пусть спрашивает у сестры все, что ей нужно.

Наконец врач занялась им, Кукреевым, измерила кровяное давление — сто тридцать на девяносто пять (Кукреев вздохнул: когда-то было сто тридцать на восемьдесят!), попросила встать и вытянуть вперед руки, постучала по коленке молоточком, поцарапала железочкой ступню, а в частности пятку, и, наконец, действительно велела с закрытыми глазами попасть указательным пальцем сперва правой, а потом и левой руки в кончик носа.

Кукреев молодцевато попал.

И правой, и левой!

Все эти процедуры следовали не одна за другой, не подряд, а с некоторыми перерывами, потому что врач несколько раз снова открывала карту предыдущего пациента и еще и еще что-то в нее записывала.

«Внимательная! — подумал Кукреев. — Вот и я уйду, а она все еще будет в собственную мою карту что-нибудь такое записывать!»

Покуда дело клонилось к главному предмету — к состоянию памяти Кукреева,— врач задавала побочные вопросы. Например, относительно сна: сколько часов пациент спит, сколько раз за ночь просыпается и встает, принимает ли снотворное?

Кукреев за ночь не просыпался обычно ни разу. Снотворное он не то чтобы пил, а так иногда с вечера всухомятку проглатывал таблеточку димедрола. Слышно было — хорошее средство, многие товарищи его возраста рекомендовали.

Он так и сказал врачу-невропатологу: димедрольчик, мол, иногда заглатываю, многие товарищи рекомендуют.

— Это хорошо!— подтвердила врач-невропатолог.— Адалинчик вещь хорошая: химии мало, естественного сырья больше.

— Так не адалинчик же, а димедрольчик я употребляю! Изредка!— поправил врача Кукреев.

— Тоже неплохо, тоже неплохо! — подтвердила невропатолог с приятной улыбкой.— Так выписать? Вам?

— Что?

— Адалинчик?

Тут Кукреев подумал, что пора, должно быть, перейти к изложению главного вопроса — насчет состояния его собственной памяти, и сначала в умеренно серьезном, а потом уже в исключительно серьезном тоне стал рассказывать доктору о своих невзгодах: прошлым летом, в июле, седьмого июля было дело, он ушел из дома, а свет в прихожей выключить... забыл! Хорошо, что свет! А если бы газ? Хорошо, что в прихожей, а если бы на кухне?

— Если бы газ на кухне оставил? Вы представляете? — спрашивал Кукреев.— Нет, вы только представьте себе, доктор: газ на кухне! Вот это да! Немысли-мо!

Врач-невропатолог слушала, кивала, потом открыла ящик письменного стола и стала в нем что-то такое искать. Ничего не найдя там нужного, она спросила сестру, которая к этому времени снова появилась в кабинете:

— Анастасия Ивановна, а где же это у нас бланки?

— Какие?

— Рецептурные.

— Они в тумбочке!— сказала сестра.— Они там всегда ведь у вас, Людмила Николаевна.

Людмила Николаевна снова пошарила в тумбочке и снова ничего не нашла. Никаких бланков.

— Да здесь ли они?

— Там, там!— подтвердила сестра и выдвинула ящик тумбочки побольше.— Вот они, где им еще быть?

Врач взяла бланки рецептов, сразу два. На том и на другом — Кукреев это видел — она подписала дату, чуть пониже — свою фамилию, а потом задумалась. И чему-то улыбнулась.

В общем улыбка была у нее сдержанная, ничего не скажешь. Как улыбке не быть сдержанной и милой на таком беленьком личике, скорее худом, чем полном, с голубыми глазками, с остреньким носиком?

Конечно, кукреевский возраст уже не позволял все это замечать, но как-то само по себе все равно замечалось.

...Врач-невропатолог все еще думала. И все еще улыбалась. И даже пояснила Кукрееву вслух, о чем она думает, почему улыбается.

— Новое лекарство появилось,— пояснила она,— сразу для сердца, для нервов и для памяти. Но только я забыла его название. Вчера выписывала, а сегодня забыла. Их ведь такая масса, новых лекарств! Анастасия Ивановна,— снова спросила врач у пожилой сестры, довольно полной, невысокой, но в высоком белом колпаке,— Анастасия Ивановна, а где у нас фармакологический справочник?

— Так ведь вы его сами же вчера отдали главврачу!— сказала сестра.

— Как это — отдала! Ничего подобного! Я его пуще глаз берегу!

— А все равно отдали — новые лекарства вписать!

— Да, да, да — кажется!— согласилась Людмила Николаевна и стала искать название нового и прекрасного средства для сердца, для нервов и от потери памяти в своих записных книжках.— Оно у меня, такое хорошее, отдельно было записано!

Записных книжек у Людмилы Николаевны было порядочно — три или четыре, или даже пять, но та, которая ей была нужна сию минуту, все не находилась и не находилась.

— Словно корова языком слизнула! Или кто-нибудь

еще! — удивилась Людмила Николаевна и спросила у Кукреева: — У нас сегодня четверг?

— У нас сегодня пятница!

— Как это пятница, когда четверг? Анастасия Ивановна, у нас сегодня что?

— У нас — пятница!

Людмила Николаевна отодвинула в сторону все свои записные книжки и рецепты и прибор для измерения кровяного давления, посидела молча, покачала головой и снова спросила Кукреева:

— Так, значит, это сегодня, а не завтра я должна идти в детский садик за Валериком? Мы с мужем по очереди ходим, а в пятницу — моя очередь! В пятницу у них на работе политпросвещение! Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! У всех просвещение в четверг, а у моего мужа — в пятницу!

Людмила Николаевна стала двигать ящик своего стола.

Выдвигать и задвигать стала она этот ящик, выдвигать и задвигать, а больше ничего.

До тех пор она не остановилась, пока не спросила:

— А я чего, собственно, ищу-то?

— А вы ничего не ищете, Людмила Николаевна, — пояснил ей Кукреев. — Ничего. Вы просто так.

— Просто так?

— Ну конечно! Вам, Людмила Николаевна, за Валериком далеко ли ездить? Из дома? И с рабочего места, то есть из этой вот поликлиники?

— Далеко! Очень далеко! — вздохнула врач-невропатолог и прекратила двигать ящик. — Из дома до садика — тридцать минут, а отсюда — почти что час!

— Это невозможно как далеко! — согласился Кукреев. — А в каком районе находится ваш садик?

— В районе... В каком районе, вы спрашиваете? В Ленинградском районе находится он. По месту нашего жительства.

— А кто там, в Ленинградском районе, заврайздравотделом?

— Ну откуда же я могу знать? Что вы?!

— Как это — откуда, если вы сами работник народного здравоохранения? Так? Так! Дальше: детский садик вашего собственного Валерика тоже находится в ведении — кого? Районного отдела народного образования! Так? Конечно, так — иначе быть не может! Значит? Значит, нужно, чтобы эти два заведующих между

собой договорились. По-хорошему! Райздравотдел с райнаробразом — по-хорошему!

Людмила Николаевна задумалась. Очень.

— Ну так вот,— сказала она наконец,— ну так вот, вы же сами говорите, что... что... садик с Валериком находится в ведении отдела народного образования, а что я сама и эта вот поликлиника находимся... где? В районном отделе народного здравоохранения, вот где!!

— Ну и что же из этого следует, дорогая Людмила Николаевна?

— Отсюда следует — тут нет никакой связи. Отделы совершенно разные — это раз, и тем более разные районы, это — два! Здесь райздравотдел Октябрьского района, а там, у Валерика, отдел народного образования и район Ленинградский!

— Ах какая вы, право!— воскликнул Кукреев сокрушенно, но в то же самое время и весьма энергично.— Ах какая! В том-то все и дело, в том и будет состоять наша цель и задача, чтобы скоординировать!— Кукрееву очень понравилось слово, и поэтому он многократно повторил его с разной интонацией, с воодушевлением и почти что таинственно, громко и тихо:— Скоординировать, ско-ор-ди-ни-ро-вать! Скоорди-и-и-и-ни-ровать!

Бойцовское настроение Кукреева, должно быть, невольно передалось невропатологу Людмиле Николаевне, и вот она тоже повторила негромко:

— Скоординировать...— И что-то такое просияло на ее лице. Надежда это была, а может быть, даже — благодарность ему, Кукрееву?!

«Ну, мне надо быть выше этого!— подумал про себя Кукреев.— То есть выше всяких тонких настроений! Тут самое главное — деловая сторона, и вот мне надо будет довести эту сторону до конца, то есть уладить дело с Валериком!» Так думал Кукреев про себя, а вслух он сказал:

— В вашем, то есть в Ленинградском, районе наробразом находится, по-моему, товарищ Поликарпов. И даже не по-моему, а он вообще находится там реально и безусловно, и вот с него-то, с товарища По-ли-кар-пова, мы и начнем нашу координацию! Мы так, дорогая Людмила Николаевна, должны сделать, чтобы Ленинградский райнаробраз созвонился с Октябрьским райздравом! И вовсе не как-нибудь, а чтобы по-хорошему они созвонились! Точно! И чтобы не в отдаленные какие-нибудь времена, нет, а в самом ближайшем буду-

щем! Я ведь, Людмила Николаевна, к вашему сведению, тоже в одной комиссии состою, социально-бытового профиля. Так что... так что я могу кое-что координировать и, конечно, записать себе на память вопрос вашего Валерика, но только не беспокойтесь — я ни в коем случае этого не забуду! — И совсем уже благожелательно, совсем от души Кукреев сказал: — Когда такое дело, Людмила Николаевна, и если к тому же я у вас нынче, в пятницу вечером, последний, то есть заключительный пациент, — вы можете сейчас же бежать за Валериком! Сию же секунду! А я — ничего, я в другой раз приду на прием к невропатологу, ничего со мной не случится. Совершенно ничего страшного!

Было уже поздно, уже совсем темно было на улице, когда Кукреев возвращался домой и думал о враче-невропатологе Людмиле Николаевне.

«Бедняжка! — думал он. — Бежит сейчас, бедняжка, за своим Валериком, а тот, поди-ка, давно уже плачет в ожидании мамы, а из садика могли уже позвонить на работу папе: «Так и так, почему не берете своего мальчика, мы тут не обязаны из-за вас всю ночь сидеть!», а папа, ладно, если он серьезный и воспитанный, а то ведь может подумать: а где же это мама пропадает, что такое, куда она делась и почему?»

Неприятности! У-ух неприятности!

Нет, у Кукреева таких неприятностей ни в коем случае быть не может: он четверг с пятницей не перепутает! Никогда!

И размышляя так, Кукреев почему-то подумал, что врач-невропатолог, Людмила Николаевна, все-таки его вылечила. Уже!

Больше стало у него надежд на собственную память.

1979

ПЕТЯ, ВОЛОДЯ, КОЛЯ

Петя, Володя и Коля — друзья.

Неразлучные: вместе играют в железную дорогу, вместе летают на разных самолетах, в том числе на сверхзвуковых, вместе садятся за стол во время завтрака, обеда и ужина и даже случается, что вместе стоят в углу.

Одному очень скучно и обидно стоять в углу, втроем — совсем другое дело!

Само собою разумеется, в этой троице главный — Коля. Как захочет Коля, так и будет во всем. Его слово — закон.

Вот они трое летят на сверхзвуковом в Париж, и командир корабля безусловно Коля, а места механика, штурмана, бортрадиста и прочие полюбовно делят между собой Петя и Володя.

Вообще Коля человек серьезный. С ним не поговоришь, например, о погоде или о перемещении должностных лиц в том или ином учреждении, он любой разговор начинает и кончает только делом.

И с гостями здоровается так:

— Здравствуй! Я задний мост починил!

— Какой задний мост?— с недоумением спросит гость, а Коля, пожимая плечами и глядя снизу вверх, но все равно свысока, пояснит как бы между прочим:

— У самосвала! Володя или Петя, не помню кто, неправильно самосвал нагрузили, и задний мост сломался. Пришлось ремонтировать. Я его на двух домкратах поднимал. И даже перевертывал вверх колесами. Хотя это и не полагается.

И так у Коли во всем: дело — прежде всего.

Впрочем, у Коли есть и слабое место — он любит конфеты. Преимущественно шоколадные.

У него на этот счет особое чутье, и если кто-то из взрослых принесет в дом шоколадку — в авоське, или в портфеле, или даже в кармане,— Коля догадывается об этом точно и тотчас.

Ну конечно, он не будет приставать: дескать, да-ай конфетку, это не в его характере, но лицо у него делается сосредоточенным, точно таким же, как в самых затруднительных случаях при сборке воздушного лайнера новой конструкции, когда кажется, что все ясно и все детали на месте, а в то же самое время хоть умри, что-то с чем-то не соединяется, что-то не так, и лайнер не получается.

Вот так же и в случае с конфетками: вот она, здесь, ясно как день, что здесь, но это еще не значит, что она уже готовенькая, то есть тает у тебя во рту.

И Коля хотя и продолжает по-прежнему заниматься лайнером, но уже таким образом, чтобы ему было слышно и отчасти видно все происходящее за обеденным столом.

Когда же его зовут обедать, он уже не отмахивается в том смысле, что, мол, ни с папой, ни с мамой, тем более с сестренкой Машей ничего особенного не произойдет, если они его, Колю, очень занятого человека, минут десять — пятнадцать подождут... Нет, наоборот, когда в доме появляется шоколадная конфетка, Коля садится за стол первым и таким образом, чтобы и справа и слева от него осталось по одному свободному стулу.

И ест прилежно, не торопясь, а если куда-нибудь торопится почти что взрослая Маша, он делает ей замечание:

— Не горит! Сиди, как все сидят!

Ну вот, добросовестно съеден весь обед, даже овсяная каша, обеденная посуда убирается, на стол ставятся чашки и блюдечки, а это значит — сейчас будет чай.

Действительно, чай разливается мамой по чашкам, и почти одновременно около каждого блюдечка появляется по шоколадке.

У Колиного блюдечка шоколадка появляется тоже, но Коля пожимает плечами и задает маме недоуменный вопрос:

— А Пете?— и оглядывается на стул справа от себя. Затем — налево:— А Володе?

Чай Коля пьет неторопливо. Чай не любит торопливости.

Погруженный в свои раздумья — когда же и подумать, если не за чашкой чая? — Коля выпивает свою чашечку, съедает конфетку, вежливо благодарит маму и уходит в большую комнату к своим неотложным делам: к самолету, у которого что-то не ладится, или к самосвалу, у которого сломан задний мост.

Правда, дело двигается в это время у Коли не очень быстро, но нельзя себе и представить, будто время проходит у него попусту. Ничего подобного, в разных заботах и соображениях проходит минут десять, а то и четверть часа, и только после этого Коля возвращается к столу и тут с удивлением обнаруживает, что Петя и Володя все еще не съели своих шоколадок.

— Петя! — с упреком обращается Коля к одному из своих неразлучных друзей. — Да что же это ты? Нам пора лететь в Париж, а ты все еще не выпил чай? А ты, Володя?

Потом Колино лицо становится радостным, он догадывается, в чем дело:

— Вы забыли, как развертываются такие шоколадки, да? Надо было спросить, я бы вам показал! Смотрите сюда — это делается вот так!

Коля развертывает бумажки сперва на Петиной, потом на Володиной шоколадке, напоминает тому и другому, чтобы они не забыли бросить эти бумажки в корзинку для мусора, и снова уходит в большую комнату, и снова занимается там еще десять или пятнадцать минут приготовлениями к дальнему рейсу.

Так или иначе, а время уже на исходе, пора лететь, но Пети и Володи все еще нет на аэродроме.

Это начинает беспокоить Колю все больше и больше, и наконец ему не остается ничего другого, как снова пойти и посмотреть своими глазами — почему его друзья до сих пор сидят за обеденным столом?

Ну конечно, так и есть: ни Петя, ни Володя все еще не съели своих шоколадок!

И есть не едят, и лететь не летят — так долго продолжаться не может, и нужно принимать какое-то окончательное решение.

Коля принимает: садится за стол, наливает себе еще полчашечки остывшего чая, а если очень торопится, и просто так, всухомятку, съедает сперва Петину, а потом и Володину шоколадку. Иногда наоборот: сперва Володину, а потом Петину.

Вот теперь полный порядок, теперь ничто и никого не держит, можно всерьез и без помех заняться любым делом — самосвалом или самолетом. Можно лететь в Париж и вообще куда угодно.

Коля иногда наблюдает, что папе явно не по себе.

Чего-то не хватает папе, какие-то мешают ему тревоги и заботы — одним словом, чего-то не хватает ему в жизни, да и только.

Не Колино дело вмешиваться в жизнь взрослых людей, но про себя-то он очень хорошо знает, чего не хватает папе да и многим взрослым людям: у них нет таких прекрасных и верных друзей, как Петя и Володя.

1979

ПИЛОТ ПЕРВОГО КЛАССА КУЛИКОВ

Пилот первого класса Куликов с начала войны летал на штурмовике, был ранен и лежал в госпитале, а когда вылечился, на фронт уже не попал, вернулся на прежнее место службы, в гражданское авиаподразделение. Тут Куликов летал по нескольким трассам, но больше всего на регулярной линии Тюмень — Салехард. Работа в общем-то солидная, не мелочная, рейс на двое суток с посадками в Тобольске, Самарове, Березове.

Бывали случаи, летающая лодка Куликова преодолевала это расстояние — около двух тысяч километров — за один день. Весной или в летнее время, в мае — июне — июле, и при полете с юга на север, когда световой день увеличивается на глазах, это даже приятно и радостно: летишь и летишь, и чем дальше — тем становится все светлее и светлее, а в Салехарде летом и вообще не бывает ночи. Это ведь неповторимое ощущение: все время лететь навстречу дню, знать, что ночи нет и не будет...

Но так случалось редко, а чаще приходилось Куликову делать большую остановку в одном из промежуточных аэропортов: то погоды нет, то горючего, то людей из наземного обслуживающего персонала, то еще чего-нибудь. Время военное, все силы брошены на фронт, и только то, что оставалось,— в гражданскую авиацию. А чего там и оставалось-то?

Пилоты летали — вот что было самым главным, а когда летали, как летали, на каком горючем, на каких машинах — об этом разговора не было.

Впрочем, Куликов не всегда и торопился, потому что всюду в портах у него были прекрасные отношения: он любил там всех, все — его.

Тем более что радисты были нынче почти сплошь радистками, и синоптики, и техники — наносители

аэрологических станций — всюду женский пол преимущественно в возрасте до тридцати пяти.

Мужчины были на фронте.

А Куликов человек общительный, неплохой голос, наигрывает на гитаре, и на груди — орден Красного Знамени. В начале военных лет это было очень серьезно!

И веселый он был человек, Куликов, легкий.

Летал не только удачливо, но всегда с интересным грузом. Если с юга на север, тогда у него мешки с картофелем, лук-чеснок; если с севера на юг — припрятано эн килограммов малосольного муксуна. Случалось, что и свежий был муксун, кругом обложенный аккуратненькими льдинками, чтобы под золотистой чешуей не развивался процесс разложения органического вещества.

Не то чтобы коммерция, нет, но очень любил Куликов что-нибудь кому-нибудь устроить: другу — картошки, вдове-солдатке — рыбки, начальству — пыжиковую шапку.

Мало ли в народе этаких нужд и запросов?

Кстати, свои собственные запросы Куликов тоже считал народными и тоже любил их устраивать быстро, легко, умело, как бы между делом.

Но вот нынче случился рейс, в котором Куликов явно перехватывал через край: он выгрузил в Березове почту, шестерых пассажиров и семь ящиков оконного стекла; разгрузившись, вздохнул облегченно, и даже, кажется, машина и та пошире размахнула крылья, но тут совершенно неожиданно пришла Куликову в голову «большая идея» — так он выразился. «Большая» заключалась в том, чтобы столько, сколько было выгружено и даже больше того, загрузить теперь мешками с картошкой.

— Ну, само собой,— развел руками Куликов,— не лететь же в Салехард пустыми, то есть без картошки? Когда в Салехарде ее нет, а в Березове — навалом? Когда и рейс-то может оказаться последним в нынешней летней навигации: заморозки наступают ранние, реки вот-вот схватятся льдом, а тогда жди, покуда толщина льда достигнет сорока сантиметров! Согласно инструкции только при толщине льда в сорок сантиметров можно сажать летающую лодку на лыжи! «А что все это значит?— спрашивал Куликов у всех присутствующих, вернее всего — только у самого себя, и сам себе отве-

чал: — Сейчас или никогда — вот что это значит! В отношении картошки!»

И Куликов грузит и грузит мешки, а глаза у него азартно блестят, и голос становится отрывистым, нервным, и весь он упрямствует против здравого смысла: а если перегрузит машину, тогда что?

Еще удивительно — Куликов не только сам поддается азарту, но и других заражает своим настроением, и небольшой его экипаж — бортмеханик и бортрадист — охотно ему подчиняется.

И у них тоже тот же блеск в глазах.

Радист Сева Михайлов летает всего года три, он молод, рвется на фронт, обожает своего командира, и все это понятно, а вот механик Лежнев? Летный стаж в два раза больше, чем у Куликова, пора человеку на пенсию, и он списался бы, если бы не война. Он будто бы немножко недоволен, но недоволен только для вида. Попробуй уговори его вынести один-два мешка с картофелем обратно из машины! Да ни за что!

Ничего не скажешь, деликатная ситуация: один только инспектор-синоптик Пименов категорически против картошки, но его никто и не думает слушать, принимать в расчет его мнение, и вот уже машина загружается сверх всякой нормы и сейчас поднимется в воздух, чтобы, в соответствии с приказом по управлению, доставить Пименова в Салехард для очередной инспекции аэрологической службы и проверки метеоприборов.

Он — против, но только благодаря ему и возможна вся эта транспортно-картофельная операция.

Итак, полет предстоял рискованный, сумасшедший — машина едва живая, силенок в ней кот наплакал. В Тюмени трое суток гоняли из конца в конец озера Андреевского — не могли подняться в воздух. В Тобольске — та же история. Пришлось вызывать из Самарова инженера с запчастями. В Самарове взлетели с первой попытки, но мотор вел себя из рук вон плохо. В Березове садились с единственной надеждой: слава богу, разгрузимся и налегке дотянем последний перегон до Салехарда, доставим к месту назначения инженера-синоптика.

И только погода благоприятствовала, и весь окружающий мир был нынче словно создан для полета: видимость от одного края света до другого, от нагорных, налитых перезрелой синевой хвойных лесов, из которых

вытекала Обь, до сизой плоскости тундры, в которую она уходила, в которой она постепенно, но неотвратимо терялась... Атмосфера там, над плоскостью, была той прозрачности, какая не бывает больше нигде и никогда, а только над тундрой и только в последние дни осени. И солнце стояло в небе спокойное, светлое, изливаясь в беспредельность небесного и земного пространства, озаряя его так, что нигде не было и даже не могло быть ни одной тени, ничего сумеречного.

Лететь в таком пространстве истинное счастье, и так оно и было бы, если бы не картошка...

— Смотри, командир,— в последний раз предупредил Куликова Пименов,— приказать не могу, но ответ весь за тобой! Смотри...

Разговор происходил на причале, дощатые мостки покачивались и побулькивали под мелковатыми быстрыми шагами Куликова, Севы Михайлова и Лежнева, которые один за другим, с мешками — тихо, а без мешков — бегом, челночно двигались с берега к машине и обратно.

— Смотри и смотри...— подтвердил еще раз Пименов, теперь уже отворачиваясь в сторону... Не хотел он видеть взгляд, которым так весело и так вызывающе посматривал на него Куликов.

Упрямый был взгляд. Озорной. Рисковый: «Война — все спишет!»

И еще: «Живы будем — не помрем!»

Давно знал Пименов этот взгляд. Давно, еще до войны, его не любил. И хотя Куликов в те времена еще не был Куликовым нынешним, от начала до конца явственным, Пименов уже тогда догадывался: рано или поздно, а только этот человек обязательно вовлечет его в какую-то передрягу, в крупную неприятность. Было такое предчувствие.

Теперь предчувствие оправдывалось.

Поднялись в воздух с четвертой попытки, и дежурный диспетчер на берегу, который так быстро сумел раздобыть картошку у местных жителей, должно быть, понял ситуацию и сильно забеспокоился, видно было — занервничал, стал подавать сигналы «Стоп!», «Приваливай обратно».

С четвертой попытки машина оторвалась-таки от воды, стала набирать высоту, оставив на берегу взволнованного диспетчера.

Куликов быстрым движением руки махнул над головой: «Вот как обстоит дело — преотлично!» — и так как он сразу же оказался на курсе и не было необходимости разворачиваться, стал по прямой подбирать под себя зеркальную поверхность воды, небольшой остров, снова водную гладь, а дальше уже и призрачную, осиянную солнцем тундру.

Однако что-то скверное должно было начаться сейчас же, возникал какой-то протест машины против насилия, которое над ней совершалось, и вот она дрожала неровно и нервно и, казалось, обдумывала — мстить ей людям сию секунду, немедленно, или — чуть спустя, но и эта нервная дрожь нисколько не расстраивала Куликова. И бортмеханик Лежнев, тем более — радист Сева Михайлов тоже были в прекрасном расположении духа.

Летели... Каким-то образом. Командир, он же штурман,— впереди и слева; бортмеханик — впереди и справа, бортрадист — в затылок штурману. А Пименов тоже позади и по правую руку от радиста.

Машина задиралась носом вверх: картошка, стерва, как ни старались ее поплотнее уложить, подалась-таки при взлете назад, нарушила центровку.

В кабине стоял шум и грохот, объясняться между собой экипаж мог только жестами и записками, и Сева Михайлов, подтолкнув Куликова в плечо, показал ему, что, дескать, он готов пойти назад, поместить мешки как следует, в первоначальное положение. Куликов помахал рукой: «Не надо!» Пименов тоже показал, что он с готовностью поможет в этом деле Севе. И Пименову Куликов тоже махнул: «Не надо!»

Первым, как следовало тому быть, все-таки забеспокоился Лежнев, он стал менять режим двигателя, менять скорость: вынужденной посадки он не хотел, нормально лететь не мог, он химичил.

Куликов понял механика без слов и повел машину так, чтобы она все время была над водой, чтобы каждую минуту можно было приводниться.

В тундре ни в малых речках, ни в термокарстовых круглых озерах недостатка нет, воды для посадки хватало всюду.

Высота была метров двести.

Потом и Сева Михайлов, бортрадист, тоже забеспокоился — постукал себя по наушникам, покрутил то-се в своем аппарате, пошевелил губами, пытаясь вызвать на связь не то Салехард, не то Березово.

Чувствовалось — события развиваются.

Потом Лежнев расстегнул планшетку, вырвал листок бумаги и что-то написал. Написанное сначала показал Куликову, а потом,закинув руку назад, передал листок Севе Михайлову.

Пименов, круто склонившись вперед и налево, тоже прочел записку. На четырехугольном добротном и потому остродефицитном в нынешнее время бумажном листке ярко-красным карандашом и размашисто было написано: «Передай Салехард — один цилиндр отказал».

Сева прочел, кивнул и тоже расстегнул планшетку, тоже достал карандаш и ниже красной этой записи написал синим: «Передать не могу — радио отказало».

Тут Пименов перехватил у Севы листок и карандаш, еще ниже начертил: «Выбрасываем картошку!», а тогда уже отдал всю переписку Севе, а Сева — Куликову.

Куликов же удостоил этот листок лишь одним мимолетным взглядом, скомкал его и бросил.

Не очень хорошо была видна за спинкой кресла фигура Куликова, но и по тому, что было все-таки видно — по наклоненной вниз голове, по приподнятому плечу, по волосам, выбившимся из-под форменной фуражки, ответ был вполне очевиден: «Бросьте ерундой заниматься! Мне некогда — самолет веду!»

И самолет действительно все еще летел.

Между тем Пименову на низком кресле в правом заднем углу кабины стало неудобно сидеть: вытянутые далеко вперед ноги затекли и заныли, тошно стало, и в довершение ко всему почудился какой-то неприятный запах. Очень неприятный.

И наверное, это уже почудилось — тепло ему стало снизу. Будто бы из-под кресла его кто-то подогревал.

Чтобы отвлечься, Пименов стал соображать — сколько осталось летного времени до Салехарда, но бесполезное было занятие: летели не по прямой, а виляли над речками и озерами. Он старался прикинуть, сколько времени самолет еще сможет продержаться в воздухе? — и опять никакого результата из этих прикидок. Ерунда, которую и сообразить-то нельзя.

Он снова попытался сообщить Куликову единственно разумное решение — выбросить картошку и несколько раз тормошил его за плечо, а когда Куликов оглядывался, Пименов жестами и телодвижениями показывал, как вот сейчас он встанет, как пройдет в за-

дний отсек, а Сева откроет дверь, а он, Пименов, мешок за мешком станет выбрасывать картошку.

Куликов в ответ коротко и резко отрицательно мотал головой, потом не то чтобы погрозил Пименову кулаком, но что-то в этом роде он сделал, а еще спустя время и вовсе перестал оглядываться: что есть на борту Пименов, инженер-синоптик-инспектор, что нету его — Куликову это совершенно безразлично!

И Пименов действительно перестал суетиться и нервничать, он сказал себе: «Да что в самом-то деле — война не спишет нас, что ли? Нас, четырех? Может, в эту минуту на фронте тысячи людей гибнут, а тут всего-навсего — четверо?»

Так бы оно и было — Пименов заставил бы себя не думать, не беспокоиться, но запах горелого, сначала как будто случайный, еще усилился. Невыносимым стал этот запах, эта вонь.

Вот уже и Сева Михайлов стал чихать, вот и Лежнев оглянулся назад и не то погрозил, не то спросил у Пименова и Севы: вы что там натворили?— а Куликов, тот стал совершенно откровенно грозить Пименову кулаком.

За что?! Почему?

Наконец Пименов понял: горит под ним! Кто-то заживо и планомерно его поджаривал!

«Кто бы это мог быть?» — и, приподнявшись, Пименов стал рассматривать сиденье.

И увидел дымок — тоненький, аккуратный, он почти вертикально поднимался из-под кресла, распространяя запах горелого...

Пименов привстал, потом опустился на колени и откинул сиденье. В ту же секунду в лицо ему метнулись три одинаково веселых огонька: «Мы — вот они! Ты нас искал?» Пименов сбросил с себя куртку и проворно накрыл ею разбойников, которые — еще минута — и окончательно сделали бы свое подлое дело. «Ах, гады!— рычал с подвыванием Пименов.— Я вам, гады, покажу, я вам!..»

Сева Михайлов, ужаснувшись, тоже занялся пожаротушением и теперь отталкивал Пименова от огня, должно быть не доверяя ему ответственного дела. Отталкивал и кричал:

— Сгорим? Не сгорим? Ищу неполадку, а она вот где: замыкание! Сгорим? Не сгорим?

Кромешная тьма, дым, чад, жар, вонь и грохот мотора.

В этом грохоте Пименов толкался с Севой Михайловым и кричал Куликову:

— Я же тебе говорил, Куликов?! Кто же тебе и говорил, если не я?! Я предупреждал, ты не верил! Сейчас поверишь! Вот сейчас и поверишь!

Он кричал и ждал ответа, но не от Куликова уже, а от чего-то, что сию секунду должно было произойти.

А произойти должна была катастрофа — больше нечему было случиться. Но до сих пор кругом дымило, чадило, жгло и грохотало, а самолет не падал,— значит, он летел.

И рядом до сих пор все еще лежал Сева Михайлов и время от времени зачем-то нащупывал голову и лицо Пименова... Хотел узнать: здесь Пименов или его уже нет, исчез куда-то?

Страх был, зло было, и растерянность была, а еще — надежда до сих пор не покидала Пименова: «Не пропадет проклятый Куликов. Он, проклятый, не пропадет, значит, и я живым останусь!»

Машина стала снижаться. Сперва на одно мгновение Пименов почувствовал, потом убедился окончательно: «Садимся! В какую-нибудь лужу! Не выдержали-таки у Куликова нервы, пошел на вынужденную. Пошел! Пошел! Пошел! Сумеет ли сесть? Или не сумеет? Да? Нет?»

И опять Пименов догадался: «Да!»

«Да, сейчас плюхнется, герой, в какую-нибудь лужу, потом будут героя в тундре искать — рация-то ведь не работает, потом будут его срочно спасать, потом будут расследовать — что за причина вынужденной посадки?

И картошку Куликов утопит теперь обязательно!

Иначе ему нельзя, как только утверждать: пожар был, перегруза не было ни на килограмм!»

Так успевал и рассудить и вообразить Пименов, покуда машина снижалась, но кроме того он еще и себе самому задал серьезный вопрос: «А я-то, Пименов, инспектор-синоптик,— что скажу? Меня-то, Пименова, спросят обязательно, как было дело, что произошло? Инспектор же, хоть и синоптик!»

И Пименов отвечал тому, кто его спрашивал: «Картошка на борту была!» — «Сколько?» — «Мешка три, кажется». — «Куда девалась?» — «Выбросили при пожаре!» — «Причина аварии?» — «Пожар в машине!» — «По-

чему не тянул мотор?» Тут Пименов не то чтобы соврет, он просто-напросто выскажется правдоподобно: «Старая, никуда не годная машина! На такой летать вообще невозможно!» — «Но Куликов летал?» — «Такой уж пилот, этот Куликов. Пилот первого класса...»

Последнее, о чем подумал Пименов, о чем помечтал: «Разбиться бы, что ли? Семью жалко, детей, жену, а все-таки...»

В этом состоянии подробного расследования всех обстоятельств, всего того, что сейчас происходило, он и почувствовал, как машина коснулась водной поверхности. Словно ладошками кто-то захлопал. Словно это были аплодисменты. Словно дело было в театре.

Потом тишина: живыми куда-то сели.

Голос Куликова:

— Ребята! Нигде не пробило нас? Не течем?

Севин голос:

— Сухие!

— А живые? — И, не дожидаясь ответа, Куликов дал указание: — Морды от копоти немедленно вытереть — на кого только похожи!? Смех один, да и только!

Снова Сева:

— Так ведь и ты хорош, Куликов!

— Не твоя забота!

Тук-тук-тук, тук-тук-тук — а ведь это моторная лодка! И поверить нельзя, и все-таки это она!

Голоса с моторки:

— Со счастливой посадкой, Куликов! Здорово, Куликов! А мы тебя ждем, ждем, Куликов!

Значит — не вынужденная была посадка? Значит — не в тундре все это происходит, а в порту Салехарда?!

Пименов, стоя на коленях, заглядывает в задымленное стекло — высокий и обрывистый берег, деревянная лестница по обрыву... Много раз по этой лестнице приходилось ему спускаться-подниматься.

Салехард!

— Я выйду побеседую,— говорит Куликов. Подчеркивает слово «побеседую».— А вы тут покуда останьтесь, ребята. Чтобы порядочек навести в машине! — И, пригнувшись, ровно настолько, чтобы не задеть головой потолка, Куликов, не совсем отчетливый в дыму-чаду, ускользает в дверь.

Покуда Лежнев, Сева Михайлов и Пименов протирают стекла, покуда потрепанным домашним веничком подметают кабину, подталкивая тлеющий мусор ближе

к дверям, Куликов на причале, часто и весело похохатывая, ведет разговор с дежурным диспетчером...

«Иванов» — иногда различается слово в этом разговоре, то есть речь касается начальника аэропорта.

«Пименов»...

«Ну, как же — и этого тоже не минуешь! Задание выполнено — инспектор доставлен в целости-сохранности! — вот о чем говорит сейчас Куликов», — понимает Пименов и послюнявленной тряпочкой размазывает копоть на круглом стекле бортового окна.

Когда же все поднимаются по крутой лестнице на высокий берег, Куликов привольно расстегивает тужурку, причесывает волосы замысловатым, ручной работы гребешком и говорит, обращаясь ко всем сразу, а в то же время отдельно к каждому:

— Насчет картошки, ребята, не беспокойтесь — все будут довольны операцией! Будет порядок. Точно! Это Куликов обещает! Ха-ха! Пилот первого класса! Ха-ха!

Помимо этих слов к Пименову должно последовать персональное обращение. Так оно и есть, причесавшись, Куликов говорит:

— Ты, Пименов, мною интересуешься? Моим поведением? Тогда пойми мое личное положение: мне нужно одно из двух — толковый приказ, чтобы я его точно выполнял, или, если приказа нет, а есть неразбериха и летаешь не на машине, а на сковородке, — тогда мне нужна полная свобода действий! Мно-о-огие это хорошо понимают, а ты, я вижу, не хочешь вникнуть! Вникни, постарайся — очень важный принцип! Я с этим принципом сделаю, где другому кишка совсем тонка. Опять же мно-о-гим она тонка, а мы вдвоем — я да мой принцип — сделаем! Понятно тебе, Пименов?

Пименов медленно поднимается по ступеням, голова у него кружится, его подташнивает. Пименов смотрит на Куликова взглядом разъяренным, но сдержанным — ненависть к этому человеку не хочет выдать.

Вот так, вот этим же взглядом, Пименов потом неизменно и встречал Куликова.

Последние годы войны они оба прослужили на прежних должностях — один синоптиком, другой линейным пилотом, — встречались редко, и всякий раз Куликов был готов от всего сердца обнять друга. Еще бы не друг, если вместе горели в самолете!

Но взгляд Пименова его останавливал.

Никакая необходимость не могла заставить Пименова лететь с Куликовым. С кем угодно летал он в нескончаемых своих инспекциях с огромным ртутным барометром, зажатым между коленями, который тоже назывался «инспекторским», но чтобы вместе с Куликовым — никогда! И неприязни своей не скрывал, удивляя всех вокруг: будто бы и некорыстный человек инспектор-синоптик, а что-то в нем есть. Есть корысть, если с Куликовым, с таким рубахой-парнем, он не ладит!

У Куликова и еще случались вынужденные посадки — Пименов всякий раз действительно испытывал злорадство: «Так-так...»

Однако у кого их, вынужденных, на Севере не бывает! Тем более что машины старые, по всем правилам их давным-давно надлежало списать.

И Куликов не унывал, и вынужденные посадки только поднимали его репутацию — опять все сошло у человека благополучно. Счастливый человек! Находчивый! Ас!

В одной из таких посадок в тайге, в районе Самарова, когда машина Куликова обледенела, получил увечье Сева Михайлов, бортрадист.

Но Сева и после того, как ушел в наземную службу, начальником радиостанции очень неприметного и далекого аэропорта, все равно превозносил Куликова: командир так командир! Пилот так пилот!

А когда однажды Пименов оказался в том забытом богом, начальством и даже им, инспектором, аэропорту, Сева встретил его в куликовской манере: обнимал, целовал, ликовал по случаю того, что они вместе не так уж и давно горели в машине, вместе везли картошку, вместе... Ни дать ни взять — Куликов! Его школа!

Пименову телячья радость хроменького на правую ногу и заметно постаревшего Севы была невмоготу.

Слушая Севу, разглядывая его небольшое, не то слишком детское, не то чересчур старческое личико, Пименов еще и еще переживал острую неприязнь к Куликову.

«Ну, ладно,— думал он,— ладно. Сева Михайлов хоть и с потерями, а вышел из игры, которую изо дня в день ведет Куликов. Сева вышел, но ведь рано или поздно, а только Куликов обязательно погубит себя и свой экипаж!»

И все-таки сошлись пути-дорожки Пименова и Куликова, и этому предшествовали такие обстоятельства.

Уже после войны, осенью, в управление, как раз в ночное дежурство Пименова, прибыл военный летчик.

По званию капитан, возраст — около тридцати, грудь в орденах, щеголеват. Сапожки надраены — можно смотреться, словно в зеркало.

С первого взгляда ясно было, что при капитане в немудрящем его чемоданчике находилась и щеточка сапожная, и бархотка, и баночка с заграничной какой-нибудь, трофейной ваксой. Высший шик, и капитан, перед тем как открыть дверь учреждения, в которое ему предписывалось явиться для прохождения дальнейшей службы, сперва завернул в подъезд соседнего дома и там быстро и деловито навел марафет на свои сапожки.

А чего бы это капитану после войны, после Победы, в самом деле не пошиковать? Не пофорсить?

Явившись, капитан предъявил дежурному документы, аттестат, предписание, а дежурный зарегистрировал прибывшего в соответствующем журнале и пристроил ночевать.

Без лишних хлопот и без полуночных звонков по инстанциям ночевать Пименов устроил этого капитана на диване, в приемной начальника управления.

Место многими прибывающими по предписаниям давно уже было освоено.

Капитан порасспросил о тыловой службе, порассказал о фронтовой, ничуть при этом не умаляя достоинства собеседника, а когда устраивался на диване ко сну — толково устраивался и дисциплинированно: блестящие сапожки пятками вместе, носками врозь — в ногах, портупея и пистолет — под головой, все прочее обмундирование — рядышком, на стуле,— когда все это, строго по уставу и порядку, было распределено им как тому положено быть, он вдруг спросил у Пименова:

— Слушай, инженер! А как дело-то было со старшим лейтенантом Савельевым? Расскажи-ка! Не стесняйся!

Но Пименов стеснялся.

И не только он — все в управлении избегали разговора о старшем лейтенанте Савельеве, который вот так же, как и нынешний капитан, прибыл весь в орденах и почти в таких же блестящих сапожках, чтобы летать на самолете-зондировщике типа «Харрикейн».

Само собою, после фронта, после жестоких боев, полеты эти казались старшему лейтенанту сущим пустя-

ком, несерьезным каким-то занятием: подняться в высоту, взять пробы воздуха, еще провести кое-какие наблюдения — и обратно на землю.

Он получил инструктаж, вылетел, достиг высоты шести тысяч метров и оттуда штопором вошел в землю. Километрах в двадцати от аэродрома нашли воронку.

Что случилось с машиной или, может быть, с пилотом, установить не удалось, хотя была создана авторитетная комиссия, даже не одна.

И теперь Пименов ответил капитану уклончиво: был случай, а подробностей не знает. Никаких.

— Случай так случай...— вздохнул капитан и метнул на голову себе одеяло, которое для нужд таких вот приезжих находилось на нижней полке большого канцелярского шкафа. Шкаф этот, никогда не опечатываемый, стоял в коридоре и как бы даже понимал, что является истинным другом командировочных людей.

Метнул капитан одеяло и почти тотчас, по-детски посапывая, уснул.

«Нервы!..— подумал, прислушиваясь к этому ровному посапыванию, Пименов.— Нервы что надо: не может не знать капитан, что он тоже назначен на высотное зондирование, на такой же «Харрикейн»!»

Но капитан часа через два проснулся, заглянул со своего дивана через полуоткрытую дверь в кабинет замначальника управления, где сидел дежурный, позвал:

— Не спишь, инженер? Инженер-синоптик?

— Как можно — дежурство!

— Ну конечно! Слушай, инженер, а ты видел парня?

— Какого?— уточнил Пименов, хотя и знал, о ком речь.— Какого парня?

— Ну, Савельева. Старшо́го. Который до меня к вам прибыл?

— Не видел... Не пришлось.

Савельева Пименов не только видел — он принимал его точно так же, как нынче принял капитана. И на тот же диванчик его пристроил. И то же самое одеялко из старого, неопечатываемого шкафа ему подал.

Надо же было так случиться, что оба прибыли не раньше, не позже, а точно в пименовские дежурства!

— Нет, не пришлось видеть...— еще подтвердил он, и капитан тотчас снова уснул, будто и не просыпался.

«Хороши нервы!..»— опять подумалось Пименову.

Еще часа два прошло. И капитан проснулся снова и в том же порядке, через полуоткрытую дверь, спросил:

— Слушай, инженер, а тот старшо́й, Савельев,— он кто был?

— То есть как это — кто? Военный летчик. Старший лейтенант Савельев — вот кто он был.

— Я спрашиваю: истребитель он был? Штурмовик? Бомбардировщик?

— Да откуда я знаю, дорогой! Не знаю ничего этого — спи!

Вот этого Пименов действительно не знал, и от своего незнания ему чуть-чуть, хоть и немного, а все-таки полегчало на душе.

А капитан послушался и снова, натянув одеяло, быстро, словно по команде, уснул.

Но так еще несколько раз было до конца дежурства, до самого утра — капитан просыпался, спрашивал, с какого фронта прибыл Савельев, и сколько времени он воевал, и сколько ему от роду было лет. Пименов отвечал, что не знает, и капитан тут же и совсем будто бы беззаботно засыпал.

Утром капитан доложил о своем прибытии начальнику управления и через какие-нибудь полчаса отбыл на аэродром.

А через неделю его «Харрикейн» штопором вошел в землю.

Поговаривали, что английские эти машины только в паспортах имели указания, будто они летают на шесть и даже выше шести тысяч метров, но сами англичане больше трех-четырех тысяч на них не набирали.

И вот в эти-то дни, сразу после гибели капитана, к Пименову и пришел Куликов. Пришел и сказал:

— Мы ведь с тобой друзья, Пименов!

Пименов удивился:

— ...Предположим.

— Да чего предполагать, чего предполагать? Забываешь, что мы — друзья. Вот и все!

— Дело есть? Или просто так?

Вид Куликова, как всегда общительного, все равно говорил о том, что он — не просто так.

— По дружбе скажи, Пименов, что там с ними произошло, с теми пилотами? И с первым, и со вторым? Скажи ради бога!

— Не знаю!

— Знаешь! Ты — синоптик, высотное зондирование — по твоей части, на тебя люди работали, как же ты можешь не знать?

— Я к летной части отношения не имею. Не знаю, что происходит. Мне не положено этого знать.

Но Куликов не верил, упорствовал, сердился и упрекал Пименова в неблагодарности и корысти. И вот они сидели в крохотном кабинетике-закуточке, в котором один человек еще мог поместиться, а двое с большим трудом.

— Кончаем разговор!— рассердился Пименов и хотел выйти, но стул Куликова загораживал дверь.— Ты меня понял — кончаем! Уже кончили!

— Пименов, милый ты мой,— по-детски всхлипнул вдруг Куликов,— за что ты меня? Ну — за что? Помоги ты мне, пожалуйста, сесть на этот самый «Харрикейн», помоги, будь наконец настоящим другом!

Совсем растерявшись и не поняв просьбы, Пименов спросил:

— Куликов, ты в уме?

— А ты мне друг? Или действительно враг?

— Скорее всего я тебе враг, Куликов!

— Клянусь, ты мне друг! Только не осознал этого... Осознай! А по долгу товарищества деваться тебе некуда, и ты поможешь мне! Неужели не стыдно, когда человеку приходится тебя едва ли не на коленях, едва ли не со слезами на глазах умолять?!

Снова Пименов опустился на свой стул и снова стал объяснять, что, во-первых, он помочь не может, что, во-вторых, просьба дурацкая — фронтовые, видавшие виды летчики гибнут на этом деле, а Куликову-то — куда; что, в-третьих, зондирование на «Харрикейнах» прекращено — кто же, в самом деле, будет и дальше рисковать жизнями фронтовых героев?

— Ты пойми, Куликов, война кончилась, и теперь списывать жизни не на кого! Твоя ведь это философия: война спишет! Помнишь?

— Помню я все, Пименов! Не помнил бы — не пришел к тебе! А я пришел и без конца прошу: подскажи кому следует, чтобы Куликова послали в зондаж! Я курсы какие угодно пройду, какие хочешь испытания и тренировки, а морально я подготовлен, как сам бог не подготовлен! По-мо-ги!

Замолчали, растерявшись, оба, но первым пришел в себя, конечно, Куликов:

— Ты, может, не очень-то во мне уверен, Пименов?

— Да никогда я в тебе уверен не был. Никогда! Преступник ты в моих глазах! Никто этого не знает, а я знаю! Не уголовный, так все равно какой-нибудь преступник! Нравственный. Или еще какой-нибудь!

— А ты — заблудший, Пименов! Клянусь, глубоко заблудший! Ну, хотя бы статистически ко мне подошел бы, когда по-другому не умеешь: сколько людей меня любит, одобряет, готовы со мной в огонь и в воду? А сколько таких, как ты,— заблудших? Один только и есть!

— Надоели твои клятвы, Куликов. Надоели хуже горькой редьки!

— Тогда я вот что тебе очень серьезно скажу: ты хочешь со мной лететь, вот в чем все дело! Хочешь, но боишься! И вот из-за боязни своей обзываешь меня неведомо как! Может, ты даже и не очень боишься со мной лететь, ты смелый, но только не можешь себе позволить ничего такого рискового. Логически не можешь. И вместо того чтобы быть мне другом, изображаешь врага. Брось логические изображения! Брось себя обманывать, садись в мою машину, и повезу я тебя в какую-нибудь инспекцию, к черту-дьяволу!

Никогда Пименов не принимал Куликова всерьез: и настойчивость его, и упрямство, и смелость — все это ухарство; и обаяние, которым он славится,— это легкомыслие. Не обаяние, а подлость — да! Если человек неизвестно из-за чего рискует чужими жизнями — это что? Если он его, Пименова, жизнь чуть не продал за десять мешков картошки — это что?

Кабинетик Пименова крохотный, а окно — во всю стенку и освещает собеседников с ног до головы. Свет как бы даже проникает сквозь того и другого, хотя там, за окном, день серый, дождливый, осенний...

За окном все, что называется поздней осенью — полный набор: низкие тучи, редкий дождь крупными каплями, мокрая черная крыша, бывшая когда-то красной, пустынный тротуар; на тротуаре, около автобусной остановки,— женщина в сером пальтеце под черным, наверное очень старым, зонтиком.

Под ним она прячется сама и прячет ребенка — девочку в резиновых сапожках.

«Вот она бы, эта женщина с ребенком, нас, мужиков, обязательно рассудила бы!» — догадался Пименов.

И сначала он радуется своей догадке, зная, в чью пользу совершился бы суд, а потом грустит: суд этой женщины, конечно, был бы правый и справедливый, но ведь — ни к чему... Пименов грустит, словно присутствует при расставании с кем-то или с чем-то; со здравым смыслом, может быть, и удивляется: как это, в самом деле, может случиться, чтобы и правильность и справедливость были ни к чему? Как это со здравым смыслом можно расставаться? Да что он — добровольно сумасшедший, что ли?

А Куликов тем временем уже весь там, в той, еще не принадлежащей ему шестикилометровой высоте, ничто другое не существует для Куликова — осень не существует, женщина-судья не существует... Пименов если и существует, так потому только, что причастен к его желанию.

— В одной машине горели,— снова твердит Куликов.— Не веришь, будто я способен туда? Наверх?! А я докажу! Значит, летим еще раз на Север, в самую паршивую погоду летим, в самый какой-нибудь дальний рейс, к Севе Михайлову, еще дальше, и — клянусь!— ты во мне убедишься! И других убедишь, скажешь все, что необходимо обо мне сказать и доказать! Полетим?

К остановке подошел автобус — потрепанная, старенькая, пережившая войну пассажирская машина. Не сразу взявши с места, эта машина увезла куда-то женщину со старым зонтиком и с девочкой в резиновых сапогах. Удивительно было, что машине это удалось.

Уехала женщина, которая так никогда и не узнает, что она была судьей...

— Ладно! Полетим!— сказал Пименов.

Куликов, громыхнув стулом, вскочил. Пытаясь обнять Пименова, сдвинул столешницу, чуть не уронил ее.

— Ну вот, ну вот, друг ты мой, прозрел! Наконец-то! Не мною сказано: лучше поздно, чем никогда! Нет-нет, я никогда, ни-ког-да не сомневался, я знал, что ты прозреешь! Я, брат, всегда в тебя верил как в человека!

Пименов от объятий отстранился, стоял неподвижно и все еще смотрел в окно. Слушал Куликова внимательно, и не придавал значения его словам и не хотел их слышать.

Куликов же торопился говорить, тоже понимая, что разговор нужно кончать, что ему нужно уйти прочь.

— Вот полетим вместе,— объяснял он Пименову,— а тогда ты узнаешь меня еще больше, мы подружимся

еще больше, и ты заступишься, замолвишь словечко, чтобы меня послали туда — вверх, вверх, вверх! На высотный зондаж! Потом ты и сам захочешь туда — вверх, вверх!

Наконец они расстались...

«Что произошло?— спрашивал себя Пименов все по той же, не так уж и давно возникшей у него привычке как бы со стороны расследовать то, что происходит, что не до конца еще произошло.— Что оказалось?»

Оказалось вот что: Пименов-то и в самом деле Куликова любил! Он давно уже восхищался этим непонятным ему человеком.

Оказалось вот что: конечно, Пименов продолжал не любить Куликова — слишком разные они были люди, но Куликов действительно должен был летать на высоте шесть тысяч метров!

И еще оказалось: Пименову тоже хотелось туда — на шесть тысяч!

1979

МАРИЯ И МАРИЯ

Рассказчик не хочет сразу же, с первого слова, называть вещи своими именами.

И называть имена людей, гор, морей, заливов и побережий он тоже не будет. Во всем этом нет ни малейшей тайны, однако же пусть имена придут сами, пусть придут все те, которые известны.

А неизвестные пусть останутся неизвестными.

Художественная литература всегда условна, а рассказчик не скрывает своего желания быть причастным к художественности.

И вот они — Горы, вот оно — Море, вот он — Полуостров. Вот он — Юг.

Южнее этого Юга на Земле еще много земель, морей и гор, и полуостровов тоже немало, но все равно, это — Юг, хотя бы потому, что здесь растут пальмы.

Еще невысокие и неплодоносные, но уже растут. А там, где начинают расти пальмы,— начинается Юг, и люди Севера едут туда, чтобы дышать теплом и жить под южным небом. Чтобы вылечивать легкие и продолжать свою жизнь после того, как недуги начинают упорно сопротивляться этому продолжению.

Чтобы продолжать не только свою жизнь, но и судьбу.

Ведь судьба — это не совсем то же самое, что жизнь, хотя все-таки она. Какой бы ни была судьба, она все равно еще не смерть.

Поэтому и случается, что у человека уже нет жизни, но все еще есть судьба. Случается и так, что мы живем, не замечая своей судьбы, как будто и нет ее и не бывает никогда на свете.

До сих пор неизвестно, что лучше, а что — хуже, и даже какой вариант встречается чаще — первый или второй, тоже никто не подсчитал, но в этом рассказе

речь идет о женщинах, для которых жизнь была не чем иным, как только судьбой.

Вообще жизнь-судьба более свойственна женщинам, чем мужчинам. Кажется, так показывает статистика.

И вот было время, когда на берегу Моря, на Полуострове странных очертаний, поселились две женщины — Мария и Мария.

Ни та, ни другая не была матерью, и та и другая много-много пережили своих любимых, круглым счетом — на полвека, и обе умерли в глубокой старости в полной памяти, в полном сознании совершенных ими женских судеб.

И та и другая в течение этих долгих и одиноких десятилетий хранили память о своих любимых. О своих любимых поэтах.

На берегах причудливого Полуострова и теперь стоят два дома, сложенных из вулканического туфа, два дома, построенных почти в одно и то же время и строго в соответствии со складом характера, вкусами и представлениями о жизни тех, кого любили Марии,— один дом у самого моря, с башней для далекого-далекого обозрения, другой — без башни, но высоко в горах; один — в пустынном уединении неподалеку от деревни, другой — посреди древнего поселения.

Летом эти жилища были живописны и милы. Казалось, что весь Полуостров ласкает их.

Осенью, освобожденный от перезревшей зелени, от ослепительно яркого солнечного сияния, от летней публики, Полуостров обнажал другие краски своей земли и своего моря, и тогда, продолжая жизнь изначальную, не раскрашенную и не слишком переполненную живыми существами, но приближенную к Земле, Полуостров приобщал жилища своих поэтов к одиночеству.

Одинокими тогда становились два белых дома, один — с башней, на берегу моря, другой — высоко в горах, но это было им вполне свойственно. Туманы и дожди и мокрый снег никогда ведь не становились врагами сколько-нибудь одетой-обутой поэзии!

Если на то пошло, яркость и чрезмерное многолюдье для нее гораздо опаснее.

И так после смерти своих любимых всею своей жизнью и своими судьбами Марии хранили эти жилища и все предметы их комнат, и воздух, заключенный там, и календари, когда-то отсчитавшие роковые сроки.

А множество людей из года в год эти жилища посещали.

Были годы, когда весь Полуостров причудливых очертаний и еще многие земли подверглись страшному нашествию чужеземцев.

И земля горела тогда, горoда и деревни, и поселки горели и разрушались тоже, люди бежали прочь, но Марии и тут не оставили своих жилищ, продолжая сохранять каждый предмет и каждую частицу воздуха, заключенного в стенах, сложенных из вулканического туфа.

Когда же земля была наконец снова освобождена, много легенд возникло о том, как сохранились два белых дома. Каким чудом? Каким невероятием?

Рассказывали, будто бы одна Мария требовала от вражеского офицера удалить артиллерийские орудия от белого дома с башней, потому что орудийный грохот обязательно повредит оконные стекла.

Ходили слухи, что другой Марии, в ее белом доме без башни, тайно сочувствовал вражеский офицер, проникнутый особым чувством к памяти и творениям некогда жившего здесь художника.

Почему? Как так?

И не сама ли уж дева Мария замешана в этом деле?

А почему бы нет?!

Всякая легенда о сохранении сущего не столь уж легендарна, если присмотреться к материнству всего на свете, всей не только одушевленной, но и неодушевленной природы, к тому, как из одного облака возникает два, а из холмов — горы, а из рек — моря, а из грунта — почва... Посмотреть, как младенец древесный лист, ожесточенно пахнущий материнскими соками и в то время, когда все еще не закончился акт его рождения, уже обретает те очертания и формы, которые точно соответствуют смыслу и назначению его будущей жизни в этом мире...

Любое из этих превращений — тоже материнство, и не будь его, мир оказался бы пуст, сколько бы в нем ни присутствовало неизменных предметов; и вот человек почувствовал это, эту возможную пустоту, и задолго до христианства выразил свое чувство в легенде, создавая образы Кибелы, Изиды, Деметры, Астарты, а затем уже и Марии, некогда вошедшей в храм, чтобы самой стать храмом рождения и любви не только к человеку, но и к человечеству и ко всему миру!

И храмом бесконечной преданности всему тому, что есть ее истинная любовь.

Ну конечно, это слишком, это непомерно много для одной женщины, хотя бы и богородицы,— быть святой во все эпохи,— и вот она поделилась своей природой с другими женщинами.

Конечно, та, первоначальная Мария, не обошла и наших Марий — в чем-нибудь, но и они, цивилизованные, путешествующие в скорых поездах, пишущие какие-нибудь прошения на имя то одного, то другого государственного служащего, посещающие модисток, театры и парикмахерские,— в чем-то они обязательно напоминали ту, изначальную деву, даже если и не преследовали такой цели.

Так или иначе, с молитвами или без них, они до конца оставались преданными своей любви и судьбе любящих женщин и вот сохранили жилища из хрупкого туфа вулканического происхождения в то время, когда одно за другим рушились железобетонные укрепления и государства.

И невыдуманные их судьбы оказались в сказочном совпадении именно потому, что обе они любили: одна — мужа, другая — брата.

Но обе — любили.

Однако тут же начинаются и необыкновенные между ними различия, потому что те, кого они любили,— муж, в доме с башней у самого моря, и брат — в другом жилище, высоко в горах,— были художниками.

А истинные художники никогда не бывают одинаковыми, и к ним, и ко всему тому, что они творят, не относятся многие законы сходства между людьми.

Не так уж редко случается, что у художников нет ни копейки, но это не мешает им обретать свои собственные планеты, на которых они вот так и живут — не обладая никакой другой собственностью, кроме собственных миров.

Для поэта, который жил у самого моря в белом доме с белой башней, весь окружающий мир был не чем иным, как им самим.

Его талант оказался способным вбирать мир в себя — горы, море, может быть, и солнце,— это все было им, а все то, что не было им, не существовало для него в этом реальном мире. Вполне возможно, что не существовало и ни в каком другом.

Когда-то он, будучи к тому же живописцем, открыл, что один из горных отрогов, ниспадающий с Полуострова в Море, по своим очертаниям напоминает профиль его собственного лица... Огромнейший человек, по объему в миллион, в миллиард раз больше человека обыкновенного, погрузился в море, а голову с вьющейся бородой возложил на сушу.

И это была его собственная голова, и борода его, и весь профиль его же, и вот здесь, поблизости от этого замечательного горного отрога, вскоре после своего открытия он и стал поэтом.

Стал им, чтобы изо дня в день взирать на колоссального себя, чтобы разгадать собственные могущественные черты.

А другой горный отрог, чуть восточнее, неповторимо преображал солнечный свет в легкое, с фиолетовым оттенком сияние — это означало, что здесь должна быть могила поэта. Фиолетовое сияние, не здешнее, а потустороннее, было тому неопровержимым доказательством: кроме того, и очертания горного отрога опять-таки напоминали огромный саркофаг. И звезды над этим огромным домом, предназначенным для мертвого поэта, тоже мерцали, подобно тлению чьих-то голубоватых и вечных свечей.

Все-все имело здесь тайное, но вполне доступное уму и чувству нашего поэта предназначение. Все вокруг имело великий смысл истории: он отчетливо, в красках, представлял себе движение народов и цивилизаций по серой поверхности пустынного плато, которое начиналось почти сразу же за оградой его жилища, а тогда в поле его зрения являлись исторические драмы и трагедии, а непостижимость былого, настоящего и будущего становилась постижимостью.

Он был пантеистом, наш поэт, но опять-таки поклонялся не столько природе, сколько самому себе в природе, он обходил побережье после морских бурь, подбирая выброшенные на берег причудливые корни деревьев и раковины, случалось ему найти и щепы древних кораблей, и в этих предметах он снова обнаруживал себя, свое «я», погруженное в морские пучины на тысячу лет. Теперь оно подавало ему весть о себе, возвращалось к нему, современному, желало воссоединиться с ним.

Он встречал восходы и провожал закаты солнца, стоя на белой башне своего белого дома, одетый в белый

хитон, с сыромятным ремешком вокруг головы, в сандалиях на босу ногу, и чувствовал при этом тепло своего тела как солнечное тепло, и, по всей вероятности, ничуть не удивился, если бы ему сказали, будто своим теплом он хоть и немножко, но все-таки тоже нагревает солнце.

Путешествуя по миру, он привез в свой дом маску древней царицы Египта и повесил ее над деревянным супружеским ложем, чтобы по ночам полоска лунного света, пробираясь сквозь ставни, падала на таинственное изваяние... Он следил за движением лунной полоски от виска к виску царицы, угадывая течение ночных часов, а по выражению царственного лица, по его улыбке он распознавал судьбы будущего человечества.

И с огнем он тоже имел нечто общее, какие-то тайные связи, взаимоотношения и даже взаимопонимание — очевидцы утверждали, что однажды он взглядом потушил пожар.

И с людьми отношения у него были фантастические. Говорят, будто в годы, когда на Полуострове шла гражданская война, крейсер военно-морского флота Великой Британии открыл огонь вблизи жилища нашего поэта.

Снаряды ложились в пустынную поверхность горы-саркофага, предназначенной поэтом для своей могилы, и поэт был возмущен, он поднялся на башню и просигналил на крейсер: «Прекратить огонь!»

Командир крейсера удивился и послал на берег шлюпку. А когда человек в белом хитоне взошел на палубу, командир спросил его:

— Кто вы?

— Я — Поэт! — ответил наш поэт.

— Шекспир? — командир оказался любителем классической поэзии.

— Шекспир тоже был поэтом, но совсем не таким, как я!

Они поговорили о Шекспире, и командир спросил, не хочет ли Поэт покушать?

— С удовольствием! — ответил поэт и покушал.

— А не обидится ли Поэт, если командир предложит ему прихватить на берег некоторый запас продовольствия?

— Ничуть! Человечество должно поить и кормить своих поэтов, иначе оно обожрется и погибнет!

И, должно быть, чтобы этого не случилось, наш поэт отбыл на берег с тем запасом продтоваров, который вместила шлюпка, а крейсер ушел, не сделав больше ни одного выстрела,— ему было приказано обстрелять берег, и он сделал свое дело и ушел.

Однако Мария нашего поэта была, по всей вероятности, уверена, что ее возлюбленный предотвратил войну на восточном побережье Полуострова.

Мария была женщиной, перед которой чудеса и весь этот мир, исполненный чудес и тайных смыслов, никогда не предстали бы воочию, сами по себе, но теперь это была ее реальная жизнь, потому что реальной, потому что действительной, потому что вечной и непоколебимой была ее любовь к поэту.

И вслед за ним она тоже ступила на его планету и теперь ориентировалась там иной раз лучше, чем он, лучше зная, что и где там хорошо, а что плохо, и даже где на этой планете расположены цветущие оазисы вдохновения, а где — одни лишь пустыни да мелкие и тоже пустые домашние заботы...

А другой поэт, который построил свой белый дом без башни высоко в горах, на одной из кривых улочек древнего поселка,— был прозаиком... Прозаики тоже ведь бывают поэтами, хотя и на свой лад.

Юг не смог исцелить его легкие, и он недолго жил там со своею сестрой Марией, он умер.

Последние годы жизни были очень трудными для него — пятнадцать минут нужно было ему, обессилевшему, кровохаркающему, чтобы надеть на себя сорочку, но никто не знал об этих тяготах, может быть, даже сестра Мария и та не знала все о том, как это было трудно.

Потому, что он сам не хотел до конца знать свои собственные тяготы и недуги.

Он был врачом, он мог бы знать о них все и даже больше чем все, но не хотел этого.

Это незнание очень просто и естественно вписывалось в его знание всего того, что называется повседневными отношениями между людьми, причем тактичными и умными.

Без отношений людей друг к другу нет людей, и все-таки никто не умеет создать эти отношения такими, какими их требует природа вещей.

Он же, наш поэт-прозаик, не только знал эту природу, но безукоризненно умел ей соответствовать.

И отнюдь не попусту говорил о том, что в человеке должно быть все красиво. Он никогда не говорил попусту, тем более — незадолго до своей смерти.

Потомок недавних крепостных, он одинаково презирал и плебейство и барство, всегда умел быть чуждым тому и другому, хотя бы и в самом незначительном поступке... На аптекарских весах он взвешивал свои письма, чтобы вес не оказался выше установленного почтовым департаментом, но этот педантизм все-таки не был педантизмом, потому что и деловитость, и порядок он умел возвести еще и в порядочность. К любому самому малому факту он умел отнестись как к факту жизни, поэтому и взвешивал письма и не позволял себе хотя бы однажды одеться безвкусно — слишком модно или слишком небрежно.

Он был тонким аристократом, однако же не подавал повода упрекнуть его в аристократизме.

Он был интеллигентом.

И наверное, было ему странно оттого, что художники, проповедуя гармонию, то и дело сами были личностями не только негармоничными, но вдоль и поперек исковерканными. Вот он и был несколько чужим среди них и не принимал всерьез мессианство, которое учило жизни, не умея жить само.

Впрочем, не он один постиг судьбу человека, который, будучи истинным художником, остается чужим в храме искусства.

Прихожане этого храма тоже ведут себя по-разному — одни наводят там блеск и порядок, другие во всю ивановскую конфликтуют с храмовым порядком, а третьи — как наш поэт-прозаик, который и тут был сдержан и, от природы обладая наблюдательностью, даже в храме не изменял этой привычке. Ему что храм, что другое какое-то место — он всюду был верен самому себе, своей естественности и природности.

А когда так, он был далек от учительствования и от того, чтобы навязывать себя другим по какому-либо поводу, по поводу своих недугов или своих взглядов на искусство — все равно.

И в творчестве своем он был столь же тактичен и скромен, не пугал читателя ни ужасами, ни патоло-

гией, не потрясал фантазией, не завлекал сюжетом, не позволял себе пространной философии вокруг малых событий, не делал из своих героев героев, не предсказывал судеб и не стремился к переосмысливанию истории человечества.

Он пуритански ограничивал себя: ведь каждое самоограничение — это уважение к другим, свобода для других, и вот он понимал, что даже то на первый взгляд ограниченное пространство, которое оставалось его творчеством,— по существу все равно безгранично, что и здесь художник может сделать неповторимые и великие открытия.

И простые его герои, в простоте и печали своей, больше других страдали из-за отсутствия в жизни гармонии, красоты и смысла...

К нам, читателям, они не навязывались и не приставали — нет-нет!— нам только предоставлялась возможность сравнить свою собственную печаль и свою совесть с их печалью и совестью... И тогда мы понимали, что его герои совестливее нас, что они нуждаются в духовности больше, чем мы, а все дальнейшее, все проистекающее из этого сравнения опять-таки было делом уже не его и не его героев, а наше собственное.

Его делом было, несмотря ни на что, все-таки поверить в нас, в наши чувства и в наш разум. В нашу самостоятельность.

Нельзя даже было сказать, кто же этот поэт-прозаик — или самый божественный среди художников, или самый безбожный?

Конечно, эта беспримерная в искусстве скромность и тактичность была несовместима с эгоцентризмом, и вот он не только не подчинял себе мир, в его прошлом, настоящем или будущем, не только не приравнивал себя к миру,— он как будто бы сам в мире растворялся, переставал в нем личностно существовать, и только оттуда, из глубины мира и как его частица, он и говорил с нами.

Должно быть, он был малоинтересен сам себе. И, написав томы рассказов, повестей и драм, лишь несколько раз, и то косвенно, упомянул о себе, напомнил о своем присутствии среди нас и среди своих героев.

Будучи личностью исключительной, он никогда не хотел об этом знать. Он был подозрителен, а

иногда и сердито-насмешлив по отношению к прижизненной исключительности, он знал, что все равны перед жизнью и только смерть вправе нарушить это равенство. Только она решит, кто и кем был при жизни.

Это был гений без легенды, обыкновенный гений и тем самым — единственный.

А его сестра? Его Мария?

Ведь речь же не столько о поэтах, сколько о Мариях?!

Ведь для своей любви и подвижничества его Мария должна была откуда-то черпать веру в значительность своего брата?

Откуда же?

Он сам не подавал ей ни одного знака, ничуть не помогал ей в этом, не воодушевлял.

Скорее наоборот, он препятствовал ей во всем этом.

В белый дом без башни приходили люди, чтобы поглазеть на ее брата, много людей, но брат этого не любил. Даже негодовал по этому поводу.

И она тоже должна была не любить и действительно не любила незваных гостей. И никогда ни с кем — ни много ни мало — не делилась своей сестринской любовью, обрекая себя на одиночество. На полное одиночество и безмолвие,— ведь женщина может без конца говорить мужу о своей любви, но может ли говорить об этом сестра брату?

А брат так ни словом и не подтвердит, что ее самопожертвование не напрасно...

Брат мог бы, наконец, принести утешение и даже счастье, доверившись ей, старшей сестре, всей душою, пожаловавшись на нездоровье, еще на что-нибудь, и тогда ей, лишенной иной любви, лишенной материнства, такое доверие было бы наградой...

Но не было и этого...

Разве что, выйдя из кабинета к чаю, после долгих-долгих часов безмолвия, брат, усмехнувшись, скажет своей сестре о том, что по пятницам у него почему-то занимают без отдачи. Сегодня — пятница, и приходили какие-то люди, и тоже — заняли...

Еще о чем разговор?

Может быть, обо всем белом свете?

Но самое большое путешествие в своей жизни брат

совершил не на Лазурный берег, не к египетским пирамидам, а на хмурый, каторжный остров Дальнего Востока. На остров Сахалин.

Ах гармония, гармония!

Она так благозвучна, а в то же время не столько красива, сколько сурова!

Столь разные Аполлоны были у этих двух Марий.

Обе получили их из рук в руки от самой природы,— ведь женщины ближе к природе, чем любимые ими мужчины, ведь они — это связующее звено между мужчиной и природой.

Природа вручает женщине предмет ее любви, и она же, природа, как будто не до конца доверяя самой себе, требует от женщины, чтобы она подвергла свой идеал дальнейшей доработке. Дальнейшей «доводке», как сказали бы на современном заводе, выпускающем промышленную продукцию.

И вот если мужчина смел, женщина, по требованию природы, должна работать над тем, чтобы он был еще и умен; если он умен — чтобы был смел и честен, если он бронзовый — кое-где заменить бронзу деревом, если деревянный — соединить дерево с бронзой. Если он талантлив, тогда немыслим перечень всего того, что должна совершить женщина.

Тут уже нет ни пределов, ни сроков, ни планов, ни знаков качества.

И женщина при ненормированном рабочем дне исполняет свой труд, называя его то любовью, то долгом, то необходимостью, то не называя никак.

Наши Марии тоже исполняли все тот же природный труд не только при жизни своих Аполлонов, но и после их смерти, и вот до сих пор побережье Полуострова причудливых очертаний — горы и леса, города и поселки, пески и камни в полосе прибоя — все-все и несмотря ни на что тоже участвует в сбережении памяти поэтов.

И когда в солнечный день вы идете этим побережьем и вам становится грустно и тревожно оттого, что окружающее вас человечество — непостижимо многочисленное и донельзя уплотненное на квадратных метрах

пляжной полосы — так старательно выражает себя через самые различные мини: через мини-платья, мини-купальники, через мини-знакомства и мини-любовь, через грандиозную мини всей этой пляжжизни, и у вас невольно возникает вопрос: «Где же вы? Где же вы, Марии?» — не думайте, будто ответа нет.

Ответ есть.

Только он опять-таки заключен в вопрос: «А где же вы? Где же вы, поэты?»

1979

НАШИ ЛОШАДИ

Игреневая лошадка Семы Кочкина, перепрыгнув через камень, первой ступила на ровную-ровную и ярко-зеленую поляну и вся, от головы до хвоста, распрямилась и обрадовалась. Она как бы представилась кому-то: «А вот и я! Жива-здорова! Игреневая!» И повела глазом на своего седока, на Сему Кочкина, а тот закричал «ура!».

Мы все «ура!» троекратно подхватили.

Рядом, в каком-нибудь десятке метров от нас, вырвавшись из ущелья, пенилась и гудела река Аргут, так сильно, так победно, что мы не услышали своих голосов, но это ничуть нам не помешало,— мы видели наше «ура!» на лицах друг друга.

Мы все были живы! И зелень, и открытость, и приветливость большой поляны четверть часа назад могла быть не более чем нашей мечтой, почти невероятной и неисполнимой, но вот она явилась в реальности, наша великая мечта,— часто ли это случается в жизни?— и мы только-только не сходили с ума от этого явления...

От этого земного уюта, от совершенной безопасности земли, которую мы так редко замечаем, если нам ничего не грозит.

Ну теперь-то мы его прекрасно видели — прямо в лицо,— это земное совершенство, которого четверть часа назад, карабкаясь на своих лошадках головокружительной тропой, мы были полностью лишены.

Лишены и чувствовали себя за что-то наказанными.

За что — теперь нам было уже все равно. Мы знай себе плыли на своей ровной и зеленой лужайке, словно на ковре-самолете, словно на парусной шхуне, плыли именно туда, куда хотели,— в свое дальнейшее существование.

Наши лошади, вздрагивая, нервно и жадно хватали траву — реакция на все то, что с ними только что происходило. Лошади деловито торопились продолжать свою жизнь на этой чудесной земле, а люди были суетны, растерянны и не знали, что в своей радости делать, как себя вести, о чем думать и что вокруг себя видеть.

И отвесная скала, через которую мы только что перевалили, уже показалась нам совсем обыкновенной — ничего особенного, как все скалы, так и эта скала, а все скалы и горы, окружающие нас, оставшись без нас, потеряв над нами власть, тоже предстали перед нами довольно обыкновенными, точно такими, каких много на свете. Они, правда, были картинно красивы, эти горы, в свете еще несозревшего солнечного заката, наделенного дневною синевой, в яркой зелени своих подножий, в причудливых, а в то же время вполне законных и на вечные времена неизменных очертаниях своих темных, а местами и обледеневших вершин...

Пусть будут красивы, если им так нравится!

Мы были сейчас снисходительны ко всему на свете, и к красоте тоже.

Мы отъехали от Аргута немного в сторону, чтобы лучше слышать друг друга, и — вполне естественно — наши взоры обратились к нашему шефу, к начальнику экспедиции Владиславу Кузьмичу Богоевскому. Что он скажет? И какие с его стороны последуют ценные указания?

— Кто говорил, что тропа непроходима? — воскликнул Владислав Кузьмич. — Кто говорил — не спустимся? Кто говорил — надо поехать в обход? Кто говорил — надо бессмысленно потерять почти двое суток?

Очень-то нам нужно было теперь вспоминать, кто все это говорил! Может, и никто, может, Богоевский все это сам выдумал? Только что? Впрочем, мы и к Богоевскому тоже были снисходительны. И вот улыбались, а больше ничего. И позволяли Богоевскому и дальше горячо рассуждать по поводу нашего «суворовского броска».

Но тут Сема Кочкин проговорил:

— А ведь Ворожцова-то, Кости-то, нет!

— Этого не может быть! — ответил Семе Богоевский другим, очень требовательным голосом. — Понятно? Не Мо-жет!

Но это было: не было Кости Ворожцова.

А с его отсутствием не было и нас: если все мы здесь, на этой поляне, а один потерян нами неизвестно почему, неизвестно как, тогда какие же это «мы»?

Мы стали вспоминать и вспомнили: Костя-то ехал по тропе последним! Замыкающим!

Мы смотрели друг на друга, а все вместе — на Богоевского. Он должен был что-то разъяснить. Что-то решить. И предпринять.

Может быть, он погрозит нам пальцем и рассмеется: вот какая произошла шутка!

Владислав Кузьмич пальцем не грозил.

И все это случилось...

Но, оказывается, случилось еще не все: Верочка Баклаева тронула свою лошадь и, не успели мы что-то сообразить, скрылась с наших глаз.

Была — и не стало! И Верочки тоже не стало!

Сумасшествие???

«Конечно, мы ведь давно знаем, что Верочка Баклаева — сумасшедшая девчонка!» — подумали мы в тот же миг, но легче нам от этого не стало. Ничуть.

Мы не видели, каким образом исчез Костя Ворожцов, но как произошло исчезновение Верочки, видели все: она тронула лошадь и вернулась к берегу Аргута; склонившись в седле, она стала смотреть вверх и влево — туда, где, огибая каменные глыбы, едва заметная тропа круто взбегала на скалу, а может быть, падала со скалы вниз,— все зависело от того, что предстояло здесь человеку — подняться вверх или спуститься с высоты. В том, как внимательно рассматривала Верочка тропу, мы не заметили ничего особенного — она волновалась, ожидая Костю Ворожцова. Естественно!

Но вдруг она хлестнула лошадь и с места взяла вверх, показалась в выступах скалы раз, другой, третий — и все. И скрылась!

Странная все-таки вещь наше сознание — оно тут же изменило самому себе, и вот уже мы были уверены, что Костя, живой-здоровый, самое большее через десять минут обязательно вернулся бы к нам, если бы не Верочка. И все кончилось бы благополучно и радостно. А теперь? Теперь все иначе и несравненно хуже: каким образом они разминутся на тропе? Когда их лошади сойдутся лоб в лоб? Как разъедутся двое, если и одному-то протиснуться возможности почти не было! Фокус ведь был и невероятность, а вовсе не возможность!

Эту картину — две лошади лоб в лоб — опять не один из нас кто-нибудь придумал — она возникла в сознании каждого.

Самое первое, что после этой догадки произошло,— Богоевский принялся ругать Верочку, грозиться уволить ее из института навсегда и объяснять нам, какой он, профессор Богоевский, умнейший человек и крупный ученый и какие безмозглые наряду с ним и даже рядом с ним все еще существуют люди! И как это ему больно — это несоответствие.

Раскрыв этот парадокс, Богоевский задумался. Задумался и ни слова о том — что же нам делать?

Это объяснил нам «предок» Валентин Яковлевич.

Человек фантастического возраста, Валентин Яковлевич все еще не только числился в штатах института, но и нормально работал, из года в год ездил в экспедиции, и нынче он снова был с нами и сказал нам:

— Одному нужно пойти на тропу и взять с собой веревки. Может быть, он и сумеет как-нибудь помочь тем двоим. А не сумеет — вернется и скажет нам, как там обстоит дело!

— Один возьмет веревки и пойдет на тропу,— согласились мы.— А остальные? Остальные тоже должны что-то делать? Они тоже не могут без дела!

— Ждать, а больше ничего!— ответил Валентин Яковлевич. И показал нам, как это делается: расседлал свою лошадь, спутал ее и лег на землю, положив под голову седло. За бесконечную свою жизнь Валентин Яковлевич научился ждать.

На тропу, захватив веревки, пошел Сема Кочкин.

Итак, мы были здесь и там... Здесь — на ровной и просторной лужайке, и там — на крутой узкой тропе. Здесь мы изнемогали от ожидания и неподвижности, там — от головокружительной высоты и крутизны.

Очень может быть, что, разделенные на части, мы действительно уже перестали существовать как «мы». Какие-то осколки были вместо «нас», не более того.

Мы ждали очень долго, покуда вернулся Сема Кочкин, опутанный веревками с головы и почти до ног.

Еще Сема волочил на плечах седло.

Он бросил седло к ногам Богоевского и сказал:

— Идут!

— И-и-идут!— завопил Богоевский.— Безобразие! Ты что, Кочкин, лишился дара речи и не можешь объяснить, что это значит «идут»?!

— Придут — увидите, что это значит! — сказал Сема.

А значило это вот что: Верочка сошла с тропы увешанная гербарными папками, сияющая, словно новейший медный пятак, а спустя минуту появился Костя Ворожцов — тоже с седлом на плечах и злой как собака. Он был увешан мешочками, в которые мы собирали лекарственные травы, штук двадцать было на нем этих мешочков. И вот что все это значило: Верочка и Костя встретились на тропе, но не в самом узком месте, а там, где можно было сойти с лошадей и с трудом, но расседлать их. Одного нельзя было там сделать — развести лошадей.

Финал: все мы были здесь, все вместе, но две наши лошади оставались там.

Новая ситуация...

Пустяком она могла быть для нас, эта ситуация, пустяком и ничем другим: все мы благополучно сошли с тропы, и только две наши лошади остались там, наверху.

Вероятнее всего, лошади были нашим жертвоприношением случаю, который вызволил всех нас из беды. На то они и были лошадьми — сначала возили нас, а потом ради нас же должны были погибнуть где-нибудь на тропе.

Ведь неблагородно для лошади умереть от старости, с потускневшей и шершавой шкурой, с выпавшими зубами.

Неблагородно быть расстрелянной из мелкокалиберки в лоб, а потом кормить своим телом жадных и вонючих черно-бурых лисиц на звероводческой ферме.

Но смерть лошади на красивой горной тропе — какие могут быть претензии? Какие и у кого? Это ли не благородно?

Однако же вот что оказалось, какой оказался пустяк: мы не могли уйти от наших лошадей. Не могли, и только!

Никто из нас не мог сказать: «Пусть остаются, черт с ними! Обойдемся! Дорога впереди спокойная, а у нас есть одна запасная лошадь! Седлайте оставшихся лошадей — еще один-два перехода, и мы кончаем наше путешествие!»

Нет, мы так не сделали. Мы приняли другое решение: спуститься берегом Аргута к ближайшему броду — два километра, переправиться на противоположный бе-

рег, снова подняться и разбить лагерь как раз напротив наших лошадей.

Мы должны были их видеть.

Мы понимали, что не сможем им помочь, но все равно видеть их нам было необходимо.

Так мы решили, и Богоевский, лозунгом которого было неизменное «скорее, скорее!», не возражал, он первым это решение высказал вслух. Собственно, это было его решение.

Какая кинолента: наш переход по тропе, наше отчаяние, когда мы потеряли Костю Ворожцова, наше смятение, когда на тропе скрылась Верочка Баклаева, наше ожидание, когда на тропу ушел Сема Кочкин, наша радость, когда все трое они вернулись...

Здесь кино потухло, в зале — а зрительным залом был весь тот белый свет с горами и лесами, который окружал нас,— снова зажегся уже заметно потускневший день.

Зрители — а мы были теперь уже не участниками фильма, а только его зрителями — заседлали лошадей и поехали к броду, к тому месту, где Аргут широко разливался по каменистой долине, перед тем как снова ринуться в темное ущелье.

На запасной лошади ехали двое: злой как собака Костя Ворожцов, а позади него сияющая Верочка.

Мы легко миновали брод, снова поднялись вверх по течению и разбили лагерь как раз против наших лошадей, так тихо, так спокойно стоявших высоко на тропе, будто бы ничего совершенно не случилось ни с ними, ни с нами.

И тут мы опять стали созерцателями этого теперь уже неподвижного кино с участием двух наших лошадей в главных, второстепенных и третьестепенных ролях...

Надолго ли? Очевидно, до самого конца этой неподвижности.

Между лагерем, который мы разбили, и нашими лошадьми расстояние по прямой семьдесят метров, не больше.

Эти семьдесят метров простирались круто вверх, в пределах этих же метров бушует Аргут.

Тропы не видно совсем, и наши лошади казались искусственно прикрепленными к отвесной плоскости скалы на той стороне Аргута.

В бинокль легко различались подробности — вот Рыжий Кости Ворожцова вздрагивает кожей, а у Красавки, серенькой кобылки Верочки Баклаевой, опускаются веки. Красавка стесняется, когда мы рассматриваем ее в бинокль.

Лошади спокойны там, наверху, и погружены в глубокое раздумье.

Можно было представить себе, будто они стоят вот так неподвижно уже много-много дней, уже привыкли к своему стоянию и психологически вполне подготовлены к такому же вот странно неподвижному и бесконечному будущему.

Любые их движения бесполезны на узкой и с той и с другой стороны перегороженной камнями тропе. Они это глубоко поняли и не пытаются изменить свое положение — опуститься на колени, чтобы сберечь силы, или спятиться назад, или столкнуть друг друга с тропы. Совершенно никаких намерений не было у них.

Никакого испуга, никакого волнения, никакого намерения. Они существовали, но в них уже не существовало, кажется, ни слуха, ни зрения, ни нервов, ни мышления.

Сумерки сгустились, и очень кстати — мы хотели отдохнуть от наших лошадей, от Рыжего и Красавки, от безупречного их спокойствия.

Мы молчали, полагая, что будем молчать много дней подряд.

Но мы очень и очень ошиблись — на другой день с утра мы необыкновенно разговорились. Как никогда прежде.

Утром Богоевский спросил у Семы Кочкина:

— Сема! Какая лошадь, по-твоему, слабее? Правая? Левая?

С расстояния семидесяти метров Богоевский ткнул указательным пальцем сначала в Рыжего, потом в Красавку, и мы поняли смысл вопроса. Мы к этому вопросу были готовы: чтобы освободить тропу для сильной лошади, слабая должна была погибнуть. Через пять минут. И еще раньше.

Богоевский недаром обратился к Семе: мы ведь всегда удивлялись, почему Сема не уйдет в стрелковый спорт? На сто метров он бил из мелкокалиберки только в яблочко, но Сема, при том, что ему было отнюдь не

чуждо желание отличиться и даже прославиться, был совершенно лишен спортивного духа. И отличия и славу он хотел бы иметь, но только — без утомительного соревнования.

Не переставая жевать консервированную фрикадельку «Турист», Сема ответил шефу:

— Левая... Красавка...

И мы все так же думали — Рыжий был сильнее Красавки, а Красавка умнее и слабее Рыжего.

— В левую и стреляй! — Богоевский глядел на Сему в упор. — Для верности — с оптикой! С оптическим прицелом, я имею в виду!

— Приказ? Устный? — спросил Сема.

— Могу отдать письменный!

— Не буду. Ни по устному, ни по письменному.

— Ты на службе, Кочкин!

— У-бой лошадей не входит в мои служебные обязанности!

Богоевский поморщился — слово «у-бой» ему не понравилось. Потому что не понравилось, он его повторил:

— У-бой лошадей не входит в обязанности канцелярии. А в экспедиции все может быть. У-бой лошадей — тоже.

— Не гуманно, шеф. А Кочкин по природе — гуманист. Почти до мозга костей.

— Не знал!

— Начальники должны знать своих подчиненных, — отвечал Сема, хотя и относился к шефу с большим пиететом.

— Это окончательно, товарищ Кочкин?

— Стреляйте сами, товарищ Владислав Кузьмич!

А вот этого Семе уже не надо было говорить — дикая мысль! Чтобы Богоевский стрелял сам?! Да как это могло прийти в Семину голову?!

Впрочем, она была дикой, эта мысль, в течение нескольких минут. Минуты через две-три мы подумали: «А почему бы и нет? В экспедиции все на равных. В экспедиции «мы» — это все мы! И почему бы Богоевскому лично не заняться у-боем лошадей?»

В общем, разговор Богоевского с Семой кончился ничем.

Зато с него-то и начались все другие разговоры.

Нет, мы никогда особенно не ссорились и ни в чем друг друга не упрекали. Мы молчаливо, но довольно высоко ценили себя перед многими другими людьми.

Многие другие не были связаны с природой, а мы — были. Многие другие кроме стен своих институтов не знали ничего, а мы знали горы, степи, леса и травы. Причем травы прежде всего лекарственные, значит, наши знания были возвышенны и гуманны.

Были у нас и другие, практические и красивые, преимущества.

Геологов, например, можно было послать в экспедицию и ранней весной и поздней осенью, а на буровые работы даже и зимой, а нас — только летом, в самое приятное и благородное время года, в июне — июле, во время цветения и благоухания трав...

И вообще «мы» — лаборатория лекарственных растений Биологического института — были здоровым коллективом. Во всяком случае, мы, во-первых, всегда ручались за его здоровье, а во-вторых, очень неплохо этот коллектив знали и понимали.

Мы точно знали место нашей лаборатории и в своем институте и среди других аналогичных лабораторий Советского Союза.

Мы точно знали, с какой работой мы справимся, а с какой — нет, какие руководящие указания нам следует принимать на полном серьезе, а какие — так себе, с легкой, почти невесомой душой.

Мы отлично знали, как нужно обращаться друг к другу — кто кому и что может высказать в порядке приказа, просительно, в духе просветительства или интима. Само собой разумеется, мы никогда не путали обращения на «ты» с обращением на «вы».

И многое мы еще знали о том, что такое и кто такие «мы», но лошади поставили безупречный, с нашей точки зрения, коллектив в исключительные условия ожидания и томления; мы ждали, как решится их, лошадиная, судьба там, вверху, на узкой тропе, а тем временем томился наш интеллект. И плоть тоже томилась: она не привыкла к безделью и к почти бессмысленному ожиданию. В то же время она, эта плоть, собственной кожей переживала мучения наших лошадей.

И вот тут-то, именно в этом ожидании и в этом томлении, и возникла необходимость отдать себе кое-какой отчет, кто из нас кто? Персонально. Возможно, что такая необходимость существовала давно, но только не было повода ей проявиться, мы же умело избегали такого рода поводов.

Мы давно привыкли и умели быть «нами», а в эту привычку входило — держаться от этой необходимости подальше.

Нет, нам не нужны были ни самокритика, ни самоотчеты, но дело было в том, что в нынешнем томлении мы уже не могли избежать давней необходимости.

Может быть, нам представлялась портретная живопись прошлых веков: бороды, сквозь бороды — лица, сквозь лица — характеры, сквозь характеры — судьбы, и вот мы тоже смотрели нынче друг на друга — что за портреты?

Бород у нас не было, только у Семы Кочкина светленькая и полудетская, возникшая то ли по лености, из-за того, что в экспедиции было хлопотно бриться, то ли и в самом деле предназначенная для будущей серьезной бороды... Одна, вот этакая неопределенная бородка на всех мужчин нашей экспедиции (совсем жиденький клинышек на подбородке Валентина Яковлевича не в счет) — не маловато ли? И мы смотрели друг на друга безо всяких «сквозь», а напрямую, непосредственно.

Так и есть — нынче мы шли навстречу своим собственным портретам, характеристикам, анкетам — нам было все равно, как все это называется и обозначается.

Мы шли на «вы», как говорилось в старину. «Моя характеристика? Для нее чего-нибудь не хватает? Так вот вам это что-нибудь, вот оно, вот оно, вот!»

В конце-то концов мы все нынче оказались на равных, нам нечего было друг перед другом терять, а главное, приобретать — ни репутаций, ни авторитетов, ни путевок на курорт.

Единственное исключение из этой анархии: под № 1 сразу же являлся нам строгий образ нашего шефа. Нашего Богоевского Владислава Кузьмича — ведь он-то мог нынче и приобрести, и потерять... в наших глазах.

БОГОЕВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ КУЗЬМИЧ

У детского писателя Бориса Житкова, помнится нам, есть такие слова: «Хуже нет — новые штаны: не ходишь, а штаны носишь!»

Мы сказали бы несколько иначе: «Хуже нет, когда начальник экспедиции — сам директор института!»

Начнем с того, что войдем в его положение.

Вот он сидит, директор, в своем кабинете и, начиная с весны, главным же образом — в середине лета, от-

правляет на юг и на север, на восток и на запад чуть ли не десяток экспедиций... Конечно, вслух или про себя, но только ему обязательно скажут: «Кабинетный руководитель! Сам бы поездил! Сам бы узнал, почем фунт лиха! Сам бы...»

И вот директору тоже надо ехать «в поле», и он возглавляет одну из экспедиций. Но ведь ему, директору, в те же самые дни, недели и месяцы в Академию наук надо? В министерства, в главки надо? В издательства? В комиссии? В комитеты?

В собственный институт, в котором без него один только бог, да и тот приблизительно, знает, что и как творится,— надо?

А санатории? А курорты? Не говоря уже о том, что в летние месяцы сыновья и дочери директора, сыновья и дочери его родных и знакомых поступают в высшие учебные заведения?

Ну конечно, в экспедиции, которую возглавляет «сам», спальные мешки всегда свеженькие, не бывшие в употреблении, зато и «скорее-скорее!» становится неизбежным злом, предначертанием экспедиционной судьбы.

Что касается Владислава Кузьмича — у него этот девиз возник в уме и в крови два года девять месяцев тому назад, в тот миг, когда торопливым и жадным взглядом он окинул приказ о назначении его директором института.

Это были два разных человека и две разные жизни — Богоевский до и после приказа.

Мы знали Богоевского вот уже лет восемь, все тот же рост — 182 сантиметра и тот же желтоватый цвет лица, но больше ничего общего между тем и этим Богоевским не было.

Из квартиры того Богоевского врачи не выходили ни днем ни ночью, а он — не выходил из академических и прочих поликлиник, санаториев и бюллетеней.

Только после долгих и пунктуальных переговоров с женой Богоевского мы, сотрудники его лаборатории, могли получить свидание с шефом продолжительностью сорок, максимум сорок пять минут.

«Гипертонический криз», «спазматический криз», «коронарная недостаточность», «нарушение обмена веществ», «нулевая кислотность», «пониженный гемоглобин — повышенное РОЭ» — вот каков был проблемный список нашей лаборатории, в котором, надо отдать

нам должное, мы научились тонко разбираться и делать из него прогнозы, которые оправдывались в подавляющем большинстве случаев.

Прогнозы эти всегда касались одного вопроса: когда, где и в течение скольких минут можно будет видеть шефа для получения от него ЦУ — ценных указаний?

Притом — ценных действительно, а вовсе не в насмешливо-ироническом смысле.

Так шли годы нашей жизни и труда — под знаком самых различных «кризов» нашего шефа.

И вдруг известие: прежний директор уезжает в Москву, на его место назначается... Богоевский!

Мы были потрясены, но, признаться, не до конца. Оказаться потрясенными до конца мы не успели, потому что уже на другой день в институте загремели толковые, решительные и требовательные приказы Богоевского, а еще через месяц весь институт твердо знал, что вход в кабинет нового руководителя свободен, но только — в нерабочее время, где-нибудь часов в шесть-семь, в рабочие же часы он сам вызывает к себе то одного, то другого сотрудника, сам посещает лаборатории, сам проводит ученые и другие советы и вообще везде и всюду сам.

Спустя еще год Богоевский был уже членом нескольких академических, ведомственных и межведомственных комиссий и советов в Москве и по этому поводу летал в столицу нашей Родины на понедельник-вторник, на четверг-пятницу, а то и на одну только пятницу. Все эти перелеты совершались им запросто, как будто бы он ехал в электричке из города на дачу, с дачи — в город, а чтобы не терять время в полете — читал там, держал корректуру и даже, говорили, подписывал разные служебные бумаги.

Житье при старом директоре вспоминалось нам теперь... Голубой сон — вот как вспоминалось оно!

Не то чтобы одним выходным днем вспоминались те минувшие времена, конечно, нет, но были тогда вполне нормальные рабочие дни, когда и в десять утра, и в пять вечера о любом из нас можно было сказать: «Ушел на обед», а женщинам в тот «скользящий» обеденный перерыв можно было сбегать не только в продовольственный, но и в промтоварный магазин.

А если действительно в магазине «выбросили»? Такой предмет, который и выбрасывается-то для выполне-

ния плана торгового предприятия только в конце месяца? В конце квартала? В конце года? И даже — реже?

Или — если выброшены говяжьи сосиски?

При старом директоре мы имели все основания утверждать, что «наша лаборатория — наша крепость», теперь ворота всех крепостей были распахнуты, сквозь них каждую минуту мог войти «сам» и завести разговор не только с завом, но и с лаборантом.

Мы думали — это долго продолжаться не сможет, новая метла метет, а проходит время, и все возвращается на круги своя, в прежнюю колею, но оказалось, что прежней колеи уже нет.

Вот так: не хотел Богоевский работать в институте — не работал, хотел — работал «как зверь» (Семы Кочкина выражение). И то и другое было для Богоевского поведением вполне логическим, вполне оправданным.

Вообще мы не могли припомнить случая, чтобы Богоевский ошибался. В достижении целей, которые он ставил перед собой,— никогда.

Нынче Богоевский завел нас на сумасшедшую тропу — и это была его первая ошибка.

Он позволил нам задержаться около наших лошадей — вторая.

Две ошибки подряд, и притом на глазах всех нас,— не много ли для Богоевского?! Слишком много!

И, должно быть, поэтому мы и занялись его портретом. Его ошибки стали нашим стимулом в этом занятии.

Именно с него мы начали...

Лиха беда начало!

Итак, мы вполне объективно отметили, что Богоевский во все времена и серьезно был нужен институту. Даже когда он, бывало, не выходил из кейфа.

Кейфовать-то он кейфовал, на собраниях и заседаниях его никогда не бывало — «болен», но в то же время периодически выяснялось, что в таком-то академическом журнале опубликована его статья, в таком-то издательстве — книга, а еще где-то он редактор сборника или соавтор учебника.

Так что же ему еще-то нужно было, какого черта, когда он пошел на должность директора?

Ведь годика через два-три он обязательно вышел бы в членкоры, а теперь?

Теперь он взял на себя обязательства доказать, что он не только серьезный ученый, но и умелый руководитель. Лишний экзамен назначил себе Владислав Кузьмич. И — нелегкий. И — деликатный: наш прежний директор занимает в Москве пост, как теперь он-то посмотрит на картину: при нем институт был как все институты, не хуже, не лучше других, при Богоевском — по всем показателям выходит вперед?

Ах как, ах как сильно захотелось Владиславу Кузьмичу вскарабкаться на пьедестальчик!

Он вскарабкался.

А в это время на берегу Аргута Сема Кочкин объясняет Косте Ворожцову:

— Знаешь ли ты, Костя, что начальство не любит, когда кто-нибудь говорит умнее, чем оно?

А Костя в ответ удивляется:

— Наив! Начальству никогда не придет в голову, будто кто-нибудь говорит умнее, чем оно!

И в заключение вечером, около костра, Богоевский уже сам себе:

— Лет через пять-шесть умру... В полной апатии к чрезмерному количеству ничего не значащих слов. Которые произносятся неизвестно ради чего...

У Семы снова вопрос:

— Даже когда объявляют: «Слово предоставляется...»?

— Ах, если бы только...— вздыхает Богоевский... Вздыхает, молчит, а потом возвращается к прежней теме:— Для тебя, Семен, самый счастливый человек — папа римский...

— Почему? Папа?

— Папа несколько раз в день видит свое непосредственное начальство распятым!

Итак, мы твердо знаем: Богоевский задумался...

«А-а-а, голубчик, задумался!» И мы рассматриваем его, задумавшегося. В упор. Картина для нас новая: мы знали Богоевского очень знающим, знали умелым, но задумавшимся — никогда!

Этот задумавшийся Богоевский рассказывает о себе:

— Тридцать три года и четыре месяца тому назад я простудился. На заседании ученого совета. Потный сел около форточки. Воспаление легких. Смертельное. Едва выкарабкался. Молодой был и здоровый кандидат наук, но пенициллина-то еще не было!

Теперь — второй случай. В сорок восьмом году. Я в одной московской приемной перехватываю одного человека и подписываю у него справочку. На сереньком таком листочке. О том, что я — не вейсманист и не морганист. А двое моих коллег таких справочек не имели. Так сколько они пережили! Один столько пережил, что и жить-то перестал, другой... А меня миновало! Нет, робяты,— Владислав Кузьмич с особым, скорее всего доверительным, значением произносит слово «робяты»,— от каких случайностей зависит наша жизнь и здравие — уму непостижимо! Следствие? Хотите знать? А вот: когда случай срабатывает на тебя — невозможно ему отказать! Ведь это так редко, так редко бывает, чтобы случай работал на тебя! На кого-нибудь — то и дело, но — на тебя?! Подумать только! Бог мой, да разве можно отказываться от собственного случая?!

Странно, что Богоевский, человек логический и последовательный в достижении своих целей, придает такое значение случайности и случаю.

Его теорию по этому поводу мы знаем, слышали не раз, но все еще не привыкли к ней.

«Рождение каждого человека в этом мире — дело только случая, происхождение мира — тоже случайно, и весь мир от начала до конца аморфен. Он дает массу материала для любых сюжетов, но сам принципиально бессюжетен! Вы думаете, Шекспир — гений?! Ерунда! Истинный гений видит аморфность и хаос мира и понимает, что истина бессюжетна, и только подмастерья и разные вундеркинды придумывают сюжеты, так же как некоторые сотрудники «Огонька» — кроссворды. Из тысяч слов, конечно, можно составить кроссворд, но слова как таковые вовсе не предусматривают кроссвордов.

Особенно бессюжетна живая жизнь. Мертвые сами по себе небесные тела подчиняются сюжетам механики, но жизнь, которая происходит на земле, не имеет никаких постоянных законов, а непостоянство — это уже не закон, а скорее всего беззаконие.

Вот и среди современной растительности встречаются реликты и, вероятно, создаются какие-то новые виды, которых мы еще не замечаем, а среди людей существуют народы, научившиеся летать в космос, и дикие племена, совершенно не знающие грамоты. Какой же это закон? Кроме того, к закону не должны быть приложимы такие понятия, как «хорошо» и «плохо»,

а все, к чему их можно хотя бы ненадолго приложить,— это не закон, а чертовщина!»

«Во консерватизм так консерватизм!» — восхищается обычно Сема, выслушивая сентенции шефа, а мы никогда не понимаем Семиного восхищения.

И Богоевского не понимаем... Оригинальность — или оригинальничание? Убеждение или оправдание самого себя перед самим собой? И перед нами тоже?

Ведь тут же, в ту же самую минуту, Богоевский говорит:

«Нужно, чтобы от тебя исходило электричество творчества!»

«Нужно, чтобы твое собственное напряжение доставляло тебе удовольствие!»

«Нужно...» И тут, подчеркивая слова «тебе», «тебя», «твое», он излагает некоторые тезисы своего практического существования и даже стремится к самопониманию. Стремится в меру текущих потребностей — насколько это нужно сегодня, настолько Богоевский сам себя и узнает, упаси бог — на сто граммов больше! Вот это уже совершенно ни к чему!

Сема в это же время говорит не без внутреннего восхищения Богоевским, хотя для нас это восхищение всегда непонятно, мы не можем его объяснить, тем более что Сема не льстец, не подлиза какой-нибудь.

— Во даете, Владислав Кузьмич! Во даете! Во даете жизни!— восхищается он.— А у меня к вам вопрос, Владислав Кузьмич: мы действительно ищем те самые травы, которые вы считаете самыми нужными? Или не те?— И Сема взмахивает над головой деревянной копалкой, да так и остается в позе человека, на кого-то замахнувшегося...

Конечно, вопрос для Богоевского больной: у него собственные взгляды на фармакологию, на перспективы ее развития, и если этих взглядов придерживаться строго, тогда нам нужно искать совсем не те травы, которые мы из года в год ищем по всей Сибири, а иногда и на Дальнем Востоке.

Богоевский пожимает плечами. Он делает это меланхолично.

— Фармакология все равно будет широко и еще долго пользоваться теми травами, которые собираем мы...— объясняет он.— Значит, будем собирать это общеизвестное и привычное для всех лекарственное

сырье, не нарушая психологического и тоже лекарственного фактора привычки. Тем более будем, что мы делаем это даже лучше других, ведь мы высокие специалисты...

— Иначе говоря — выше пупа не прыгнешь?— все еще допытывается Сема, а Богоевский, тоже вполне серьезно, отвечает на вопрос вопросом:

— А где у тебя пуп, Сема? На каком месте? Это очень существенно!

— Неустранимые противоречия?— упорно продолжаем мы — а конкретно Костя Ворожцов — свое интервью с Богоевским, не теряя надежды на какое-то откровение.

— В нашем обществе неустранимых нет — устраним!.. Когда-нибудь.— Потом задумывается...— Ведь вся жизнь,— отвечает и дальше Богоевский и теперь указывает пальцем вверх, на тропу, где стоят две наши лошади, Красавка и Рыжий,— вся живая жизнь — это сплошное противоречие. Хотя бы потому, что она существует ради того, чтобы когда-нибудь погибнуть. Может быть, скоро. Например, завтра. Ну а человек — квинтэссенция жизни, и прежде всего — всех ее противоречий. Нет в жизни всего живого такого противоречия, которого лишен человек! Нет такого противоречия, которое не имело бы отношения к человеку!

Вот он — наш Богоевский, поглядите на него!

Лошади, лошади, всё — они!

И хотя виноваты они, мы, наверное, все равно напрасно вот так, панибратски, развесили уши, беседуя с Богоевским, напрасно предались откровенной психологии! На другой же день нашего сидения на берегу Аргута и нашего почти непрерывного смотрения на тропу, где стоят две лошади, Богоевский говорит:

— Ладно, робяты, нынче антракт в моей жизни! Я согласен. Ну потеряю недельку, подумаешь! В тюрьмах вон люди сколько теряют! Но когда вернемся в институт — я с вас эту недельку спрошу! Я с вас шкуру спущу в пятикратном размере! В библиотеках за утерянные книги в пятикратном размере берут?

— А все равно книги растаскивают!— вздыхает Сема.— Особенно художественную литературу — Распутина, Петрова. Смотря по вкусу и склонностям.

— Возьму в десятикратном. Все учту и — возьму!

Вот так. Оказывается, и своей задумчивости и своему добродушию («робяты»!) Владислав Кузьмич ведет строжайший учет! Имея в виду получить в десятикратном.

Точно ведь. «Вернемся в институт — ох лихо достанется нам, ох лихо!» — соображали мы.

Кроме этого, кроме таких-то слов, Богоевский позволял себе часами неподвижно валяться на траве, смотреть в небо и молчать!

И тогда мы обходим его стороной. Вот это уже было нам совершенно непривычно и неловко — видеть такого Богоевского! Непривычно, неловко и, кажется, страшновато. Нельзя было нам догадываться, что шеф думает о жизни вообще, например о двадцатых, тридцатых, сороковых, пятидесятых и так далее годах...

«Когда вернемся в институт — уж не придется ли нам лихо не только за нынешние денечки, но и за двадцатые — тридцатые годы? — соображали мы. — Не худо бы, конечно, отделаться пятикраткой, но надежды мало!» Мы не были вместе с Богоевским в двадцатых — тридцатых, многих из нас не было тогда на свете, и тем не менее мы чувствуем, что лихо нам будет и за те годы тоже. Как будто бы мы и не имеем к ним, давным-давно прошедшим, ни малейшего отношения, но все равно это не освобождает нас от них. Такой оборот...

В то же время мы помним обещание Богоевского — умереть через пять-шесть лет в полной апатии, и волей-неволей, а ждем от него комментариев. Ведь существенных событий и слов не бывает без комментариев.

Богоевский, конечно, не из тех людей, которые не помнят своих обещаний.

Он обещание подтверждает:

— Ну, за пять-то лет, робяты, я кое-что успею! Пять лет — это одна тысяча семьсот двадцать шесть дней, считая, что один год обязательно будет високосным! Шкуры успею с вас спустить и кое-чего другого еще сделать!

Мы помалкиваем. Мы все еще верим, что этот разговор столько же серьезный и деловой, сколько ернический и в шутку — не будем же разбираться в нем до конца.

Лучше помолчим.

Пока молчится.

Мы переходим к другим персонажам, а к Богоевскому пусть бегло, но еще вернемся — это неизбежно...

СЕМА КОЧКИН

Семе Кочкину тридцать два.

Семе Кочкину тридцать два, но он все еще — Сема, и в институте нет человека, который знал бы его отчество. Валерьянович, Витальевич, еще что-то в этом же роде — это кое-кому было известно, но не более того.

Семе нравилось такое положение дел. На это были причины.

Вероятно, их много было, этих причин генетического порядка и других, не очень известных и определенных, но одна была очевидной для всех и для Семы тоже: Сема пламенно и неизменно желал начать все сначала. А начинать все сначала больше к лицу Семе, чем Семену Валерьяновичу, Витальевичу или еще кому-нибудь другому.

Сема желал начать свою жизнь сначала далеко не в первый раз в жизни, и нынешний год как раз наблюдался такой период его биографии — то он видел себя студентом-заочником института иностранных языков и переводчиком иностранной художественной литературы, то писателем или знатоком римской истории, то программистом, то автором книги о поведении дельфинов. Он всегда видел себя зримо и ощутимо, но далеко не всегда зная — кем.

Могло показаться, что Сема должен быть большим эрудитом, по меньшей мере таким же, как Костя Ворожцов, но на самом деле не так уж много он знал о тех специальностях, в которых горел желанием завтра же «начать».

Косте было очень интересно знать многое, знать без конца, но почему и зачем — ему было неизвестно, и к этой именно неизвестности у него и лежала душа.

Когда Костю спрашивали — зачем ему знать?— он отвечал:

— У каждого свое утешение...

Сема, наоборот, знал только то, к чему приводила его им же сконструированная необходимость знания, а все, что не отвечало этой необходимости, его совершенно не интересовало. Если законы Ньютона нельзя вывести за пределы механики, нельзя соединить их с чем-нибудь совсем другим, соединить каким-то подобием электросварочного шва с чем-то еще и получить таким путем новую логическую и любопытную для Семы задачу,— значит, и черт с ними, с этими законами!

Семе Кочкину они до лампочки: ими нельзя заняться вплотную!

Сема любил этим словом выражаться: «вплотную подойти», «вплотную заняться», «вплотную влюбиться».

Нет, знания не были для Семы средством утешительным, и, должно быть, все, что ему было известно в науках, представлялось для него в таком виде, как не представлялось никому другому.

И не так все это было легкомысленно, хотя и легко,— Сема не только нам изъяснял свои соображения, он посещал высоких кибернетиков и даже их приводил в замешательство, и они начинали находить «рацзерно» в предложении перевести систематику растений на кибернетическую основу, и не только ради самой систематики, а для того, чтобы получить новый метод моделирования живой природы.

Больше того — Сема уже совратил двух молодых ученых, и они «вплотную» забросили официальные планы своей научной работы, а неофициально ломали головы над задачами, которые сформулировал перед ними Сема. А теперь и третья и, кажется, даже четвертая жертвы были у него на примете.

Разумеется, своего совратителя эти люди почитали почти что гением, они упорно распространяли слухи о Семиной исключительности, а нам, его товарищам, было очень странно и как-то даже нелепо об этом слышать.

Этим двоим совращенным Сема Кочкин периодически назначал свидания у себя дома, а изредка — под сенью громадных колонн парадного и даже шикарного входа в здание нашего института, и тогда мы видели их. Во всей красе видели и наблюдали — одного смуглого, а другого блондина, одного — чуть повыше, другого — чуть пониже, как в строго назначенное время, в самом конце рабочего дня, они появлялись здесь и минуту-другую ждали Семиного выхода из огромных дверей.

Должно быть, им это было далеко не просто: ведь они тоже трудились, один в КБ, другой в каком-то хитроумного назначения институте и где-то за городом; значит, всякий раз, чтобы встретиться с Семой, им нужно было улизнуть со своей работы задолго до положенного времени.

Один смуглый, а другой блондин, они казались нам очень похожими друг на друга тем выражением почти-

тельности, которое появлялось у них при виде Семы Кочкина. Все трое они были товарищами, и почтение тоже было товарищеским, но когда они обращались к Семе — «ты, Сема», довольно явственно слышалось нечто другое: «вы, Сема...»

И тут, при этих встречах, хотя мы и видели их со стороны, с нами тоже что-то происходило — не то замешательство охватывало нас, не то смущение: разные, а все-таки близкие друг к другу чувства.

Мы, кажется, гордились: «Вот так Сема, вот так влиятельный человек, ну давай-давай, влияй, дуй до горы!» И мы же Сему упрекали: «Обманываешь, Сема, честных и, по всему видно, славных ребят! Уж кто-кто, а мы-то догадываемся, что обманываешь!» Мы чувствовали к Семе свою причастность: «Может, Сема, тебе нужен наш совет? Чтобы охмурить этих ребят окончательно?» — и мы же от Семы отчуждались: «Нет уж, давай сам! Твое дело — охмурять, мы здесь ни при чем!»

Эти оттенки чувств и функций головного мозга перемещались от одного из нас к другому, но никогда не случалось, чтобы легкомысленный Костя Ворожцов, например, только восторгался, а строгая и деловая Надежда Львовна — «Ах какая женщина!» нашей экспедиции — только возмущалась бы Семой. Тут дело обстояло несколько иначе: стоило нам заметить этих двоих, смуглого и блондина, под громадными колоннами института, каждый из нас тотчас начинал прислушиваться к самому себе: чему я-то в эту минуту подвержен — не сильной, не бог весть какой, а все-таки гордости за нашего Сему, а попутно и за себя тоже, или же — возмущению и стыду за тот обман, который я здесь подозреваю?

Кстати, именно это же смешение и смещение чувств, но только гораздо большее, мы переживали и нынче, то и дело глядя вверх, на скалы, на наших терпеливо гибнущих лошадей.

Мы опять-таки не знали, была ли в нашем ожидании их неминуемой гибели наша слабость и никчемность, или же это ожидание говорило о том, что мы душевные люди?

Мы невольно экстраполировали это состояние куда-то еще выше и еще дальше, в те пока что не наступившие события, которые рано или поздно, но все равно захватят нас. В какую-то еще неизвестную нам погибель

всего белого света, должно быть, проникали мы тихо, скромно и смиренно...

Но, собственно, разговор идет ведь не о нас всех,— разговор персонально о Семе.

Конечно, много бы дал нынче Сема, чтобы перед ним сию минуту появились его почитатели — один смуглый, другой блондин, один чуть повыше, другой чуть пониже. Или хотя бы один из них.

Он бы их нынче пожалел!

Сема ведь очень любил их, совращенных, жалеть: «Уж эта наука — что только не делает с человеком! Между прочим, вот проблема: «Ряды психологических явлений, сопутствующих выбору научной задачи»! А?! Чем не проблема? Вот бы заняться вплотную! Вот бы нашелся на эту проблему хороший человек?»

А ведь эту пагубную страсть к постановке проблем в Семе подогревал не кто иной, как Богоевский.

Уже довольно давно выяснилось, что они — Сема и Богоевский — на какой-то мыслительной орбите прекрасно состыковались.

«Найти в науке свою тропу — дело относительно пустяковое и даже эмпирическое,— утверждал Владислав Кузьмич.— Главное — в другом: когда тропа вывела тебя на открытое и большое поле — вот тут сориентироваться, тут определить азимут!»

Владислав Кузьмич утверждал это как бы между прочим, но Сема, который полагал это утверждение важнейшим и чувствовал себя на открытом и беспредельном поле не то Ильей Муромцем, не то Владимиром Вернадским, немедленно начинал вычислять азимуты, следуя которым целый ряд наук завтра же перейдет из современного состояния в надсовременное.

Все это продолжалось вот уже девять лет — ровно столько, сколько Сема Кочкин работал у нас в лаборатории. Никуда он от нас не уходил и ничего не начинал сначала, но все равно не только он, а все мы верили: вот-вот начнет.

И, возвращаясь из очередных отпусков, мы интересовались:

«Что новенького в лаборатории? Сема Кочкин у нас? Не ушел? Никуда?»

«Сема — никуда!»

И было в общем-то приятно, что «никуда».

Сема плюс ко всему, плюс к этим его особенностям, был еще и покладистым и аккуратным парнем. Удиви-

тельно, как сочеталась в нем его «проблематичность» с аккуратностью в исполнении любого самого малого дела: за молоком ли в ближайшую деревню из лагеря сходить, рюкзак ли заштопать, письмо ли с дороги отправить,— все забудут, ни у кого руки не доходят — у Семы дойдут.

Особенно если это было поручение «самого» Богоевского, с которым Сема до смерти любил цапаться и которого обожал: «Богоевский меня понимает! Он, а больше никто!»

Понимал Богоевский Сему или нет, но беседовали они то и дело. На удивление всему институту были эти беседы самого директора с рядовым к. б. н. (кандидатом биологических наук).

В этих беседах Богоевский никогда не употреблял слово «нужно», заменяя его словом «возможно», причем в вопросительной интонации, и тогда Сема с ума сходил от старательности: всякое доказательство того, что возможность реальна, было для него что валерьяновые капли для кошки.

Разве только атомная бомба могла его смутить, которая возможна, но вот насчет ее необходимости...

Тут логика Семе отказывала, и глаза его не так уж смело начинали глядеть на мир, на науку в целом и на ее проблемы — тоже.

Должно быть, Сема был удачливым парнем, судя по тому, как он защитил диссертацию: он выдвигал-выдвигал одну проблему за другой, и вот к одной из них — «Болезнетворность растений как признак их лекарственного значения (в математическом выражении)» — Богоевский набросал несколько страниц, а потом заставил Сему эти страницы развить — получилась вполне приличная диссертация.

Эта счастливая нечаянность еще больше убедила Сему в том, что сформулировать проблему — это почти то же самое, что решить ее.

Мы не раз и не два объясняли Семе, что это далеко не одно и то же, Сема легко с нами соглашался. На словах. Но что он думал на самом деле, мы так и не знали и спрашивали себя: «Мысль человека — это он сам? Или между человеком и его мыслью нет, а то и не может быть соответствия?» Применительно к Семе ответ получался как будто отрицательный — Сема не был похож на свои мысли.

Это наше недоверие он нынче сам подогревал, выдумывая проблемы по поводу лошадей. Например:

«Механизм устойчивости лошадей при максимально возможной продолжительности их стояния»;

«Психология неподвижности у млекопитающих» и так далее и тому подобное.

Впрочем, даже и этими «проблемами» Сема раздражал нас не очень, не до конца.

Он ведь был покладист и добродушен в отношениях с нами, несколько особые отношения были у него с Костей Ворожцовым, на которого он не хотел быть похожим.

Но и тут Семе везло. Костя еще больше не хотел хоть в чем-то походить на Сему, и благодаря этому Семе было легко переложить все заботы о непохожести их друг на друга целиком на Костины плечи: кто больше хочет, тот и трудиться должен больше! Чем не логика? Логика. Да еще такая, которая ничуть не мешает дружбе!

У Семы была большая, слегка начинающая лысеть спереди голова, русая бородка по периметру округлого лица, на лице самым примечательным было то, чему и положено быть примечательностью,— голубые глаза, не совсем, не до конца, а все-таки пронизывающие собеседника внимательным взглядом.

Вид мыслителя и немножко отшельника, но был ли Сема мыслителем в самом деле, без дураков, мы ведь так и не знали. Как будто бы да, но как будто бы и нет... И хотя Сема неизменно собирался начать свою жизнь сначала, был ли он человеком сомневающимся или нет — мы не знали тоже.

Кажется, сомнения не бывают способом жизни и самоутверждения, но для Семы они были и тем и другим.

К тому же — зачем? Зачем это нам было — докапываться до психологии Семы Кочкина, до которой он и сам-то не докапывался? Создавать его рисунок, который ему самому может учинить неудобства? Ни к чему и даже бестактно! Никогда прежде мы этим не занимались.

Мы что, врачи-психиатры, что ли? Или работники отдела кадров? Или темой нашей научной работы являлось такого рода исследование?

Ни то, ни другое, ни третье...

Сема был товарищеским парнем, хорошим работником и совсем не карьерист, в худшем случае — не совсем карьерист, и аккуратен до такой степени, что посто-

янно подавал нам повод над этой аккуратностью подтрунивать, пустить одну-другую хохму — чего еще нам было нужно?

И даже нынче, на берегу Аргута, когда главным занятием для нас неожиданно стало взаимное портретирование,— даже нынче мы не пытались разгадать Сему Кочкина дальше того, что нам было уже известно. В общем-то Сема был каким-то кратким, ни одна из его гипотез не то научного, не то фантастического толка не распространяла его фигуры за пределы давно известного нам контура. Ну и пусть его живет таким, какой он есть,— ему это можно.

Другое дело, что мы вспомнили: года два назад, когда после университета в нашу лабораторию пришла Верочка Баклаева, она прильнула к Семе.

Вот уж кто слушал Семины гипотезы так слушал!

Вот уж кто искренне поражался Семиной аккуратности так поражался!

Мы, признаться, стали подозревать: а уж не подумывает ли наш Сема над тем, чтобы «начать вплотную» не только в области отвлеченных гипотез, но и где-то за их пределами?

Но это продолжалось недолго, в лабораторию пришла Семина жена, очень на мужа похожая: личико круглое, глазки голубые, и только фигуркой против мужа не вышла — Сема парень могучий, а эта — крохотуся. И голосок тоненький, почти детский.

Детским голоском она и спросила:

— Семен Витальевич, а это,— указала голубым взглядом на Верочку,— это твоя приятельница? Да?

Тогда мы едва ли не в первый раз и услышали обращение к Семе не только по имени, но и по отчеству.

И тогда же Верочка Баклаева оказалась в полном одиночестве. Правда, ненадолго: одиночество, отсутствие дружбы и доверительности, а может быть и любви,— все это не укладывалось в представление Верочки о самой себе, о своем собственном существовании в этом мире.

И она прильнула к Ворожцову Косте.

А Сема как раз вскоре после того и совратил своими идеями с пути истинного двух молодых научных работников.

«Литгазета» — она чем ведь только не занимается, каких только проблем не поднимает,— так вот «Литгазета» опубликовала однажды статью не то проблемную, не то постановочную, не то какую-то еще, в которой ставился вопрос: нужны или не нужны клубы знакомств для одиноких мужчин и женщин?

Все там было, в этой статье и в связи с ней, чему положено быть: и сама статья, даже — две, «за» и «против», и сообщение о нескольких тысячах читательских откликов, и резко противоположные мнения ученых-демографов, и конкретные предложения по организации этаких клубов: чтобы была там картотека с возможно полной характеристикой одиноких мужчин и женщин, чтобы были ЭВМ на случай, если нужно будет подсчитать «совместимость» потенциальных партнеров.

Так вот, этот вопрос — о необходимости «клубов знакомств» — почему-то стал нынче и для нас предметом дискуссионным, и мы пустились спорить во все тяжкие, «нужно — не нужно», «полезно — вредно», и с такой горячностью спорили, как будто оказались самыми одинокими людьми на свете и теперь собирались так или иначе устроить свои судьбы исключительно с помощью «Литературной газеты».

Личные судьбы — такой мы употребляли оборот речи.

— А что? А что?— от всей души защищала идею Верочка, но защищала очень по-своему.— Если женщина любит, она никакой ЭВМ не испугается! Женщина все равно сделает по-своему, но только сознательно: она будет знать, что ей нужно преодолеть ту несовместимость, которую ЭВМ определила!

— Вот Верка так Верка!— удивлялся Костя Ворожцов, глядя прямо в Верочкины глаза и ничуть не смущаясь при этом.— Вот дуреха так дуреха! А ты подумала, как к этому расчету отнесется твой избранник? Он, может, тот же час улетит на Дальний Восток? На Камчатку? Или в ресторан «Москва» со всеми своими друзьями молодости?

— Я его найду. В ресторане «Москва». И на Камчатке!

— Да зачем его искать-то? Если он уже умотал от тебя?— удивляется Костя.— И все эти клубы, и все ЭВМ — они же тебе совершенно ни к чему. Они не для

тех, кто любит. Они для тех, кому одиночество — факт, и этот факт любым способом надо разрешить безо всякой любви и прочих эмоций, чисто деловым путем. Хоть через картотеку, хоть через ЭВМ, хоть через черта-дьявола — любым способом! И потом, что ты, Верка, толкуешь, «если женщина любит...»? Да ни одна девчонка не знает, что такое женщина!

— Девчонка лучше это знает, чем женщина! Девчонка больше женщина, чем женщина! Женщина только до тех пор и женщина, пока она девчонка! — яростно защищается Верочка, а Сема Кочкин, который поначалу не слышит разговора, теперь меланхолически прикрывает ладонями сначала одно, а потом другое ухо; исполнив же эти предохранительные меры, говорит:

— Я с тобой, Баклаева, согласен: человек всю жизнь должен искать личную судьбу. Свое умственное направление! Но только это вопрос логический. Вот я. Видишь, вот это я, и я ищу, проверяю себя — что дал мне прошедший этап моей жизни? К чему привел? На что указал? А ты, Баклаева? Да ты сумасшедшая, что ли? Ты послушай, Баклаева, какие ты без конца произносишь дикие звуки: ж-ж-ж! ш-ш-ш! Э-э! Вэ! эМ! Дураки вы оба с Костей, вот что, вот в чем ваша беда! Вы сами себя оглушаете, вместо того чтобы думать серьезно!

— Брось ты слушать малахольного, Верочка! — отвечает Семе Костя.— Бросим слушать его вместе! Бросили!

— Бросили!!! — взвизгивает сияющая Верочка.— Отвернись, Сема, мы тебя не хотим ни слышать, ни видеть! Отвернулся?

— Ну, а теперь возвращаемся к нашему вопросу. О клубах знакомств. Будем решать практически и житейски. Согласна? — спрашивает Костя.

И думать нечего — конечно, она согласна. Сема Кочкин глядит куда-то в сторону, Костя в момент преображается из интеллектуала в рубаху-парня.

Костя Ворожцов в первом приближении — в самом первом — такой: то интеллектуал и обладатель бесконечной информации из каких угодно областей науки и техники, а то — рубаха-парень, причем рубаха в том практическом смысле, которого Верочка должна была бы бояться обязательно, но все равно не боится.

Не боится, не опасается, не отворачивается, даже после того, как Костя объясняет ей свой взгляд на клубы знакомств:

— У меня, Веруська, как? Вот я поругался с женой да пошел, да строил с кем-нибудь. Ну, еще пошел к приятелю — кандидату физматнаук поговорить за жизнь, за науку и литературу. А потом — куда? Потом — обратно домой, больше все равно некуда. Ну а если по дороге на моем обратном маршруте окажется этот клуб — неужели я его миную? Это же противоестественно, и вот я уже в том клубе и справляюсь по картотеке и выбираю чью-то карточку, какой-то гражданки, просчитывая ее на Э-Ве-эМе на предмет нашей совместимости. Понятно, Веруська?

— Да кто тебя пустит в тот клуб?— возмущается Сема Кочкин, снова обернувшись к Косте.— Кто? Туда вход будет только холостякам, только избранным одиночкам. Разведись еще раз — тогда являйся! А без этого — граница на замке. Усвоил?

Сема и не слушает Верочкин и Костин разговор, а все равно слышит, и вот будто бы и меланхолично, без интереса, а все равно встревает.

Встревает не бог весть как удачно, а главное, напрасно — не очень-то просто поставить Костю-интеллектуала в тупик, Костю рубаху-парня — еще труднее. Костя всегда знает, что говорит, знает и на этот раз:

— Наив, Сема! Пошлый наив! Ну не пустят меня в клубную дверь — залезу в клубное окно!

— И в окно не пустят!

— Трешку вахтеру! И все! И я там! И ты подумай попутно, Сема,— вот перспектива для молодого ученого, целеустремленно ищущего свое будущее: вахтер в клубе знакомств! Пятьдесят трешек в будний день, семьдесят пять — в выходные. А сколько социологических наблюдений?! Вполне хватит на докторскую! И вообще — сколько увлекательных проблем для зрелого ума и молодого сердца!

Верочка, безусловно, поддерживает Костю и тоже впадает в его тон:

— Подумай, Сема, сам с собой! О предмете! Предмет — пальчики оближешь!

Костя же, воодушевившись, почти что всерьез:

— Итак, я в клубе! Откуда мне начать? Само собою — с картотеки. Я выбираю карточку. Затем иду, закладываю карточку в машину. Просчитываю. Убеждаюсь — в первом приближении ошибки нет, иду дальше. То есть в зал знакомств. Может быть, он актовым залом называется или — конференц, дела не меняет, там ти-

хая музыка Чайковского и фотографии передовиков производства. Там я нахожу ту, которую только что просчитал на машине. Подхожу. Намекаю. Намекаю таким образом: «Вот вам данные нашей милой машины — почти стопроцентная теоретическая совместимость. А практическая? У вас жилплощадь изолированная?» И прости-прощай мое возвращение в дом родной, к законной супруге... Разве только изредка и между делом смогу законную навестить, поговорить о новых веяниях в вопросах семьи и брака! И столько эти клубы наделают разводов, что никогда уже и никто не справится с одиночеством разведенных! Процесс будет необратимым и вполне в том духе, что семья — это пережиток темного прошлого! В Коммунистическом же манифесте сказано: пережиток!

— Ах какой ты молодец, Костя! — восхищается Верочка. — Какой умница! Какой эрудит!

— Циник! — заявляет Сема. Подумав, подтверждает: — Циник, и больше никто. Совершенно никто!

— Умница! — поправляет Сему сияющая Верочка. — Истинный ум не боится вывода, хотя бы и циничного! И только твой, Сема, умишко сначала прикинет, не будет ли вывод циничным, еще каким-то неподходящим, а тогда уж этот вывод объявит вслух! Ну? Раскусила тебя Баклаева?

Сема несколько растерян, но не сдается.

— У Кости вовсе не ум, Верочка, а неизменная готовность скомпрометировать любую идею! Водка тоже продается из соображений благородных — поднять настроение и моральный дух выпивающего! Слышишь — мо-раль-ный! Ведь в принципе это невозможно — снабжать людей средством разрушения морали! Говорю же тебе русским языком: Костя Ворожцов — прожженный циник!

— Не циник, а практик! — доказывает Костя. — То есть человек с минимумом заблуждений! Все дело вот в чем, Веруська: когда люди ставят перед собой какую-то цель — например, избавиться от одиночества через клубы знакомств, — они все свои действия начинают рассматривать с точки зрения того результата, которого хотят добиться. Но ведь результата еще нет! И, значит, этой точки зрения тоже нет! И тут единственный здравомыслящий человек — это практик: он способен угадать следствия, прямо противоположные поставленной цели. Он один стоит не на той точке зрения, которой нет.

Разве французы думали о Наполеоне, когда делали свою революцию? Разве они думали о поражении, когда Наполеон повел их в Россию? Разве Гитлер думал о Наполеоне, когда повел в Россию немцев? Но ведь Наполеон был. Почему никто о нем не думал? Все перестали быть практиками, принимать в расчет опыт — вот и все. Вот в чем дело! Опыта на все на свете предостаточно, но теория вымышленного результата губит его, этот опыт. У практика благородная миссия. И редкостная. Теперь снова перехожу к нашим клубам знакомств. Кто выдумал идею? Да те же одинокие женщины, которым осточертело их одиночество! «Литературка» так и сообщает: на десять тысяч читательских писем по этому вопросу только несколько сот от мужчин. Потому что мужики практики, а практики потому, что им одиночество иной раз даже и приятнее. Вот они и помалкивают в тряпочку. И потихоньку ждут, когда бабы устроят им сладкую жизнь.

Сема:

— Циник, циник, циник!

Верочка снова сияет:

— Умница, умница, умница! И смелый, не боится вывода! И честный: мужики помалкивают, а Костя открыто предупреждает женщин! Костя,— спрашивает Верочка,— а у тебя хватит смелости написать обо всем в «Литгазету»? Нарушить неписаный закон мужского клана?

— Хватит!— не колеблясь утверждает Костя Ворожцов.— Писать не буду, для меня это мелко, но хватит!

— А-а-а-а!..— взвивается Сема.— Вот храбрец, вот какой!..

Но Верочка не дает слова Семе Кочкину, она рвется к новым откровениям и спрашивает Костю:

— Что такое супружеская верность?

— Условность, Веруська! Условность, а больше ровным счетом ничего!

— Комментарии?— требует Верочка.

Костя всегда знает все, знает и на этот раз: католик-ксендз вообще не имеет права жениться, православный нарушает законы христианства, если он многоженец, а Магомет имел пятьсот жен. Разве все это не условность! Как условились считать, так и считают, больше ничего! Ведь вот же убийство ближнего не признается ни одной религией, ни одной моральной школой, ни

одним бытом,— значит, это запрет истинный, а не условный?

В дальнейших рассуждениях Костя Ворожцов из рубахи-парня и практика почти на полчаса преображается в интеллектуала-теоретика, и — боже мой! — чего только не подсказала ему за этот краткий отрезок времени его память! Все и вся тут было. И Аспасия, жена Перикла, и Таис — подруга Александра Македонского, и гетеризм, и полиандрия, идеалистическая и марксистская точки зрения в вопросах семьи и брака, Тургенев, Маяковский, Чайковский, Есенин, Ясная Поляна, данные последней переписи населения СССР...

Это поражает нас, причем не само по себе, а потому, что, на какую бы тему ни зашел разговор, Костя вот так же выложит перед слушателями бог знает сколько фактов, сведений, изречений, теорий!

Костя знает о летающих тарелках, кажется, все, что можно о них знать. И о Бермудском треугольнике — тоже. И о снежном человеке.

Костя, по его собственному утверждению, «существо безусловно мыслящее», но мыслящее далеко не так, как все мы, а с некоторым презрением ко всему тому, что уже известно, и с преклонением перед неизвестностью.

Костя так и говорит, что все опознанное, все научно обоснованное — это частности, только азбука и отдельные звуки еще несложившихся слов, только утренний ленч человечества, не более того (Костя любит это слово «только», должно быть, потому, что за ним стоит «не только»).

Костя пишет остроумные рассказы о сотрудниках сфантазированного им «НИИБуЧела» — научно-исследовательского института по разработке облика будущего человека.

Есть в этом институте «Сектор грядущего питания», есть отдел «БуЧел-обувь», но главное в его тематике — моральный облик все того же «БуЧела». И вот научным секторам, отделам и лабораториям нет конца, и вот они соревнуются друг с другом в создании вариантов средненеположительного, положительного и сверхположительного БуЧела. Тут уж каждый эмэнэс работает локтями, оттесняя своих коллег и всячески интригуя, чтобы получить премиальные и в сроки выдать на-гора идеальный образ.

Костя пишет не без блеска, но еще лучше он читает свои опусы вслух по случаю дня рождения кого-нибудь

из сотрудников лаборатории, само собою разумеется, он при этом пародирует. Чаще всего — Богоевского.

Богоевский не раз слышал Костины экзерсисы, давал дельные советы, подбадривал авторское самолюбие: «Совершенствуй, Ворожцов! Улучшай своего БуЧела, пока я не взял тебя за воротник!»

После такой похвалы Костя обычно заводил разговор о том, что нынче пишут все, что это массовое и отрадное явление нашей современности, что сам-то Богоевский почему не пишет? *Только* потому, что у него нет точки опоры — то есть свободного времени! Дайте-ка ему эту самую точку! А может быть, она у него есть, может быть, он ее уже давно выкроил в своем бюджете времени — кто может поручиться? И написал что-нибудь похлестче «НИИБуЧела»? Богоевский Косте не отвечает. Он по этому поводу помалкивает.

Костя — врожденный полемист, и вообще нам кажется, что он — довольно часто! — восходит на порог иного, уже не нашего мира.

Мир этот вот-вот возникнет из небытия, которое есть не что иное, как наше собственное незнание, ограниченность и неспособность к тому «реальному воображению», которое для Кости — его изобретение и его же хлеб насущный и повседневный.

Таков в нашем представлении Костя Ворожцов — мыслитель.

Но Костя Ворожцов житейский — это не только такой же, как все мы, человек, но «слабак» среди нас и даже примитив.

Не то чтобы он был Паганелем жюль-верновского толка, который все знает, но ничего не умеет,— Костя много и хорошо умел: его гербарий всегда бывал интересным, и лошадь он умел заседлать именно так, как нужно было на сегодняшнюю дорогу — на подъем или на спуск, и книгу он приобретет у спекулянта как будто бы ни к чему, а смотришь, через год книга эта стоит на вес золота. Нет, Костя плюс ко всему был человеком умелым!

Однако же всякая умелость — это не только она сама, но и ее надежность, а Костя был человеком последовательно ненадежным.

Сегодня Костя захотел что-то сделать, проникся и остался дежурить в лагере, приготовил всем нам обед что надо, назавтра — остался дежурить снова и не приготовил ничего.

— Свинство! — заявляем мы, голодные и злые. — Ведь вот вчера ты, Костя...

— Что — вчера? Что — вчера? — отвечает нам, голодным, сытый Костя. — Вчера — ведь это не сегодня? Неужели надо объяснять? И вообще, что это за фейерверк эмоций? Как в четвертом акте оперы «Риголетто»!

Вот так.

Костя непьющий может пойти и стройть за углом «Универсама»;

Костя добрый может сжадничать из-за копейки, а жадный Костя — в один день растрясти очередную получку;

Костя энергичный может впасть в полную лень и бездеятельность на много дней, а ленивый — за несколько часов своротить горы работы;

Костя-философ может рассуждать на уровне тех собутыльников, с которыми он стройл за углом «Универсама».

Сегодня Костя заботливый, ну прямо-таки идеальный семьянин и муж, но «завтра — это не сегодня!», и вот весной прошлого года он женился в третий раз.

Мы его не то чтобы в упор, но все-таки спрашивали: как так?

Он отвечал:

— Моей вины нет. Женщины меня любят, и только! Многие. При чем же тут я?

За то, что Костя так много знал, за то, что он был чем-то не похож на других и недурен собою, за то, что иногда бывал добрым и обаятельным, женщины действительно его любили. Сначала полюбив его только за что-нибудь одно, потом начинали любить за все, даже за лень, за то, что он был женат три раза.

Мало того, что женщины, — мы ведь тоже Костю как-никак, а любили!

Вот он стоит на самом пороге нового, еще неизвестного нам понимания мира, заглянувший туда, куда нам заглянуть все еще не дано... Нам не завидно. Что он там, за тем порогом, делать-то будет такой, какой он есть? В то же время не будешь же относиться к человеку безучастно, ведь что-то такое делает он и за всех нас, заглядывая за тот порог? Рассуждая с пренебрежением обо всем известном и преклоняясь перед неизвестностью?

Нет, право же, мы его любим!

Мы нынче одного не хотим: чтобы Костю любила Верочка, и теперь издалека, а то и без обиняков объясняем ей, почему это нельзя.

Но Верочка каждый раз приходит в неистовство. «Он женат?! Он состоит в браке? Да знаете ли вы, глупцы, что такое брак? Вы только подумайте! Вот два человека, один — магометанин, другой — христианин, и для одного многоженство — великая честь, для другого — великий грех. Ну не глупости ли? Не бред ли собачий?» Верочка уже не помнит, что только вчера услышала эти слова от Кости, а своих слов у нее — только насчет собачьего бреда. Она не слышит, что повторяет Костю даже в интонации, и когда мы спрашиваем ее — зачем она рассуждает о браке вообще и откуда ей знать, что это такое, не лучше ли ей думать о себе? — она отвечает:

— Для каждого человека наступает час, когда он знает все! Все, что должен знать!

Так утверждает Верочка и чувствует себя истинной.

Она уверена, что Костю еще чем-то немногим надо дополнить, и тогда он станет великим человеком. Этим немногим она, Верочка Баклаева, как раз и будет! Именно она!

— Три женщины задолго до тебя думали точно так же, как и ты, Верочка!

— А вы-то откуда знаете?

— Иначе им и нельзя было думать!

— Но это значит, что они, все трое, думали не так. Они не додумались, чего-то не поняли и к чему-то не были готовы!

— Например? К чему?

— Один и тот же мужчина может быть безупречным семьянином, мужем одной женщины и в то же время — страстным любовником другой. И пусть, если это ему дано от природы! Пусть, пусть, пусть! Я согласна!

Костя спрашивает:

— Веруська, а тебе от природы не дано быть распутной?

— Если дано — буду!

— А если дано быть старой девой? И только?

— Ты гад, Костя! — отвечает Верочка.

— Твое мнение? — спрашивает Сема Кочкин у Кости. — Прокомментируй ответ. Особенно в первой его части, то есть о распутстве?

— Весь вопрос в том — можно или нельзя от этого вопроса уйти? Если взять немного повыше. Пофилосо-

фичнее. Понравственнее. Вот как Веруська — рассуждает о браке вообще, отвлеченно, и поэтому мораль, в частности для нее, готова. На тарелочке!

— Итак, Костя, ты уходишь? От вопросов?

— Я подвергаю вопрос испытанию. Если от него можно уйти, это уже чепуха, мелочь, и только! От вопроса о том, жить или не жить, голодать — не голодать, читать — не читать, любить — не любить, не уйдешь. Ни в теорию, ни в практику. Никуда. Значит, это действительные вопросы.

— Нарушаешь правила игры! — наступает Сема, и на этот раз наступает умело. Потому что любимый конек Кости Ворожцова: «Мораль есть правила игры, которую человек ведет с обществом, и можно быть игроком, а можно быть шулером». Вот Сема и подводит Костю к дилемме — мораль или шулерство?

Косте приходится туго, но тут на помощь ему бросается Верочка.

— Сема,— говорит она,— неужели ты думаешь доказать что-нибудь словами? Своими словами за меня — за мои чувства, за мои ощущения? За все то, что — я?

Сема смущен.

И мы смущены.

Мы-то знаем не то что Верочкину биографию — ну какая у девчонки в принципе может быть биография? — мы знаем ее родословную: Верочка воспитывалась без отца, Верочкина мать — без отца, Верочкина бабушка — без отца. Так сложилась судьба трех поколений женщин. И даже у Верочкиной прабабушки тоже было что-то неладно с замужеством.

Наше воображение без всяких затруднений рисовало нам небольшую квартирку в старинном доме на Советской улице в десяти минутах ходьбы от института, и житье-бытье в этой квартирке мы тоже угадывали — там ежечасно, ежедневно, ежегодно прямо-таки из тьмы веков накапливался потенциал неизрасходованной семейной любви, который и должна была унаследовать одна девочка. Девочка Верочка. Голубоглазая, курносенькая и современная.

Мы отчетливо представляли себе и тот вывод и тот результат, который обязана была бы сделать для себя Верочка из этих столь близких ей судеб: осторожность, осмотрительность!

Но ее вывод прямо противоположен ожидаемому нами, единственно возможному и логическому, и вот мы

заняты странной и, как видно, отвлеченной арифметикой: три женщины, с которыми Костя Ворожцов состоял в браке, и другие три — Верочкины мама, бабушка и прабабушка,— это что? Это 3×3, три в квадрате. Три в квадрате — неужели еще не опыт? И не память? Мы разглядываем Верочку и убеждаемся — нет, это все еще не опыт! И все еще не память!

Мы смотрим на Костю — до сих пор симпатичного для нас человека, в меру загадочного не то парня, не то мужчину. Смотрим опять на Верочку — тоже привлекательную, белокуренькую, голубоглазую, джинсовую девочку-женщину... Она ведь уверяет, будто знает о женщинах больше, чем они знают о самих себе!

Мы замечаем в Верочкином лице какую-то некрасивость и странность ее слишком развитых губ и хотим угадать: может, это наследственное? Может, это и есть причина тех судеб, через которые прошли три предшествующие Верочке поколения женщин?

А Верочка тем временем продолжает яростно защищать Костю, она все готова принять только на себя одну, всю нынешнюю ситуацию, и даже не понимает, что допустила перебор: Косте не в радость, когда мужчина во цвете лет, эрудит — и вдруг оказался под защитой девчонки!

Девчонка от него без ума — это естественно, но быть под ее покровительством?! Это, пожалуй, ужасно!

Во всяком случае это неприятно...

К тому же и мы тоже знаем, что делаем,— мы улыбаемся, мы подначиваем:

— Так-так, Верочка! Учись выручать Костю. Учись — пригодится!

Мы используем шанс: «Хорошо тому живется, кто за каменной стеной — за молодкой голубой!»

Костя мрачнеет, но тут нашей стороной допускается некоторый перебор — Верочка все поняла и сердито грозит нам сперва одной, а потом и сразу двумя руками:

— У-у-у, провокаторы!

Находится с ответом одна Надежда Львовна, умная и умудренная женщина нашей экспедиции.

— Ты глупая!— объясняет она Верочке.— До того глупа, что и представить невозможно! Ты думаешь, будто мужчинам, хотя бы вот и Косте, нужна твоя страсть? Да ничего подобного! Они боятся страсти и эмоций как огня! На кой черт они Косте?! Ему знаешь

что подавай? Эстетику, вот что! Обходительную эстетику, ласковенькую, умненькую! А куда-а-а тебе до всего этого, Верка! Вот спроси Костю: почему он разводился со своими женами? Да потому, что ему не хватало в них эстетики. Ласковой и внимательной! Правильно, Костя, я понимаю?

— Может быть, и правильно, однако...

— Что — «однако»?

— Слишком много знающая женщина... тоже лишена эстетики. Такая будет мне все объяснять, да? А я не люблю объяснений!

— Квалификация женщины — это ее умение молчать, Костенька. Или ты не знал? Помолчать — это, конечно, важно и для мужчины, но для женщины это дело ее жизни...

— Все равно проговорится! Рано или поздно. И вот она, пожалуйста: жена, которая знает все — от производственных отношений в современном обществе до отношений полного интима! Каково?

— А ты этого очень боишься? Этих знаний?

— Конечно!

— Ах какой первозданный мальчик! Не придуриваешься?

Так объясняет Верочке положение дел Надежда Львовна, знающая женщина. Но даже и эти объяснения Верочке нипочем. И Надежде Львовне она также угрожает:

— У-у-у, провокаторы!

Наши споры и рассуждения вовсе не сосредоточиваются на какой-то час или на два часа. Мы бродим около наших палаток, мы готовим пищу на костре и моем посуду в Аргуте, мы — и, вероятно, это главное, что мы делаем,— поминутно рассматриваем наших лошадей на тропе... Как там они стоят в мучительной неподвижности, в безмолвном ожидании своих судеб? А время от времени мы спорим и рассуждаем между собой. Причем не знаем точно — а имеем ли мы право спорить и рассуждать? Если это право у нас есть, тогда зачем оно нам? Ведь всякое право должно отвечать на вопрос: зачем оно?

Еще мы ждем, когда же Верочка пошлет нас всех к черту?

Она не посылает.

Спорит, горячится, нервничает, чуть не плачет (а может быть, уже и плачет, но только мы этого не замечаем), а «к черту!» бережет на самый последний случай.

Так ей нужно.

И нам тоже это нужно, ведь Верочка все еще подает нам надежду, что самого-то последнего случая, может быть, и не случится. Может быть.

Ведь Костя тоже все еще в борении с самим собой: он уже не может отвергнуть Верочку, но еще не потерял способности кое-что соображать.

Сообразит ли?

Вечером у костра Сема, примостившись как раз напротив Богоевского, объявляет:

— Романс «Не упрекай меня без нужды».

Потом он принимает артистическую позу или думает, что принимает, поскольку наклоняет голову и закатывает глаза. Потом поет тоненьким голоском:

Не упрекай меня без нужды.
Я критике не поддаюсь,
И замечаний многократных
Я совершенно не боюсь!

Это вызов. И не только Богоевскому, но и Косте Ворожцову: Костя — мастер всяческих импровизаций, это его амплуа, и он, конечно, сочтет, что Сема суется в чужой огород.

И действительно, едва Сема заканчивает: «Не боюсь!» — как тут же Костя задает ему новую тему:

— Не пой, красавица, при мне!

Сема вздыхает и уходит в себя. Мы все видим, что ему приходится туго, но подсказать никто не имеет права. Таковы наши давние правила.

Не пой, красавица, при мне,
Не пой, а думай головой,
Что можно нынче тебе петь,
А что нет-нет
И — нет! —

выходит Сема из цейтнота. Не бог весть как, но выходит. Мы аплодируем: надо поддерживать слабейшего. Тоже наше правило.

Итак, Сема проходит первый тур, и теперь его очередь задать Косте тему.

— Вернись, я все прощу! — требует он.

Вернись, я все прощу, —

с ходу подхватывает Костя. —

Упреки, подозренья.
Мы в корне перестроим наши отношенья,
Мы создадим их на других основах,
Передовой семьей мы будем снова, снова!

Не то чтобы очень здорово, но быстро. В наших оценках быстрота имеет первостепенное значение.

Сема имеет право задать еще одну тему, и, показывая глазами на Верочку, он ее задает:

— Мне минуло шестнадцать лет.

Мне минуло шестнадцать лет,
Кого люблю, того здесь нет!
Передо мной явися ты,
Не то не сносишь головы! —

выдает Костя и глубокомысленно замолкает, но тут уже и Верочка заявляет с вызовом:

— Дальше, Костя! Дальше, дальше, а то засчитаю тебе поражение! Слабó, Костя?

И вот он весь передо мной,
Такой-сякой и рассякой
И с непокрытой головой!

— Еще, дальше! — упорствует Верочка. — Слабó, да?!

И тут сообщила я ему,
Как горячо его люблю.

Верочка бурно аплодирует. Богоевский и все остальные помалкивают. «Битва акынов» продолжается.

Как и следовало ожидать, безусловную победу одерживает Костя, а потом воцаряется тишина.

Неловкая тишина...

Или мы все виноваты в чем-то и перед кем-то?

Которые постарше — виноваты перед Верочкой?

Верочка — виновата перед старшими?

Все друг перед другом?

Когда Верочка и Костя верхами столкнулись на тропе и все мы поняли, что это действительно случилось, и страшно растерялись, первое нормальное слово среди всеобщей растерянности произнес Валентин Яковлевич — он сказал, что надо пойти по тропе пешком и посмотреть, что и как. Что там в реальной действительности? Ведь пеший может легко на тропу пойти и легко с нее вернуться!

Это было единственное разумное предложение, но Богоевский и его не понял и вот накричал что-то такое на Валентина Яковлевича, словно на мальчика.

А ведь Валентин Яковлевич был не только самым старшим среди нас, он, вполне возможно, был самым старым ботаником на всем земном шаре.

Во всяком случае невозможно было представить, что в какой-то другой точке земного шара еще один человек в возрасте далеко за восемьдесят ездит верхом наравне с молодыми по крутым горам, а собирая отличный гербарий, карабкается на вершины пешком, напевая при этом старинные русские романсы, а на отдыхе, когда все уже дрыхнут, сбитые с ног усталостью, вынимает из рюкзака томик Некрасова и глазами чувствует стихи, которые знает на память, наверное, вот уже три четверти столетия.

И так же как Некрасов был русской поэзией, так наш Валентин Яковлевич был русской ботаникой.

Дело не в том, что Валентин Яковлевич совершил в своей специальности огромные открытия, но он воплощал ботанику, он был кровью, плотью, духом и человеческим обликом этой науки.

Ведь у каждой науки должен быть какой-то конкретный облик, какое-то реальное представительство?

Нам помнится, ну хотя бы из классической литературы, что еще в недавнем прошлом так и было, и врача или юриста, инженера, педагога, ученого можно было отличить по одежде, манерам и привычкам. Вот и наш Валентин Яковлевич сосредоточивал в себе все признаки ботаника, естествоиспытателя — и бородка клинышком, и загорелое, морщинистое, интеллигентное лицо, и лупа на шнурке через шею (наверное, даже лучше сказать — «на снурке»), и сухощавая фигура путешественника, и внимательный взгляд, приопущенный к зем-

ле,— кем же еще мог быть этот человек, если не ботаником?

Чьи портреты он мог напомнить нам, если не таких русских и сибирских ботаников, как Комаров, Крылов, Верещагин?

И не только нам. Когда наша экспедиция приезжала в какой-нибудь колхоз или совхоз, нас почти обязательно спрашивали: «Геологи?» И нам приходилось отвечать, что мы не геологи. «Землемеры?» — «Нет, и не землемеры. Мы ботаники по лекарственным растениям».

Но Валентина Яковлевича никогда и никто с геологами не путал, тем более — с землемерами. О нем по-другому людьми говорилось: «Старичок по травам». И только иногда возникала ошибка, однако же не принципиальная: «Старичок по лесу».

Благодаря самым различным перипетиям своей долгой жизни Валентин Яковлевич Морозов побывал в разнообразных географических точках Сибири: в степях под Карагандой, на Колыме, под Туруханском, в Кузбассе, и специальности приобрел там самые разные — счетовода, санитара, учетчика, культработника,— однако же ничто не в силах было нарушить в нем облик ботаника. И дух ботаника.

В ботанике, а особенно в систематике и морфологии растений, которой посвятил себя Валентин Яковлевич, нет и не может быть хаоса, необозримости и дурной бесконечности — растительный мир выстраивается в четкие ряды и семейства, со свойственными только им признаками, и вот уже истый ботаник, соприкасаясь с таким порядком каждый день, удивляясь и наслаждаясь его строгостью, его целесообразностью, переносит существование порядка и на весь мир в целом. И даже на все человечество.

Во всяком случае, никакие перипетии жизни не могли поколебать этого убеждения в нашем Валентине Яковлевиче. Конечно, существование непорядка он тоже замечал, но только как в большей или меньшей мере досадные отклонения от порядка. Беспорядок для него всегда был исключением из правила, таким же, как землетрясение, тайфун или самоубийство.

И не только для Валентина Яковлевича, но и для всех нас сам факт нынешнего его существования в возрасте за восемьдесят был, кажется, следствием и подтверждением этой философии.

«Выжил ведь?»

«Выжил! Сохранился!»

«Благодаря чему?»

«Благодаря чему-нибудь... Вернее всего, вот этой философии».

Такой приблизительно внутренний диалог возникал в каждом из нас, когда мы обдумывали Валентина Яковлевича.

Вообще вот уже много лет Валентин Яковлевич был для нас не столько интересным человеком, прекрасным специалистом и все еще вполне деятельным научным работником, сколько отвлеченным понятием, скорее всего — философско-историческим.

Кажется — не может быть такого человека, а он все-таки есть!

Кажется — декабристы, это было ужасно как давно, и, кроме книг о них, ничего другого в мире не могло сохраниться, никаких других свидетельств, но Валентин Яковлевич вдруг говорит:

— У Некрасова не совсем точно говорится о княгине Волконской. Когда я был мальчиком, племянник княгини рассказывал мне...

— Как — рассказывал???

— Посадил на колени, а потом стал рассказывать... Правда, был уже глубокий старик, но бодрый еще!

— Ну, а вот о Пушкине — у вас были такие разговоры? С людьми, которые Пушкина знали?

— Ну еще бы! Конечно! Правда, гораздо чаще у нас велись разговоры о Некрасове, Достоевском, Тургеневе... Это ведь уже петрашевские времена.

— О Толстом?

— Толстого я видел не один раз.

— Менделеева? Видели?

— Слушал его публичные лекции...

— Тимирязева?

— Климент Аркадьевич поручал мне вычитывать корректуру его работы «Солнце, жизнь и хлорофилл».

Мы преодолевали шок, и только тогда картина представлялась нам реальной...

Родители Валентина Яковлевича, люди высокого происхождения, когда-то ушли «в народ»... «Ушли по второму кругу, считая за первый — народовольцев,— пояснял Валентин Яковлевич.— В сельские учителя ушли, в уездные городки. Но там еще и первый круг оставался — люди все интеллигентные, из семей с хо-

рошими репутациями, с обширными знакомствами в прошлом. Что же удивительного, если в детстве я с ними столкнулся?»

Вот откуда были личные воспоминания Валентина Яковлевича!

Если на то пошло, нам крупно повезло: среди нас оказался вот такой человек, и мы имели полную возможность наблюдать за ним и заимствовать от него уверенность в том самом порядке вещей, который нам не давался никак и нисколько, но мы не умели заимствовать.

Даже наблюдать — и то не умели. Мы вообще очень плохо могли пользоваться возможностями, если только они не были привычными и общепринятыми. А о какой общепринятости, о какой привычке могла идти речь, если дело касается уникума?

И беседуя с Валентином Яковлевичем, мы только вот это горьковатое чувство своего неумения и чувствовали, и еще какую-то дрожь: а вдруг кто-то из нас доживет до таких вот лет? Практически — до бессмертия? В принципе возможно, вот — доказательство! И нам хочется, и колется, и страшно: доживешь до девяноста, а какой порядок вещей сохранишь в себе? Нет, нам нельзя доживать!

Но — как страшно! — и в этом, должно быть, и заключалась наша разобщенность с Валентином Яковлевичем: выражая во всем своем облике нечто общечеловеческое — историю людей за целый век, Валентин Яковлевич жил совершенно частной и отчужденной жизнью, и его душа, наверное, оказалась бы потрясенной, если бы вдруг узнала, что она выражает что-то другое, кроме самой себя.

Как была у Валентина Яковлевича своя зубная щетка, так была у него и его собственная душа и собственная жизнь.

Этими предметами неприятно, нельзя и некрасиво с кем-то делиться, они не для общего пользования. Они неприкосновенны даже для самых близких людей, не говоря уже о людях вообще. Правило не Валентином Яковлевичем выдумано, оно если не от бога, так, по крайней мере, опять же от человечества, так что каждый, кто претендует его бестактно нарушить, уже не с Валентином Яковлевичем будет иметь дело, а все с тем же отвлеченным человечеством...

Валентин Яковлевич изучал этот предмет, то есть свою душу, всю жизнь, и в совершенстве, а совершенство — это порядок, ясность и простота, а простота заключалась для него в том, что душа его была вполне определенным предметом, все три измерения которого — ширина, длина, высота — известны ему с точностью до миллиметра. Все то, что в эти измерения вмещалось, входило туда из окружающего мира,— то и было им самим, Валентином Яковлевичем. А что не вмещалось, на то он и не претендовал никогда, это ведь тоже было бы ужасной с его стороны бестактностью и неприличием! Да он умер бы от стыда, Валентин Яковлевич, совершив такую бестактность, вовлекая себя во что-то, что было ему не свойственно!

Однажды Надежда Львовна, будучи в расстроенных чувствах, помнится, объяснила нам, что человечество, когда-то начав с матриархата, теперь им же и кончает, что круг уже замыкается. Окончательно! Мы удивились тогда, возмутились даже: «О конце-то человечества — зачем? Об апокалипсисе?» — «А зачем и кому кошки-то мышки-то нужны? — еще более рассердилась Надежда Львовна.— Небось все об этом знаете, но только помалкиваете, подавай и тут вам кошек-мышек!» — «Кто это знает, но помалкивает? Зачем голословно?! Укажите персонально — кто? Хотя бы одного укажите!» — «Хотя бы вот Валентин Яковлевич! — неожиданно ответила тогда Надежда Львовна.— Он!»

Конечно, мы тотчас к Валентину Яковлевичу: «Вы?! Это правда?!» А он: «Не только помалкиваю, но и не знаю... Не только помалкиваю, но и знать не хочу. Такое знание — это не я!»

Вот так...

А в другой раз Валентин Яковлевич сказал нам: «Самое главное в жизни — жизнь. Но мы далеко не самое главное в жизни делаем своей жизнью, а так, всякий мусор делаем ею». Потом он и еще сделал примечание, наш Валентин Яковлевич: «Я трудноват, а может быть, и косноязычен, когда говорю о чем-то самом существенном, о том, что находится вне меня и надо мной... Отсюда вывод: надо этого избегать. Этого не дано мне природой...»

Или этот образ мыслей и самочувствия возник у Валентина Яковлевича благодаря долгой-долгой жизни?

Или долгая-долгая жизнь была следствием этих мыслей и этого самочувствия?

Мы хотели выяснить вопрос, но понимали, что из ответов Валентина Яковлевича, из мудрых ответов, выяснить все равно ничего нельзя.

Тогда, может быть, из его вопросов к нам — можно? Тем более что любой серьезный вопрос к кому-то из нас или ко всем нам сразу Валентин Яковлевич обычно предварял каким-нибудь пространным рассуждением.

И вот мы старались сделать так, чтобы Валентин Яковлевич спросил нас о чем-нибудь серьезном.

Не очень часто, но это нам удавалось...

— Ну конечно, не около меня проходили поколения, а во мне и через меня!— вдруг подтверждал свою собственную и пока что не известную нам мысль Валентин Яковлевич.— Они шли и шли через меня, иные — маршем и с барабанным боем, а иные — ползком. А потом я сказал им «стоп!» и опустил шлагбаум. С тех пор прошло множество лет — и все! С тех пор я не знаю их, они — меня... Так вот о чем я хочу вас спросить: поколения все еще существуют или их уже нет? Ну конечно, возрастные группы не в счет, это явление чисто биологическое, а поколения? Вот годы шестидесятые, восьмидесятые прошлого века — какие разные люди! А девятисотые, двадцатые, сороковые века нынешнего — это же разные человеческие миры! Ну, а как обстоит дело нынче? Двадцатилетия идут, а поколений, может быть, уже и нет?

— Поживем — увидим!— ответил тогда Валентину Яковлевичу Богоевский, а мы, совершенно ничего не выяснив, ни на что не ответив, поддержали Богоевского.

— Ну конечно! Поживем, а тогда и увидим!

Что мы еще отметили: хотя Валентин Яковлевич меньше всех нас волновался по поводу наших лошадей, он тоже стал разговорчивее, то одно, то другое слово говорил нам о себе самом и рассказывал, что, когда он просыпается по утрам в своем домике при городском ботаническом саду, первая мысль, которая к нему приходит,— о том, что он зажился на этом свете. Точнее: свое прожито,— значит, теперь проживается чужое... А ведь он так не любил, так не переносил чужого! Так был щепетилен на этот счет!

Ну вот, вставать ему было, значит, еще рано и не хотелось, и возникало это неприкаянное время, которое он называл ленью. По мере того как шли годы, «лень» можно было рассеять только с помощью томиков Некрасова, а когда до них доберешься-то? Лень ленью,

а ведь все равно некогда, надо одинокому старику обиходить самого себя, и ему же — бежать на работу, а на работе — крутиться как белка в колесе! Ах суета! Самое противоестественное свойство человека, от нее все беды! Ведь вот в природе — нет суеты? Заяц не суетится, поэтому у него и нет проблемы самоуничтожения, подобной самоуничтожению человечества,— вот в чем дело! И зайцы жили до нас и будут жить после нас, если только мы их не уничтожим. Другого зла, пресекающего их долголетие,— нет! Зайцы не настолько глупы, чтобы уничтожать друг друга. Вот о чем не то нам, не то сам себе рассказывал иногда Валентин Яковлевич.

«Самое опасное для человека, как это ни странно думать, будто то, о чем он думает, и есть самое главное для него! Какое заблуждение!» — сказал по какому-то другому случаю Валентин Яковлевич и снова смутился, нарушив собственное правило никогда не говорить о самом главном. И вообще о «самом».

— Вы в бога верите?— спросила у Валентина Яковлевича Верочка Баклаева.

— В какого? Они ведь тоже разные — боги?

— В какого-нибудь?

— Если природа — это бог, верю. Вот старики сидели прежде на завалинках, грелись, слепые и глухие, а ведь все равно этот нагрев, это тепло солнца было их собственной жизнью. Причем не простой, а божественной. Где ее еще-то взять — такой же божественности?!

— А лошади? Наши лошади? Как вы на них нынче смотрите, Валентин Яковлевич? Мы смотрим-смотрим, а вокруг лошадиных голов будто бы нимбы. Небольшие, а все-таки. Вы нимбы видите? Глаза вам позволяют?

Валентин Яковлевич не ответил, только пожал плечами. Но мы все равно узнали, что лошади ему нынче ближе, чем всем нам остальным, вместе взятым. Все наши близости никак не стоят его одной. Одной и взаимной. Одной, но до конца естественной.

Как будто есть, существует в нашей экспедиции Валентин Яковлевич Морозов — вот он, пользуйся от него историей человечества, не откладывай хотя бы и на несколько дней.

Но как будто бы и нет его среди нас...

«Жить — это отчуждаться от жизни. Каждый от-

чуждается своим собственным способом...» — еще говорит он. «Лицензий на этот счет нет!» — добавляет Костя Ворожцов.

ТОВАРИЩ ПОВАЛИХИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Повалихин пришел к нам из «практической агрономии» — так сам он определял судьбу, которая привела его в исследовательский институт.

Несколько реже, преимущественно в самом хорошем расположении духа, он называл это иначе: «Я пришел к вам из руководящего состава».

А мы, в свою очередь, определяли все это дело так: Повалихин к нам не приходил, его «пришли».

На разных местах побывал наш Юрий Александрович: агрономом совхоза, главным агрономом совхоза, главным агрономом треста, главным агрономом областного управления сельского хозяйства. Потом председателем колхоза, снова главным агрономом района, зампредоблисполкома (это юридически, а фактически — председателем).

Где-то и когда-то, на каком-то из этих этапов, он снискал ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук,— как знал, что пригодится, как в воду глядел, потому что в конце концов получилось так, что он только кандидатом и остался. Никем больше.

Ну и раз никем больше — куда же ему были пути-дороги, если не в науку? Кандидату наук?

Юрий Александрович принял «перестановку» как дело обычное и не очень сложное. Во всяком случае, без недоумений. Его «послали», он «пошел» — разве не ясно?

Более того, он очень быстро определил свою задачу в нашем коллективе: связывать науку с производством — вот его назначение! Еще шире: связывать ее с жизнью. Кто-то ведь должен таким важным делом заниматься, без этого немыслимо!

А если должен — кто же, как не он? Человек, вдоль и поперек знающий жизнь?

И вот он загорался при слове «связь» — связь с вышестоящими, связь с нижестоящими, связь с параллельными, связь с издательствами и вообще с печатью, связь между лабораториями одного сектора, наконец.

И он действительно разбирался в вопросах связи на-

столько тонко и деловито, что сам Богоевский то и дело советовался с ним:

— А не написать ли нам письмецо, Юрий Александрович, в Одесский и во Владивостокский университеты? Для связи?

Кроме исполнения функций связи Юрий Александрович очень любил всех нас (кроме Богоевского) учить уму-разуму, причем обязательно со ссылкой на самого себя и свой собственный опыт:

— Вот ты, Ворожцов (Кочкин, Баклаева, Надежда Львовна), говоришь... А вот когда я был у министра по вопросу заготовки кормов, товарищ министр сказал мне...

— Когда мы в тресте оказались без семян к весеннему севу, мы...

— Когда я строил *комплекс...*

Нам было известно, что громадный свиноооткормочный комплекс при самом деятельном участии Юрия Александровича действительно был построен, но тут же и закрыт по причине отсутствия в области кормов.

Юрия Александровича это ничуть не смущало: построен же? По плану? И в смету почти что уложились — очень редкий случай! Товарищу министру докладывали, товарищ министр даже не поверил: «Не может быть?!» И проектные показатели все были выдержаны — столько-то тысяч тонн свинины в год! Ну?! Кто будет спорить, что не построили? Если комиссия приняла на «хорошо»?! Если по окончании строительства был торжественный митинг, который не кто иной, как Юрий Александрович, открывал? Если были награды? И поздравительные телеграммы «...с успешным завершением» и «в деле дальнейшего повышения благосостояния...»?

Ирония иронией, а ведь хорошая голова была у нашего Юрия Александровича. Второй Владислав Кузьмич, да и только, все дело в том, что на другой стезе.

А работоспособность?!

За каких-нибудь полгода он овладел латынью по крайней мере в объеме, необходимом для работы в нашей лаборатории, еще полгода — и фармакологическая терминология его нисколько не затрудняла.

Костя Ворожцов слегка-слегка, а взял было моду поерничать над Юрием Александровичем, но ничего не вышло.

— Знаешь, друг,— сказал Юрий Александрович,— я в вашем трудовом коллективе человек новый. Понимаю. Но как бы ты не оказался здесь новее меня: я-то работаю, а ты-то ерничаешь!

Юрий Александрович не стеснялся обращаться за консультацией по любому вопросу к любому из нас, хотя бы и к Верочке Баклаевой. Хотя бы к тому же Косте Ворожцову через пять минут после такого вот разговора с ним.

И к себе Юрий Александрович позволял обращаться в любой час дня и ночи.

Если, бывало, Богоевский скажет кому-то из нас — задержаться в лаборатории на час-два, так это ЧП, а Юрий Александрович — с готовностью!

Хоть до полуночи. Хоть на всю ночь! Если «надо»! Если для «связи» — тогда о чем разговор!

Конечно, Юрий Александрович отчетливо знал, что ему-то, недавнему первому зампредоблисполкома, построившему один из крупнейших в стране свинооткормочных комплексов, «положено» гораздо больше того, что он имел в институте, очень точно он это знал, во всех деталях, но даже и отсутствие «положенного» не снижало его энергии и трудолюбия: он верил, что это самое положенное к нему еще придет. Обязательно!

В общем, несмотря на возраст, он был гораздо энергичнее и проворнее нас, а умению его «выходить на связь» мы могли только удивляться.

Это так делалось Юрием Александровичем: прежде всего он объяснял человеку, с которым «вышел на связь», свою задачу осуществления контактов науки с производством, затем следовало отступление в недалекое прошлое — строительство свинооткормочного комплекса, встречи с министром, и чьи-нибудь административные широкоизвестные имена тут же упоминались, далее — элементы текущей внешней и внутренней политики и, наконец, тот конкретный разговор, ради которого имело место все предыдущее, разговор, обращенный непосредственно к данному лицу. Если это председатель колхоза,— значит, о лошадях; если завврайторготделом — о тушенке; если дело происходит не в экспедиции, а в городе и встреча имеет место с директором издательства — об издании «трудов» лаборатории, а то и всего института. Это Юрий Александрович обожал — в том или ином вопросе представлять весь — весь! — институт.

И всегда у него — о'кей. Ну прямо как у Надежды Львовны, только гораздо деловитее и с гораздо большим общественно-политическим значением.

Нас очень удивляло, что где-то, на каком-то этапе своей деятельности, Юрий Александрович погорел: он казался нам несгораемым.

В нашей экспедиции он был чем-то вроде ротного старшины, завхоза, коммерческого директора и начальника управления по снабжению, и все запросто, без видимого напряжения сил или неудовольствия, и все это не мешало ему изо дня в день все больше и больше становиться настоящим научным работником. Не только не мешало, но, кажется, даже способствовало.

Он обладал неиссякаемой готовностью жить. Жить в неустанных делах, исполняя эти дела с энтузиазмом и вникая в их смысл ровно настолько, чтобы смысла хватало для исполнения этих дел сегодня.

И свое прошлое он считал безукоризненным, почти идеальным: «О вас неизвестно еще, что скажут новые поколения, а обо мне? Обо мне каждый заявит, что я выполнял свой долг на всех участках!»

И будущее никогда и ничем не было для него тревожным. Будущее, светлое и правильное, могло быть омрачено разве только отдельными недостатками. Больше ничем.

И вот такой, какой он есть, товарищ Повалихин Юрий Александрович был нам нужен. Потому что мы хотели энергии, но не завтрашней, а сегодняшней, не проблемной, а фактической, не потенциальной, а кинетической. Чтобы вот она — взял ее на ладошку, эту энергию, и пальцами почувствовал: есть! Живет! Гипнотизирует!

Даже Богоевский в этом нуждался и в нынешней экспедиции не раз вступал с Юрием Александровичем в беседы, которые напоминали встречи двух завзятых хозяйственников: о науке ни слова, зато построенные и недостроенные комплексы, текущие трудности строительства и организации колхозного производства, расстановка специалистов, набор рабочей силы и планирование, планирование, планирование — все это они обмозговывали и вентилировали со всех сторон.

Ну и, конечно, еще вопросы воспитания молодежи.

Юрий Александрович очень любил это дело! Он утверждал, что в течение жизни он прекрасно воспитал двух дочерей, одного сына и одну жену, так что теперь

все они никак не менее, чем он сам, энергичны, все наделены и другими его положительными качествами.

Нынче Юрий Александрович внимательно присматривался к нам: на ком бы из нас заострить внимание? Воспитать по мере своих сил, за сравнительно короткий отрезок времени?

Он остановился на Семе Кочкине.

Он весьма серьезно, а главное, в практическом смысле принял намерения Семы начать все сначала.

— Это у тебя отчего?— спросил он Сему.

— Что — отчего?

— Ну, твое желание перестроиться и начать сначала? Неудовлетворенность достигнутым? Допущенная ошибка в выборе специальности? Недостаток трудовых навыков? Слабая комсомольская закалка?

— Нет, нет и нет — все не то!— отвечал Сема.— Наверное, Юрий Александрович, это оттого, что я во всех отношениях акселерат двадцатого века. И единственно, что меня утешает: в двадцать первом веке люди моего возраста будут еще бо́льшими акселератами!

— Брось-ка ты, Сема! «Аксельрат, аксельрат»! Что ты за аксельрацию-то прячешься? Не хотел бы прятаться — она бы тебе и в голову не пришла!

— Может быть... Может быть, и не пришла бы...

— Ну а тогда в чем дело? Ты сам-то когда-нибудь задумывался — в чем?

«Черт возьми!— подумали мы.— А мы-то ведь никогда не поставили перед Семой этого вопроса! Ну, пусть не в такой, а в другой какой-нибудь форме, пусть хоть однажды за многие годы, а все-таки этот вопрос надо было Семе задать: «Это у тебя отчего?»

Сема тоже задумался.

— Наверное, потому, что такая у меня структура мышления!

— Почему такая структура?

— А что? Неплохая! Во всяком случае, вполне современная!

— На современность тоже не греши! Не сваливай на нее все недостатки, не устраняйся. Сам-то ты ни при чем, что ли? Другим так ты задачи даешь, ставишь одну за другой, а кто ты есть сам — объяснить не можешь? И чем тебе надо по-настоящему и вплотную заняться — никогда не знаешь! И не знал до сих пор! Сколько тебе лет? Точнее — с какого ты года?

— Это, наверное, вот что такое — не выработана дисциплина, а значит, и границы мышления! — догадывался Сема.

— Почему не выработаны? — продолжал нажимать Юрий Александрович.

— Проблема генетическая. Скажем, для птиц и животных это очевидно, что генетическая, для людей очевидность меньшая, но все равно это так... Это, безусловно, так, и вот вам тепленькая тема для исследователя-психолога: «Характеристики интеллекта в первом, втором и последующих поколениях»!

— А ты — о себе. О себе самом говори! О проблемах-темах я уже наслышался. Вдоволь. Теперь объясни о себе!

— Я и хочу сказать: я ведь интеллигент в первом поколении!

— И отлично! — одобрил Юрий Александрович.— Так и надо: посмотри на меня, я ведь тоже первой вполне интеллигентной генерации! — и Юрий Александрович показал себя Семе, а заодно еще раз и всем нам: свою продолговатую, дыней, голову с нечастой и слегка поседевшей растительностью, нос муромским огурчиком и энергическую улыбку.— Видал? То-то!

Сема пытался объяснить, что в интеллигенте первого поколения еще не заложена способность определения своих собственных интересов и склонностей, в частности — выбора будущей специальности, но Юрий Александрович парировал:

— Да ты на меня-то посмотри! Видел? А?

И вот так — напористостью и вопросами бесконечно простыми, но для Семы-то совершенно неожиданными — Юрий Александрович утвердил свое право воспитывать, а Сема — человек аккуратный — этому праву подчинялся.

Сема недоумевал и поеживался, словно бы на голое тело ему надевали колючую шерстяную рубашку, он подергивал себя за бородку пониже то правого, то левого уха, угадывая прихватить самый большой завиток, а все-таки подчинялся.

И могло бы, наверное, это дело пойти дальше и дальше, и Сема так и не смог бы миновать своего нежданного-негаданного ученичества, и мы, начав злорадно над Семой посмеиваться, конечно, не остановились бы в этом занятии и продолжали бы его с нарастающим успехом, но тут вот что случилось.

— Юрий Александрович, так что же мы будем делать с нашими лошадьми? — при всех спросил Сема.— Вот так бездельничать и чего-то ждать? Терять рабочее время, пять-шесть, а то и больше дней? Срывать план научно-исследовательской работы нашего подразделения, нашей экспедиции, а потом — и всего института?! И все из-за двух каких-то лошаденок? Которых не сегодня-завтра скормят серебристым лисицам на звероферме?

Юрий Александрович задумался. Он думал очень долго, а потом отрывисто, неожиданно и решительно ответил:

— Не знаю!..

— Как это — не знаете?

— Да что я, обязан все знать, что ли? Ты в уме ли, Сема? Да разве это входит в мои обязанности?

— А если вы, товарищ Повалихин, не знаете, если вы этого простого дела решить не можете, так как же вы мне что-то такое объясняете? — до самой глубины души возмутился Сема.— Какое после этого вы имеете право меня воспитывать?

НАДЕЖДА ЛЬВОВНА —«АХ КАКАЯ ЖЕНЩИНА!»

В экспедиции наша Надежда Львовна — «Ах какая женщина!» — выезжала раз в два-три года, поэтому никто не мог сказать, будто по возрасту или еще по каким-то причинам она уклоняется от полевых работ.

Существовала она в путешествиях непринужденно и умело: и лошадь могла заседлать и стреножить, и в кузове машины правильно расположить все снаряжение, сообразить, что может понадобиться еще не скоро, а что — уже в дороге, и выехать заранее в какой-то населенный пункт, договориться о жилье, о самоварчике, о бане — ей это тоже можно было поручить.

Конечно, она любила, чтобы кто-то помогал ей, заменял ее в хлопотах, но когда заменить некому — сделает сама, и не хуже других. И даже лучше других.

Всего лишь две недели назад, высоко в горах, на самой кромке ледников, где был тогда разбит наш лагерь, мы отметили — на широкую ногу! — сорок шестой день рождения Надежды Львовны, а это вот что значило: нынешняя экспедиция для нее — последняя. Женщин в этом возрасте институт не посылал на полевые работы.

Вот почему день рождения отмечался нами со значением, а Богоевский усердно пел и танцевал. Он лично преподнес адрес на березовой коре, и возраст именинницы был обозначен в этом адресе тот, который накануне мы окончательно установили путем общего, равного и тайного голосования: тридцать шесть годочков!

Валентин Яковлевич презентовал Надежде Львовне корзиночку из ивовых прутьев собственного художественного плетения. Истинно художественного. Мы и не знали за ним такого таланта!

Ну, а после того нам уже сам бог велел о Надежде Львовне хлопотать, проявлять к ней внимание.

Эмансипированная Надежда Львовна зажила непривычной для себя жизнью: разглядывала небо, горы и всех нас по очереди, таких для нее непривычных; ей не надо было спрашивать у нас — сыты мы или голодны, здоровы или больны?

«Женщина особенная Надежда Львовна! Ах какая женщина Надежда Львовна!» — говорили мы с почтением.

Огромное богатство было у нее — благоразумный муж, два воспитанных сына, один маленький внучонок, и все не просто так, не случайно, а добыто ею в неустанных трудах и заботах. «С боя добыто!» — говорил Богоевский. «Правильным трудом и четкой организацией добыто!» — подтверждал Повалихин.

Мужа она увела от другой женщины в то время, когда ей самой-то было годика двадцать два, муж вскоре стал запивать, а Надежда Львовна стала работать над искоренением порока и добилась своего, а затем направила супруга по мебельно-торговой части, хотя по специальности он и был инженером-технологом деревообрабатывающей промышленности.

Младший сын Надежды Львовны в раннем детстве страдал костнотуберкулезным ревматизмом — она возила его в крымские санатории и тоже вылечила, старший — рано и плохо женился, мама его развела и женила снова и хорошо.

С год назад родился внучонок — Надежда Львовна его выходила и только после этого отправилась в экспедицию...

Отличная организация!

И с материальными благами все так же — все было делом ее, Надежды Львовны, рук — и дача, и «Жигули», и прочее.

При всем том Надежда Львовна прекрасно сохранилась, молода она была, да и только, сам господь-бог не стал бы спорить: ее заслуга, а чья же еще? Мы все недаром сошлись на том, чтобы считать Надежде Львовне тридцать шесть. Каждый из нас опустил в шляпу Семы Кочкина записочку с двухзначной цифрой, а среднеарифметическое вот какое получилось!

И вид ее и выражение лица о том же говорили: «Какой я считаю нужным быть, такая я и есть!»

Как это получалось? «Заботы, заботы, заботы!», «Дело, дело, дело!» — было ее неизменным девизом и ею всей тоже было — ее улыбкой, ее смехом и жестом, ее взглядом и вздохом, а в то же самое время это никогда и никого не отталкивало от нее.

Мужчины, те даже гордились, если им удавалось снискать ее расположение: «Значит, мы ничего себе ребята, если сумели эту женщину, такую деловую, развеселить!» — вот как реагировали не совсем еще пожилые мужчины на общение и знакомство с Надеждой Львовной, если это знакомство складывалось благоприятно.

Одним словом, нам очень нравилась нынешняя, экспедиционная Надежда Львовна, как в джинсовом костюмчике, так и в водолазке и в вельветовых брючках и с гладкой прической. Нравилось ее нынешнее недоумение: «Ни мужа, ни сыновей, ни дачи, ни «Жигулей», а мир все равно — вот он! Нормальный! Существует!»

Однако же мир этот, существующий и нормальный, исчез для нее почти совершенно, когда наши лошади сошлись на тропе, а мы разбили лагерь на противоположном берегу Аргута и стали ждать, чем это кончится.

Надежда Львовна ждать не могла.

Не могла и говорила Богоевскому:

— Владислав Кузьмич, дорогой, не вы мне моего сына родили, я сама постаралась. Должна ради него постараться и теперь. Я не могу сыновьями разбрасываться — мне нужно домой!

— Владислав Кузьмич, я еще никому не передоверяла забот о собственном муже — мне нужно домой!

— Владислав Кузьмич, хотя я еще не бабушка, но я бабушка, и у меня неотложные дела с внуком — мне нужно домой!

— Владислав Кузьмич, поверьте, мне еще небезразлична температура воздуха в моей спальне. У меня начат ремонт квартиры — мне нужно домой!

Ух какая у Надежды Львовны была школа, какая выучка и выправка в умении требовать, настаивать на своем!

Легкая игривость, неожиданные паузы между словами, интонация, благородно-встревоженное выражение лица — все дышало в ней этой требовательностью, все убеждало в невозможности ей отказать!

Правда, фигура ее в джинсовом костюмчике нынче не совсем соответствовала этой требовательности, ведь Надежда Львовна вела наступление на Богоевского то сидя у костра, то стоя у входа в палатку, а все ее навыки в этом смысле сложились совсем в другой обстановке, и теперь ей не хватало служебного кабинета, и кресла не хватало, сидя в котором она бы опиралась грудью на кромку письменного стола, как бы желая сократить ширину столешницы, а вместе с тем и расстояние между собой и тем должностным лицом, которое в конце концов обязано было сказать ей свое «да».

«Да» — в отношении материалов, необходимых для ремонта дачи, «да» — по поводу финского саморазмораживающегося холодильника, «да» — по случаю того или иного устройства одного из сыновей, «да» — на просьбу о санаторной путевке для мужа...

В лагере на берегу Аргута письменного стола не было, а Богоевский неожиданно утерял все внешние атрибуты начальственного лица, и вот Надежда Львовна испытывала некоторые затруднения.

Испытывала, но не терялась. Чем больше трудностей, тем выше воодушевление. «Вот видите, дорогой Владислав Кузьмич,— говорило выражение ее глаз и голоса,— видите, какое неловкое движение правой рукой я сделала, как некстати ею взмахнула? А все из-за вас, Владислав Кузьмич! Не ставьте же меня в неловкое положение, где же оно, ваше «да»?» И в то же самое время: «Я, Владислав Кузьмич, все равно своего добьюсь! Для чего же попусту мотать нервы? Себе и мне?»

Владиславу Кузьмичу требование как можно скорее возвращаться домой было словно искра в пороховую бочку — он каждую минуту мог взорваться, проклясть наших лошадей и самого себя. У кого, в самом деле, было столько же отложенных и таких же серьезных дел — заседаний и совещаний? И столь же существенных хлопот о собственной карьере?

Но Владислав Кузьмич отвечал Надежде Львовне «нет»!

Надежда Львовна не верила, что она потерпела фиаско. Наконец она резко отвернулась от Владислава Кузьмича, обратилась к нам.

— Ну, вот что, мужики! — сказала она.— Если все вы бабы и не можете пристрелить одну лошадь, чтобы освободить тропу для другой, тогда это сделаю я! Объясните-ка, как нужно стрелять? Студенткой я, помнится, это умела, а теперь забыла. А ведь умела не хуже других...

— Наверное, даже лучше других, Надежда Львовна!— заметил Костя Ворожцов, в то время как все мы, остальные, растерялись. Мы не ожидали такой решительности от Надежды Львовны, хотя бы потому, что не ожидали ее ни от кого из нас.

— Я принесу мелкокалиберку!— сказал между тем Костя и живенько принес.— Винтовка заряжена, но я-то вам не верю, Надежда Львовна. На пушку берете. Психатакуете, а больше ничего. Стрелять вы не будете!

— Не хныкай, Костя. Лучше всего стрелять лежа? Да?

— Безусловно!

— И что-нибудь под винтовку подсунуть?

— На пенек положите. Вот на этот.

Надежда Львовна распласталась на земле, поправила прическу, положила винтовку на пенек. Подтянулась к прикладу.

— В какую метитесь?— спросил Костя.

— А в какую надо? Владислав Кузьмич, какую лошадь надо убрать с тропы — распорядитесь! Прицел установлен? Установи, Костя!

— Прицел установлен, Надежда Львовна! Но все равно это психическая атака!

— Наверное, все-таки лучше стрелять в правую?

— Рыжий!— подсказал Костя.

— Может быть, в левую?

— Красавка!— подсказал он же, а Надежда Львовна снова потребовала распоряжения Богоевского: в конце-то концов, кто начальник экспедиции — он или не он?

— В любую!— сказал Богоевский.— Какая больше нравится, в ту и стреляйте!— Повернулся и ушел. Должно быть, к тем счастливым и свободным лошадям, которые вот уже столько дней безмятежно паслись на об-

ширной лужайке метрах в двухстах от берега Аргута, ушел наш начальник.

Мы стояли вокруг распластавшейся в веселой и зеленой травке Надежды Львовны и смотрели на нее — на ее интересную фигуру и на то, как прищуривалась она левым глазом, как дышала и вздыхала, как изредка шевелила ногами.

Нет, это была вовсе не психатака, все было в самом деле, и вот мы ждали выстрела.

Никто ведь из нас не мог выстрелить ни в ту, ни в другую лошадь, а Надежда Львовна сию секунду выстрелит.

Никто из нас не мог остановить Надежду Львовну, сказав ей, как некрасиво она — «Ах какая женщина!» — поступает, и вот мы ждали.

Мы ждали выстрела и после того, как она спросила Костю:

— Ты не выручишь меня, Ворожцов?

— Нет, не выручу, Надежда Львовна. Все-таки это психатака. Я знаю.

— Откуда? Знаешь?

— Я практик, Надежда Львовна. Низменный, но неизменный практик. Неисправимый. Вы разве забыли?

— И тебе не будет совестно, когда на моей совести появится пятно?

— Оно не появится! Ваше пятно! Если бы? Но даже крохотного пятнышка не появится! Вы безупречны, Надежда Львовна!

— А ведь я действительно надеялась на тебя, Костя! Почти всю жизнь надеялась!

— Да мы и знакомы-то, Надежда Львовна, всего лет семь. Точно скажу: семь с половиной.

— Разве?! Значит, я просчиталась. Серьезно просчиталась.

А наши лошади на тропе были спокойны. «Ну вот, наконец-то,— казалось, думали они там, наверху.— Наконец-то бессильные люди на что-то такое решились. А мы подумали — вы ни на что и никогда не решитесь...»

Рыжий был словно мертв... Удивительно, что он, уже мертвый, все еще стоял на ногах.

Красавка чуть-чуть пошевелила хвостом, ее предсмертное добродушие настолько удивило нас, что нам стало трудно смотреть на обеих лошадей.

Все-таки мы смотрели.

Они обе низко, до уровня коленных суставов, опустили головы и теперь если что-нибудь видели, так разве только роковую тропу на протяжении двух шагов и копыта на передних ногах друг друга... Еще прозрачные волны Аргута где-то внизу, под тропой, виделись им, изнывающим от жажды, и охлажденное в волнах отражение того солнца, которое изнуряло их. Так все это нам представилось — зрение наших лошадей, картина их жизни.

А Надежда Львовна, все еще лежа в траве, была попрежнему решительна и спокойна, и красива по форме: оригинального и модернистского телосложения она была, части ее тела существовали слишком самостоятельно... Вот руки — они были при плечах, но и не вместе с ними, вот шея — и она с какой-то излишней очевидностью соединялась с плечами и головой, и тут снова не было обыкновенного, незаметного перехода от одного к другому, переход был очень заметен, и талия с бедрами соединялась словно выпуклым каким-то швом, и вся она была не столько слеплена, сколько смонтирована.

Работа по монтажу была исполнена со вкусом, на современном уровне, но все-таки оставалась заметной. Заметной, может быть, в хорошем, в положительном смысле: посмотрите, как это надежно и современно сделано! Крепко и удачно! Сделано, словно в Париже, в культурном центре имени Помпиду!

И сосредоточенное лицо Надежды Львовны тоже было не в наших обычных представлениях красивым... На европейском, с повышенной белизною кожи лице ее блуждала азиатчинка — чуть раскосые глаза, чуть приплюснутый нос, еще что-то неуловимое. И прическа была гладкая, высокая, такую можно видеть на красочных табель-календарях с изображением голубой Фудзиямы и загадочных черноволосых японочек. Между прочим, мы всегда удивлялись прическе Надежды Львовны — как ее, шикарную, в экспедиции-то можно было холить и поддерживать? Надежда Львовна над нами посмеивалась:

— Ничего не понимаете! Семь-восемь минут каждый день, и все! Дешево, сердито, эффектно!

Такой была Надежда Львовна по форме, лежа в веселой и зеленой травке, прицеливаясь из мелкокалиберной винтовки в Красавку.

А по содержанию?

Что Надежда Львовна принципиальная сторонница матриархата — такого рода содержание нам было давно известно. Она его и не скрывала никогда:

— Прямо скажем — нынче только та семья и семья, в которой руководит женщина!

Мы спрашивали:

— Надежда Львовна, вы до конца исповедуете матриархат? Непоколебимо? Или — с оговорками?

— Не исповедую, а не в первый уже раз утверждаю и даю себе отчет: с чего тысячи лет назад люди начали, тем должны и кончить. Всегда так бывает. И незачем напрасно расходовать энергию, скрывать общеизвестную тайну!

— Ну, если конец света, так не все ли равно — какой? Патриархат это или матриархат?

— Не все равно: человеку оставь один-единственный день жизни, он все равно будет спешно что-то делать. Сделаем же матриархат! Или хотя бы его вид! Без вида человек не человек.

— Ну, конец света — дело всех людей. И мужчин и женщин!

— Атомные взрывы — женщины, что ли, выдумали? И Освенцим? И пограничные инциденты? Наполеоны и гитлеры — женщинами, что ли, были? Нет, мужики не смогут выпутаться из истории. Впутаться — да. Выпутаться — нет!

Это — теоретические основы.

А вот основы практические.

Надежда Львовна считала самым великим произведением «Иметь и не иметь» Хемингуэя.

— Название-то!— восхищалась она.— Вся наша жизнь! Ни больше ни меньше! Каждый должен решить для себя, что он должен и может иметь и чего — нет. Решит — и все встает на свои места! И — порядок! Человеку истинно нужно все, с чем он справится сам, своими руками. Вот вам и решение проблемы собственности! Я знаю точно: с чем я сама, без посторонней помощи, справлюсь, то я и должна иметь! С дачей справлюсь — должна иметь! С машиной справлюсь — должна иметь! С двумя сыновьями справлюсь — должна иметь! Третий уже был бы лишним, не справилась бы. С мужем — справлюсь, а с любовником — уже нет: народ очень капризный, требует слишком много времени и нервов. Видите: все ясно! У меня есть ограничительный принцип, я его осуществляю, и я душевно спокой-

на. Я дарственной жизни ни на грош не видела, а всю ее сделала сама! Пусть другие попробуют сделать, кому неймется быть моим критиком! Попробуй ты, Костя. Или ты, Сема?

— Мы не критики, что вы, Надежда Львовна! Не ваши критики! Мы — вообще!

— А тогда объясняйте всем и каждому, какую положительную героиню следует во мне видеть. Ведь у меня социалистический и гуманистический принцип! И реализм! В теории и в практике! Ведь я никого не эксплуатирую! Ведь я великая труженица! Разве этого мало? И разве каждый может этим похвастаться?

«Ах какая женщина!» была до сих пор Надежда Львовна.

«!!!» — отвечала она без слов.

Были, были восклицательные знаки в нашем сознании, когда мы видели Надежду Львовну или думали о ней. Были, были!.. Никто из нас не говорил о себе так, как Надежда Львовна.

Таких слов о нас, людях, мы тоже ни от кого не слышали.

И вот теперь мы смотрели во все глаза на «Ах какую!» и ждали ее выстрела. Все прошлые разговоры — только разговоры, но вот сейчас, сию секунду, последует еще и выстрел!

Мы ждали долго, покуда поняли: Костя-то прав, выстрела не будет.

А когда наконец наше понимание поняла Надежда Львовна, она отбросила мелкокалиберку в сторону, повернулась на правый бок и, продолжая лежать в зеленой и веселой травке, объяснила нам:

— Верка виновата! Если бы не ты, Верка, Костя выстрелил бы за меня! Ну а ты вытаращилась на Костю, мужику стало не по себе. Он потерял равновесие духа и не захотел меня выручить...

Верочка Баклаева согласилась:

— Ну и вытаращилась! Ну и что? А я сию минуту еще больше вытаращусь!

— А вот это уже и вовсе мимо, Надежда Львовна! — официозно и строго заявил Костя. — Ну при чем тут Верочка? Я честно предупреждал: на меня не надейтесь!

— Мало ли что предупреждал! А я надеялась — ты же все-таки бабий угодник, Костя! На кого же тогда и надеяться? Или я уже вовсе не гожусь в бабы?

— И опять грех, опять грех! Ну прямо как у Марии-Антуанетты! Ну, немного переоценили свои возможности, с кем не бывает? Но грешить-то зачем?

Все еще лежа в траве, Надежда Львовна глубоко вздыхала.

— Ничего! Лет через десять я этакое сделаю сама, без посторонней помощи. Понадобится выстрелить — выстрелю! И глазом не моргну!

Мы удивились, а Надежда Львовна пояснила:

— Я ведь все еще молода! Вот в чем дело! И даже все еще красива. Вы все, было время, спрашивали у самих себя: «А красива ли Надежда Львовна? Да или нет?» — «Да!— отвечали вы себе.— Да, да!» То-то! Я все про вас знаю. Хорошо, что я все про вас знаю! Хорошо, что я заставила всех вас сказать это самое «да!». Когда мужчина сам по себе разевает рот — это одно. Но когда его заставляет это сделать женщина — совсем-совсем другое дело, высший класс!— Надежда Львовна потрогала указательным пальцем блестящее ложе мелкокалиберки.— Вам интересно?— И сама же ответила на свой вопрос:— Мужчины любопытны, как белки! И вот я вам скажу: я все еще биологична! Ну что у вас челюсти-то задрожали? Верка! Присмотри за нижней Костиной челюстью! Костя! Для тебя, эрудита, за биологичностью женщины кроме секса ничего не слышится! Ну и остолоп! Биологическая женщина — это когда она знает все, что думают все ее клетки. На руках, на ногах — повсюду. А они у нее думают. И серьезно. И о многих вещах! Ну, а интеллект женщины — это умение мыслями своих клеток управлять. Понятно?

Мы помолчали, потом Костя Ворожцов спросил:

— Поделитесь опытом управления, Надежда Львовна. Пожалуйста! Ваша тут какая роль? Цензора?

— Ну, как тебе сказать... не совсем. Эта роль поумнее. Я действую либерально и направляю мыслительную деятельность своих клеток в одно русло: они хотят быть хорошими, красивыми, заманчивыми — и пусть хотят! С богом! Если без лишнего баловства — тогда с богом!

— Надежда Львовна,— спросил Повалихин,— вы непонятно говорите: а бог-то тут при чем? В данном конкретном случае — он при чем?

— На всякий случай!— ответил за Надежду Львовну Костя Ворожцов.

— На всякий случай, Юрий Александрович! Надо же подстраховываться,— подтвердила Надежда Львовна.

— Ну, ну?— торопил Надежду Львовну Сема Кочкин.— Вы сказали, что лет через десять смогли бы это сделать — выстрелить в лошадь. А пока — не можете?

— И через десять, Семочка, пожалуй, не смогу! Через пятнадцать — да! Так и договорились — через пятнадцать! Ну, а до тех пор, покуда мои клетки хотят быть красивыми и выглядеть привлекательно,— до тех пор мне еще не совсем наплевать на все то, что вы обо мне думаете. И как я буду выглядеть в ваших глазах — мне тоже не наплевать. И вот я боюсь выстрелить — пропадет моя привлекательность, а куда я без нее? Нет, не могу стрелять...— Она прикрыла лицо рукой и произнесла под ладонью:— Обе лошади — паршивки! Особенно Красавка!— Потом сняла ладонь с лица и улыбнулась:— Ну, Костя? Где еще твои вопросы? Ты интересуешься?

— Интересуюсь, Надежда Львовна! Неужели на эти пятнадцать лет вы не планируете для себя никакого приключения? Ведь ваши отличные, ваши умные клетки все-таки на что-то надеются? Обо всем-то они думают, ну а надежды их тоже нельзя лишать!

— Всегда и ужасно некогда, Костенька! Всегда в прорыве! То дети, то внуки, то муж, то «Жигули»... Теперь думаю: вот уж отправлю внучонка в детский сад, может, будет полегче с регламентом.

— Конечно, конечно!— подтвердил Костя.— Пятнадцать лет дают только за самые тяжелые преступления. И то не во всех странах!

— Боишься, Костенька, состариться? Хочешь быть вечным мальчиком?

— А вы разве не хотите быть девчонкой, Надежда Львовна?

— Нет, не хочу. Не хочу, потому что обстоятельства не позволяют. Потому и не хочу.

— Всем не позволяют. И мужчинам, и женщинам.

— У мужиков какие обстоятельства? Что парень, что отец, что дед — мужику почти что все равно. От него не убывает! Ну какие, например, могут быть обстоятельства у профессора Богоевского?

Владислав Кузьмич только что вернулся к нам, понял, что выстрела не произошло, и хотел узнать: каким

образом его не произошло? Но тут же и нарвался на вопрос, который задала ему Надежда Львовна:

— Скажите, Владислав Кузьмич, в вашей жизни когда-нибудь случались обстоятельства? В личной?

Владислав Кузьмич не то чтобы обратил серьезное внимание на странность вопроса, он махнул рукой и сказал «а-а-а...» и не совсем, а на пол-оборота отвернулся от Надежды Львовны. И жест, и это «а-а-а», и полуоборот были у Владислава Кузьмича досадливыми.

В этот момент нами была замечена необходимость еще спросить у Надежды Львовны:

— Надежда Львовна, а были в вашей жизни моменты? Когда вы навсегда отвергли мужчину? И когда сконструировали себя именно такой, какая вы нынче есть?

— А почему это вас интересует? С какой стати?

— Нам кажется, здесь зарыта какая-то собака.

— Ах, собака... Все может быть, все может...

Надежда Львовна сперва приготовилась ответить, присела на пенек. Неторопливо она сняла травинки с плеч и рукавов своей коричневой, с золотыми блестками водолазки, поправила прическу, помолчала просто так, а потом в задумчивости и сказала, что — да, пожалуй, она может эти моменты назвать. Их было два.

— Момент первый...— объявила она, приподняв правую руку над головой.— Пятый этаж аспирантского общежития. Угловая комната. Дело к вечеру, и даже вполне вечер, темно уже. И я в этой комнате. Я пришла начать и вот начала с того, что заревела. От страха. И от обиды. От обиды на себя: «Не понравилась! Не смогу! По природным данным и талантам ему нужно что-то умелое, умное, что-то страстное, а может, и великое! Нет, нет, не смогу, не соответствую!» И вот я стала реветь. И про себя, и даже вслух. К тому же я ведь хоть и совсем еще молодая, но замужем уже была, и вот хотела переменить всю свою жизнь от начала и до конца. А вы думаете, что — он? Чего-нибудь понял? Да ни на йоту! «Успокойся, глупенькая,— сказал он,— это совсем не страшно! Ну разве две-три минуты, а потом все войдет в норму!» И тогда я хлестнула по двери, крючок навылет, и бегом! И месяца три бегала по городу без памяти, убеждала себя в том, что я дура! Убеждала и убеждала: недотепа, не женщина, а дура, и нет ничего впереди, потому что — дура!

В конце концов я снова явилась в аспирантское общежитие. В угловую комнату на пятом этаже. Снова под вечер. Снова часов в шесть.

...А теперь — момент второй.— Надежда Львовна сделала передышку, антракт между первым и вторым моментами.— «Я сейчас, я сию минуту,— говорит он мне, когда я прихожу к нему снова.— Вот только доем дыню. Один ломтик остался! Единственный!» И в самом деле дыней он занят.

«Хочешь ломтик?» — «Мне не хочется».— «Почему? Очень вкусная! Очень!» — «Я сыта».— «Ну, тогда обожди минутку, я ее сейчас съем!» И я снова сорвала крючок с двери. И снова бегала и очень медленно ходила по городу, только уже не месяц, не два и не три месяца, а целые годы. И думала о том, что если я бессильна изменить обстоятельства, значит, мне не остается ничего другого, как изменить свое отношение к обстоятельствам. А если я не соответствую действительности, значит, нужно взять действительность в свои руки. Где только смогу, там и взять ее! Где только можно, там и любить свою собственную философию, а другие философии не ставить ни в грош!

— Теория...— вздохнули мы.

— Время... Время такое, без теории и вот еще без логики — никуда и ни шагу!— вздохнула Надежда Львовна.— Впрочем, я мужиков не виню. Я мужиков понимаю. У них на этот счет такая логика: «Вот эта особа — взялась откуда-то и пришла ко мне, легла со мной, а теперь подавай ей любовь! Отвечай на ее страсть! Так ведь я ей страсти и не обещал! Страсть мне, между прочим, ни к чему! Эстетика — другое дело!» И действительно, ласковая, внимательная, чуткая эстетика — вот что мужику, когда он даже и пьяный поперек тротуара лежит, по душе! Он, мужик, почему, скажите вы мне, тоскует по любви на стороне? Потому, что ему не хватает эстетики дома! Ему, к примеру, совершенно необходимо пожаловаться на жизнь: на жену, на детей, на начальство, даже, представьте, на самого себя, но обязательно так, чтобы он был понят на самом высоком эстетическом уровне! Эстетичность для него больше имеет значения, чем гуманность и прочие там высоты. Ну, в самом деле, не для того же он находит любовницу, чтобы слушать о том, какая трудная у нее жизнь? Какие у нее хлопоты и заботы с ее собственными детьми? И с собственным начальством? Да кому это

нужно? Все это, Верка, я говорю тебе который раз. Учти, если ты не совершенно глупа, Баклаева, тебе полезно! И мужикам от женщин все это тоже оч-чень полезно, а главное, необходимо слышать! Точно!

— Он, поди-ка, не ел, он жрал ту дыню, ваш аспирант? — на этот раз с искренним чувством возмущения спросил Костя, а Богоевский снова махнул рукой:

— А-а-а-а...

— Нет, почему же? Он ел свою дыню нормально. Аппетитно! Зима уже наступала, их уже мало было — дынь. И синеньким общежитским полотенчиком он руки вытирал. И торопился. Ко мне. Чтобы, не дай бог, не опоздать!

— Надежда Львовна! — воскликнул Костя теперь уже патетически. — Дорогая Надежда Львовна! Я, может, и сам порядочная на этот счет свинья, но, поверьте, я бы вашему аспиранту, дынному обжоре, и сейчас хорошо бы врезал по морде! Промежду глаз — и ах как хорошо!

И Костя стукнул себя ладонью в лоб. Для вящей убедительности стукнул звучно, а Надежда Львовна засмеялась.

Вообще-то она смеялась редко, может быть, поэтому ее смех нам всегда запоминался, а тут мы подумали, что Надежда Львовна смеется совсем не так, как обычно. Не так, как это было в горах, когда мы отмечали ее день рождения, или как случалось нам слышать ее в огромной сумрачной комнате нашей лаборатории, перегороженной высокими шкафами на целый ряд отсеков.

Нынешний смех представил нам Надежду Львовну давней и по-настоящему молодой — без теории матриархата, без умения делать свою жизнь своими руками.

Надежда Львовна явилась нам в возрасте Верочки Баклаевой, но только куда там было сумасшедшей Верке до этой! До этой вот, которая т а к смеялась! Верка была топорной работы, вся на виду, а эта — фантастической! Еще юный-юный, но уже женский шарм жил в этой.

И с юным шармом Надежда Львовна, все еще вот так неожиданно смеясь, встала с пенька, протянула Косте обе руки и сквозь смех сказала:

— Дорогой! Сделай наконец одолжение, врежь тому аспиранту как следует! — Обернулась к Богоевскому и строго, уже в современном своем обличье, голосом тоже нынешним, потребовала: — Владислав Кузьмич! Под-

ставьте-ка Косте мордочку! Подставьте ее товарищу Ворожцову!

Костя ошалело глядел мимо нас всех.

Мы все глядели на Богоевского.

— Ох и глупы! Ох и глупы!— покачивая и головой и всем корпусом, сказал Богоевский.— У меня еще есть срок, я еще пять лет проживу вашим начальником — достаточно, чтобы выбить из вас глупость и дурь! Ох и глупы — это сколько же, действительно, предстоит мне с вами работать! Чтобы поставить вас на место... Юрий Александрович! Да хоть бы вы, что ли, занялись люмпенами?! Надо же кому-то ими заняться!

Потом он задумался, перестал раскачиваться, сощурил глаза.

Что-то вспоминал.

Но не вспомнил, спросил у Надежды Львовны:

— Может, и не дыня вовсе была? А что-нибудь другое? Арбуз, например?

— Ничего, кроме дыни! Ничего, кроме нее!

А так оно и было, так оно и есть — просто мы не придавали значения некоторым фактам в жизни нашей лаборатории! Но ведь чрезмерно строгий Владислав Кузьмич всегда снисходительно относился к бесконечным бюллетеням Надежды Львовны — это же был факт! Вопреки все той же строгости, она то и дело брала отпуск без сохранения содержания — факт! Владислав Кузьмич легко подписывал все и всяческие бумаги и ходатайства от имени института, испрашивая что-то для Надежды Львовны: стройматериалы для ремонта квартиры, телефон для дачи, детские ясли для внука, санаторные путевки непосредственно для Надежды Львовны — факт!

«Вот так кроссворд!» — думали мы.

Мы с детства привыкли к головоломным кроссвордам... «По горизонтали», «по вертикали» — это уже было для нас чем-то совершенно необходимым и привычным.

Должно быть, поэтому Надежда Львовна тоже представилась нам в виде не совсем обычного, а все-таки кроссворда...

МЫ

А кто такие — мы?

Все время толкуем: «мы, мы, мы, мы, мы!» — а кто это? Где это?

Богоевский, высокий, желтый и умный,— вот он, Надежда Львовна, составленная из рук, ног, талии, бюста, шеи и головы,— вот она, дико влюбленная Верочка — вот она, и Костя, и Сема, и Повалихин Юрий Александрович, и Валентин Яковлевич Морозов — вот они, а где же — мы?

Если бы кто-то выстроил нас в одну шеренгу и рассчитал по порядку номеров — тогда нас можно было бы увидеть: вот они! А без этого? Без счета-расчета? Сочетание общепринятого во всех языках «эм» с азиатским «ы», вот и все?

«Скажите слово, в котором четыре раза «ы».— «Ымыныны» (вместо «именины»),— вот какой существует анекдот!

Об одном из нас говорится «он» или «я», о двоих — «они», иногда и «мы», но мы-то прекрасно знаем, что двое — это еще не совсем мы...

Значит, трое?

Опять не то!

Четверо?

Впрочем, в одном душевном состоянии мы и втроем уже «мы», в другом семеро — все еще никто...

Тем не менее при всей неопределенности нас — мы существуем. Дважды: мы — физические и «мы» в качестве... в каком качестве?

Именно этот вопрос и объединял нас в «мы».

Нет, «мы» — это вовсе не сумма понятий, принадлежащих каждому из нас, потому что каждый среди нас — это совсем не то, что каждый сам по себе.

Когда каждый вступает в «мы», он обязательно в чем-то теряет себя, а что-то, несомненно, для себя приобретает, и такая игра в плюсы-минусы, более того — неистребимая потребность и потерь и приобретений — создает наше «мы».

У каждого из нас что-то есть, какие-то мысли и настроения, которые хочется потерять. Как это сделать? Надо сделать так, чтобы вместо «я» были «мы», и дело будет, безусловно, сделано.

У каждого есть мысли и настроения, которые настойчиво требуют каких-то дополнений, каких-то не

очень больших, а иногда и солидных плюсов — как их приобрести?

Да точно тем же самым способом!

Мы создаем конструкцию нашего «мы» усердно и постоянно, изо дня в день, но это не лесная работа муравьев, а испытательный стенд, на котором мы с энтузиазмом исследуем только что созданные детали.

Исследуем на растяжение и сжатие, на постоянные и временные нагрузки: не даст ли очередная конструкция трещины? Не поддастся ли явлению текучести материала?

Мы создаем наши отношения иной раз только для того, чтобы нам было что исследовать. Кому-то это может показаться несерьезным, но мы вполне уверены, что отношения между людьми часто создаются ради еще менее серьезных и совсем неблагородных целей.

Все это не мешает нам иметь серьезное значение не только для самих себя, но и для других.

Правда, международных дел и собственной внешней политики у нас нет, но «вне» есть, и вот мы — человека два, три, четыре — появляемся в какой-то компании по случаю Нового года или Седьмого ноября.

Распорядок известный: оживленные приготовления к застолью, само застолье, сперва с анекдотами, потом с песнями, и танцы. Предпоследний этап — приставание мужчин к чужим женам, еще лучше — к «разведенкам». Заключительный — касается прежде всего рассерженных жен, которые развозят мужей по домам.

Мы не дипломатические наблюдатели в этом распорядке, мы принимаем в нем участие, но и здесь у нас свое амплуа — мы все ребята «интересные» и никогда не растворяемся в окружающей человеческой среде. Даже если хорошо выпьем.

Мы сохраняем свое «мы» при любом стечении народа.

Правда, нас не очень-то привечало своим вниманием общество избранных интеллектуалов — физиков из соседнего института и лириков, не обладающих постоянной принадлежностью к какому-нибудь советскому учреждению, а так — болтавшихся туда-сюда.

Первые смотрели на нас свысока, потому что в нашей специальности не было отвлечённой теории. Следовательно, полагали они, ее не было и в нас самих. Вторые, то есть лирики, не знали, какое определение нам дать, на какую полочку положить. Ни романтики, ни

прагматики, ни теоретики, ни технари — лучше с такими не связываться! Тем более орудия нашего труда — деревянные копалки, больше ничего, а лирики очень чувствительно переносят отсутствие современной автоматизации и просто механизации труда, им обязательно нужны пульты, кнопки и мерцающие экраны.

Ну и бог с ними — с физиками и с лириками, мы и сами знали себе цену! Мы-то были тем больше «мы», чем больше критических и любых других замечаний поступало в наш адрес.

Мы-то знали, что «голый эмпирик» Костя Ворожцов может поразить своей эрудицией любую компанию.

А Сема Кочкин — своей проблематикой.

А Верочка Баклаева — своей курносенькостью и современностью своих воззрений в вопросах любви, семьи и брака.

А Надежда Львовна — своей деловитостью и своей фигурой.

И даже Валентин Яковлевич немало содействовал самоутверждению нашего «мы» среди других людей: мы вспоминали его каждый раз, лишь только разговор заходил о русской классике XIX века.

Главное же — мы были чем-то, были таким сочетанием нескольких «я», которым не был никто, кроме нас.

Итак, мы знали доказательства нашего существования, нас не проведешь, мы себе на уме. А иногда нам и вовсе кажется, что мы — это очень и очень лихие ребята, которые ничуть не боятся испытывать себя всякой всячиной. Правда, испытывать не столько практически, сколько теоретически. Теория — к месту или не совсем — нам тоже больше по душе. Тут мы не исключение ни среди физиков, ни среди лириков. И для нас теория — это прежде всего теория.

Ну вот, скажем, Сема Кочкин:

«Где-нибудь или даже в нигде находится интеллект, он управляет роботами первого, второго, пятого, десятого порядка, а робот № 333 — это не кто иной, как один из кураторов Земли. Конечно, он вовсе не тот обыкновенный робот с руками, ногами и мозгами электронного устройства, который нам представить все равно что раз плюнуть. Робот № 333 — это закон земного притяжения, например. Или закон Паскаля. В самом деле, что такое законы природы, если не роботы, строго исполняющие одни и те же функции, в одном и том же ритме?»

«А дальше что?» — спрашиваем мы у Семы, потому что тонко чувствуем, когда точка поставлена, а когда еще нет.

Кроме того, дальше-то Семе придется туго, а нам только этого и нужно — ставить каждого из нас в тугое положение.

И Сема держит экзамен и не бог весть как уверенно объясняет, что молодой и слишком энергичный интеллект человечества приходит в противоречие с исходным и строго консервативным мировым и вечным интеллектом, но не прямо, не непосредственно с ним — это ему не по силам,— а с теми роботами, законами природы, которые нам доступны, воздействие которых на себя мы улавливаем.

— Конец света — это бунт роботов против человечества. Вот что это такое!

Сема изрек. Сема замолк. Конец Семе!

Но дело-то в том, что Сема — это не более чем Сема, а ведь среди нас существует еще и Костя Ворожцов — представитель «нас».

— Сема,— откликается Костя,— а ты знаешь такие слова: «...И смертью смерть поправ»?

Сема смущен. Он уже подозревает подвох и вызов.

— А скажи, Сема, какие слова нашего времени ты бы поставил рядом с этими? Если ты знаешь, что такое конец света, почему бы тебе не знать и этого?

Тут уже смущаемся и мы: слишком легко Костя обращается со словами, прикасаться к которым всегда бывает страшновато.

Костя и дальше подначивает Сему: дескать, это, наверно, тот самый робот № 333, чтобы выяснить нынешнюю реальную обстановку на Земле, запускает в земную атмосферу летающие тарелочки. Так, что ли?

Однако Костя и не собирается продолжать Семину идею, и поскольку он считает себя человеком эстетически одаренным, ему бы не ботаником быть, а искусствоведом; он, как бы Семе в ответ, сочиняет длинную-длинную песню без рифмы, ведь рифмы устарели:

Они родились и умирали,
Все угадав и все предугадав...
И все отдав:
Самих себя, детей и вдов...

Костя исполняет это произведение, аккомпанируя себе ударами по берестяному туеску:

Их было много, на миллионы
Пылал, кривлялся и велся счет...

— Хватит, Костя! Нам спать пора!

— Не пора!

— Тогда почитай что-нибудь из своего «БуЧела»! Мы согласны тебя послушать. Полчаса. Или минут двадцать. Что-нибудь из свадебного обряда Будущего Человека.

У Повалихина Юрия Александровича другое предпочтение:

— Нет, что-нибудь по производственной линии, Костя!

А Надежду Львовну мы согласны послушать насчет матриархата. И водопровода: система водоснабжения у нее на даче из года в год требует и требует капитального ремонта.

Нет, мы не меланхолики, скорее, наоборот: и проблему водопровода, и Костиного «БуЧела», и Семину теорию бунта роботов, и даже воспоминания Повалихина о строительстве свинооткормочного комплекса мы способны воспринимать с острыми комментариями, с напряжением своих сил и со скоростью, похожей на скорость жизни человека, посланного в срочную и ответственную командировку. Ну вот, когда вас командируют на пять дней в Москву, а заданий дают двадцать пять — успевай поворачиваться!

И мы успеваем и существуем как «мы», потому что среди нас всегда находится тот, на котором в данный момент сосредоточено наше внимание.

Мы — это почти всегда кто-то один из нас и все остальные.

Точнее — все остальные и один из нас.

Это динамично: все время, все время, все время у нас продолжают вырабатываться границы того круга, того многоугольника, того сложного контура, наконец, в котором происходят отношения каждого из нас с остальными и остальных с каждым. И мы определяем их, эти границы, с интересом, с увлечением и с болью, а они такие жесткие, колючие и неожиданные!

Утомительно и так неудобно долгое время не смотреть на самого себя — обязательно хочется взглянуть! — но взглянуть не единолично, а через других, и вот среди нас устанавливается не то чтобы порядок чередования, но определенная последовательность в замещении той

фигуры, на которой периодически сосредоточивается внимание всех нас, остальных.

Коллектив нашей лаборатории, он же — коллектив нынешней экспедиции,— в общем, здоровый, а это значит, что очередность устанавливается у нас справедливо.

Если кто-то занимает внимание всех слишком долго, а кто-то лишается его совсем,— это плохо, это — болезнь и распад.

Кто следит за порядком замещения? Кто из нас — разводящий?

Не знаем.

Иногда подозреваем, но далеко не точно.

Вообще, кроме всего прочего, те границы, которые «мы»,— это еще и умение не знать друг друга, которое часто бывает труднее, чем умение знать.

Мы не имеем никакого права подходить друг к другу, словно к азбуке, незнание которой почитается за невежество, нам необходимо это незнание друг друга, и если кто-то из нас говорит: «Я поступил так-то!» или же: «Об этом я говорю откровенно, а вот об этом — ни слова!» — значит, все! Значит, так и будет, значит, мы обязаны ни о чем больше не спрашивать. Нам дано право исключить каждого из нашего «мы», но судить, но вести следствие — этого нам не дано.

И обратите внимание: ведь кто-то же написал все это, все, что написано здесь о наших лошадях?

И о нас самих?

Вполне вероятно, что автор и есть наш разводящий, но мы пока что вовсе не хотим его знать, а он вряд ли захочет выдать себя. И то и другое — потому что мы хотим сохранить себя в неприкосновенности. Так что судите и рядите обо всем этом сами по себе и как вам вздумается, а мы не хотим.

Не наше дело!

Так для нас лучше.

Хуже было другое: двое уходили от нас в другой мир, нам недоступный, не то в рай, не то в какое-то проклятье, не то навсегда, не то на одну только ночь или на все те ночи, которые еще предстоят нашей экспедиции.

Они уходили и тем самым предавали не только нас, но и наших лошадей... Нам было ясно, что именно в эту ночь с нашими лошадьми должно что-то случиться. Что-то окончательное.

Ну конечно, как и следовало ожидать, предателями оказались Верочка Баклаева и Костя Ворожцов.

Два года тому назад, вскоре после того как Верочка прямо со студенческой скамьи явилась в нашу лабораторию, они принялись за классические роли «ее» и «его».

Мы забеспокоились, потом успокоились: наш жизненный опыт определил, что, если между Верочкой и Костей не произошло все сразу, неожиданно, как вспышка, если они миновали ошеломление первого знакомства, с нарушением кровообращения и спазмами головного мозга,— значит, у них дружба, а дружба — это же цейтнот любви, это бесконечная ничья, это, наконец, и есть те самые «мы», среди которых, конечно, не может быть места Ромео и Джульетте.

И вот наш опыт нас обманул: уже на третий день нынешнего путешествия мы обнаружили в своей среде Джульетту.

Боже мой, и случай-то был пустяковый, крохотный мыльный пузырек, но последствия он все равно имел недвусмысленные...

На третий день путешествия — мы тогда еще на машинах ездили по трактовым дорогам, еще не забирались в горы верхом на лошадях — мы остановились около сельского магазинчика с огромным крыльцом и узенькой дверью, и Верочка купила... джинсы! Не американские, не французские, но иноземные, почти совершенно несгибаемые, со множеством швов на передней и противоположной сторонах, с четырьмя, кажется, карманами и с блестящими металлическими пуговицами.

Пока Верочка совершала свою покупку, Богоевский жестоко ее торопил:

— Что за барахолка! Что за разврат! Скорее, скорее и скорее! Мы не имеем никакого права бесполезно жечь в машинах государственное горючее! Скорее! Мы не имеем права простаивать! Скорее!

И Верочка купила скорее, а когда примерила джинсы на ближайшей остановке, оказалось, что они ей безнадежно узки.

Они, наверное, потому и существовали до сих пор в сельском магазинчике, что были узки для самых тоненьких четвероклассниц.

И Верочка расстроилась донельзя и возненавидела Богоевского, а мы разделили ее эмоции.

Разделить-то разделили, но все равно никто из нас ее не успокоил. Никто, кроме Кости.

Костя сказал:

— Ты, Верка, сильно надеялась на эти джинсы?

— До упаду надеялась...

— А ты на них плюнь: надежды — это слабость человечества!

— А в чем же тогда сила?

— В смирении... Вот религии — они тем сильнее, чем смиреннее. Как только религия начинает шебутиться по государственным или еще каким-нибудь делам, устраивать крестовые походы или искоренять ереси — так она теряет себя!

Мы подумали: «Ну не дурак ли этот Костя — из-за джинсов и такая философия!»

А Верочка, должно быть, подумала иначе: «Ну не умница ли и не оригинал ли этот Костя — из-за джинсов и такая философия!»

Мы ехали по дороге у самой речки, и Верочка приподнялась в кузове и бросила в речку свои трагические джинсы:

— Пускай туда и плывут, откуда приплыли!

И поцеловала Костю, и тут же стала Джульеттой: лицо курносенькое полно вдохновения, смех исходит из натуральной глубины.

Ну, правда, Ромео пока что еще не было. Ромео, лобастый, по американским понятиям — яйцеголовый, по нашим собственным — порядочно заумный, был пока что в потенции, и мы думали: «Авось не состоится!»

«Слава богу — не состоюсь!» — искренним взглядом заверил в тот раз и себя и нас всех Костя Ворожцов и еще очень внимательно посмотрел в те горные, в те голубые дали, которые уже назывались «районом нашего обследования», в этот «район» и бежала наша торопливая машина вдоль берега небольшой и не очень бурной речушки.

Но не суждено было Костиному заверению сбыться!

Мы недолго искали причину: виноваты были наши лошади, кто же еще?

Это из-за них мы задержались на Аргуте, и вот к чему привела задержка...

Конечно, ни Ромео, ни Джульетта во все времена и эпохи ни у кого не спрашивали советов, но дело в том, что нас преследует все та же, все та же элементарная арифметика: Костя женат третий раз, а Верочка пред-

ставляет третье поколение безмужних женщин, и эти «3×3» не дают нам покоя... Тревожные и печальные судьбы заключены в этом легко доступном каждому первокласснику перемножении, и теперь, откуда-то издалека, из отвлечения, они вдруг приблизились к нам, вполне реальные и даже реально осязаемые.

Конечно, они могли бы подождать, наши Ромео и Джульетта — приехали бы в институт, в город, и там, средь шума городского, кто бы их заметил? Кому бы до них было дело?

Но они больше не ждали ни минуты, и Костя вскинул на спину два спальных мешка, а Верочка Баклаева — небольшой рюкзачок, и, не говоря ни слова вслух, а молча говоря друг другу все на свете, они отвернулись от нас и пошли, и пошли, внедряясь в зеленую гущу леса, а мы поняли грубо навязанную нам обязанность видеть это.

Они заставили нас представить себе подробности своего ближайшего существования.

В общем-то мы ведь всегда считали себя передовыми и лихими ребятами, но тут произошла осечка, и нас охватило некрасивое чувство нашей расколотости на тех, которые почему-то ушли, и на остальных, которые зачем-то остались...

Ну конечно, это было не в первый раз.

В первый раз это было, когда Костя на своем Рыжем отстал от нас на тропе, а Верочка, сильно стегнув свою Красавку, поднялась обратно в гору, ему навстречу.

И вот мы остались тогда на ровной и просторной, на ярко-зеленой лужайке, а они двое снова оказались на головокружительной высоте.

Тогда мы боялись за их судьбу, подумать только, как мы переживали тогда, теперь судьба этих двоих мешала нашему существованию. Они наносили оскорбление нам и нашим лошадям, и никогда еще мы вот так же резко не делились на «тех» и на «этих».

Тогда была почти что естественная случайность, теперь неестественная логика, которую мы не могли принять.

Вот так: к чему Костя Ворожцов и Верочка Баклаева шли в отношениях между собой, к тому они, по логике, и пришли.

Но мы слишком долго верили, что они к этому не придут, что не будет ни этой логики, ни этой закономерности, но вот мы убедились, что не имеем для них

никакого значения, что́ мы есть, что́ нас нет — им уже все равно. Что́ смотреть Косте Ворожцову на своего Рыжего, а Верочке Баклаевой на свою Красавку, что́ не смотреть на них — тоже все равно.

Вот так мы молчаливо рассудили и поняли...

И постарались это рассуждение забыть, во всяком случае сделать так, чтобы оно нам как можно меньше мешало: что было, то было...

Прошло какое-то время, полчаса, может быть, немногим больше, и эта неожиданность сменилась другой: мы смотрели на единственную среди нас женщину, смешно сказать — даже Валентин Яковлевич взглянул в какой-то миг на нее, и товарищ Повалихин тоже бросил деловитый взгляд, и вот мы увидели ее не совсем так, как многие годы видели в институте,— нынче она была в коричневой водолазке, в синеньких и не по возрасту легкомысленных джинсах...

Надежда Львовна предстала перед нами, как всегда, четко-конструктивно: ну да — вот ноги, вот руки, вот бюст, талия и бедра, вот голова и шея. Все это чрезвычайно умело смонтировано из частей не одного, а нескольких различных комплектов женщин, но теперь, с интересом рассмотрев как следует этот монтаж, мы очень смутились: мы подумали, что Надежда Львовна тоже будет очень смущена нашим смущением, нашим интересом, нашим открытием ее заманчивой некомплектности.

Но ей все это оказалось как об стенку горох — она сама внимательно смотрела на Богоевского.

Надо же — на желтолицего, высокого и тощего, смотрела, черт возьми! Она?!

И так долго, что мы вполне успели рассмотреть ее взгляд. И, кажется, даже пофантазировать по случаю...

Взгляд Надежды Львовны соответствовал образу и подобию ее самой — он тоже был соединением разных выражений, был неодинаковой температуры — и горячим и холодноватым одновременно, был спокойным и взволнованным, был и далеким, и непосредственно близким... Будто бы она смотрела на Богоевского с разных расстояний...

Не скоро расстояние стало постоянным, но — стало. И мы это опять заметили.

Итак, на наших глазах происходило, как сказали бы демографы, смещение возрастных групп населения земного шара — ведь Надежда Львовна была бабушкой,

иначе говоря, на этом свете подрастал сын ее собственного сына, а чьим предком был Богоевский, мы толком даже и не знали!

Ах лошади, лошади! Вот еще какой эксперимент они поставили над нами!..

К ночи на всех нас, оставшихся, напала лирика, и мы стали всматриваться в звезды, рассеянные в промежутках между обуглившимися горными вершинами.

Тем двоим ушедшим, конечно, не было сейчас до звезд никакого дела, но нам пришлось этим делом заняться, и дневные мысли представились нам в ракурсе нынешней ночи:

«В соответствии с ярким сиянием звезд или в противоположность и назло этому сиянию ушли от нас Верочка Баклаева и Костя Ворожцов. Ушли, презрев арифметику! Презрев 3×3...».

Потом:

«Почему мы так любим, так обожаем слова? Почему все на свете должно иметь для нас обозначение словом, а если нет обозначения, тогда и предмет перестает для нас существовать?! Мы всё должны уметь назвать и вот изощряемся в этом умении и больше всего на свете хотим быть умными и самостоятельными именно в словах... В словах каламбура, парадокса, библейского изречения, цитаты, признания, возмущения, отрицания, утверждения, в любых, в самых разных, но только в словах!

Вовремя и к месту сказанное слово — это для нас не только мгновение, а то мгновение вечности, в течение которого мы приобщаемся к векам и к тысячелетиям, к тем человеческим умам, которые мы только вот так на миг и можем настигнуть...

Это мгновение нашего истинного торжества: ведь удачное слово, может быть, спустя день, или месяц, или год кто-нибудь и где-нибудь повторит? А что такое повторение, если опять-таки не вечность? Пусть крохотная, а все равно — она!

Наверное, в нас существуют и другие возможности приобщения к вечности — наша кровь, например, которая унаследована нами от наших матерей, а нашими матерями — от множества предшествующих поколений, но мы ведь не понимаем этой возможности.

Мы понимаем только слова...»

В полночь:

«Если бы кто-то посмотрел на нас совершенно со стороны, он обязательно заметил бы, как мы из кожи лезем, чтобы доказать, что мы люди... Очень часто мы понимаем, что это уже ни к чему, а все равно доказываем. Наверное, потому, что со стороны взглянуть на нас некому?

Кто взглянет? Такие же существа, такие же люди, как и мы сами? Этого очень-очень мало, совершенно недостаточно! Ну, а если некому сказать: «Хватит! Ведь ни один другой предмет мира не занимается подобной глупостью, ведь существование любого предмета уже доказывает, кто он, этот предмет, и что он! Зачем камню, зайцу или солнцу доказывать, что они существуют?!

Но мы продолжаем карабкаться по своей одушевленности, словно по пожарной лестнице, лишь бы вверх — лишь бы вверх!— и, может быть, давно уже миновали ту высоту, которая нам, людям, имярек, действительно соответствует?! Проскочили ее и ничуть не заметили этого, ну, может быть, вздрогнули разок, когда кольнуло в грудную клетку: «Не здесь ли? Не здесь ли пора остановиться? Не здесь ли последний шанс остаться самими собой?» Но не остановились, не поверили робкому сигналу и маленькому событию, происшедшему в грудной клетке, продолжая карабкаться вверх, но неизвестно куда!»

«Ну до чего же мастерски, до чего умело мы изгоняем себя из естественного мира, из его лесов и гор, бесконечных прежде всего своею прекрасностью!

Нет, мы обязательно переселяемся в другую бесконечность — забот, хлопот и тревог, мы без конца конструируем отношения друг с другом и убеждены при этом, будто все это возможно когда-нибудь исполнить до конца, достигнуть во всем этом какого-то завершения!»

Чуть-чуть за полночь:

«Вот наши лошади, их одушевленность — величина постоянная, должно быть, поэтому мы испытываем к ним зависть. Постоянство — это ведь очень серьезно для нашего времени, не так ли? И если уж мы не знаем, куда мы карабкаемся, так хотя бы точку отсчета узнать — откуда? Откуда мы начали? Узнать бы. Запомнить бы и понять!»

«Ах как давно, как давно это было!» — вспоминали мы нынче те времена, когда мы, будучи первобытными людьми, приручали к себе лошадей. Сперва — чтобы

ездить, а потом — чтобы переложить на них значительную часть своей работы.

Да ни за что бы мы, нынешние и цивилизованные, не смогли этого сделать: чтобы приручить дикое животное, и самому надо быть хоть немного дикарем, вполне естественным в своих отношениях ко всему живому. Только тогда и возможно взаимопонимание и доверие!

Ведь цивилизованный человек так и не приручил никого, ни одну живую душу, и пользуется лишь тем, что досталось ему от варваров! Ведь он только и смог, что поставить на конвейер производство мяса, молока, шерсти, яиц и цирковых номеров, которые веселья ради исполняют для потехи людей некоторые животные и птицы. Попугаи, например: «Попка не дурак! Дайте ему конфетку!» ...Что и говорить, современный человек научился искусственно размножать мир животных и птиц, эту размноженную жизнь он затем перевозит разными видами транспорта на бойни.

Высовывая головы через решетки грузовиков и вагонов, эта жизнь мычит, хрюкает, блеет, гогочет, кудахчет — как может, так и выражает весь тот ужас, который она предчувствует, но не понимает...

А между тем нельзя себе представить, будто в этом мире у людей больше нет и не может быть верных союзников, которые пожелали бы принять самое серьезное и бескорыстное участие в человеческой жизни! Есть! Есть такие! Мы чувствовали нынче существование этих добрых, этих влекущихся к нам, людям, но отвергнутых и не понятых нами душ!»

«А с другой стороны, кто его знает — может быть, сию секунду где-то в небе над нами болтаются летающие тарелочки и с тем же сожалением, с той же тоской, с которой мы думали о наших лошадях, думают о нас? И так же, как мы не могли оставить лошадей, так не могли они оставить нас? Мы тоже были для них лошадьми, которые встретились где-то на слишком узкой тропе? Кто из нас был для них Красавкой, а кто — Рыжим?

И вот они искали в нас свою изначальность. По-другому — свою точку отсчета... Тоже не зная, чем и когда они кончатся, хотели бы догадаться — с чего они начались? Не с нас ли?

А может быть, эти самые тарелочки умеют тосковать? Может быть, они должны тосковать? С утра до ночи — по своей изначальности? И потому, что мы для

них не что иное, как предмет их тоски и печали, они и болтаются над нами, где-нибудь тут, в непроницаемо темном небе?

Может быть, они — это и есть материализованная в каком-то веществе печаль?

В веществе не от мира сего и не от таблицы Менделеева?

Не может быть, чтобы таблица Менделеева исчерпывала все на свете элементы, а значит, и вещества!

Не может быть, чтобы на этом свете было что-то «исчерпывающее»!

Вот уж все кончится с нашими лошадьми, Рыжим и Красавкой, потом кончится с нами, а тогда и тарелочки улетят в другое место Вселенной...»

А-а-а-а, черт побери, снова лошади виноваты! Снова весь белый свет сошелся на них!

Мы знали, что в нынешнюю ночь одна или обе они должны погибнуть, вот и сошелся на них весь наш белый свет...

Вчера часов около пяти вечера, только-только ушли Верочка Баклаева и Костя Ворожцов, как Верочкина лошадь Красавка опустилась на колени... Коленопреклонение.

Она совершила его не сразу, мы обратили внимание на то, что Красавка чуть-чуть, едва заметно, а все-таки двигает передними ногами, и стали смотреть на нее в бинокль; мы увидели, что она шевелит ушами и хвостом и немного туда-сюда поворачивает голову... Ну как если бы она к чему-то приготавливалась... Мы не поняли — к чему, а потом вот оно что оказалось: она приготавливалась к тому, чтобы опуститься на колени...

Наши лошади и до этого ложились на тропу. Чаще ложилась Красавка, но стоило Рыжему сделать шаг вперед, ей навстречу, и Красавка с трудом, но поднималась снова. Наверное, она боялась, что Рыжий столкнет ее, лежащую, в Аргут или растопчет ее.

Нынешнее коленопреклонение Красавки было окончательным.

Совсем божественное получилось у нее ее коленопреклонение, медленное и неоспоримое, происшедшее в результате долгого-долгого испытания и потому вполне закономерное.

Боже мой, сколько и чего бы мы не передумали, чего бы только не выдумали, до каких бы геркулесовых столпов мысленно не дошли, если бы вот так же, встре-

тившись на тропе, встали друг против друга, не имея никакой возможности разминуться!

Каких бы только слов о безумии, о несправедливости, о бессмысленности мира мы бы не произнесли!

Но наши лошади умели думать без слов и вот погибали естественно — та из них, которая сильнее, имела надежду остаться жить, слабая первой должна опуститься на колени, вот и все. И ничего больше. Они не распространяли свою гибель на весь остальной мир. Ни в коем случае!

Недоступное нам откровение!

Поначалу они, правда, не грубо, а робко поупирались друг в друга лбами, потом каждая из них хотела как можно плотнее прижаться к скале, чтобы пройти вдоль нее, столкнув другую в пропасть, но это не удавалось, это было бесполезно, а полезным и разумным оказались только терпение и выносливость, и вот они обе стали терпеть и выносить жажду, голод, страх, солнечный горячий припек и боли костей, мышц, глаз, нервов, боли, которые мы, даже на расстоянии, переживали все эти дни вполне ощутимо.

В то же время мы испытывали чувство мудрости: мы не спутали наши возможности с необходимостью и не вмешались в судьбу лошадей, предоставив им всю ту свободу, которой они распорядились сами.

Редко это с нами случалось, редко мы не вмешивались во что-нибудь, имея возможность вмешаться, слишком редко мы не путали возможность с необходимостью.

Но на этот раз, на Алтае, нас осенило.

И вот наступило утро, а на тропе не оказалось наших лошадей.

Мы так привыкли и так научились видеть их там, наверху, простым глазом и в бинокль, видеть то силуэтами, то в мельчайших подробностях их смертной неподвижности, в робких движениях и в сильной конвульсивной дрожи, что теперь как будто ослепли, не увидев их, и серые скалы, на которых они еще вчера стояли, и сумасшедшая река Аргут, и горные дали, высвечивающие себя в разнообразных вершинах, — все это мы сочли за что-то не то, все показалось нам невиданным.

Ну ладно, наших лошадей на тропе не было — факт, так хотя бы нимбы остались? Которые сияли над лошадиными головами?

А почему бы нет? Говорят устно и печатают в типографиях, что живые существа излучают вокруг себя сияние. Кому-то удалось это сияние сфотографировать... Говорят и печатают, что сияние вокруг руки человека сохраняется, даже если лишить его руки. А наших лошадей никто не лишал чего-нибудь — ни ног, ни голов... Мы не нуждались в новых методах фотографии — мы и просто так, собственными глазами, все эти дни видели нимбы над головами наших лошадей.

Но теперь и нимбов, как мы ни вглядывались, не было!

И нам показалось, что и вообще ничего не было — даже нас самих. Наверное, каждому известно это чувство: когда теряешь что-то очень важное, очень существенное, кажется, что потерялся ты сам...

Но тут как раз в тот момент, когда мы полностью ощутили свое отсутствие, кто-то из нас завопил, перекрывая рев Аргута:

— Рыжий! Рыжий! Рыжий! Рыжий! Рыжий!

И так без конца...

Помешанный был этот голос, ни один нормальный человек на свете не мог бы так дико вопить, и, ошеломленные, мы не сразу поняли, в чем дело, куда, в какую сторону надо смотреть, а когда посмотрели ниже по течению и левее скалы, когда увидели ту лужайку, на которую — теперь казалось, в незапамятные какие-то времена — мы спустились с горных вершин, мы оказались потрясенными видом Рыжего.

Вполоборота к нам находилась наша лошадка, за камнями и травою видимая не всей фигурой, а только частями головы, передней ногой и порозовевшим в утреннем свете крупом...

Живой и даже розовый круп Рыжего! Конечно, он был совершенно тощим, но он — был!!!

Голова Рыжего, хотя и не видна была целиком, все равно изо всех своих сил пожирала траву и готова была пожирать ее из конца в конец лужайки и всех окружающих гор, и всего Горного Алтая, и всего белого света.

Нимба над головой Рыжего не было и в помине, но теперь святое украшение нас не волновало — что оно есть, что нет его — нам стало все равно!

Мы не о нимбе сейчас думали, мы стали во все глаза смотреть на тропу: может быть, там где-нибудь, живая или мертвая, находится Красавка? Стали смотреть в Аргут — может, мертвую Красавку прибило волной

к какому-нибудь камню? Мы стали смотреть вверх и вверх — может, Красавка тоже ушла по тропе в другую сторону? Ведь что-то должно же было с ней случиться?

И вот мы — не один из нас, а мы все — одновременно добрались глазами туда, где тропа пересекала небольшую плоскость, сбегая с одной скалы на другую. Мы добрались туда, и там, на этом переходе, на границе между двумя скалами, на площадке размером в сотню квадратных метров, предназначенных природой для чьего-то спасения,— там и стояла наша Красавка... Маленькая и жалкая фигурка на тонких ножках, не столько лошадь, сколько животное вообще, существо не совсем понятной породы и происхождения, но со всею очевидностью живое.

Однако у нас не могло быть сомнений — она! И в подтверждение того, что она — Красавка, фигура эта медленно повернулась в нашу сторону и легла, и, лежа, стала вытягиваться — тоже срывая травку, пробившуюся между камнями...

Мы снова кричали, и кто-то на этот раз, должно быть, очень сильно охрип, потому что среди многих голосов появился один фальцетно-петушиный, а кто-то всплакнул, и мы представили себе, как все это могло произойти: вчера вечером Красавка наконец опустилась на колени, мы это видели, мы это коленопреклонение переживали очень глубоко, хотя и не знали еще его смысла и значения, а уже ночью, когда не было видно ничего, она, наверное, и совсем распласталась по тропе... Тогда-то через нее и прошел Рыжий... Тропа стала свободной, и Красавка тоже нашла в себе силы подняться и пойти в свою сторону. Может быть, она и на колени-то опустилась не потому, что была слабее Рыжего, а потому, что была умнее его? Сознательнее? Мы давно замечали, что Красавка очень умная лошадь!

Таким представился нам заключительный кадр кинематографа, который мы никогда не видели, но, несмотря на это, кадр на всю жизнь оказался запечатленным в нашей памяти. Ведь ничего другого нельзя было себе ни представить, ни выдумать!

На наши крики прибежали и лесные люди, скрывшиеся от нас вчера,— диковатые, уже отчужденные от нас и от наших лошадей Костя и Верочка, они тоже запрыгали от радости, но их отчуждение не становилось от этого менее заметным.

Ведь именно Верочкиных рук было все это дело, ведь из-за нее лошади сошлись на тропе лоб в лоб, и вот теперь, когда они разошлись, Верочка должна была заплакать, должна была благодарить наших лошадей! Плакать и благодарить... Плакать и благодарить...

Верочка весело сказала:

— Лошади потому и смогли спастись, что одна из них — женщина, а другой — мужчина! Других причин нет! Может быть, кто-нибудь в этом сомневается? В этом вопросе?

— Рыжий — это бывший мужчина!— отозвался Сема Кочкин.

— Тем более показательно!— как всегда, отчаянно настаивала на своем Верочка...

Но мы совершенно не вникаем в ее слова. Это был уже не вопрос для нас, а пустяк, причем пустяк не к месту. Мы были сейчас заняты другими размышлениями, недоступными этим двум лесным людям.

Недавно, несколько дней тому назад, наше «мы» представлялось нам надежным сооружением, вокруг и внутри которого происходила наша жизнь, и мы непринужденно рассуждали о разных предметах и о самих себе, потому что в меру знали и тоже совершенно в меру не знали друг друга...

Но теперь это равновесие нарушилось.

Теперь-то нам стало известно, что это было очень хрупкое сооружение, даже скорее проект конструкции, чем сама конструкция, и вот мы спрашивали себя: все еще существует наше «мы» или его уже нет?

Мы — это ведь живой организм.

Как во всяком организме, в нас существует прошлое и настоящее.

И должно было существовать будущее.

1979

АНЕКДОТЫ ИЗ ЖИЗНИ КУДАШКИНА А. Я.

«Провинциальные анекдоты».
А. Вампилов. Название пьесы

«Что с нами происходит?»
В. Шукшин. Из последнего рассказа

Биография у меня, Кудашкина А. Я., сразу должен предупредить, ничего особенного: родился, учился, воевал, работал и работаю. В настоящее время работаю в проектной конторе. Но в то же самое время она, моя биография, отмечена очень интересным обстоятельством, заметили?

Неужели до сих пор все еще ничего не заметили?! Неужели до сих пор не дошло? Наблюдательность пониженная, да? А это несовременно — пониженная наблюдательность!

А тут вот в чем дело: я ведь Кудашкин А. Я., то есть — от «а» до «я»!

И любопытно, и вполне оригинально! Не у каждого так!

Тем более что есть еще и другая интерпретация: «А я — Кудашкин!»

Пусть в меньшей степени, но все равно оригинально, тут уж ничего не попишешь!

Ни один из моих завистников тут ничего и никогда не попишет, дело ясное — оригинальность!

Ну? А что еще? Специальность? Без хвастовства,— вполне современная. Боевая: железобетон! И не просто какой-нибудь железобетон, а крупные блоки промышленных зданий и сооружений! Дошло?

Если не дошло, посодействую: блоки жилых зданий — это семечки, не более того, но блоки промышленные — это будь здоров!

Во-первых, потому будь здоров, что пролеты и блоки промышленных зданий и сооружений действительно самые крупные. Только мостовые конструкции встанут с ними в ряд. Во-вторых, промышленные здания и сооружения нестандартны. Что ни завод, то и самостоятельный проект.

Это вам необходимо понять в наш век стандартизации. Я лично это не только хорошо понимаю, но не упускаю возможности объяснить другим: так и так, творчества в моей работе хоть отбавляй! Иной раз, признáюсь, даже позавидуешь тем, кому собственными шариками не слишком приходится работать, а достаточно полистать альбом типовых деталей, сослаться на какое-нибудь там «ПТ-63-12» — панель междуэтажного перекрытия — и запузырить эту самую плиту в собственный проект. На том и успокоиться.

То есть я хочу сказать: вот и биография!

Конечно, как у всякого гражданина, у Кудашкина А. Я., у Кудашкина от «а» до «я», имеется семейное и прочее положение, но оно постепенно и само собою выяснится в процессе нашего дальнейшего знакомства.

Не выяснится? Тоже беды нет, они, эти самые положения, как у всех других, не лучше, не хуже, а вот сведения о крупных блоках не обойдешь, они не совсем являются биографией, но и без них биографии нет. Не получается. Объективность сказывается, вот что: без специальности и без производственных интересов биографии нет как нет!

Вообще НТР, вы, наверное, заметили,— это не для всех. Кому-то по плечу, а кому-то и нет.

Вообще век НТР, он какой? Он конкретный, ему подавай факт! Какой факт? Лучше всего необыкновенный. Что обыкновенно, что, положим, у тебя, как у всех, не представляет для всех никакого интереса — всякие там разводы-своды, всякие болезни, всякие служебные или опять-таки семейные обстоятельства.

Зато, повторяю, если где и прощупывается действительный интерес, и даже познавательный — так это в случаях твоей жизни, самых редкостных и необыкновенных, во встречах самых немыслимых и теоретически почти невероятных, а практически все-таки имевших место. Вероятность которых — одна на миллион и того меньше случаев. Тогда это — да!

Да-да! Когда и сам начинаешь сомневаться, обыкновенный это факт или телепатический. Или нечто за пре-

делами нашего современного сознания? Загляд в не совсем ясное будущее?

Для меня лично любой человек (и я сам для себя) тем интереснее, чем больше в его (или в моей) жизни было необыкновенных историй и случаев, своего рода анекдотов, но только вполне в духе времени. Конкретно говоря, вполне современных.

Такие случаи, они, я считаю, причем считаю как инженер-железобетонщик, они и есть подлинная характеристика современного и, как правило, интеллигентного человека.

Хотя бы потому, что человек не интеллигентный, не обладающий интеллектом, их попросту не заметит, они не войдут в его сознание, такие случаи, если даже и случатся.

Я лично, если убеждаюсь в том, что у кого-то из моих знакомых ничего подобного, никаких сколько-нибудь невероятных случаев в жизни не происходило, я к такому знакомству быстренько охладеваю. Да?

Ну?!

Ведь с таким и поговорить-то не о чем! Преснятина какая-то... Серость или что-то очень близкое к этому.

Ну вот, положим, родственные отношения? Обычно, знаете ли, они очень банально изображаются, ничего-то в них замечательного не находится. У всех одно и то же. Так вот, если уж речь заходит о моей биографии, о родственных связях, я расскажу об этом в виде таких вот именно почти анекдотических историй. И невероятных.

Три такие истории будут в моем рассказе.

Слушайте. Внимательно.

ИСТОРИЯ С ЛУКОМ

Вы слыхали или нет — городок Полянск? Судя по названию, такой городок обязательно должен быть на обширной территории нашего Советского Союза, точно? Кажется, что вся эта территория без городка с таким вот названием и вообще-то существовать не может, но вы его все равно не помните, не слышали, я в этом уверен.

А между прочим, он реально существует, и доказательством этого служит хотя бы тот факт, что в нем родилась моя мама — в последней четверти прошлого столетия произошло событие!

Уж это точно, поверьте мне. Поверьте, хотя я тоже, как и вы, в этом городке, по существу, не бывал и не

предполагал быть, если бы не одна случайность. Пока что еще обычная, но все-таки уже довольно важная случайность.

Значит, ехал я через Москву в Саратов, было это через год, ну, максимум-максиморум через два года после войны. В Москве, не секрет, и сейчас еще, а в то время с билетами на все направления было из рук вон, и вот я стою в пятом ли, в девятом ли зигзаге живой очереди, и практически нет реальных шансов попасть в ближайшие дни в Саратов по делам службы, а также к сестрице моей Наде. Двоюродная сестрица, родных сестер-братьев у меня к тому времени уже не осталось — кого война унесла, кого что. И тут в очереди узнаю: в соседней кассе есть места в Саратов, только не прямым, а каким-то необыкновенным поездом, без расписания, с заходами на восток, потом на запад и даже на север.

Я подумал: «Я еще молодой, сон, слава богу, завидный, а поэтому, чем загибаться из одного зигзага в другой в живой билетной очереди, завалюсь-ка на вагонную полку, доверюсь судьбе, а она уже доставит меня в Саратов!» Итак, я понадеялся на двое беспросыпных суток, но, должно быть, еще самоуверенный слишком был, и вот просыпаюсь, ориентируюсь во времени. Получается, проспал я на той вагонной полке сутки с небольшим. Я остался собой за это недоволен, проснулся будто бы ни к чему, но тут вдруг слышу — что такое?— проводница объявляет станцию Полянск! И стоянку сорок минут объявляет она — в ту пору это запросто было, поезда и по часу на станциях простаивали.

Вот вам уже и первое невероятие: и на поезд этот, который следует через Полянск, нечаянно попал, и проснулся вовремя. Получается, что вовремя. Прокемарил бы еще часика полтора и ведь не знал бы даже, что проехал мимо города Полянска, к которому я имею столь прямое отношение!

Я вышел на перрон. Городишко ничтожный, вокзал деревянный, серо-зеленый, за деревянным и серо-зеленым привокзальная площадь, вернее, пыльная такая площадка, за ней, за привокзальной, совсем уже серенькие улочки, а мне, представьте, интересно, и все эти детали ложатся в мое восприятие!

Походил по площади, заглянул в серенькие улочки, подышал полянским воздухом и подумал: хорошо бы из этого знаменитого града Полянска сестричке Наде в город Саратов какой-нибудь сувенирчик представить! Хо-

рошо бы! Как-никак, а моя мама и Надина мама были родными сестрами, отсюда следует, что мы с Надей тоже полянского общего происхождения и надо это чем-то подчеркнуть!

А чем подчеркнешь?

И тут наблюдаю: пассажиры моего безмаршрутного поезда закупают на перроне лук, лук репчатый, и все метровыми, а на первый взгляд, так и еще гораздо более длинными вязками.

Лук — вот чем славен град Полянск! Нынче! А может быть, и в далеком прошлом? Может быть, в прошлом на городском гербе Полянска луковица была изображена? Итак, полянские граждане, продавцы и продавщицы лука, заняли не только весь перрон, но и вдоль железнодорожных путей по обе стороны от перрона тоже расположились. И у многих полянских граждан — заметьте это!— физиономии, точнее, конфигурация головы тоже похожа на луковицу!

Лук! А почему бы и мне не привезти в Саратов сестрице Наде две-три луковичных вязки? Золотистых, с фиолетовой проседью? Ароматных — голова кружится? Длиной по метру?!

И зачем это отставать от общей коммерции, которая подчинила себе пассажирское население всего поезда? Не надо было отставать, не надо было Кудашкину А. Я. отклоняться от массы.

И Кудашкин А. Я. не отклонился, а, наоборот, бросился в гущу торговли, отыскивая взглядом полянскую продукцию самого высокого качества. Нет, позвольте, даже и не продукцию разыскивал я, а такую прежде всего человеческую фигуру, еще точнее, такую голову продавца или продавщицы, которая по своей конструкции более других напоминала бы луковицу! Вот в какую лирику вогнал Кудашкина А. Я. этот самый городок Полянск! Кудашкина от «а» до «я»!

И подхожу я к типично полянской коммерсантке, она в больших годах, лицо старенькое-старенькое, но румяное и с луковичной позолотой, с фиолетовыми кое-где жилками на щечках, и подбородок плоский, приплюснутый, и на затылке повязан узелком ситцевый платочек — луковичный хвостик вверх!— и, указывая сразу на две луковичные вязки, с места спрашиваю: сколько? То есть сколько стоит? И тут же объявляю этой старушечке, что имею к Полянску прямое отношение: здесь родилась моя мама!

Она, старушечка, поглядела на меня.

«Фамилия? Дорогой мой, укажи мне фамилию свою! Деточка?!»

Я не сразу, но соображаю, что фамилию надо назвать не свою собственную, а мамину, девичью. Не сразу, по совести говоря, припоминаю: «Харламова... Харламова Лидия Никифоровна!»

«Ах так!— произносит с придыханием старушечка.— Так и есть! Я лишь на тебя глазом кинула и дрогнула тот же момент: Лидочки Харламовой сынок! Ее сыночек, ей-богу, правда! Очень схожий с мамочкой! А мы с ней, знаете, кто были, с Лидочкой? Мы с ней подружки отчаянные, мы с ней одногодки, мы с ней одноклассницы-епархиалочки — вот кто мы с нею были!» Епархиальные училища, к вашему сведению,— это женские двухклассные церковноприходские. Не знали? Не смущайтесь, я тоже не знал. В Ушакове искал, в Брокгаузе и Ефроне искал. (Кстати, а Брокгауза с Ефроном вы знаете?) Одним словом, старушечку эту уже не остановишь: где она про себя толкует, где про Харламову Лидочку, установить невозможно. И деньги за луковичные две вязки отдать невозможно тоже — не берет! Тем более не берет, когда узнала, что луковицы эти я повезу в город Саратов двоюродной своей сестрице Наде-Надежде, Лидочки Харламовой родной племяннице, то есть Зиночки Харламовой дочери. Какое там! Уже и поезду отправление, а старушечка все еще находится в штопоре собственных воспоминаний и выходить из него не желает! И действительно, мило так у нее это получается и лирически, и красочно — точно видишь ее в пятнадцатилетней юности. И не одну, а с Лидочкой! Десять граммов воображения, и видишь все это как на ладони!

Поезд пошел... Поезд пошел, а она, милая старушечка — подсчитать легко, ей в будущем году стукнет семьдесят — она следует на всех парах за вагоном и про Лидочку Харламову мне все еще что-то такое объясняет через окно, все лепечет, все лепечет!

Сколько лет минуло, вижу: пригорок, на пригорке серенькие городка Полянска улочки, под пригорком вокзал, перрон, по перрону бежит старушечка, что-то она еще не успела пролепетать о моей маме.

А я в вагоне и помахиваю ей через окно, и поражен донельзя этой встречей. Этаким совпадением!

Запах вокруг меня в вагоне луковичный до того густ, что дыхание перехватывает, слезу из глаз выжимает... Ну и лук!

Вот какой случай!

Какова необыкновенность? А?

ИСТОРИЯ С КОТОМ

Хотя история эта касается кота, но опять-таки она семейная, несомненно, генеалогическая.

Подумать только, как идет время — вот я уже и сам отец семейства, то есть я хочу сказать, годы идут, время течет, а какой же закон этого течения? Оно само по себе обыкновенное, а течет от одного необыкновенного случая к другому, тоже необыкновенному. Точно. Прецезионно точно!

Итак, я, отец семейства, захожу однажды в ресторан «Центральный» часа так в два пополудни. «Центральный», он, разумеется, в самом центре: справа Исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся, слева оперный театр и Управление речного пароходства — два величественных (в масштабах нашего города и области) здания, и вы представьте себе, что ресторан «Центральный», в самом центре этот ресторан... пуст. Ну да, нет в нем посетителей! Хотите, верьте, хотите, нет — ни одного! Опять невероятие! Впрочем, один был посетитель — черный с белыми пятнами кот сидел на стуле, из себя тяжеловес.

У меня при виде такого невероятия, как совершенно пустой ресторан в два часа дня и в центре города, уже что-то екнуло, а тут еще этот кот на стуле поворачивает голову, смотрит на меня — приглашает занять соседний стул за тем же столом.

Я занял. Подумал, посомневался — и занял.

Поглядел коту в глаза, а они не столько зеленые, как, верите ли, еще и голубые!

В ту пору булгаковский черный кот из «Мастера и Маргариты» был трудящимся массам, и мне в том числе, еще неизвестен, поэтому я и принял приглашение — сел на соседний стул, рядом с котом-тяжеловесом.

Понимаю, я не настолько блестящий рассказчик, как Михаил Булгаков. И мне это даже жаль: Михаилу бы

Булгакову бы да мой бы жизненный материал! Представляете? Ему бы, Булгакову, да все то, о чем я говорю, а главное, о чем я еще буду говорить!

Если хотите задать вопрос — а что мне лично в «Мастере и Маргарите» больше всего понравилось? — так я отвечу: мне понравился кот, но я не хочу сказать, что только он, это вообще замечательная вещь, эта «Маргарита». Крайне содержательная! И требует от читателя высокого уровня умственного развития!

Ну, ладно, вполне отдаю себе отчет, что детали описания и отступления от главного мне не даются. Они как называются, такие детали? Кажется, художественными? Поэтому я перехожу на свою основную сюжетную линию...

Значит, официанта пришлось ждать долго, это закон: много посетителей, ждешь, потому что их много, мало — потому что их мало и обслуживающий персонал тоже ждет, когда работы будет много. И вот я жду в силу этого закона полчаса, а народ, представьте, в ресторане не появляется, мы только двое — я и кот.

Наконец принесли меню, я начал спрашивать, каких блюд в этом меню нет и быть не может, и как раз в это время входит еще гражданин с большим таким и потрепанным портфелем. Вошел, портфелем покачал, поглядел вокруг — тоже очень удивился пустоте помещения — и прямо за наш столик. «Разрешите? Чтобы уж один общий был заказ?» Я говорю гражданину: «Вот у него спрашивайте!» — и показываю на кота. Гражданин сел.

Сначала, правда, спросил у кота: «Разрешите?» — но ответа ждать не стал.

Официант, само собою разумеется, в тот же миг ретировался: «Когда все познакомятся с меню, тогда и подойду...»

Знакомимся с меню. Заодно друг с дру́гом.

Он так себе был, этот гражданин, бодренький еще, но уже в годах, и в солидных, а кроме того, командированный. Сначала я подумал, он из района в область командированный, но тут же понял, что из Москвы в область. То есть не снизу вверх командированный, а наоборот — сверху вниз.

Чувствовалось, что должен состояться разговор, сначала на почве меню, а потом вообще.

Так оно и пошло дело, как чувствовалось... Точно пошло.

«Баранина,— сказал командированный гражданин.— Значит, ба-ра-ни-на жареная. Молодой человек! Вы знаете или нет, что такое, например, барашек по-касимовски? А?»

Я к тому времени не так уж был молод, но все равно признался чистосердечно насчет барашка по-касимовски: не слыхивал.

«Вот-вот-вот!— очень обрадовался мой гражданин.— Вот я, например, здесь в вашем облцентре с финансовой ревизией, а вы, молодой человек, знаете, что такое истинная финансовая ревизия?»

Я опять признался, что нет, не знаю, однако сопроводил это комментарием: «Я не финансист...»

«Ничего не значит!— отпарировал мой гражданин.— Ни-че-го! Любое дело имеет финансовую сторону. И если человек не знает финансов, значит, он вообще плохо знает труд и жизнь! Да!»

Ну и далее уже как-то само собою последовал рассказ гражданина о себе:

«С малых лет. С малых лет в бакалейной лавочке у родного папаши, как если бы я был Чеховым Антоном Павловичем. В дальнейшем — в казенной палате, в уездном, а потом уже и в губернском размахе и масштабе. Как если бы был Салтыковым-Щедриным Михаилом Евграфовичем или чем-то в том же роде. А карьеру мою и, если можно выразиться, самое призвание определял не кто-нибудь, а товарищ министра финансов, по-нынешнему заместитель министра, да еще и первый! Это первый-то у Витте Сергея Юльевича! Говорит вам что-либо фамилия Витте? Киваете, значит, эрудированны, что-то такое говорит вам Витте, ладно. Но я продолжу: министрам-то, оказывается, и при царизме было известно слово «товарищ»! Было, к вашему сведению, молодой человек! Ну, а дальше? А дальше вызывает меня товарищ министра осенью тысяча девятьсот третьего года, меня, желторотого птенца, только весною вылетевшего из стен Н-ской классической гимназии. И, верите ли, молодой человек, полтора часа на память, без единой бумажки, не вызывая даже ни одного помощника для справок, в сотнях цифр обрисовывает мне реальное — это подумать только, совершенно реальное!— положение дел в том уезде, куда я назначаюсь ординарным чи-

новником для деятельности на благо... Ну, ладно, это как, по-вашему,— это факт или что?»

«Не факт!— заявляю я своему гражданину.— Это не факт!»

«По-о-очему?»

«Просто! Объем работы в то время был — что? Раз плюнуть, вот что! И одному человеку весь уезд запомнить было легче легкого и даже имело смысл. Тем более если этот человек взяточки разные брал в том уезде, подкармливался из него! Нет-нет, вы не волнуйтесь, вы ответьте мне: а теперь? Теперь объем работы в десятки раз больше, и нельзя, и вредно, и нет никакого смысла ни одному товарищу держать тысячи цифр в памяти. Это архаизм и даже пережиток, вот что это теперь!»

«Да как вы можете?!»

«А вот как. «Ревизора» помните? Который у Гоголя?» — поприжал я своего гражданина, а он замешкался. И даже стушевался.

Сидим дальше.

Нам уже приносят первое.

Начинаем есть первое — борщ украинский. Но я уже взял гражданина на мушку.

«Вижу, вы все хвалите прошлое,— взял я его за шкирку.— Раньше, по-вашему, лучше было?! Ну? А сколько темноты, мрачности и дикости было хотя бы и в личной жизни каждого гражданина? Хотя бы в любом учреждении, хотя бы в любом учебном заведении? Забыли? А я вот не забыл!»

«То есть как это? Молодой человек! Что вы могли «не забыть»?!»

«А вот так, ничего я не забыл. Все помню. Всю прошлую темноту и дикость!»

«Например?»

«Ну вот, например, Снегирев, способнейший юноша в вашем гимназическом выпуске, получил аттестат зрелости с золотой медалью, а дней через пятнадцать после того повесился. Да, да!»

У моего гражданина личико было серенькой кожи, морщинистое, но тут он стал совершенно идеально серым. Потом красным. Потом белым. И он усиленно, и даже задыхаясь от натуги, начал работать ложкой.

Ну, конечно, я не отпустил на покаяние душу моего гражданина-собеседника. Он же начал, не я, а раз

так, пусть, думаю я по логике, пусть выпьет всю чашу-чашечку моего розыгрыша до самого дна. По логике!

«Хорошо, говорите, раньше было? Отлично? Великолепно? Ну, а хулиганство, прямо-таки уголовное, в той же вашей гимназии? Забыли? А я опять помню! Помню, как вы на дверях дома инспектора гимназии Прохора Кузьмича написали: «Прошка, сукин сын, на дежурство!» И это в то время, как швейцара гимназического тоже звали Прохором! Неужели это человеколюбиво и гуманно? Отвечайте!»

Мой собеседник отбросил свою ложку и уставился на кота.

«Он!» — подтвердил я.

Кот повел глазом: «Я! А что особенного?» И еще повел усами. И зевнул.

«Ведь я же просто так...— произнес мой гражданин-собеседник.— Я ведь в шутку».

«Что в шутку?!»

«Вообще...»

«Ну, зачем же вообще? А если в частности? В частности, вы своему богоучителю отцу Василию в шляпу пирожных со сбитыми сливками положили. В частности, вы учителю греческого, прозвищем Фунтик, предложили покататься в лодке, увезли его на остров, оставили там и кричали: «Фунтик, плыви к нам!» А Фунтик и плавать-то не умел! И вы преотлично знали, что не умел!»

«Нет,— сказал мой гражданин-собеседник, будучи уже совершенно неопределенного цвета, преимущественно все-таки белого,— нет, вы не подумайте, пожалуйста, чего-нибудь такого! Будто я какой-нибудь там... Неизвестно какой. Обо мне все известно, но все равно ничего такого... Чего такого-нибудь! Кроме того, я покушал. Я второе и вообще есть не буду. Не хочется. Я, пожалуй, вообще... Аппетит вообще у меня маленький».

«А ты? — снова спросил я кота.— Ты отпустишь гражданина?»

...Верно, что крайне интересный был кот! Замечательное произведение природы и генетики! Не кот, а лапа: глаза абсолютно круглые, высверленные в черной голове и не до конца зеленые, а, верите ли, голубоватые.

«И всегда такой был?» — спросил я своего гражданина.

«Кто?»

«Ваш аппетит?»

«Не скажу... Нет. Раньше...»

«Когда лучше-то было?» — И тут наконец-то я, знаете ли, расхохотался. Правда, что смешно! И до того невероятно! Я вот, например, уверен: вы тоже ничего не поняли, абсолютно ни о чем не догадались! Ну, я, должно быть, так расхохотался, что от самого первого моего «ха-ха!» кот нырнул со стула. Под стол. Сыграл свою роль — и под стол! А я знай себе «ха-ха» и сквозь свой смех называю этому гражданину свои фио — то есть фамилию, имя, отчество.

«Ку-ха-ха! — даш-ха-ха! — кин! — ха-ха-ха! Андрей Яковле-ха-ха-ха-ха — вич!»

И мой гражданин в ту же секунду понял, в чем дело.

А вы? Схватили?

Похоже на то, что не схватили ровно ничего. А напрасно. Век НТР — он на то и век НТР, чтобы схватывать!

Тут, на этом вот месте рассказа, я обыкновенно замолкаю. Чтобы понаблюдать за своими слушателями: что они и как? В том числе и на вас можно внимательно поглядеть.

Ну, а для тех, кто не схватил, у кого с современными тестами отношения не складываются, я поясню: он, мой гражданин собеседник, в самом начале что сказал? Не помните, внимание не цепкое, да? Он мне сказал, какую гимназию и в каком году он кончил. И я понял, что он кончил ее вместе с моим родителем! Дальше все совершенно просто: от родителя я, разумеется, наслышан был насчет различных там гимназических и почти что нецензурных проделок, и поэтому я так просто купил товарища Марычева Александра Семеновича, то есть своего гражданина-собеседника! Он, как только мое фио сквозь мой очень веселый смех расслышал, тут же бросился обниматься. И аппетит у него восстановился — мы дружественно с ним дообедали.

Смешно?

Смешно!

Теперь уясните: это уже вторая история моего генеалогического древа, вторая, но строго последователь-

ная. Первая про маму, насчет лука — помните? Вторая про папу, то есть насчет кота!

Теперь остается еще двоюродная сестра Надя. И, само собой, как вы уже, конечно, догадываетесь, есть и Надина история. Других родственников у меня нету, я вас об этом информировал, а то обязательно были бы и другие истории. Из моей биографии это вытекает — где родственные чувства, там обязательно истории.

Да, сначала нужно все-таки закруглить этот рассказ с котом. Родителя моего к тому моменту на свете давно не было, но мы все-таки поехали с Марычевым ко мне домой, и с моей матушкой Марычев пообнимался, хотя никогда прежде они знакомы не были.

Трогательно?..

ИСТОРИЯ «НАДЯ-НАДЕЖДА...»

А это уже и вовсе чисто математическая история, то есть без эмоций, а вся на основе невероятного случая.

В современной математике, знаете ли, быть грамотным, надо сказать, невозможно — слишком обширный материал. Вот и я: разделы, которые относятся к теории прочности, отчасти к фактографии — этим владею (само собою, в меру сил), насчет теории вероятностей уже не того. Уже младенец.

Но специалистов я об этом случае «Надя-Надежда» тоже информировал. Они ценят. Несравненно больше, чем историю с луком и даже с котом, хотя кот почти булгаковский.

Конечно, ценят при одном условии — если поверят. Ничего не поделаешь, кроме логики и здравого смысла нужно еще доверие, так сказать. Я, например, считаю себя человеком очень доверчивым. Почему? Я убежден, что с человеком недоверчивым такие истории, такие, можно сказать, анекдоты, которые случались со мной, никогда не случились бы! Индивидуум недоверчивый их бы как-нибудь избежал, честное слово, а я, Кудашкин от «а» до «я»,— я иду им навстречу!

Значит, мы (то есть я, жена, дочь и сын) летим из Москвы в Ленинград. Решение внезапное: «Летим?» — «Летим!» Опять же всемогущий случай: приехали в Москву, а путевки на юг отодвинулись по срокам на четыре дня. И мы четыре дня свободны, как птицы,

и мы идем в кассу Аэрофлота с целью сориентироваться, а там толпа, давка и кто-то продает с рук четыре билета на Ленинград. Ночной рейс.

Покупаем!

В Ленинграде живет Надя-Надежда (она переехала из Саратова. Она и всегда-то была ленинградкой, но в Отечественную эвакуировалась в Саратов и задержалась там сверх срока на три с половиной года).

Из кассы я кинулся звонить Наде в Ленинград.

Сначала телефон занят, потом телефон не отвечает, потом телефон снова занят и, наконец, совсем не отвечает. Молчит и даже не гудит.

А ночью мы летим в сомнениях: куда мы денемся, если, например, Надя в отъезде? Если она на даче? Если...

Живет моя Надя-Надежда в квартире на двух жильцов — я знаю, приходилось к ней заезжать. Но она ведь и ключа могла не оставить соседям. И соседи тоже могли выехать — сезон отпускной, дачный и прочий всякий. Туристический, например.

Лечу и думаю: «Что меня дернуло-то? Билеты меня дернули! Сразу четыре, которые с рук продавались. Как не купить, если они сами идут в руки, а рядом из-за них дикие очереди? Вот и урвал!»

Прилетаем.

Ленинградская белая ночь. Не совсем уже белая, конец июля, но все-таки. Берем такси. Едем на Выборгскую. Приезжаем. Звоним. А ночь глухая же, хоть и белая...

Звоним, за дверью шаги. «Сейчас, сейчас!» И открывает Надин сосед-бухгалтер и говорит: «Надежда Николаевна просила передать ключ, а там, в ее комнате, на ее столе лежит вам записочка».

У меня — соображаете?— волосы на голове приобрели движение. Даже младшенький наш, Вовка, дошкольник, и тот предельно очумел — и до него дошла вся эта невероятность! Почему же нас ждут-то? Кто Надю предупредил?

Сосед-бухгалтер желает спокойной ночи и уходит досыпать свой сон, а мы открываем Надину комнату, за ней вторую, на цыпочках, как лунатики, входим. Стол. Входим, на столе записка. Читаем в записке: «Обязательно нужно было поехать к своим на дачу с лекарствами и пропитанием. Буду в понедельник. Располагайтесь! Послезавтра расцелуемся!»

Подпись, дата, бумажная бумажка. Все чин чином! Как в аптеке!

Живем в Ленинграде день. Живем уже второй, стараемся — особенно для дочери — взять как можно больше: Эрмитаж, Русский музей, Невский проспект, Петропавловская крепость, Черная речка, Петергоф, Детское Село, оно же Царское Село, оно же город Пушкин, работаем не покладая ног, но даже и при таком физическом напряжении все равно мучает вопрос: «Как могло случиться? Откуда, каким чудом Надя-Надежда узнала о нашем приезде? Телепатия?!»

На третий день вечером Надя является.

«Как хорошо, как отлично, что приехали! И все до одного!» Это она касательно Вовки. Вовку Надя еще ни разу в жизни не видела.

Здороваемся. Обнимаемся. Восторгаемся. Но я сдержаться не могу и двух минут: «Откуда ты, Надежда, узнала, что мы приезжаем?»

А у нее глаза навыкат: «С ума сошел? Сам же звонил из Москвы, сказал, что едешь с детьми в Ленинград! Я только не поняла, с женой или без нее. И голос у тебя был какой-то странный. И разговор где-то на полуслове прервался, но ведь звонил же!»

«Чем странный? Был? У меня голос?»

«Не знаю... Я спросила, почему у тебя такой голос, а разговор тут же прервался. И я не успела предупредить, что должна поехать на дачу. И поехала. И оставила тебе записку».

Ну?

Ну, сделаем паузу.

И подумаем: что могло случиться?

Единственно, что могло случиться: какой-то Андрюша (но не я, не Кудашкин от «а» до «я») звонил какой-то Наде (не Наде-Надежде, как вы понимаете). Попал не на тот телефон, но обстоятельства у него были наши, он летел из Москвы в Ленинград и сообщил об этом!

Ну?

Три строки знаков восклицательных и вопросительных — не меньше!

И еще: вот это, я считаю, и есть истинная человеческая биография!

А теперь давайте выстроим ряд: история про маму (с луком), история про папу (с котом) и вот эта, с Надей-Надеждой!

Ну: ?!?!?!?!?!?!?!?!

Сила: ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!

Признаюсь, попробовал я однажды изложить эту силу по теории вероятности, тряхнул стариной, то есть институтскими учебниками, то есть кривыми Фостера, стал определять вероятность такого случая.

Не бьет. Ни одна кривая. Не выручил старик Фостер, а с другими кривыми я и раньше-то не имел никакого дела.

Тогда я отдал задачку физматкандидату-головастику. И у него, представьте, не бьет! Говорит: один случай на миллиард, но точно доказать не могу!

Ну?

Ну, в тот год мы хорошо всей семьей отдохнули. В пансионате на ЮБК. (Южный берег Крыма, если не догадываетесь!)

Да и вот еще что — есть такие, они то да се говорят, про литературу, про что им в голову взбредет, а для меня самый главный пласт — логический. То есть факты и фактические обстоятельства, но не все, а с разбором — те, которые выстраиваются в ряды, вот они, я считаю, и есть предмет внимания мыслящего человека. Это уже не то да се! Это — мозги занимает, внутреннюю дисциплину ума налаживает, воспитывает. Как надо. То есть — в духе НТР.

А все эти сантименты, разобраться, так что? В двадцатом веке грош им цена, вот что! Ну и пусть себе эти разные любители перебирают классику, пусть спорят — агрессивен или нет человек по своей природе, можно ли обойтись без культа личности или нельзя, или вот еще — есть бог или нету его? Подумаешь! Занимаются и занимаются, а где результативность и хотя бы вообще что-нибудь позитивное? Даже гимнастики ума и той нету, одна расслабленность и неуправляемая стихия. А человек должен быть управляемым. Поэтому настоящий факт — вот объект его познания, или вот еще — научная фантастика, вытекающая из факта. А все то, что между ними посередке болтается, ни туда ни сюда — это одни слова, без фактического смысла и без прямого назначения.

То-то вот! Вот я и рассказываю только о фактах, и попробуйте-ка меня опровергнуть? Да я за каждое свое слово ручаюсь, хотя бы и головой, не то что некоторые, совершенно безответственные!

А вот еще одна история, которая произошла на днях... Нет в ней ничего особенного, один бытовизм, который я и всегда-то не люблю, а в некоторых случаях просто ненавижу.

Но почему-то и каким-то образом она, эта история, задела меня настолько, что мне захотелось о ней рассказать. Как бы сверх программы и просто так, безо всяких теоретических обоснований.

Начну с того, что я почувствовал, как ноги у меня дрожат, как сию секунду я сделаю что-нибудь такое, о чем позже сильно пожалею.

Но, несмотря на такое предчувствие, я все равно громким голосом, почти криком потребовал заведующего химчисткой.

Срочно!

Немедленно!

Хотя, в общем-то, что значит потребовал? Срочно и немедленно? Что это вообще значит — требовать? Почему-то потом — как говорится, постфактум — всегда приходится очень долго объяснять, что это значит...

Вот и сейчас мне приходится это вам объяснять: я сделал первую попытку вызвать заведующего химчисткой, а приемщица, с которой я уже исчерпал нормальные словесные обороты, ответила мне: это не ее дело — вызывать. Чье это дело, тот пусть и вызывает, у нее своих дел по горло, вот пускай кто-нибудь, кто хочет и желает, пускай встанет на ее, приемщицы, место и работает, а тогда она вызовет, а без этого она не девочка, чтобы куда-то бегать, кого-то вызывать, понятно?

Публика, кто с летней одежонкой в руках, с разными платьишками и безрукавками, а кто уже и с осенними свитерами, то есть люди предусмотрительные, внутренне организованные и предвидящие наступление осени в довольно скором времени, вся без исключения присутствующая здесь публика попритихла — назревал скандал. Уже назрел.

Публика начала почаще, заметнее как-то топтаться с ноги на ногу.

В затишную минуту, когда публика ждала, а что же все-таки будет, что случится, случилось неожиданное: приемщица отшвырнула в сторону коричневые брюки

в масляных пятнах и сказала их владельцу, лохматому, но уже в годах: «Вот как! Ну, ладно, тогда подождите!» — и пошла искать заведующего.

Собственно, она как пошла? Отодвинулась на три шага от стойки, за которой принимала одежду в химическую и срочную чистку, а отодвинувшись, произнесла:

— Николай Валерьянович, тут гражданин в сером костюме возмущается. Вы слышите, Николай Валерьянович?

Чуть побольше, чем в трех шагах,— в четырех шагах от стойки — находилась невысокая, не до потолка, а на три четверти нормального человеческого роста перегородка, застекленная матовым стеклом. И вот оттуда, из-за матового, не сразу, но все-таки раздался хрипловатый ответ:

— Ну...

— Ну?!— повторила приемщица, плотно установив себя как раз посередине между стойкой и этой перегородкой и глядя прямехонько в мои, Кудашкина А. Я., глаза.— Ну! Вот он вам, заведующий, когда вы его так хотите. Вот он!

Кто-то уже из публики:

— Подумать только! А? Так он-то, заведующий, здесь присутствует?

— Вот и подумайте, вот и подумайте!— всем, кто тут был, а мне, Кудашкину, персонально погрозила пальцем приемщица.— Вам только и делать, что думать. Только и всего! А работать — пускай Пушкин работает. Или Лев Толстой!

Опять из публики:

— Про-све-щенная!

И еще раз:

— Подумать только! А?

— Кто?— было тем временем спрошено из-за перегородки, и приемщица подтвердила:

— Гражданин. В сером костюме.

— Пожилой?

— В годах уже. Уже выше среднего в годах.

— А что он?

— Возмущается!

— Почему?

— В сером костюме.

— Сейчас...

— Безобразие!— взревел я, но кто-то из числа осен-

ников, то есть из тех, кто уже в июле умеет побеспокоиться о теплых кофточках и свитерах, доброжелательно меня предупредил:

— Ни-ни-ни, голоса не повышать. Снижайтесь!

И я внял, снизился. И правильно сделал: на тишину — это уже вторая была тишина с тех пор, как начал затеваться скандал,— на эту вторую тишину из-за перегородки окончательно вышел заведующий.

Он был крупным и уже с утра заметно краснолицым мужчиной. Он был в пестром пиджаке и в еще более пестрой сорочке. Он переложил широкий галстук — совсем уж пестрейший — с левого плеча на правое и спросил:

— В чем дело? — И небрежно так поддерживая самого себя во весь рост, прихватился рукой за стойку.

Я же стал поднимать свой химически вычищенный пиджак на уровень красного лица этого заведующего и, как мальчишка, спрашивать:

— Видите? Видите, что это такое? Товарищ заведующий, вы видите, наконец, что это такое?

— В чем дело?— повторил он свой вопрос, не глядя на мой пиджак, и на меня тоже не глядя, и на публику не глядя.

— Пуговицы!— прошептал я («Ни-ни-ни, голоса не повышать!»).

— Мы за пуговицы не отвечаем!— сказал кому-то заведующий.— За пуговицы отвечает клиентура.

— То есть как? Где такой закон?!— снова прошептал я, но уже громче.

— Пуговицы, каждому здравомыслящему ясно, химически не чистятся. Они предмет самостоятельный, то есть спарываются. Они, пуговицы, подлежат спарыванию в обязательном порядке. Объективная истина!

— Так и спарывали бы! Если подлежат!

— Да вы что в самом-то деле принципиальничаете?— неожиданно, будто из короткого, а все-таки небытия вновь возникла приемщица, сверкнув зелеными глазами.— Вы умный или какой? Когда мы сами будем спарывать все ваши пуговицы, тогда кто же будет принимать, химчистить и выдавать? Вы, думальщики, об этом подумали — кто?! У вас голова-то, видно, с высшим образованием? Все хотят указывать, а работать —

Пушкину? Все...— Еще что-то хотела сказать приемщица, но не сказала: она вернулась, наконец, к стойке и вернула себе из рук лохматого, но уже немолодого гражданина его коричневые брюки в масляных пятнах.

— Где пуговицы?— спросил я заведующего в упор.— Где? Скажите?

— Слепой?— тоже спросил он меня.

— Так это разве пуговицы? Это блины получились!

— Оладушки!— поправил меня заведующий.— Оладушки!

— А почему? Какое вы имеете право... Делать из пуговиц... что бы то ни было?

— А разве это мы? Это обыкновенная пуговичная деформация. Деформация в процессе производства. Мы, что ли, вырабатываем технологию? Кто ее вырабатывает, технологию нашего производства, с того и спрашивайте. Ясно?

— Капать должны!— это снова из публики, высокий гражданин, седой уже, но в хорошей форме, похожий на пенсионера из спортсменов.— Капать должны на пуговицы кислотой с целью распознать, можно их отправлять в химчистку или нельзя и, следовательно, надо спарывать. Капать должны, и это ваша святая обязанность, советского предприятия службы быта!

— А вы — грамотный!— сказал заведующий спортивному пенсионеру.— Вот и шли бы к нам на работу, чем в полной-то силе отдыхать на шее у государства! И капали бы! И спарывали-принимали-выдавали бы! Заведовали бы! Нам грамотные нужны, у нас тоже век научно-технической революции!

— Подумать только, вот ведь как!— вдумчиво сказала дама ученого вида, которая стояла в очереди за лохматым, но немолодым гражданином, с коричневыми брюками в масляных пятнах. Он свои брюки — и кое-что еще у него было — наконец-то сдал приемщице и как раз уходил уже, а эта дама ученого вида оказалась, таким образом, первой в очереди.— И все-таки как же без пуговиц? Действительно?— уже у меня спросила дама, а вовсе не у заведующего...

А между прочим, с этой дамой, с этой наверняка ученой женщиной я уже был неплохо знаком. Сегодня мы и познакомились с ней на почве все той же химчистки. Сегодня с утра я пришел пораньше не только для того, чтобы получить свой костюм, это пустяки — получать, но я имел в виду дело посерьезнее: сдать в хим-

чистку сорочки, двенадцать штук. Я стоял в очереди на сдачу сорочек и все утро переживал: войду в лимит или не войду?

Вообще-то, как вы уже наверняка заметили, я больше доверчивая личность, чем везучая и счастливая, и нынче это снова и полностью подтвердилось: за три человека до меня лимит кончился! Восемьсот мужских сорочек в день химчистка принимает (накануне выходного — тысячу) — и вот он кончился, лимит. Железно и бесповоротно кончился.

Все, кто был с сорочками на чистку и не вошел в этот железный лимит, стали расходиться, и только два-три человека, оставшиеся сразу за лимитным рубежом, те стали ловчить и химичить — бегать в соседнее помещение к мастеру, к главному инженеру, еще к кому-то. Один гражданин — по-моему латыш или эстонец — сделал так: положил свои сорочки на стол приемщицы и сказал, что будет сидеть здесь до тех пор, пока его сорочки не примут, а я сначала ничего не предпринимал, я улыбался, как дурак. Наверняка потому улыбался, что, стоя в очереди, я целый час, может быть, даже больше разговаривал с этой вот женщиной, с дамой ученого вида. О космосе, об эмансипации женщины, об окружающей природной среде — обо всем хорошо так и вдумчиво поговорили мы. Она тоже стояла с сорочками, с мужниными. Хотя могло быть, что у нее были сорочки ее сына. Почему не могло, спрашивается, этого быть? Вполне!

Когда нам, то есть мне и этой вот женщине, не хватило лимита, она взгрустнула, но сделала вид, что это ей нипочем, хорошо так сделала и сказала: «Что наша жизнь? Игра! Не сегодня, так когда-нибудь будут и наши сорочки чистыми!» А я, Кудашкин А. Я., подумал как бы в ответ: «Кандидат наук! Может быть, доктор!» Я уже несколько раз во время нашей беседы подводил ее к этим вопросам: кандидат она или доктор наук и чьи у нее сорочки, мужа или сына, но она умело уходила в сторону. «Наверное, из какого-нибудь почтового ящика женщина... Вот ей и неудобно отвечать... Не ставь, Кудашкин А. Я., человека в неудобное положение, не надо...» И в это время окончательно подтвердилось, что лимит исчерпан. Как я уже говорил, железно исчерпан.

Естественно, мысли мои вскоре переключились на другое, я уже не улыбался, как дурак, я стал сообра-

жать: как быть? Ну, завтра прийти — так ведь и завтра можно вне лимита остаться, и послезавтра? И на работу надо успеть, в контору, контора — штука требовательная. А вставать рано, часов в пять, чтобы занять в химчистку верную очередь, слишком неохота! Ну что, в самом деле, что это такое — как будто тебе предстоит уезжать или улетать куда-то на край света, а самолет отправляется в начале светового дня, и тут, хочешь не хочешь, надо успеть! Но из-за сорочек-то, из-за них-то неужели то же самое и должно быть, что при путешествии на край света бывает?! Куда и для чего тебе надо успевать? Вставать в пять утра — чего ради? Будить всю семью — чего ради? К тому же, говорю, контора! Не будешь ведь в конторе после стояния в очереди отсыпаться днем, у меня не отдельный кабинет! Я на работе никогда не сплю! Никог-да!

Ну, и вот что в конце концов я сообразил: я не стал и дальше заниматься своим костюмом и его пуговицами, я отложил это дело на потом, а сам кинулся на улицу, потому что до меня слух дошел, конкретно — кто-то в коридоре сказал, будто на Ленинском можно легко сдать сорочки в химчистку не только рано утром, но даже и днем, часов до двенадцати. Там химчистка хуже, но зато лимит больше. А двенадцати еще не было, было только четверть двенадцатого, суббота.

Я кинулся на улицу, и тут мне повезло — свободное такси! Я кинулся в такси и тут заметил, что вместе со мной в такси кидается ученая женщина, моя знакомая. Я бы сказал, симпатичная знакомая.

Риск — благородное дело или нет? Риск, скажу я вам, благородное дело, и вот мы рисковали. Вместе.

И вместе опоздали на Ленинский — и там минут, рассказывали нам, за десять до нашего приезда лимит тоже кончился. Но так как мы не очень надеялись, то и не переживали крушение нашей надежды, обошлись почти что без нервов. Она обошлась, я обошелся, мы оба обошлись и от этого стали как будто бы близко знакомыми людьми... Я даже удивился: в общем-то, много ли, оказывается, надо, чтобы люди почувствовали себя более или менее близкими и даже интересными друг для друга? Вовсе не обязательно для этого читать «Мастера и Маргариту», а потом выяснять общие точки зрения на это художественное произведение! Вовсе это не обязательно.

И так, без нервов, а в совершенно нормальном состоянии мы на том же такси вернулись в нашу первую химчистку, в ту очередь, в которой я в конце концов должен был получить свой костюм с пуговицами-оладушками, а моя знакомая незнакомка свое платье и еще какие-то предметы, о которых я до сих пор точно не знал, что это за предметы.

И эта серьезная и средних лет женщина, как бы грустная даже от своей серьезности, подошла ко мне, взяла из моих рук пиджак, вычищенный химчисткой, и, осмотрев его внимательно, от своего имени спросила заведующего, который оказался здесь, на виду:

— Ведь пуговиц-то в самом деле нет! Ни одной! Кое-где расплюснутые ошметки, а где же все-таки пуговицы?!

— А я, гражданка, откуда знаю, где они, пуговицы вашего друга с его пиджака и с его же брюк? Вы, конечно, лучше меня знаете, где они должны быть.— И заведующий весело засмеялся и показал ученой женщине то место на моих брюках, на котором должны были быть пуговицы.

С ученой женщины, с серьезного и аккуратного ее личика в крупных очках, вдруг исчезла ученость и строгость; приемщица, поглядев на нее, даже захохотала, потом погрозила пальцем заведующему:

— Уж вы всегда произнесете, Николай Валерьянович! Уж вы всегда... С вами не дай бог... Ох, умру я когда-нибудь от вашего произношения!

Лохматый, но немолодой гражданин, уже давно сдавший свои коричневые брюки в масляных пятнах, но почему-то все еще не ушедший на волю, сказал от дверей:

— А вот за это повесить надо. Мало за это повесить!

Приемщица взвилась и на него:

— Вы бы, лохматый, помолчали, если вас не касается! Не с вами разговаривают! «Вешать!» Да без тебя разберутся — кого вешать, кого нет!

Пенсионер из спортсменов закашлялся. А ученая женщина, теперь уже правильнее будет сказать — бывшая ученая, потому что как-то сразу нынешний конфликт смахнул с нее всякую ученость, она крикнула заведующему:

— Хам!— и выбежала в дверь, а пиджак мой по дороге бросила.

Заведующий вздохнул, приосанился и сказал:

— Вот так всегда, бегут люди от ответственности! Бегут бегом! Бегут, и это есть объективная истина!

Оставшись один, то есть без этой женщины, я долго требовал жалобную книгу.

Публика, в основном, была на моей стороне, поддерживала требование, но, как водится, не вся. Кое-кто возражал:

— Пиши не пиши...

— Пускай бы сам и задерживался (то есть я, Кудашкин от «а» до «я»), если рабочий день не нормирован! А других-то задерживать? Не для всех суббота — выходной!

— Да в выходной-то работы еще больше, чем в рабочий день! Несравненно!

— Знаем это писательство — разврат!

Но я своего добился, то есть жалобной книги. Самой жалобной!

И начал писать. Все как было.

Но, как было, почему-то никак не получалось, а получалось по-другому, вроде какой-то кляузы. Одним словом, вроде «телеги».

А когда подошло, чтобы подписаться, у меня, Кудашкина А. Я., и вовсе застопорило: адрес, телефон надо указать, значит, кто-то мне отвечать будет, может, переписка затеется, а к чему?! Если бы от этого сорочки выстирались?! От этой переписки и от этой жалобы?

И я вот что сделал — я чужой фамилией подписался. «Ку-ле-шов» — подписался я. И мне легче стало: жалоба написана, а меня она не касается. И мне завернули в желтую бумагу мои беспуговичные пиджак и брюки, и я ушел, держа сверток за белую нейлоновую тесьму.

Все-таки сервис.

Я шел по улице — мне от химчистки до своей квартиры недалеко — и думал: откуда фамилия пришла мне на память — Ку-ле-шов?

«Ах ты, боже мой,— через некоторое время вспомнил я,— да ведь он же весь белый был, как говорится, с головы до ног блондин, Ку-ле-шов этот самый!» И пошло и пошло раскручиваться: с отливом слоновой кости была у Кулешова кожа, вспомнил я, и вот, неестественно белая, она угадывалась даже под небритой щетиной лица. Блеснет хотя бы малое пятнышко на лбу, на ще-

ке — и сразу видно: человек-то совсем белый, детский какой-то человек!

Между тем это обманчиво было — Кулешов детскостью не отличался, он, наоборот, и в училище военном и на фронте отличался строгостью.

И в училище и на войне мы с ним находились рядом и неразлучно, не бог весть как разговорчиво, но дружили крепко, по-молодому, а вокруг этому удивлялись: надо же, разные слишком парни и в характерах, и в привычках, во всем, а такая между ними дружба, почти что любовь! «Это между вами, может, алфавитная дружба?» — спрашивали нас, потому что и в самом деле мы с ним как есть во всех списках совершенно рядом стояли, мое «Куд» с его «Кул».

Но нет, не в этом было дело, не в алфавите...

Вспомнить бы, в чем же дело все-таки было?

А вот: я к белой кулешовской коже с очень большим уважением относился, доверительно относился я к ней, доверчивая личность, и все думал, что под такой кожей обязательно что-то необыкновенное должно находиться. И я эту необыкновенность, конечно, разгадал бы, но тут Кулешова убило.

Его в тысяча девятьсот сорок втором году убило под Воронежем, еще точнее, под воронежским Лесным институтом.

С торцов все здания этого института давно уже были обглоданы артиллерией, но они все равно приподнимались над невысокими окрестными дубравами. Приподнимаясь, оконными проемами и брешами они оглядывали местность вокруг себя.

Институт был нашенский, советский, а находились в нем, в советском, как будто издеваясь над здравым смыслом, немцы, и вот оттуда, из черных отверстий когда-то по-цыплячьи желтых зданий, немцы вели свой артиллерийский обстрел. Без наступления, а чаще всего так, не из-за чего обстреливали они наши немудрые позиции. Мы часто и вовсе не отвечали им огнем — чтобы не ввязываться лишний раз в драку, чтобы экономить свой артиллерийский запас. Когда мы не отвечали, то и немцы в Лесном институте поскорее успокаивались.

И вот в один из просто так затеянных немцами артобстрелов и убило Кулешова — снаряд лег прямехонько в его комвзводовскую землянку.

После этого я, Кудашкин, не раз бывал на месте той

землянки. Не очень большая воронка, но знака от Кулешова не оставалось никакого — ни пряжки ременной, ни ярлычка, ничего. Может, и оставался на земной поверхности какой-нибудь осколок или осколок осколка, но другие снаряды его запахали, а искать не просто: днем — опасно, ночью — бесполезно.

Исчез человек, мой белокожий друг, исчез беспрепятственно, бесследно и беспредметно.

И даже своей фотографии никому не оставил — мне, например, своему другу.

«Память останется!» — подумал я тогда, под Воронежем, под воронежским Лесным институтом, и так оно и было: долгие годы я о Кулешове не забывал. Долгие-долгие годы.

А потом, оказывается, забыл. Не в раз, не в одно мгновение это случилось, не так, как на войне, когда в один миг исчезает человек, а медленно, но все-таки исчез. Перестал существовать Кулешов в памяти Кудашкина А. Я., хотя бы и небольшим каким-то осколочком! Тенью. Вдохом или выдохом и то перестал...

Это я к чему?..

Ну и вот, стоял Кудашкин А. Я. около тополька, неподалеку и наискосок от «Срочной химической...», и думал на этот самый предмет: о памяти.

Загадочная она вещь, необъяснимая!

Нет уж, я предпочитаю ряды фактов, если желаете, предпочитаю телепатию, она больше поддается логике, пониманию и объяснению, гораздо больше!

Я в тот раз, после конфликта в химчистке, долго еще стоял под топольком, долго думал: с женой, что ли, когда приду домой, поругаться? Ведь многие жены находят время отнести в химчистку сорочки своих мужей, а моя? Ведь вот ученая женщина, кандидат наук наверняка, а может, даже и доктор, находит время для этого, а моя?

Нет, не поругался я с женой, когда вернулся в свою квартиру. И надо было бы выпустить пар, а что-то остановило. В общем-то, я ведь умею вовремя остановиться. Я обладаю внутренней дисциплиной.

А повседневный быт я не люблю! Если хотите, я его ненавижу! Нет в нем ничего интересного, потому что нет ничего необыкновенного! Суматоха и суматоха, больше ничего. А я люблю интерес!

Вы, наверное, теперь уяснили мои интересы? И духовные запросы?! Тогда слушайте дальше...

она продолжает случайно прерванную программу моих рассказов.

История снова в трех частях и почти что с эпилогом.

Значит, вот что я еще за собой заметил: особую роль и, я бы сказал, роковую, всегда играли в моей жизни зайцы и кролики.

Многие случаи этот вывод, эту линию моей жизни подтверждают.

Хотя известно, что для того, чтобы провести линию, вполне достаточно двух точек, я все-таки снова приведу три случая.

В порядке, так сказать, солидной перестраховки.

И еще потому, что цифра «3» нравится мне больше, чем «2», она как-то благороднее. Вы это замечали?

Впрочем, определение понятия «линия» в геометрии, даже при наличии более чем трех точек, представляет бог знает какие трудности и в различных разделах науки трактуется совершенно по-разному. Параметрическое понятие линии — одно, в аналитической геометрии оно другое, при изучении алгебраических линий — третье.

Не сталкивались с этим вопросом в теории?

Я — Кудашкин от «а» до «я» — тоже не сталкивался и думаю, что не столкнусь уже никогда, не та у меня специальность, чтобы заниматься теорией отвлеченного вопроса.

Другое дело — линия жизни. Тут хочешь не хочешь, а столкнешься! Хочешь не хочешь, а поверишь, что зайцы-кролики, они в моей жизни...

Случай первый.

Случай первый, и вы застаете меня в одном совхозе, застаете молодым студентом, который приехал в этот совхоз на строительную практику году так в тридцатом.

Приехать-то я приехал, а мне говорят: «Ни стройматериалов, ни рабсилы, ни рабочих чертежей. Позаведуй пока, Кудашкин, над кроликами! Вот-вот будут материалы, будет рабсила, будут рабочие чертежи, тогда приступишь к строительству! Оклад на кроликах поло-

жим тебе все равно прорабский! Почти что полноценного техника-строителя!»

Подумаешь, две-три недели позаведовать каким-то крольчатником! Я согласился. Тем более совхоз животноводческий, зоотехники есть, ветеринары есть, мне только заведовать. Там и кроликовод был, энтузиаст, жил под лозунгом: «Кролики и свиньи — наше будущее, ихнее мясо в три раза дешевле говядины!» Только в это время находился он, энтузиаст кролиководства, в больнице. В психиатрической.

Принял я два кроличьих сарая на каменных фундаментах и еще один остров, гектара полтора площадью, тоже кроличьим поголовьем был заселен. Глухой остров, труднодоступный, на горной и порожистой реке с художественными пейзажами. Кролики там экстенсивно жили, сами плодились, сами дохли. Беды нет: они на балансе не состояли и материальная ответственность за них ни на кого не возлагалась.

Заведую. Ни стройматериалов, ни рабсилы, ни рабочих чертежей все нет и нет, чего же еще мне оставалось делать?

Проходит месяц и сколько-то дней.

Балансовые, то есть подотчетные, кролики в сараях под моим наблюдением, а островные сами по себе. Они там — как робинзоны, и вот однажды я решаю их посетить. И беру лодку, беру гребца, и вот мы с риском для жизни приближаемся к острову, к этой уединенной точке природы, и я уже вижу, как несколько кроличьих физиономий удивляются нашему приближению.

Но только мы пристали к острову, из-за каменной глыбы выскакивает предельно дикий человек, в рваной овчине. Он бросается к нам в лодку и кричит: «Скорее, скорее!» Мы не понимаем его, тогда он схватывает весла, изо всех сил гребет прочь от острова обратно к нашему берегу. Скелет, а больше совершенно ничего, но гребет за двоих. Вот-вот сломается пополам, но гребет.

— Что же оказалось?— вполне естественно спросите вы.— Что это опять за невероятное событие? Что оно собой знаменует?

А вот что: на кроличьем острове был сторож, но только по отношению к нему у меня получился провал памяти. Полный. Мне-то о его существовании сказали, а я-то о нем совсем забыл. Что тут поделаешь, молодость — больше ничего. Ну, а если полный провал па-

мяти, значит, я не обеспечил кроличьего сторожа на его диком и труднодоступном острове ничем: ни спичками, ни солью, ни провиантом, ни одеждой — холода́ уже по ночам пошли, в той горной местности рано осенние холода наступают, а этот небалансовый сторож оказался в таком положении! И как только мы приплыли к нашему берегу, к материку, так он и выскочил из лодки и кинулся бежать.

Куда-то... Я тогда же понял: самообладания у человека не хватило, сознательности и бойцовских качеств. И вот он скрылся без этих необходимых гражданских качеств в неизвестном направлении. А я?

А меня тянут в РКИ.

Не знаете? Большая Совэнциклопедия, второе, синее издание, смотреть Рабоче-крестьянскую инспекцию.

Меня тянут. И сильно тянут-то. Районный начальник эР Ка И — не то очень длинная, не то слишком короткая фамилия, представьте, не помню, хотя, по всем данным, я должен был запомнить эту конкретную фамилию до конца своих дней,— говорит мне:

«Вр-р-редительство!»

А я ему:

«Как вам не стыдно?»

Молодость! Отвечать начальнику в таких выражениях и при таких обстоятельствах — конечно, молодость! Кроме того, я уже говорил: я человек вообще-то доверчивый.

Ну, и вот дело на вредителя Кудашкина А. Я. оформляется из двух пунктов:

1) преступная халатность по отношению к служебным обязанностям;

2) преступное и сознательное издевательство над личностью передового рабочего, едва не приведшее к физической гибели последнего.

Очень я переживал эти два пункта, еще не зная, который из них хуже...

Потом это дело неожиданно приостановилось: день никто меня не вызывает, второй никто меня не вызывает, третий — никто, четвертый... Я даже измучился. От ожидания.

Наконец-то вызывают. Побеседовать.

«Где Степкин?— беседует со мной тот человек, самый главный в районной РКИ, не то с очень длинной, не то со слишком короткой фамилией.— Куда ты укрыл Степкина? Какие сведения ты имеешь о Степкине?»

Я отвечаю:

«Какой такой Степкин? Не знаю Степкина. И в жизни своей не знал».

Оказывается, Степкин этот — не кто иной, как бывший сторож на кроличьем острове. Которого я там забыл. Который выскочил у меня из лодки и убежал в неизвестном направлении.

И теперь меня спрашивают: куда он убежал?

Я говорю главному начальнику эР Ка И: «Вот мы сидим с вами в этом доме, да?» Он отвечает: «Ты мне Америку не заливай!» — «Но мы же сидим с вами в этом доме, в этой комнате с двумя окнами. Сидим или нет?» Он мне еще про Америку, но уже гораздо строже. Несравненно. Я ему: «Вот в это окно, в правое, посмотрите или хотя бы в другое, в левое,— видны две горы. Вот туда, в сторону тех двух гор и убежал Степкин. Полудикий и в овчине. Больше не знаю и сказать не могу».— «Ах, так...» — говорит мой собеседник... Я говорю: «Как так?» Он...

Оказывается, что же? Оказывается, злополучный Степкин, он был недавно раскулачен в соседнем районе. И он убежал из дома и скрылся в качестве сторожа на кроличьем острове. И теперь, оказывается, у меня хотят узнать: почему я его скрывал, почему не говорю, куда он убежал? И вот оформляется дело на вредителя Кудашкина А. Я. из двух пунктов:

1) преступная халатность по отношению к служебным обязанностям;

2) сознательное укрывательство классового врага.

Потом дело снова, то есть второй уже раз, приостанавливается, и снова день никто меня не вызывает, второй никто не вызывает, третий — никто, и опять я мучаюсь от ожидания, а тут уже кончается срок моей строительной практики, которая так и не начиналась, потому что не было стройматериалов, рабсилы и рабочих чертежей. В этом ожидании я даже не знал, все еще я заведую крольчатником или нет, поскольку на меня вторично оформляется дело по вредительству и к тому же из психлечебницы вернулся тот сумасшедший энтузиаст, который провозглашал, будто кролики и свиньи — наше будущее, поскольку их мясо в три раза дешевле говяжьего. Может, несмотря на этот психоз, он заведует кроликами, а не я? Он мне все время внушает свои идеи, а я слушаю и не знаю, кто же из нас заведующий: он или я?

Вот положение...

Наконец-то меня вызывают в третий раз. Побеседовать.

«Ты что же это, Кудашкин, не возвращаешься в свой институт? А? Из института письмо, где и как ты пропадаешь, а ты вот он! Все еще находишься здесь, как ни в чем не бывало! Ты что, не хочешь учиться? Не желаешь быть красным специалистом? Да?»

Я отвечаю:

«Я пылаю желанием! А Степкин? Он-то как?»

«Какое твое дело до Степкина? — отвечает мне все тот же собеседник не то с очень длинной, не то со слишком короткой фамилией.— Твой Степкин, он знаешь что придумал? Он заявление послал в вышестоящие организации, чтобы его признали не за кулака, а за середняка! И его, представь себе, признали именно так, как он просил. И разрешили вернуться по месту постоянного жительства. И даже получить обратно свою корову. Но он, то есть Степкин, все равно неизвестно где находится. И вот из его района поступил на него запрос: где он есть? Но это теперь уже не наша с тобой забота — Степкина разыскивать, он теперь обыкновенный середняк, где есть, там пусть и находится. А ты поезжай и учись, Кудашкин. Мы ждем от тебя больших успехов в учебе. Понял?»

Я отвечаю:

«Понял!»

И мой собеседник пожал мне руку и погрозил пальцем: «Ну, Кудашкин, на этот раз дешево обошлись тебе твои зайцы-кролики!»

И я поехал продолжать свое высшее образование.

Случай второй.

Время уже послевоенное. Я, конечно, инженер и фронтовик, офицер запаса и теперь уже сам областной инспектор по строительству объектов животноводства.

Я мотаюсь по районам. А в районах по совхозам. А в совхозах по фермам. Всяко мотаюсь — на автомашинах, на лошадях, пешком; десять, а то и пятнадцать километров мне нипочем — все еще молодость.

И вот однажды — уже хорошо рассвело, уже лирическая роса заиграла разноцветными искрами на траве и на листве ярко-зеленых деревьев, уже птички запели

жизнерадостными голосами — иду я, тоже вполне жизнерадостный, из одного совхоза в другой по лесостепной дороге, иду, ничего особенно не предчувствую.

И вдруг в лесочке каком-то небольшом на мою дорогу выскакивает из-за деревьев заяц, высоко подпрыгивает и метрах в пяти от меня падает на землю, перевертывается на спинку и умирает.

Я тоже чуть не умираю от неожиданности. Но все-таки подхожу к зайчонку, а он мяконький, тепленький еще, в летнем сером оформлении, глазки закрывает напрочь и сердечком уже не стукается.

Был заяц — не стало зайца...

А мне что делать?

Делаю так: вынимаю из рюкзака стеганку — зеленую, еще военную, нынче этих стеганок и след простыл, но в те времена огромная часть нашего народа в нее была одета,— вынимаю ее и кладу в нее травку, в травку зайчонка, а по правде сказать, так огромного зайчищу, и с этаким грузом продолжаю свой трудовой путь.

Еще забыл сказать. Заяц-то, он ранен был в заднюю ногу, в ляжку. Кто-то и где-то далеко отсюда — не слышно ведь было выстрела — в него пальнул, а он, подстреленный и того больше испуганный, помчался прочь, наверное прихрамывая, на трех ногах, бедняжка, но выскочил на дорогу, по которой я шел, прямехонько на меня, испугался еще раз, и не столько от раны, сколько от испуга скоропостижно скончался. Самообладания не хватило, бойцовских качеств и воли к победе. Хватило бы — может, еще и пожил бы полнокровной жизнью. На этом свете. Ну, а это бывает — такой заячий испуг. Не только среди зайцев.

Итак, я шагаю, доверчивый человек, то есть человек с количеством генов доверчивости выше среднего, бодро шагаю с зайцем под мышкой, настроение приподнятое: не каждому, думаю я, таким же счастливым и невооруженным образом попадают в руки готовенькие на жаркое зайцы — хоть сейчас на сковородку! Далеко не каждому. (А про тех зайцев-кроликов, которые жили на совхозном острове, я, конечно, забыл. Еще не выстраивался из них в то время последовательный ряд определенных случаев.)

Зайчонок мяконький такой, и в мертвом состоянии все равно уютный, вот он меня и расположил к безоблачному настроению.

Но потом нести его оказалось все равно неудобно — из стеганки он вываливается, в рюкзак его не затолкнешь,— и вот, отшагав километра три-четыре с таким неудобством в руках, я что решил? Я решил свернуть в деревушку, где, мне известно было, небольшой колхоз находится. Кажется, Сопиловка называлась деревушка, и вот я подумал, что в Сопиловке я вытребую подводу и доеду уже конным транспортом вместе со своим зайцем в совхоз. В котором я должен инспектировать строительство животноводческих помещений.

Я сворачиваю с лесной тропы, я захожу в Сопиловку, в колхозную контору, я застаю на месте председателя (опять думаю, что мне повезло!) и требую подводу. Не так чтобы вовсю требую, но и не так чтобы только прошу и умоляю, а по-среднему — между просьбой и требованием.

Кто выколачивал подводы в колхозах, тот меня сразу же поймет.

Председатель не то соглашается, не то нет — не поймешь, а вот на мою стеганку, из которой торчат заячьи ноги и уши, председатель глядит с интересом. Я скрывать не стал: развертываю эту стеганку, показываю зайца, объясняю как и что, почему этот самый заяц оказался в моих руках.

А председатель во время разговора, небритый мужчина и хромоватый, странным мне показался: я ему объясняю, а он, как будто меня не слыша, спрашивает:

— Это где же ты его? И каким таким образом он, заяц, не убежал, когда ранен только в правую заднюю ляжку?

— Да я же его нигде!— снова объясняю я.— Это он сам!

— Сколь живу,— вздыхает председатель,— не видывал такого. Подводу тебе дать придется, но, сколь живу, не видывал такого! А подводу дам. Пойду распоряжусь — и дам. Обожди чуток.— И ушел, а я жду спокойно и даже все в той же самой глупой уверенности, что в жизни мне везет.

Проходит с полчаса, я жду. А хоть бы и час! Знаю, как в колхозе найти свободную рабочую лошадь, да человека-возницу, да запрячь, да подъехать к конторе — все-все это я знаю!

Но вот наконец председатель появляется во дворе, и не один, а с кем-то еще, с возницей, думаю я, только

где же подвода? Подводы под окном не видно. Они, двое, входят в контору, и тут председатель выхватывает из-за спины охотничье ружьишко и направляет его мне прямехонько в грудь и говорит:

— Руки вверх!— А потом и еще говорит:— Ну, пошли!

— Куда?!— спрашиваю я.

— Пошли-пошли! Тут и недолго совсем, без разговоров пошли, говорят тебе!

И верно, недолго: от конторы до амбарушки, которая без окон и при одной крохотной дверце, двадцать шагов.

— За что?— спрашиваю я из этой амбарушки через дверную щель.— За что?

— Сознайся в оружии!— отвечает мне небритый председатель колхоза, и второй, его подручный, крохотного росточка, а в то же время плечистый мужчина, тоже советует:

— Сознавайся сразу, не тяни резину!

— Какое у меня оружие? Перочинного ножика нет!

— Зайчишку пальцем застрелил?

— Не застреливал я зайца! Я, честное слово, в жизни ни одного зайца не убил, не говоря уже об этом, нынешнем!

— Ну, а я,— отвечает крохотный, но широкоплечий мужчина,— я цельный вагон этих самых зайцев настрелял, но такого случáя, как ты объясняешь, мною не видано никогда! И даже не слышано. Это почему же так и как твоя фамилия по документам? Браконьер проклятый! Тайный хранитель вооружения!

— Вот мои документы,— просовываю я сквозь щель удостоверение.— Я инспектор по строительству, я не браконьер или что-то отдаленно похожее!

— Тогда сиди... Набирайся сознательности! Имей в виду, бандюков мы не кормим, хотя бы и заарестованных. Колхоз не для того существует, чтобы бандюков-браконьеров кормить-поить. Кормить да еще и разбираться с ними...

Сижу в амбарушке день.

Сижу ночь.

Зайца моего, само собою, кто-то счастливый уже съел, а у меня ни маковой росинки во рту! До утра следующего дня сижу. Следующим утром сажают меня в подводу, наверное в ту самую, которую я хотел вчера вытребовать, чтобы ехать в совхоз на инспекцию живот-

новодческих построек, и в подводе этой отправляют в район. Разбираться. В сопровождении, а выражаясь точнее, под конвоем крохотного широкоплечего мужичка. Я его спросил, кто он такой в колхозе, какую занимает должность, но мужичок не ответил, и разговор наш тут же прервался.

Ну, правда, в районе, в районном отделе разобрались: позвонили в область, выяснили, кто такой Кудашкин А. Я., и разобрались. И председателя колхоза, который меня задержал, похвалили за бдительность, велели передать ему благодарность через моего мужичка-конвоира, а я вышел на свободу.

Я вышел и немедленно отправился в тот совхоз, в котором я должен был исполнять свои обязанности областного инспектора по строительству.

И я исполнил эти обязанности, но что-то все-таки уже произошло в моей жизни. Должно быть, я уже тогда понял, что зайцы и кролики играют в моей судьбе определенную роль.

Как было этого не понять — все-таки по месту моей работы поступила бумага, что есть подозрение, что я незаконно имею оружие. Конечно, бумаге не придали значения, но один мой приятель по службе, которому положено было о таких бумагах знать все, о ней знал и по-приятельски мне об этом сообщил.

Случай третий.

Итак, это было, когда я уже вырос и годами и по службе, когда я был старшим инженером группы.

Это было, когда я вплотную занимался крупными железобетонными блоками, перекрытиями и фермами; это было, когда я уже пусть не до конца, а все-таки осознал, что с зайцами-кроликами для меня шутки плохи.

И я с этим не только смирился, я не только не негодовал на зайцев и на кроликов, но испытывал к ним какую-то, кажется, симпатию, некоторое, так сказать, тяготение. На манер гравитационного. Конечно, не счастье и не радость я испытывал, но чувство какого-то открытия. Ведь человек — существо разумное, и даже со своим роком он должен иметь дело не вслепую, а сознательно. Знание — ведь это что? Это, конечно, оружие! И я знал и поэтому чувствовал себя вооруженным.

В отношении живых, так сказать натуральных, зайцев-кроликов сомнений в этом плане у меня была самая крохотная капелька, но вот насчет изображений...

Ну, например, в кино? Мультипликаторы, те, как вам известно, оседлали зайцев-кроликов, и в фильмах частенько встречаются Чебурашка, птички какие-нибудь с большими клювами, еще кто-нибудь, но без зайцев и без кроликов они никуда. Ни шагу.

Так вот, если перед началом фильма для взрослых показывают такой детский заячье-кроличий фильм, тогда мне-то как быть? Мне лично? Мне индивидуально? Глаза закрывать? Или ждать каких-нибудь неприятностей по службе? Или семейных?

Убедительного ответа все не было и не было, а было та́к себе, ни то ни се: вроде бы и случались неприятности после просмотра мною таких фильмов, но не больше, чем у других, которые эти фильмы не смотрели.

Может быть, вы думаете — шутка? Не думайте, просто нынче это такая манера — говорить шутя об очень серьезных вещах.

И вот вам следующее подтверждение в том, что дело нешуточное. Приехал я в город К. в очень ответственную, а главное, в очень важную для самого себя командировку. Я после поясню, почему она была для меня такая важная и чересчур ответственная, а пока поверьте на слово. Приехал я в город К., гостиница забронирована, я вселяюсь в одноместный номер с удобствами, то есть с отдельным умывальником и с отдельным туалетом. Начало как бы неплохое, а между тем что я вижу?

На стене своего номера я сразу же вижу солидную картину в золоченой раме: ружье, ягдташ, убитая, подвешенная за лапки утка и тоже подвешенный с длинными-предлинными ушами... Незачем говорить, кто тут был с длинными ушами и вниз головой.

Так...

И номер, в который я вселился, был пятьсот тринадцатый. Тоже так...

А дежурная по этажу, которая меня в этот номер вселяла, дама нормального веса, но с усиками и с басом, еще пояснила:

— Натюрмор. В стиле Ребранта.

— Он мне, как бы вам это сказать,— спросил я,— на голову не упадет? Ваш натюрмор?

— В зависимости, как будете себя вести! — ответила

дежурная.— Тут один гость на нашем этаже двое суток подряд вел себя так, что на него оконная рама в конце концов упала!

И дежурная, тронув себя за усики, ушла, а я остался в пятьсот тринадцатом.

Была, помнится, осень. Ну да, осень была, то есть желтенькие листочки, голубенькое небо и еще что-то такое осеннее, не помню уже что. Кажется, настроение.

Я приехал в город К. на технический совет, который должен был утвердить мой проект огромного камвольного цеха с крупными железобетонными блоками, многопролетный, крупнопролетный, одним словом, все габариты — дай боже!

А ну как не утвердят? Скажут: нет у нас для таких строительных конструкций соответствующего подъемного оборудования, еще чего-нибудь нет... Я, правда, и до этого приезжал в город, предварительно согласовывал вопрос, так ведь одно дело — предварительное согласование, а другое — окончательное утверждение. Две больших разницы, так об этом говорится, да?

Ну?..

Ну, вот вам и осеннее настроение; совершенно ясно, откуда оно появилось.

И мысли о рутине тоже появились.

Кому рутина, а кому неприятности. И если уж неприятности, то, конечно, Кудашкину А. Я.— заяц же на стене, уши длинные-предлинные! Свет и тени, правда, хорошо лежат на картине, действительно так же замечательно, как в Голландии великими мастерами искусства в прошлом делалось, но в моем-то проекте вовсе не мое прошлое, а мое будущее было заложено — вот что! Я в то время кандидатскую имел намерение по укрупненным блокам и пролетам двинуть, и не столько на словах, теоретически, сколько на реальном примере! И вот я почувствовал: если не теперь, то никогда! И мне никак нельзя было, чтобы мой реальный пример, мой проект камвольного цеха горел синим огнем!

А тут еще было, да и поныне остается одно печальное обстоятельство: у меня в моей конторе руководство не слишком авторитетное. Было бы оно по-настоящему авторитетное — была бы надежда, что подтолкнут, помогут мне с ученой степенью, а тут кто подтолкнет? Некому.

В окно гостиницы видны мне были черные «Волги» и даже одна «Чайка» — напротив как раз, в огромном здании облисполкома, в этот час, я знал, открывалось какое-то очень представительное межобластное совещание; должно быть, эти «Волги» и натолкнули меня на мысли об авторитетности моего руководства.

Еще я думал: «Условность искусства! Вот художник хочет показать мне какой-то предмет, а сам тащит его в тень, так что у зайца, например, задних ног, за которые он подвешен, и вовсе почти не видно, а вот голова с глазками — та на свету. Глазки у зайчика закрыты, но как бы не совсем, вот-вот зайчик мигнет... Нет, в жизни так не бывает, в жизни, когда мы хотим хорошо рассмотреть предмет, так выносим его на свет... Условность искусства!»

Короче, я прожил в этой гостинице, в номере пятьсот тринадцатом, тринадцать дней, картина со стены не упала, нет, но стекло в раме этой картины оказалось разбитым, да.

Я-то знаю, как это случилось: когда меня не было в номере, обслуживающий персонал ставил новые карнизы с новыми шторами и вот разбил стекло.

Но дежурная по этажу, как раз та же нормального веса, но с усиками и с басом, та дежурная сказала главному администратору:

— Этот гость, этот гражданин, когда только вселялся в номер, то уже беспокоился за сохранность картины! Так что же теперь вы от него хотите? — И, объяснив таким образом ситуацию, спросила у меня: — Как будем платить? Наличными? Без резины? Или бумагу писать в ваше учреждение, чтобы вычли из зарплаты?

Ну, зачем это мне еще какая-то бумага в учреждение? Тем более что теперь там появился один человек — ему любая бумага на меня, любая, не то что «телега», а самая маленькая «тележка» — сплошная радость! Зачем это мне нужно: доставлять радость таким людям?

А проект мой зарезали, не помогли предварительные согласования!

Когда они были, предварительные, директор местного завода железобетонных конструкций горячо ухватился за мою идею укрупненных блоков, а когда дошло до утверждения, он на тех же самых блоках поставил бесповоротный крест. Очень просто: он за невыполнение плана только что строгача отхватил, а тут кто-то, то есть

я, Кудашкин А. Я., навязывает ему новую технологию! Кому это нужно? Какому директору после нового строгача понравится новая технология?

Когда я выходил из гостиницы окончательно, то есть с чемоданом в руках и рассчитавшись за разбитое стекло картины, заяц мне, разумеется, подмигнул. Как раз через разбитое стекло и подмигнул.

Вот так из отдельных случаев выстроился окончательный ряд...

Он выстроился, а я закончил свои, можно сказать, индивидуальные анекдоты.

У меня один знакомый мальчик есть, ну прямо вундеркинд малыш, а уже по теории вероятностей хорошо соображает, ну прямо-таки человек из Двадцать Первого века, так он мне по поводу всех моих анекдотических историй и логических рядов так сказал:

— Это серьезно! Это надо р-р-разобраться!

1979

МОЙ ЛЕТАРГИРОВАННЫЙ ПАПА И Я САМ

— Вот так история! — говорит моя бабушка, но иногда говорю и я сам.

— Вот так история с географией! — говорит моя бабушка, но иногда и я говорю то же самое.

В общем-то бабушка смекает. Во всяком случае папа говорит про нее: смекалистая! (От древнего слова «смекалка».)

Но все равно папа не послушался свою маму и мою бабушку, а сделал что-то не так. Не так, как бабушка говорила, и вот...

И вот мама — моя собственная мама, а не папина — плачет, бабушка плачет тем более, сестренка Марианка плачет, и я, Арсений, не хочется признаваться, а все равно плачу.

Все плачут, а смекалистая бабушка сквозь свои слезы спрашивает: у кого в ближайшие дни были какие-то неприятности? Были или не были?

«Были!» — отвечает бабушка бабушке. (Непонятно? Это она сама себе отвечает, потому и непонятно.) На самом же деле у бабушки такая логика: беда никогда не приходит одна, и, если папа потерялся в мировом пространстве, значит, до этого были маленькие беды, которые и призвали эту большую. «Теле-патия...» — говорит бабушка, то есть хочет погадать на каких-нибудь не очень дорогостоящих вычислительных и прочих машинах.

— Понятно, что телепатия, но почему она такая неприятная?

«Много будешь знать — скоро состаришься!» — отвечает на это бабушка. Предок так предок: все знает!

Я стал вспоминать свои неприятности второго и даже третьего порядка, из-за которых могла получиться

главная неприятность первого порядка. Которая папина.

Значит, было так...

Наша старшая группа «А» детского сада № 555/0001 только что кончила занятия по алгебре, только что воспитательница Альбина Александровна сказала: «Внима-ние! Тридцать пять минут на коллективные игры и тридцать три — на индивидуальные развлечения. Повторите!» Только что мы, старшая «А», хором повторили про тридцать пять и тридцать три, только что все это произошло, я оглянулся к стене, у которой мы ставим наши игрушки, и вижу... Вижу, что в моей ракете нет второй ступени. Так нет, как будто бы никогда и не было: третья ступень ловко привернута прямо к первой, и все тут. И конец!

А моя ракета («Аристотель», модель первой половины 1997 года), она за мной закреплена. В вечное пользование, то есть до тех пор, пока не устареет морально и не появится модель второй половины того же года.

Да хоть бы и не закреплена, все равно она моя, и я ее люблю. Привык. Она уже больше месяца у меня, и если я даю ее кому-нибудь поиграть, так на пятнадцать, ну максимум на шестнадцать минут, а больше не даю.

Я сразу смекнул, в чем дело: Васька Шляпкин (он же Зет)!

Подхожу к Ваське:

— У тебя вторая ступень «Аристотеля»?

Васька Шляпкин-Зет ноль внимания.

Я:

— У тебя вторая...

Он:

— Выйдем! Поговорим!

Я показываю глазами на воспитательницу.

Он:

— Я уже сегодня выходил. С тем пацаном из старшей группы «Б», которого я забыл, как звать. Так что иди, отпросись сам.

Нечего делать, я пошел отпрашиваться у Альбины Александровны, руководительницы.

Я сказал ей, что играл утром до десяти ноль-ноль с ракетой «Аристотель» во дворе под красным грибом, мы со Шляпкиным вместе играли и, должно быть, тоже вместе потеряли там вторую ступень. Надо пойти поискать. А то кто-нибудь ступень сопрет.

«Вни-ма-ние!» — сказала Альбина Александровна громким голосом, а когда вся группа, вся, до одного человека, сделалась внимательной, она спросила: «Дети, Арсений Козырьков только что употребил такое слово: спереть. Хорошо сделал Арсений Козырьков или?..»

«Пло-хо!» — дружно ответила наша старшая «А», и Альбина Александровна отпустила нас со Шляпкиным выйти.

Мы вышли.

Мы еще и не вышли во двор, под красный гриб, мы были в подъезде, но Васька Шляпкин-Зет мне врезал.

Сильно врезал. Между глаз и немножко выше.

И сказал мне: «Гангстер!»

Я заревел. Не очень, но все-таки. И спросил у Васьки-Зета: «Какой?» То есть как фамилия того гангстера, который я? Я уже понял, что оскорблен Васькой-Зетом до глубины души. Так оно и произошло — Васька сказал: «Амфилохий Македонский!» Я полистал свою записную книжечку на «М» и обнаружил, что Амфилохий Македонский почти что и не гангстер, а обыкновенный мошенник, который попался не то на третьем, не то даже на втором деле, потом три раза пытался бежать из тюрьмы, но все три раза засыпался. Ну, тут уж любой заревет, и я заревел во весь голос. Не удивляйтесь: сначала у вас сперли вторую ступень, потом вам врезали между глаз и, наконец, обозвали Амфилохием Македонским,— не заревете, что ли? Я ревел и думал. «Дурак,— думал я,— нашел с кем связываться! С Васькой Шляпкиным-Зетом! Да он к тому же увлекается тремя видами борьбы: вольной, французской и, если не ошибаюсь, самбо. И грозится на весь детский сад, что скоро увлечется дзиу-дзицу, как там она называется! А я с ним связываюсь, дурак!»

Васька-Зет спросил меня:

— Поговорили? Хорошо?

Я сказал, что поговорили, а насчет «хорошо» не сказал ни слова. И мы вернулись в наш послеобеденный зал старшей группы «А». Васька вернулся сразу же, а я немного обождал.

Вот как было дело.

Действительно ли это дело было причиной, а недоразумение с папой — следствием?

Бабушка отвечает, что да, может быть, и так, но наука пока не дошла...

Дальше. Как раз через несколько дней после этого случая папа и принес проспект-инструкцию курортной эвакуации, и вот вечерком всей семьей мы стали изучать ее чертежи, текст, таблицу стоимостей, правила поведения на курорте, условия курортного лечения и отдыха. И прочее.

Мы выбрали схему: ЧП, 122/04, Г, К (2, 322×2, 007×2, 000).

Да, и еще мы выбрали Тр=6,5. (Мы тогда еще не знали, что оно, это «Тр», всех нас подведет.)

Если не совсем понятно, могу объяснить. Не совсем? Тогда так:

ЧП — Черноморское побережье.

122/04 — номер курорта.

Г — категория обслуживания и питания.

К (2, 322×2, 007×2, 000) — кубатура бокса для отдыхающего, обозначенная в миллиметрах.

«Тр» — а это вот как: это каким образом папа будет транспортироваться из своего дома на свой курорт и обратно. Он ведь должен был вернуться с курорта домой; надеюсь, никто из вас в этом не сомневается?

Там разные были «Тр», в проспекте-инструкции, от единицы до девяти, а мы думали-думали, чтобы было хорошо и не так дорого, и папа сказал: «Ладно! Возьмем «Тр» шесть с половиной! Это же заметно выше среднего!» Ну, мы и взяли. И стали изучать схему, которую я не совсем тогда понял, а Марианка, которая и всего-то на три года и два с половиной месяца старше меня, Марианка поняла и задрала нос.

Теперь-то и я все понял, как было, как должно было быть: папа идет в контору Главтрансбокса (Главк по транспорту боксов), делает в этой конторе заявку, и ему привозят домой курортный бокс. Ну, тот самый, который 2, 322×2, 007×2, 000. Этот бокс, он в виде большой такой авоськи в свернутом виде, ее развертывают в пределах папиных габаритов, укладывают в авоську папу, дают ему лекарство для летаргического сна, загружают в самолет «Пук-232» или даже в ракету типа «ВЛБ» (ниже я еще поясню, что это за ракета) и доставляют папу на курорт ЧП № 122/04.

Там папу разлетаргирует дядя доктор, а его бокс надуют особым газом между двумя звуконепроницаемыми пленками, и бокс как раз тот и получится, который обозначен в миллиметрах вслед за буквой «К» — кубатура. Конечно, может быть неточность на половинку и даже

на целый миллиметр, и какая-нибудь стена бокса окажется длиннее или короче. Длиннее — это хорошо, это вам повезло, короче — можете написать в куржалобкнигу.

Ну, ладно... Эти боксы с папами и мамами — их везде там тысячи, на курорте ЧП № 122/04,— эти боксы на этом курорте устанавливают в такой большой куб с видом на море или еще на что-нибудь, и все отдыхающие через полчаса после доставки начинают отдыхать, лечиться и заниматься физической культурой.

Теперь что случилось, какое такое недоразумение? А вот: летаргированного папу погрузили не туда и отправили тоже не туда, а куда-то в Америку. Может быть, и еще куда-нибудь, но не исключено, что в Америку,— у нас с американцами теперь сносные отношения, оживленный обмен туда и даже обратно, так что вполне могло быть, что папа оказался где-то в Америке.

Выяснились (несколько позже) и такие подробности: после того как папа поцеловал на прощанье маму и нас, всех остальных членов его семьи, и его загрузили в его бокс и отвезли на космодром, там, на космодроме, его загрузили в ракету ЗВЗ 2221/24 Г $\frac{\text{С}}{\text{ВЛБ}}$, то есть: ракета «Земля — Воздух — Земля» № 2221/24, серия «Все люди — братья». И надо же было случиться, что тут же рядом загружалась точно такая же ракета для отправки в Америку группы писателей. Группа писателей через два с четвертью часа должна была принять участие в Лосанджелесском международном симпозиуме по теме «Значение худлитературы в проблеме «Жизнь на Марсе», так что папу вполне могли перепутать, принять за писателя и тоже отправить на симпозиум в Америку. Или на какой-нибудь другой, предположим африканский, симпозиум.

Бедный папа!

И мы тоже бедные!

И вот я уже вполне серьезно думаю: может, это я во всем виноват? Может, это все из-за Васьки Шляпкина-Зета?

Марианка говорит, надо бы просчитать эту зависимость хотя бы на простейших машинах! Ну хотя бы на тех, которые они проходят в третьем классе.

Но я в третьем классе еще не учусь и вот думаю: Зет виноват, он причина, а папа — только следствие.

Ведь Васька Шляпкин-Зет уже не первый год стоит поперек моего жизненного пути и еще долго будет там стоять.

Васька Шляпкин-Зет, когда я проходил конкурс в младшую группу категории «А» нашего детского сада № 555/0001, был моим главным конкурентом, так как мы с ним набрали одинаковое количество проходных баллов, тем более, чувствую я, он будет моим конкурентом на будущий год, когда мы будем конкурировать при поступлении в первый класс категории «А». Хорошо тем пацанам, которые идут в первый класс любой категории, хотя бы «Ы», у них нет забот, гоняй себе мяч, наслаждайся жизнью и спортом! Но для этого нужны сознательные родители. Не каждому родителю дано понять, что из классов категории «А» то и дело выходят круглые дураки, а из «Ы» уже получилось несколько выдающихся ученых нашего времени.

Лично мои родители этого нисколько не осознали и даже уверяют меня, что, когда я тоже буду родителем, я тоже не осозна́ю, но мне все равно ужасно жаль моего папу!

Хотя я и живу теперь вольной жизнью — хочу — умываюсь, хочу — нет,— мне все равно страшно жаль его!

Мы с папой дружим и общаемся даже больше, чем с мамой. Так сложились обстоятельства: за моим умыванием и прочим следит больше папа, чем мама.

Конечно, когда папа тебя умывает, теряешь всякую инициативу, закрываешь глаза и с закрытыми глазами тыкаешься в его мокрые ладони, вот и все.

Что мне безусловно нравится, так это бриться. К сожалению, брить мне еще нечего, и я только мечтаю о том, будто имею что-нибудь на подбородке, что можно и даже необходимо брить.

Впрочем, в этом вопросе намечаются кое-какие сдвиги и перспективы и дело в настоящее время зависит, как мне кажется, от родительской группы детского садика № 555/0002, который находится через улицу и чуть дальше по переулку. Там, в соседнем садике, вот уже несколько месяцев зреет идея о том, чтобы обратиться к министру здравоохранения с просьбой разрешить мальчикам старших групп детских садиков всего микрорайона пользоваться препаратом «Брадостимулин». Говорят, прекрасное и безотказное средство, по-

зволяет вырастить вполне приличную бородку не более чем за две, максимум за две с половиной недели.

Правда, я еще не знаю, что лучше — с удовольствием бриться или с солидным видом носить бороду?

И не только я не знаю этого, вся без исключения группа нашего детского садика, включая наиболее толковых девчонок, дебатирует этот вопрос, но все еще не пришла к какому-нибудь определенному выводу.

Однако давайте вернемся к папе!

Папа — творческий работник и поэтому с восьми часов шестнадцати минут до двенадцати ноль пяти он пишет сценарии детективных фильмов категории

$$\frac{\text{ДТМ } 11/45{,}5}{\text{ПТ-}2{,}26\ 6/2.\ \text{Сч. } 5.\ \text{Ст. } 35}$$

Что? Вам опять не совсем ясно? Не скажу, чтобы вы были эрудированны, нет, не скажу!

Значит, так: ДТМ 11/45,5 — детективный телевизионный, многометражный, одиннадцать серий по сорок пять и пять десятых минуты каждая;

ПТ-2 — павильонные телевизионные съемки второй категории трудности;

26 — двадцать шесть действующих лиц;

6/2 — шесть убитых, двое раненых;

Сч. 5 — счастливый конец с сексуальным оттенком пятой степени;

Ст. 35 — стоимость съемок — тридцать пять тысяч.

Следовательно, папа — творческий работник, и вот он и умывает меня по утрам, а иногда и отводит в детский садик.

Другое дело — мама.

Она секретарь начальника управления

$$\frac{\text{П} - 8,\ \text{Ж} - 5}{1821/24}$$

и вот должна весь рабочий день сидеть на месте секретаря.

Если она не делает этого без уважительной причины, тогда ее место — красивый такой стул с регулируемой спинкой — начинает гудеть, потом свистеть и потом дальше что-то такое делать, и выключить его, этот свист и все прочее, может только мамин начальник, а еще дежурный диспетчер отдела кадров.

Вот почему при наличии мамы и при отсутствии па-

пы я мог вести бесшабашную жизнь (хочу — умываюсь, хочу — нет).

Но я ее не вел, я умывался каждый день. Сам.

И тоже сам ходил в свой детский садик № 555/0001. Ну, правда, у меня за спиной был портативный радиовидеопередатчик, и мама, не сходя со служебного места, следила за тем, как я умываюсь и как я иду в свой садик, и не ждет ли меня на углу улицы 17/18 Б и переулка 21/14 Бб Васька Шляпкин-Зет, чтобы набить мне морду.

Именно здесь, на этом углу, он целых два раза хотел набить мне морду, но моя мама в тот же миг подключалась к Васькиной маме, которая заведует магазином женских и детских колготок, а Васькина мама, заведующая магазином, в тот же миг внушала Ваське, что он не имеет права задираться передо мной, сначала ему еще нужно догнать меня по алгебре.

В общем-то моя мама — тоже хороший и надежный товарищ. С ней можно идти в разведку. Вообще я считаю, что в основном мне повезло с родителями.

Итак, я умывался, и настала среда, и Марианка пришла из школы с задранным носом: она просчитала-таки варианты и установила, что причиной папиной неприятности является моя неприятность. Конечно, после этого я чувствовал себя неважно. И я молчал. Если бы не Амфилохий Македонский, я, может быть, и рассказал Марианке обо всем чистосердечно, но сами понимаете...

Кроме того, я подумывал: не все ли равно, кто и что явилось причиной папиного исчезновения в мировом пространстве или где-то там еще — папы-то все равно нет и не будет, даже если совершенно точно установить причину всей этой истории с географией?! И я сказал маме: «Мама, давайте возьмемся коллективно за ум и сейчас же начнем разыскивать папу, а телепатические связи будем устанавливать, когда папа найдется! К тому же, дорогая мама, мне надоело умываться самому!»

И, представьте, мама послушалась и взяла на работе отпуск без сохранения содержания на три дня, а также розыскное пособие, предусмотренное КЗОТом, не помню уж, какой именно статьей.

Пособие оказалось в общем-то приличным, и мы решили его не экономить, а использовать целиком и пол-

ностью по прямому назначению, и в первый день маминого отпуска без сохранения содержания мы составляли срочные запросы в самые разные инстанции: в главки и в министерства, в службу искусственной летаргии, в Государственное объединение «Медлетаргсон» и так далее.

Во второй день маминого отпуска без сохранения содержания мы вплотную занялись сбором справок о папе: сколько ему лет, где и когда он родился, какие служебные и общественные характеристики папа имеет, какая у него группа крови, какие сценарии папа написал и какие сделал творческие заявки, где, когда, кем и на какую сумму он был застрахован, какая пресса и каким образом высказывалась (в разное время) о папином творчестве, сколько детей и родителей находится (и находилось) на его иждивении, с какими медицинскими показателями он был транспортирован на курорт, какого качества у него желудочный сок, какие характерные изменения произошли в его ЭКГ за последние двадцать пять лет, состоял ли папа в браке с кем-нибудь, кроме моей мамы, или не состоял, состоял ли он кроме своего творческого Союза в других, тоже творческих, союзах или не состоял, какой бокс был им арендован для транспортировки на курорт ЧП № 122/04, когда и какая в последний раз была у папы осциллограмма, как (то есть вовремя или с опозданием) папа выплачивал членские взносы туда, где он состоял членом, был ли папа под судом или не был, ну и еще кое-что в том же роде.

Я сказал, как совершенно взрослый человек, сказал точно так, как говорит моя бабушка:

— На охоту ехать — собак кормить!

(Иными словами, я сказал: дурак тот, кто не собирает справки вовремя.)

Я совершенно не зря это сказал: черный чемодан для справок (1,055×0,820×0,33) лежал у нас на гардеробе полупустой и как бы играючи своей полупустотой. Вот мы и доигрались!

Третий день маминого отпуска (без сохранения содержания) мы, во-первых, стояли у дверей нашего квартирного бокса, принимая почту, поступившую в ответ на наши запросы, во-вторых, мы плакали, в-третьих, мы формулировали дополнительные запросы в ответ на

ответы, которые получали из разных организаций. Не совсем понятно?

Так и должно быть, сами видите, что жизнь у нас пошла не совсем понятная.

На четвертый день мама вышла на службу, тем более что ей было разрешено пользоваться служебными средствами связи для розыска папы.

Но и эти средства не помогали и папа не находился, а мама сказала, что получилось три варианта розыска папы: американский, гималайский, антарктический, и еще не совсем вариант, но все-таки как будто бы он — барнаульский. Получилось три пути розысков: через Минкурдомот (а это так: Министерство курортов и домов отдыха); через Главтрансбокс; а еще через УОНиП, если по-другому — Управление Одушевленных Находок и Потерь; и еще получилось три суммы расходов по категориям розыска: срочного, молнии и пониженной срочности.

Я — ничего с этим не поделаешь — еще маленький и потому должен признаться, что не могу точно установить число возможных сочетаний из всех этих вариантов. Единственно, что я смог — заглянуть в Большую Энциклопедию и прочитать там, что «...если допустить, что в нек-рых группах элементы могут повторяться, то получаются С. с повторениями. Число С. с повторениями из «n» элементов по «к» равно $C\frac{к}{n}+к-1$».

Прочесть-то я прочел. А дальше что?

Я исподтишка, будто между прочим, попытался проконсультироваться у Марианки, но она всегда была, есть и будет вредной девчонкой, даже и тогда будет, когда состарится, и вот она сказала, что сочетания с повторениями — не моего ума дело!

Ох, с каким выражением на лице она это сказала, видели бы вы!

Ох, как я обиделся, слышали бы вы! Как я обиделся на Марианку, а из-за нее на всю реальную действительность!

И я что решил? Найду папу, решил я! Своими собственными силами найду, при помощи тоже собственного положительного качества — упорства в достижении поставленной цели.

Вот так!

Я стал думать: как бы мне реализовать это самое качество, чтобы найти папу? Ведь качество — вот оно,

значит, папу действительно можно найти?! А раз можно, значит должно!

И что же?

Я придумал!

Вот мама говорит: надо звонить! Надо звонить, звонить, звонить повсюду и всем, и рано или поздно мы дозвонимся до положительного результата.

А я думаю: «Не скажи, дорогая мама! Что значит — звонить? Легко сказать, а на самом деле?!

Во-первых, надо звонить.

Во-вторых, надо, чтобы тебе звонили с ответами.

В-третьих, надо, чтобы тебе ответили именно так, как тебе нужно».

Нет, я сторонник личных контактов, и вот, исходя из этого принципа, я и придумал то, что придумал.

И не откладывая дела ни на минуту, я побежал на угол улицы 17/18 Б и переулка 21/14 Бб, иначе — на угол улицы Автогенной и переулка Электросварочного на то самое место, где Васька Шляпкин-Зет целых два раза чуть не набил мне морду. Я побежал туда, потому что там есть кондитерский магазин фирмы «СЮВЗ» («Север-Юг-Восток-Запад»), а в магазине есть дальний угол, а в дальнем углу стоят коробки с конфетами, самые разные коробки с самыми разными конфетами — огромный и свободный выбор!

И что же? Мне повезло: там, в углу магазина фирмы «СЮВЗ», стояли такие же коробки с такими же конфетами.

Какие такие же и с какими такими же, спросите вы?

Да очень просто, отвечу я, точно такие же коробки, из которых одну папа купил за день до своего транспортирования на курорт ЧП.

Он тогда брал меня с собой в этот кондмагазин, и я прекрасно запомнил коробку, которую он тогда купил: мне-то из той коробочки не досталось ни одной конфетки. Папа это заметил и купил мне отдельно сто двадцать пять граммов разной смеси, из этой смеси мне больше всего, не скрою, понравился «Мишка косолапый».

Ну, а теперь я схватил (в кредит) точно такую же коробку под названием «Два часа любви», которую папа в тот раз купил за наличные, и побежал с ней точно туда, куда в тот раз пошел папа: в контору Главтрансбокса нашего микрорайона. Мы ходили туда тоже вместе с папой, да.

За стеклянной перегородкой сидела точно та самая девушка с голубыми глазками и с прической а-ля царица Тамара, но только без кос и с челочкой. Однако, судя по картинкам в журнале «Женщина и предстоящий век», который в очередь рассматривают и читают девчонки нашей старшей группы «А» детского садика № 555/0001, это все-таки была та самая прическа. Та «Тамара».

И, безусловно, та самая девушка, которой папа подарил коробку «Два часа любви». Теперь такую же коробку протянул ей я. Протянул и спросил: «Помните, моя дорогая?!»

Девушка взяла коробку, осмотрела ее с двух сторон и сказала:

— Не помню...

Я сказал:

— Постарайтесь, пожалуйста, припомнить! Прошу вас! Если нужно, я сбегаю в аптеку и куплю вам пятипроцентного раствора йода — йод укрепляет память?!

Девушка все равно не припоминала, и тогда я сказал:

— Ах, какая у вас прическа! Кажется, она называется царицей Тамарой?

Девушка тихонько засмеялась, сказала: «Какой бойкий малыш! Все ваше поколение, мальчик, вообще очень бойкое и развитое!— и тут же припомнила.— Как же, как же,— припомнила она,— он был в сером костюме и средних лет, да?»

— Ну конечно, да, он был в сером костюме, был средних лет и еще он был мой папа. А теперь уже неизвестно, папа он мне или не папа.

— Почему? Неизвестно?

— Потому что он потерялся не то в мировом пространстве, не то еще где-нибудь. А про потерянного человека, сами понимаете, ничего нельзя сказать — кто он, что он, папа он или уже не папа.

О, я был настойчив в достижении поставленной перед собой цели, я чувствовал, как эта самая настойчивость начинает выпирать из меня, и я страшно жалел, что рядом со мной нет Альбины Александровны, руководительницы старшей группы «А» детского сада № 555/0001, которая каждое утро говорила нам: «Дети! Будьте настойчивы и принципиальны! Когда это нужно! Вы поняли меня, дети?» А мы хором отвечали: «Мы поняли вас, дорогая Альбина Александровна! Мы всегда

будем настойчивы и принципиальны! Когда это нужно!»

Но то была чистая теория, больше ничего, а здесь, перед лицом этой девушки из Главтрансбокса, была практика, здесь я должен был во что бы то ни стало стимулировать девичьи воспоминания, и вот я их стимулировал:

— Ведь вы, прекрасное дитя, имели полную возможность не только лично попробовать конфетки, которые вам подарил мой папа, но и угостить ими еще кого-нибудь?! Ведь конфеток достаточно много в этой коробке, под названием «Два часа любви»? Ведь если она так называется, эта коробочка, то очевидно, что пользование ее и рассчитано именно на два часа с небольшими перерывами? Не так ли?

Я еще долго стимулировал, и наконец девушка, повздыхав, сказала:

— Предположим...

— Вот-вот! — подхватил я в ту же секунду ее выражение «предположим». — Предполагать — это очень здорово! Это, как бы вам сказать...

— А дальше что? — спросила у меня моя девушка, моя царица Тамара.

— Вот именно! Что дальше? Так я же вам говорю: дальше потерялся мой папа. Вы его транспортировали на ЧП № 122/04, а он потерялся, вот в чем все дело. Нельзя ли, в конце концов, его найти? Если можно потерять, так, очевидно, можно и найти?

Она, то есть девушка из Главтрансбокса, оказалась, как я и предполагал, смекалистой, поэтому она тут же включила МАС (микроаппарат связи) и соединилась со своей подружкой по имени Лена.

— Ленок, привет! — соединилась она. — Колготки вчера пристегнула?

— Пристегнула, привет! — ответила Ленок почти необыкновенным и прекрасным голосом.

— Где?

— В магазине пятнадцать-шестьдесят один, где же еще! У Надежды Соломоновны, где же еще! У Шляпкиной, у кого же еще?

«Боже мой, как тесен мир!» — подумал я про себя, услышав эту фамилию, и что-то у меня стало почесываться, только я не сразу понял, что именно. А это у меня лоб стал чесаться, лоб между глаз и чуть повыше

того места, где глаза всегда находятся. Вслух же я сказал:

— Ах, Шляпкина! Надежда Соломоновна, как же, как же... Это Васи Шляпкина, моего лучшего и ближайшего друга, родная мама. Я почти каждый день, за редким исключением, бываю у Васи дома, и если бы вы только знали, как мило его милая мама со мной разговаривает!

Но моя девушка, моя царица Тамара, должно быть, не совсем всерьез восприняла мои слова, всерьез она говорила с другой, далекой девушкой по имени Леночка.

— С какими цветами ты купила колготки? — спрашивала она через свой МАС. — Какого цвета?

— С розами. С бледно-небесно-облачно-голубыми. А что?

— А то, что ты псих!

— Почему я псих?

— Псих, а больше никто! Ты не звонила в бюро прогнозов Дворца моделей, а я звонила, и скажу тебе как другу: с пятого, в самом крайнем случае, с шестого числа в моде будут только колготки беж, с розами септик-фиолет! Точно! Ну? Псих ты или не псих?!

— Как же, верь им, прогнозистам! Да они знают зарплату получать, а больше ничего не знают. Понятно? Так у меня, правда, потеряно? С колготками? Наглухо?

— Наглухо, но не совсем: сейчас звякну в пятнадцать-шестьдесят один Надежде Соломоновне, она поищет септик-фиолет, а ты поищи одного тут, кажется в сером костюме, средних лет, он ровно неделю назад транспортировался в ЧП номер сто двадцать два дробь ноль четыре и как в воду канул. Поищи его, а я звякну по колготкам.

— Симпатичный?

— Кто?

— Который в воду канул?

— Тут у меня, Ленок, находится посторонний и не совсем совершеннолетний, так что я тебе просто передам транспортировочные данные и весь реквизит того утерянного, кажется, в сером костюме.

И эта девушка, которая царица Тамара, стала диктовать той, которая Леночка и псих, весь папин реквизит. Не только по графе «Тр 6,5» — транспортной, но и вообще все цифры и шифры, которыми обозначили

нашего папу при отправке на ЧП № 122/04. И еще моя Томочка — я уже и в ласкательном смысле начал ее про себя называть,— еще Томочка сказала Леночке, что на сегодня имеется четыре варианта папиного розыска: американский, гималайский, антарктический и барнаульский. Это она с моих слов сказала, потому что я ей это сказал и объяснил.

— Да что они, опупели, что ли?! — ответила девушка Леночка уже не совсем приятным голосом; не знаю, что на нее подействовало, почему у нее стал не совсем приятный голос, или папины варианты так подействовали, или неудача с колготками.— Правда что,— еще сказала Леночка Томочке,— ты позвони Надежде Соломоновне, а я тоже позвоню насчет этого самого Козырькова в сером костюме. Нечего делать, надо разбираться!

Пять минут прошло — девушка Леночка где-то там разбиралась.

Десять минут — она разбиралась.

Томочка, которая царица Тамара, уже и к Надежде Соломоновне дозвонилась, уже устроила подруге септик-фиолет в двух экземплярах, а от самой Леночки не было ни слуха ни духа, она как в воду канула...

Прошло пятнадцать минут, я уже наглухо опаздываю в свой детский садик № 555/0001 на послеобеденные индивидуальные развлечения, я уже отчетливо вижу Альбину Александровну и даже слышу, как она произносит громким голосом: «Дети! Вни-ма-ние! Дети, Арсений Козырьков опоздал на индивидразвлечения после обеда! Хорошо сделал Арсений Козырьков, или...» Я уже, одним словом, сам не свой, а девушка Леночка ни гугу!

Наконец она заговорила, и как-то очень сердито, я уже подумал, что все пропало, все папины варианты пропали, коробка «Два часа любви» пропала, все, кроме колготок септик-фиолет, все сделалось наверняка отрицательным, но я ошибся, и крупно ошибся, потому что девушка Леночка сказала Томочке так:

— Правда что опупели! Да он вовсе не в мировом пространстве находится, тот гражданин Козырьков в сером костюме, и не в Америке, и не в Гималаях, и нигде, а в соседнем санатории до сих пор находится. И все тут! Его засылали в ЧП сто двадцать два дробь ноль четыре, а он в дробь ноль пять находится, только и всего! Вечно у нас из мухи слона сделают, а нам раз-

бирайся потом с этими слонами! Колготки септик-фиолет пристегнула?

— Я — и не пристегну?! За кого ты меня принимаешь? Одни погуще, другие посветлее. Которые погуще, сразу не напяливай, они позже в моду войдут, понятно?

— А ты мой размер помнишь? Вдруг не помнишь, тогда что? Тогда снова разбираться?

— Мне твои размеры, Ленок, как таблица умножения! В первый раз, что ли? Вот еще что: почему они его там, этого самого Козырькова, в дробь ноль пять сразу не разлетаргировали? Очно не узнали, кто он и куда направлен? Брак в работе?

— Никакой не брак, а перестраховка. У них недавно разлетаргировали одного, а он акт составил, что не вовремя сделали, и после за их счет прожил по категории «люкс» три дня и один завтрак. Теперь они опасаются и перестраховываются.

— Пе-ре-страховщики! — подтвердила моя царица Тамара, она же Томочка, а мне она сказала: — Ну, беги, мальчик! Беги домой или в детский садик, тебе куда бежать по расписанию? Не беспокойся, через пять минут твой папа Козырьков будет уже в разлетаргированном состоянии в ЧП сто двадцать два дробь ноль четыре. Я вижу, ты хороший мальчик и любишь своего папу, так что беги!

И я побежал.

Сначала я бежал, а потом сбавил скорость: все равно мне нечего было терять, я безнадежно и наглухо опаздывал на послеобеденные индивидразвлечения. В то же время, как вы понимаете, я испытывал счастье, радость и гордость: папа нашелся и папу нашел я сам, так как проявил настойчивость в достижении поставленной цели.

Рядом с магазином пятнадцать-шестьдесят один, где Васьки Шляпкина мама была директором и продавала детские и женские колготки, стояла очередь, но вовсе не к Васьки Шляпкина маме, а в другой магазин: «1 500 000 мелочей». Там была выброшена туалетная бумага. Всегда так — вот магазин «1 500 000 мелочей», казалось бы, все, что угодно для жизни, но не тут-то было — один миллион четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять мелочей в наличной продаже, а одной какой-нибудь мелочи, но крайне необходимой для нормальной жизни, обязательно нет и нет, хоть убейся!

Прихватив десяток пачек бумаги, я повесил их себе на шею и забежал еще в спортивный магазин посмотреть боксерские перчатки. Зачем они мне?

А вот: завтра же я начну тренироваться в профессиональном боксе и ровно через восемь с половиной месяцев, как раз перед конкурсными испытаниями в первый класс категории «А», я так врежу Ваське Шляпкину-Зету (между глаз, но чуть-чуть повыше), что у него в ту же секунду выскочит из головы весь материал по алгебре.

Который он с грехом пополам усвоил в нашем детском садике — номер пятьсот пятьдесят пять дробь три нуля один.

1979

ФЕСТИВАЛЬ

Все мы смертны, все умрем, вот и я тоже умер прошлой осенью в погожее утро.

А когда же и умирать, если не осенью? И не в погожее утро?

Случилось это неожиданно для всех, даже для меня, хотя, казалось бы, уж кто-кто, а я-то должен был сообразить, что удивляться особенно нечему и что все действительно разумно. А главное, неизбежно.

Не сообразил.

Помешало одно-единственное обстоятельство: умирал-то я не в первый раз!

Обычно я доверяю собственной интуиции, а тут, проснувшись в начале пятого и, кажется, в тот же миг догадавшись, в чем дело, не поверил догадке, а стал с упорством, как говорится, достойным лучшего применения, убеждать себя: «Обманываюсь! Ничего такого...»

Еще полежал, еще понял, что это и есть «все такое», но снова принялся за свое: «Ну, полежу в реанимации, ну, посуществую с полгода на инвалидном положении, ну, как бы ни было это противно, отложу все свои текущие дела и замыслы, ну, мало ли что бывает?! Еще и не это бывает!»

Строго говоря, моей вины в таком самообмане было не так уж и много — жизнь меня этому учила и так воспитывала, вот и воспитала. И уверила, будто я обладаю такой хитростью, что могу обмануть самое смерть.

Уж это точно, впечатление первого знакомства — самое верное и точное, но в дальнейшем мы обязательно разрушаем его какими-то второстепенными наблюдениями, а еще неизменным желанием видеть вовсе не то, что в действительности видим, что показывает нам окружающий мир.

И тут было совершенно то же самое — когда несколько лет назад я впервые попал в реанимацию, мне и в голову не приходило обманывать себя, свою смерть, вести себя недостойно, как нынче, и вот тогда я не сомневался, я точно знал, что запросто и вполне естественно умру. Но я не умер тогда, остался жив, и это научило меня лукавить со смертью и с самим собой.

Теперь в соответствии с общепринятым порядком вещей настало, кажется, время подробно объяснить лечебно-медицинскую сторону дела: чем болел, как болел, у кого и как лечился, но, поверьте, все это имеет значение только для живых.

Я и сам любил иногда потолковать по вопросу болезней, о том, кто от чего и когда, я находил для этого время, будучи жив, хотя и занят был страшно, для мертвых же самые безнадежные болезни тотчас теряют всякий интерес и даже не упоминаются ни печатно — в газетных некрологах, ни устно — в речах на траурных митингах.

В лучшем, как говорится, случае, «группа товарищей» обмолвится несколькими словами во вводной части некролога «после тяжелой и продолжительной» (читай — злокачественная опухоль) или «после непродолжительной, но тяжелой» (инфаркт миокарда). И только.

Ей-богу, первое, что предается забвению после смерти человека — это его болезни, запоминается же та жизнь, которая существовала независимо от них.

Которая была прожита человеком на его собственной волне.

Мы ведь все — радиоприемники, все работаем на прием из мирового эфира тех или иных волн в присущем каждому из нас диапазоне.

Правда, мы плохо знаем этот диапазон и поэтому часто думаем, будто все на свете волны одинаково доступны нам или же, наоборот, будто он так узок, что мировой эфир нам совсем не слышен и недоступен...

Я тоже не знаю параметров, которыми обладают все доступные мне волны, но совершенно уверен в том, что они существуют, и даже знаю, когда я открыл их существование впервые.

Мне было лет двенадцать, когда я понял, что большая и быстрая река, на берегу которой я родился, и те облепиховые и высоко травянистые луга, которые простирались за рекой, и та синяя полоса соснового бора,

которым замыкались луга, и те линии горизонта, которые охватывали все это вместе взятое — вся эта вполне обозримая и привычная для меня планета существует не сама по себе, а только потому, что находится на Земле.

«Однако,— помнится, успокоил я в тот раз свое волнение и свой страх открывателя чего-то необозримого,— однако и вся Земля, как бы ни была она велика, тоже не может существовать с пустотой на том месте, где находится мой дом, мой луг, мой лес и мой горизонт!»

Тогда же я понял, что кроме меня и всех тех людей, которых я видел в лицо, на Земле находится еще и человечество, к которому я прочно, навсегда принадлежу, хотя и не вижу его и никогда не увижу.

Я понял, почему в некоторых книгах — к тому времени я прочитал уже немало книг: о производстве спичек, например, о женщине, которую звали мадам Бовари, о съездах, которые происходили в городе Москве, и так далее и так далее,— мне встречалось слово «жизнь», написанное как «Жизнь»...

Все эти открытия и представления, пришедшие ко мне, должно быть, с большим опозданием, были не чем иным, как открытием моих собственных волн.

Не знаю точно, но думаю, что каждый человек открывает их по-своему,— один рано, другой слишком поздно, один в краткий, почти что мгновенный срок, другой исподволь, постепенно, но, так или иначе, открывает.

С тех пор прошли многие-многие годы, в течение которых меня спрашивали, когда впервые я почувствовал свое призвание к искусству — и я отвечал, что не знаю. И так оно и есть, я действительно не знаю ответа.

Но, когда я думаю сам о себе — изредка думаю, потому что среди множества самых разных людей, вторгшихся и все еще яростно вторгающихся не только в мою жизнь, но и в мою смерть, мне совершенно некогда думать о себе — тогда я знаю ответ: это был все тот же момент моего самого первого и грандиозного открытия.

А дальше и дальше, по мере того как я удалялся от момента моего открытия, мои волны преодолевали все новые пространства и новое время, приобретали неслышимые до тех пор звуки и тембры, насыщались все новыми голосами и понятиями, новыми обозначениями самих себя и тонкими, едва уловимыми намеками на самих себя, но все равно я в любой момент мог отли-

чить — и отличал! — мою волну от не моей, мою от всех остальных, не моих и потому сумбурных, то и дело ни о чем не говорящих.

Больше того, среди не моих волн я нередко угадывал, чьи они, кому из моих близких или знакомых они уже принадлежат, для кого еще только предназначены.

И даже так: я улавливал чьи-то волны, и у меня составлялось почти полное представление о человеке, которому они принадлежали.

Однако же весь этот радиотехнический, что ли, разговор,— не предмет моего рассказа.

Он лишь сопутствует этому предмету, может быть, вовремя, а может быть, и вовсе не вовремя подвернувшись под руку.

Мой предмет, как об этом уже знает читатель, это фестиваль... не совсем обычный, ну так что же? Рассказ-то ведь тоже ведется о случае, не совсем обычном для каждого из нас!

Не так уж запросто и не так уж обычно мы умираем!

Итак, фестиваль был.

Мало ли было и бывает нынче фестивалей, Каннских и других, описанных французами и нефранцузами в специальных и в художественных произведениях, но это был мой собственный фестиваль и ничей больше.

О чужих фестивалях я в этот раз и знать ничего не хотел!

Правда, сначала мой фестиваль тоже был всеобщим, то есть обычным, а я был его участником, и меня хвалили, и премировали на этом мероприятии, вокруг меня стояла премиальная духота, и кто-то, само собою разумеется, меня обнимал, а я обнимал и целовал кого-то.

А кончилось чем?

Я возьми да и брякни: «Приглашаю! Всех! В гости!»

Брякнул и забыл. Забыл и пошел себе домой, решив подышать воздухом, проветриться и не упустить редкий случай — поговорить с сыном.

Мой сын почему-то краешком своего просвещенного зрения захотел поглядеть на фестиваль и на то, как там хвалят-величают его предка.

В сыне почти что нет моего продолжения, и, должно быть, именно поэтому мне всегда до боли любопытно: что же там у него вместо меня-то? Какая другая волна?

Какой другой аппарат? Какая другая мысль? Какое другое время и пространство?

Походка — моя, внешность — только отчасти, а мысли и волны? Мысли совершенно не мои, волна совершенно не моя, ничего общего, кроме разве вопросов. Вопросы те же самые: куда идет мир, что с ним будет завтра?

Для меня это вопрос понятий, для него он предметен: мой сын — начинающий ученый, технарь с некоторым стажем, и вот он полагает, что материальный предмет результативнее понятия, что он — итог понятия, а иметь дело с итогами гораздо разумнее, чем с составляющими.

Сын согласен со мной, что понятия долговечнее предметов, но все равно качество реального итога и вершителя человеческих судеб остается за предметом.

— Кроме того,— говорит мой сын,— долговечность понятия тоже ведь обеспечена предметом, который можно взять в руки, взвесить, измерить, размножить или уничтожить: книгой, кинолентой, картиной, скульптурой, радиоаппаратом! Значит, все от предмета,— говорит он.— Религиозный фанатик и атеист могут прожить бок о бок друг с другом целый век, но кристалл цианистого калия — крохотный предмет — наверняка уничтожит того или другого или того и другого,— говорит мой сын.— И вообще, что такое судьба, если не предмет, называемый атомной бомбой? — спрашивает он. У меня спрашивает.

— Надо изменить понятия,— говорю я.— Тогда не будет бомбы.

— Но судьба самого понятия — это предмет,— возражает он.— Бомба, икона — разве это не судьбы?

— Все-таки икона лучше...

— Не могу сказать. Не знаю. Крестоносцы шли с иконами. Инквизиторы тоже. Иконы и портреты предметнее многих других предметов.

Мы — я и мой сын — не можем доказать что-то друг другу, так же, впрочем, как и самим себе, и когда я еще и еще раз убеждаюсь в этом, мне просто-напросто начинает нравиться мой сын. Другого решения проблемы нет, и я любуюсь его самостоятельностью и независимостью от меня — у него своя логика, своя волна и даже другая, тоже своя, природа. Я ведь с детства не переношу маменькиных, а еще больше папенькиных сынков,

бородатых умниц, которые вслед за отцами из года в год таскаются со своими женами и детьми по студиям, университетам, издательствам и домам творчества. Уж лучше отцы и дети, чем отцедети.

Лучше. Хотя это и грустно.

Уж это точно: сыновья похожи не столько на своих отцов, сколько на свое время — давняя-давняя мудрость.

Я и мой сын родились в разные времена...

Я родился до Освенцима и Бухенвальда, он — после них.

Я родился до атомной бомбы, впервые услышал о ней, когда мне было столько же лет, сколько моему сыну сегодня, а услышав, так и не смог этого слова понять. Мой сын с детства воспринимал этот вполне реальный конец света вместе и на равных с другими понятиями родного языка, почти сразу же вслед за такими словами, как «мама», «небо», «солнце», «я»...

И вот я не знаю, ради чего мы встретились — я и мой сын, но радуюсь этой встрече так, словно она может быть каким-то добрым предзнаменованием, словно для меня все еще могут существовать добрые или злые предзнаменования; я не знаю своего сына, но все равно дико радуюсь ему; я знаю, что сын не даст напутствия, которое необходимо мне сейчас, что ожидание его напутственных слов вполне бессмысленно, но я жду их; мне надо бы попрощаться с сыном, крепко обнять его, пережить (все еще «пережить»!) его ответное объятие, но объятий нет, они почему-то оказываются не к месту... Хотя, казалось бы, какое еще место, какие обстоятельства могут быть для этого более к месту, чем нынешние?!

Сын — это само по себе радостное явление, вот в чем все дело! А дальше рассуждай как хочешь, рассуждай о том, что отцы и дети — это не демография, не летосчисление и не наследственные генетические ряды, это прежде всего модель тех отношений, которые существуют между людьми в среде человечества...

В конце концов, если бы я решил создать образ своего сына, изобразив его на экране или на страницах романа, я стал бы изображать вовсе не то, что знаю о нем, а совсем-совсем другое: свое незнание его, свое непонимание того человека, который — мой сын!

И, знаете, изобразил бы!

Сын получился бы!

Так получился бы, что никто даже и не догадался, из какой изначальной, из какой невероятной точки я исходил, изображая человека, который мой сын!

Между нами говоря, мне очень здорово удавалось изобразить очень многих людей, но только когда они этого хотели, когда настойчиво пробивались ко мне и яростно требовали от меня своих изображений!

Мой сын этого не хочет, не желает. Его нежелание — нечто само собою разумеющееся: он уверен, что я знаю его слишком хорошо, что он знает меня слишком хорошо, а это будет непреодолимым препятствием к созданию мною его образа.

Ладно! Поверим моему сыну... Кому же, наконец, верить, если не собственным сыновьям?

Я верю и спрашиваю у него:

— Послушай, друг, какое только что возникло дело! Я предчувствую, что последние часы, что самый последний мой час мне предстоит провести не с тобой, а с людьми... посторонними.

Сын улыбается.

Человек догадливый, он сразу же понял, кто будут эти «посторонние».

— Так идти мне? К ним?

— Иди...

— Но они всегда были моими мучителями! Были и остаются даже сейчас! Они изверги! Ведь только изверги пользуются тем, что кто-то без них не может. Я не могу без них, и вот они пользуются!

— Твой коп о чем-то думал, когда ты выбирал свою специальность?

«Коп» в переводе на русский язык значит «голова», это мне понятно, но «специальность»?!

Да разве я выбирал когда-нибудь свою «специальность»? Разве выбирал тех посторонних, которые затем до отказа заполнили мою собственную жизнь? Которых слишком много для меня одного, в миллион раз больше, чем я могу в себя принять, понять, изобразить? Я то и дело объясняю: «Вы в миллион раз больше, чем я! Пощадите! Вас много, а я один!» Я объясняю эту расхожую истину с лаской и доброжелательством в голосе, мобилизую весь свой артистический дар, потому что очень боюсь сорваться на ту самую интонацию,

с которой точно те же слова произносят продавщицы прод- и промтоварных магазинов и не только они, но ни ласка, ни доброжелательство, ни весь возможный для меня артистизм мне не помогают...

— Ничего! — успокаивает меня мой сын. — Положение средней паршивости, но не более того!

— Не более того? — переспрашиваю я. Для порядка...

Вот так мы вместе и в рассуждении более чем серьезных вопросов достигаем порога моего дома...

Разве не грустно?

Перед порогом моего (и его?) дома сын сказал:

— О'кей! Ты все-таки иди. А я останусь. Мне там нечего делать. Ведь я технарь!

Его признание звучит независимо.

А может быть, и гордо.

Этакое совершенно несерьезное увидел я, оставшись один: моего дома нет, как не бывало! Нет жилой башни, на двенадцатом этаже которой располагаются мои, только недавно по законному ордеру городского Совета полученные 62,0 квадратных метра жилой и 93,6 общеполезной площади, а вместо башни стоит на земле не очень большой коттедж в двух уровнях, вокруг клеверное поле, а по всему полю летают пчелки!

«Ну, раз такая несерьезность, значит, будет дело!» — подумал я.

И, видит бог, я не мечтал о таком, потому что 62,0 жилой и 93,6 общеполезной меня вполне устраивали! И тут же я понял, для чего все это случилось: для гостей, которых я недавно пригласил!.. «Приглашаю! Всех!» А не могли же они — все! — разместиться в моей квартире? Лифты переполнили бы и вывели из строя, а что сказали бы на это жильцы нашей башни? Как бы они после этого выразились?

Я вошел в свой дом, отчетливо понимая, что это уже не мой дом, а дом всех моих гостей. У меня заныло сердце, словно при инфаркте.

Я стал здороваться с гостями налево-направо, вперед-назад и стал мечтать: «Хотя бы одного незнакомого увидеть! Или хотя бы одного близкого человека, родственника!» Незнакомых не было. Близких не было, и я снова с сердечной болью вспомнил о сыне, с которым мы только что расстались.

— Здравствуй, Павлуша! Павлушечка дорогой, милый, ненаглядный, я рада!

Белокуренькая. Зовут Лизочкой, все остальное забыл. Потом вот что вспомнил: забодал я ее на первой же пробе своей первой постановки. Забодал!

— Здравствуй, Лизочка! Я рад!

Первая жертва на моем пути, первая и безнаказанная — может, теперь от этого я и рад? Кроме того, месяц тому назад меня самого бодали, и здорово, значит, радость моя тем более логична?

Бог ты мой, бог ты мой, да что же мне делать-то?! Что мне с Лизочкой делать при великом стечении живых зрителей и свидетелей? Которые все до единого вытаращили на меня глаза, потому что испытуют: что-то выдумает?

Действительно, выдумать бы! Ведь я же творческий человек? Или уже не творческий?

Значит, так...

Лизочки нет, поскольку как таковая она больше не нужна... А есть, ну, предположим, Тонечка, которая снимается в моем фильме, изображая мать в очень трудном семействе.

Снимается, но все мимо! Ну, все как есть не так и мимо!

И как же будет иначе, если Тоня-Лиза ничего не изображает, зато все переживает натурально?! И даже не видит ни оператора с камерой, ни режиссера с его мимикой, жестами и кулаками?..

Переживая, Тоня-Лиза, естественно, впадает в такое состояние, что едва случается минутный перерыв между кадрами, она, как есть, в гриме и в сарафанчике из костюмерного цеха, уже бежит на телефон, справляется о здоровье папы и мамы, о том, не надо ли принести яблочки и апельсинчики племяннице в больницу?

Вот так актриса! Нечего сказать!

В конце концов чем кончается: моя актриса р-р-раз режиссера, то есть лично меня, по морде, а сама — замуж. В реальную и реально трудную семью!

Такой сюжет...

Плохо ли, хорошо ли, вполне самостоятельно или у кого-то что-то заимствуя, но выдумал! Для себя, а уж для всех вытаращенных на меня глаз и подавно!

Спасся!

И я толково, подробно, словно педагог, и достаточно громко, чтобы все вытаращенные на меня слышали, объясняю Лизочке этот сюжет.

Только в этом сюжете она сможет сыграть свою первую и последнюю, но настоящую роль, объясняю я.

— Павлушечка! Дорогой! Значит, по-твоему, я никакая не актриса?! — восклицает Лизочка, до конца уяснив роль Тонечки.

И р-р-раз меня по морде! При всех свидетелях!

Вот так раз!

И как же я, опытный и творческий, не додумал свой сюжет до конца?

Ну, если бы у меня было время, если бы я почти что сию минуту не умирал, уж я доказал бы вздорной бабенке, я нашел бы ей мужика, который запряг бы ее в семейный хомут! Засупонил бы на веки веков!

Уж я бы посмотрел после этого на Лизочку, полюбовался бы!

Некогда, времени, как всегда, не хватает. Даже на то не хватает, чтобы оказать человеку истинную услугу, хоть немного разморочить ему голову... Прямо-таки трагическое положение!

Но кроме трагического положения чувствую оптимизм.

«Может быть, не такие уж никчемные у меня гости? Не такие уж, и потому я их одолею?! Всех увижу пронзительно в какой-то миг их жизни, в какой-то ситуации, в каком-то сопоставлении их прошлого с их настоящим? Еще в чем-нибудь увижу? Еще как-нибудь их назову? Еще почувствую их сквозь кожи и шкуры, сквозь замшевые костюмчики, сквозь мини и макси? Еще схвачу в них какие-то детали? Если они не такие уж никчемные? Никчемных никогда не одолеть, а этих?! Вдруг успею? Вот будет история-то! Вдруг пойму? Вдруг я замыслю их, то есть они станут моими замыслами? Вдруг случится такое «вдруг»?

Этому нельзя поверить? Я и сам себе не верю, но все равно я ведь знаю, что все это может быть. Все! Скажите пожалуйста, вот протекают какие-то пятнадцать минут, то есть четверть часа, то есть девятьсот секунд, скажите — чего в эти минуты, в эти секунды, в эту долю часа не может быть? Да все может быть, все на свете!

И вот — снова и снова передо мной вспыхивает эк-

ран, который я сам, а на этом экране мелькают не то мои замыслы, не то их тени, но мелькают же?!

И какие-то понятия, какие-то соображения познавательного характера о каждом из моих гостей — мелькают же?

И мои действующие лица (когда-то действовавшие в моих фильмах, в моих пьесах, романах и рассказах) — вот и моя Тоня-Лизочка среди них — требуют меня к себе, требуют настойчиво, хотят общаться, хотят дообъяснить мне себя, хотят...

Ну, мало ли чего они хотят, мало ли что им и еще взбредет на ум задним числом? Заднее число, оно ведь бесконечно, дай ему волю — потом не обрадуешься! И я пользуюсь своим положением: ведь мои действующие лица — это не то, что замыслы, они — мои производные, они мне подчинены, и вот я без зазрения совести пользуюсь своим положением и командую им уйти. В дальний угол. Уйти и не мешать мне в общении с остальными гостями, не затруднять мне это очень серьезное дело. Тем более что в дальнем углу найдется, что выпить. И даже — чем закусить.

И только-только мои действующие лица зашагали, задвигались по направлению к дальнему углу, как я услышал низкий, громкий, уверенный, бархатный basso serio полного тембра.

Бас:

— А-а-а-а! Павлушка? Блаженненький ты мой герой! Ми-лай!

Ну как тут не задумаешься над тем, что такое талант?! И знаешь, что бесполезно задумываться, а куда денешься? Никуда, и вот задумываюсь, словно чеховский герой.

«Блаженненький» — так взбрело в его талантливую голову?

...Уж не таланты ли погубят мир? Если два таланта не могут понять друг друга, где взять понимание, когда их миллионы? В каких студиях взять его, это понимание, в каких консерваториях, лабораториях и университетах? В каких классах? В каких посольствах? И как не бояться талантов и, может быть, себя тоже? И почему сегодня я «блаженненький», если еще вчера был «радикалом»? А позавчера — «либералом»? Стараюсь понять, вспомнить и вот что вспоминаю: сегодня моему учителю, древнему-древнему старичку, присвоили зва-

ние народного, а Бас моего старичка терпеть не может! Может быть, это и есть причина внимания Баса ко мне?

Бойтесь талантов!

Талант, может быть, не всегда эгоистичен больше всех, но зато уж весь свой эгоизм он всегда желает распространить на всех!

Он видит и понимает пронзительно, но все то, что не видит и не понимает, существует для него лишь как предмет его презрения. Ведь презирал же Толстой Шекспира? А Салтыков-Щедрин Толстого? А Тургенев Салтыкова-Щедрина?

Талант — это желание понимать только по-своему, желание делать только свой собственный театр из всего на свете.

Даже из преступления он делает занимательное зрелище или чтение, не желая понять, что это преступно.

Ни один талант еще не искал способа назвать очевидные вещи вполне очевидными словами, таланты боятся «да» и «нет», как черти ладана, и вот изощряются в умении скрывать эту боязнь. Это умение тоже становится их талантом.

Талант обожает анализ и расщепление, в каждом человеке он готов обнаружить всю таблицу Менделеева, а где же синтез? Где объединение? Где не только человек, но и человечество?

И каково все это, все эти вопросы, если это не отвлечение, а ты сам, твоя собственная жизнь?

Бас, который гудит о том, что я «блаженненький»,— огромный талант, я знаю, но почему он так мелочится? Ему неприятен мой сюжет с Лизочкой? Он бы сделал его по-своему? Или не сделал бы никак, и это тоже было бы для него прекрасно? Прекраснее всего того, что сделал я?

Мелочи, мелочи... Мелочи жизни.

И вот уже одно грандиозное дело приравнено к 1500 мелочным.

Веса чуть-чуть не хватает? Добавим еще одну мелочь, еще одну суету, их сколько угодно, они — пятачок за пучок и попросту даром, прибавим одну, теперь их стало 1501, и вот уже они перетянули чашу весов в свою сторону.

Итак, одна ничтожная мелочишка сыграла решающую роль, оказалась сильнее грандиозного дела и огромного таланта...

Бас тем временем не унимается, гудит, советует переехать на жительство в город Москву, я отшучиваюсь: москвичи пугают меня своим обилием! И способностью к размножению: три процента от населения страны, а куда ни приедешь, их всюду одна треть. На курортах — три четверти! И брюнетов, и блондинов, и рыжих обоего пола!

Бас смеется еще более сильным басом и хлопает меня по плечу — иначе говоря, он ко мне расположен.

И ведь не скажу, что его хлопок по плечу — для меня ноль без палочки, по-своему греет, но и смущает тоже.

Всю жизнь я зависел от кассиров — театральных, железнодорожных и Аэрофлота, от продавцов пром- и продтоварных магазинов, от своих наставников, от редакторов и директоров, от отделов и подотделов, Я только и делал, что зависел, а чем лучше зависимость от талантливого Баса? Он ведь тоже подталкивает меня не куда-нибудь, а в очередь. Он подталкивает из хвоста в голову очереди, но все равно: «За кем я буду?!»

А если очередь, значит, меня не ждут, значит, я не нужен. Там, где нужен я, там очереди для меня нет.

Помню, меня стригли в военкомате — сколько было нас, стригущихся под машинку призывников, а очереди не было...

В парикмахерской — пока-то дождешься, чтобы тебя подстригли!

Итак, передо мной талантливый Бас — какие модуляции голосовых связок! Какой тембр! И все равно я слышу его сквозь стену, а эта стена — я сам.

Голос-то слышу, но талант в меня не проникает, отскакивает как от стенки горох!

У каждого таланта свой собственный язык, и тут — точка! И в мире нет знатоков, которые перевели бы меня, тенора, или еще кого-то там на язык Баса.

Талантливость — простое и естественное свойство человека, это самая обыкновенная черно-серая, а вовсе не белая ворона.

Дело не в таланте, которого хоть отбавляй, дело в характере, который — редкость.

На какой характер накладывается талант — вот вопрос!

Как человек умеет пользоваться талантом — вот вопрос!

Талант есть, а человек своего ребенка в институт международных отношений устраивает, и, пока устраивает, где его серьезный талант?

Таланту нужен характер, но для того как раз, чтобы талант как можно чаще оставался один на один сам с собою, чтобы ничто не путалось у него под ногами.

Мой Бас талантлив, но без этакой путаницы под ногами он не может шагу шагнуть.

Все люди для меня не только люди, но и потенциальные портреты. Поднатужусь, а тогда смогу исполнить портрет. Но Бас — исключение, никто, пустота, беспредметность, не человек — человеческие черты в нем заслонены талантом, а его талант я в упор не вижу.

Правда, у меня разная степень видения и слепоты к разным талантам, но что касается Баса, я к нему не только слеп, но и глух, не только глух, но и нем, ну а зачем же мне погружаться в слепоту, в глухоту, в немоту, терять обоняние, осязание и способность мыслить? На фига?! У меня и без этого все еще забот по горло! Вот уж истекут мои считанные минуты, тогда другое дело... Может быть, Бас ведет счет этим минутам, потому и явился?

Нет, право же, шедевр искусства может привести меня в истинный восторг, но средства, которыми он создан, все равно чужды мне, потому что глядя на шедевр — я зритель, глядя на средства — я мастер.

Самое искреннее чувство, которое могут вызывать во мне чужие средства, это зависть, но жить с завистью не хочу и не могу и вот перехожу в глухую оборону, отчуждаюсь от них...

Ну разве что Пушкин? Или еще кто-то из тех? Кто выше всего меня, выше всех моих чувств?

— У-у-у-устроить?— гудит Бас, покуда я размышляю о том о сем...— У-у-у-устроить? Но сперва скажи, пораскинь умишком: я эпоха или не эпоха? В искусстве?

— Не надо бы нам об этом говорить!— отвечаю я.

— А если никто другой не говорит? Если все, как последние сволочи, молчат? Все поклонники и поклонницы? Если блаженненький Павлушечка молчит? И вот уже две недели ни одна шельма, ни один критик обо мне ни слова, будто тебя нет на свете, будто ты уже умер или умираешь, тебе остаются считанные минуты и все молча готовят траурные речи? Если так? Тогда моя свя-

тая обязанность — сказать самому! Прямо и честно. Нелегкая, но святая обязанность! Недохвал — это, Павлушенька, страшная — очень! — вещь!

А я примериваю это на себя: хотите — верьте мне в мои считанные минуты, хотите — нет, но во мне лично недохвал никакого страха не вызывает, а одного этого вполне достаточно, чтобы Бас и я не понимали друг друга в упор...

— Значит, прямо и честно?

— Не имею права скрывать правду от мира! Пойми, не имею! Пойми, я, может быть, только потому и живу, что я великий?! Лиши меня этого сознания, и я завтра же полностью загнусь, сыграю в ящик! Вот ты понимаешь, что такое — сыграть в ящик? Не понимаешь, слишком для этого молод, честное слово!

Ну, теперь мне бы только и поговорить с ним о его величии и гениальности! Поговорить минут этак пятнадцать — двадцать, а тогда он и предложит мне мою заветную роль — от него зависит! Ту, в которой я могу оказаться великим! В которой смогу рассказать миру...

Ума не приложу, сколько бы в эту минуту у меня могло оказаться соблазнов, если бы я не умирал?! Сначала бы разговор с Басом, потом бы заветная роль, еще потом — величие, хотя бы и скромное и не ради самого себя... Но я умираю, и вот плевать я хотел на соблазны и перспективы! Это, я вам скажу, серьезное преимущество моего нынешнего положения — поплевывать на такие предметы, как величие и перспективы, через левую губу!

Тем временем Бас о своем:

— Две недели, Павлушенька, уже ничего на свете нет! Ничегошеньки!

— Чего — ничегошеньки?

— Ни одного упоминания о гениальном сыне своего народа! Ни по радио! Ни по телевидению! Ни в печати! Да для чего же они все существуют-то, спрашивается?! Если две недели ни гугу, как будто я сгинул или нахожусь в летаргическом сне и ничего такого не чувствую! А я как раз чувствую, переживаю, сна лишаюсь и почтальону, очень милой женщине, не могу без жгучего стыда в глаза посмотреть. Она мне почту вручает и молча соболезнует: «Опять о тебе, мой сердешный, ни гугу! Опять из бюро газетных вырезок о тебе ни одной вырезки не выслано!» Да ведь тут с ума сойдешь! Да что я,

в самом-то деле,— заживо похоронен, что ли?! Вот и у тебя, Павлуша, у тебя лично тоже хватает эгоизма смотреть мне прямо в глаза! Нет, я не могу молчать! Не имею права и дальше скрывать от мира правду!

— Не могу молчать?

— Не имею права! Бессовестно молчать и стесняться! Было же сказано: «...ко мне не зарастет народная тропа»... Вот пример гражданственности! Потому что истинную ценность вещам знает не потребитель, а мастер, который эти ценности произвел! Потому что вещи должны называться своими именами прямо и честно! Пушкина (и этот о Пушкине!) тоже не признавали, да он-то знал себе цену и не боялся об этом сказать!

— И пошел стреляться с ничтожеством, сукиным сыном! Ты пойдешь? Стреляться?

— Блаженненький! Надо же различать. «...Ко мне не зарастет народная тропа»...— сущая правда, нынче каждый знает! Пошел стреляться и лишил нас еще многих Онегиных, Годуновых, Русланов,— ужасающая неправда, ошибка непростительная! История тебя чему-то учит, Павлуша, или ты глуп как пробка? Ну, ладно, у-у-у-устрою! Если туго придется, обращайся без стеснения, блаженненький! Звони! Служебный телефон есть? Домашний есть? Дачный есть? Слушай, еще дам тебе один запасной телефончик, слушай сюда... Вот я какой: ты обо мне молчишь, а я готов тебя устраивать! Дошло?!

Шар идет в лузу. Сразу четыре шара в четыре лузы. Сразу четыре шара в четыре лузы на четырех столах... Из этих звуков, из этого треска и грохота шаров и возникает не мужской, не женский, а механический голос и объявляется цифра — семьсот шестьдесят семь. И на чьей-то корявой ладошке чьи-то подписи химическим карандашом заверяют подлинность указанной цифры (767).

Вот какое оказывается дело: мои гости разыгрывают меня в лотерею. Не сразу заметил, но так оно и есть: я здороваюсь направо-налево, вперед-назад — видимость непринужденности, на самом же деле я беседую только с теми, кто меня выиграл.

Мои подчиненные, то есть действующие лица написанных мною в разное время рассказов и романов,

поставленных мною фильмов, машут мне из дальнего угла.

Дескать, «а мы?».

Я им тоже машу:

«Вы, дескать, подождите! Ничего с вами не случится, ведь вы уже сыграли свои роли! Вы уже сыграли мои роли, то есть те, которые я вам когда-то выдал. Вы сказали свое слово, поэтому вы уже не замыслы. Поэтому вы ничего не скажете мне сейчас, сию минуту. Я вас уже знаю! Насквозь! Поэтому вас и нет в моем сегодняшнем и непосредственном окружении!»

Вас нет, а другие — есть:

— Пи-и-и-и-исатель! Здорово живешь, интеллигент! Народное, то есть кровное мое — жрешь?

И в нос мне ладошка с цифрой «767» — химическим карандашиком и довольно бойким почерком.

— Выиграл! Тридцать копеек по денежно-вещевой заплатил за билетик! По вещевой, по какой-нибудь — не все ли одно?!

Здороваемся, обнимаемся и приступаем к теме разговора.

— Не отступлюсь! В «Литературную», в «Читатель и писатель» изложу. Меня исказил? Исказил! Обписа́л меня совсем не так? Не так! Надеялся, что я самого себя не узнаю? Надеялся! А я узнал! И покуда живой, всегда узнавать буду! И в «Читатель и писатель» всегда собственной вот этой правой рукой тоже буду! Не глядя, что земляки!

Верно, земляки... Верно, я его «исказил», то есть дело обстояло так: встретились в сельской забегаловке на развилке трактовых дорог и не то чтобы серьезно стро́или-сдво́или, но слегка понюхали, и земляк успел рассказать один пункт своей биографии — как ему довелось жениться-разжениться, как чашу эту он расхлебывал, потому что жена его оказалась неразведенной с другим, а эту смешную и легкомысленную историю, в которой кое-кто заметил слишком острую критику работы наших родных советских загсов, я вмонтировал в фильм и написал о ней не то два, не то три веселых абзаца в одном литературном произведении. Теперь очень жалею: случай из жизни я схватил кратко, показал и описал, а вся-то жизнь куда от меня ушла?!

Жизнь необыкновенная, но вероятная — куда девалась?

Ведь Аристарх, а нынче Ася Куманев, читатель-писатель «Литературной газеты», существовал на свете дважды и в совершенно различных обликах!

До чего же тот, давний Аристарх, еще ни разу не женатый парень, обожал порядок на всей своей ограде, во всей деревне, во всем белом свете! Старики из тех, кто сохранился жить и не потерял памяти, до сих пор изумляются, рассказывая, как, бывало, Аристарх запрягал рыжую кобылу, как медленно-медленно ехал из конца в конец длинной в ту пору деревенской улицы, как глядел кругом себя, высматривая разные непорядки. Сказка!

И еще сказка не кончалась, нет-нет, и вечером, когда семейство Куманевых, положив кресты на лоб, поклонясь иконам, усаживалось ужинать, Аристарх в большой печали жаловался отцу:

— Батя! Да как же энто происходить? На белом-то на свете?

— Нешто происходить?— тотчас откладывал ложку в сторону Куманев-отец, опять же несказанный любитель порядка.— Где-кось? У кого-сь?

— Да у Илюхи у Сапожкова...

— Да што же тако?

— Да привез Илюха воз с лугов, а в сеновал сено не мечет, сколь ден стоит воз, и кому не лень — корове, овце ли, лошадям,— каждый подходить и с возу тащить, а вверху курицы уже ладят гнездышки...

— Когда и дале так дело пойдеть, Илюхина баба к тому возу лестницу зачнет приставлять да за куриными яичками вверх влазить...— соображает Куманев-старший.— Дак правда што: когда у мужиков што ни день на оградах такое будеть происходить — и всему белому свету недолго останется держаться... Правда што, все кругом рухнет, чертополох, дикая лебеда только и останутся...

— Недолго...— соглашалась с супругом Куманиха-мать, и вся прочая куманевская семья, братья и сестры, бабки и деды, и даже самая малая Аристархова сестренка и та впадала в печаль.

— Куроська на возу... Яиськи кладеть... Ай-ай-ай-ай...

Куманевых всех, Аристарха особенно, в деревне не любили, он и постарше себя мужику мог погрозить

пальцем: «И што у тебя, Иван, за порядок на ограде? Што происходить?!» А из этой нелюбви само собою разумелось, что в период коллективизации он первым тронулся за болото...

Выбыл Аристарх за болото, а через некоторые годы вернулся оттуда в родные края совсем другим человеком — Асей.

Человеком, озабоченным единственной мыслью: как бы прожить без забот? И без хлопот. Задумался Ася: машину бы, чтобы не позволяла задумываться ни над чем на свете!

И нашлась-таки для него такая машина — мотоцикл «Ява».

Теперь «Ява» грохотала под Асей ежедневно, нередко и по ночам. Ася гонял ее по улице, то и дело бросая руль и раскидывая руки в стороны — артист! Асина борода трепыхалась на ветру, словно рыба на крючке. Асины глаза слезились и ликовали от этих слез, с Асиного лица не сходило выражение восторга, словно он каждую секунду выигрывал еще один мотоцикл в «Спортлото».

Теперь Асе было семьдесят с небольшим, но это небольшое — бушевало на моторизованных скоростях, внушая ему восторг, а всем окружающим великий страх: «Ася гоняет! Ребятишек берегите — Ася гоняет!»

Не однажды Ася убивался будто бы насмерть, но это только казалось, он оставался живым и еще наращивал скорости, и трудно было представить, каких пределов он достигнет, если доживет до ста лет. А чего бы ему и не дожить, беззаботному?

Самое удивительное, что в беззаботности Асиного лица сохранилось что-то человеческое...

Я не раз присматривался к Асе, когда он «гонял», не раз пытался схватить это выражение и заметил: Ася представлял собою не только человека, но и человечество! Факт!

Вот как я исказил Асю, когда заметил в его жизни один только случай женитьбы-разженитьбы, а больше ничего не заметил!

Вот какой дал ему повод писать в «Читатель и писатель»!

И он с тех пор пишет, пишет — всякий перерыв между мотогонками пишет, будто бы курам на смех.

Сегодня — курам, завтра — курам, а там дошло до кого-то, кто очень сознателен по части народного самосознания, и вот уже тебе начинают объяснять, что такое глас народа и что из него следует.

Мало того, что объяснять, но не исключено, что может быть и по-другому:

«Выступление — обсуждено».
«Внимание — обращено».
«На вид — поставлено».

Вот что не исключено, да...

Но я и без всяких объяснений знаю: грешен перед земляком, упустил великий факт... Знаю, что в средние века народ поколачивал своих артистов и художников, обливал дегтем, а по дегтю лепил перья домашней птицы...

Знаю, но собственное сознание вины у меня все то же: упустил факт! Выражение Асиного лица упустил!

— Земляк! Ты меня уважаешь?— допытывается Ася.— Земляк! Павлуша! Нам бы третьего кого сию же минуту! Кого там машина выкликивает — может, подходящий и свойский номер?

Нет, следующий номер отнюдь не свойского порядка.

С ним не сдвоишь, не строишь, с ним вообще никаких коммуникаций.

Это № 1111.

— Глубже вникайте. Нельзя вникать неглубоко.

И хотя бы он был один, так нет же, я давно заметил, что такие всегда держатся кучно, на улицах и среди людей по одному не появляются, и № 1111 тоже не один, с ним № 1111-дубль.

— Познавайте... Нельзя вникать поверхностно.

Оба вместе, синхронно:

— Нельзя упускать из вида: жизнь — сложная штука! Оч-чень сложная шту-ка...

Ну как в самом деле им не знать эту шту-ку?! Она у них с младенчества в карманах джинсов находится — родители положили. Родители — мама деятель искусств, папа — вечно молодой писатель, и вдруг не знали бы, что делали?

У одного, у № 1111, родители знающие, а у другого будто бы несмышленыши?

Не может этого быть! Тут достаточно знать одну биографию, одну родословную, а другая тотчас и запросто подверстается. Уж это точно, на то они оба-два и дубли!

И вот они оба молоды. Оба знают, что делают. Оба говорят таким образом, что и не схватишь, кто из них какие именно слова произносит. Оба произносят:

— Отдавая должное вашему таланту, мы вас включим...

И снова нельзя понять: куда «включим»? И в каком смысле я должен отвечать,— в смысле «спасибо — да» или «спасибо — нет»? И почему это «мы»? И почему они, а не кто-то другой могут меня куда-нибудь включать или не включать?

Никто этого не знает, но они, оказывается, знают прекрасно:

— Вас не только можно, вас нельзя не включить...

Вот самое существенное — можно или нельзя, а куда можно, куда нельзя, это дело вполне второстепенное.

Не зная ничего, кроме «можно» и «нельзя», они тем самым знают все на свете: где и что строится, где и что организуется, где и что вычисляется... Как обстоят дела — плохо или хорошо — в Непале, Бурунди или в Тринидаде. Знают, как можно сберечь картошку в овощехранилище, как нельзя расчищать водохранилище, как пользоваться книгохранилищами (насчет хранилищ они мастера), что можно и что нельзя любить, что можно и что нельзя ненавидеть — все это их компетенция. Их специальность. Их темы кандидатских и докторских, которые так и могут называться: «Что такое — нельзя, что такое — можно».

«Нельзя — можно — талант!» Еще лаконичнее: «Немоталант»!

Примитивную, но никак не бесхитростную тайну этой талантливости я открыл для себя почему-то очень не скоро, может быть, только сию минуту: дело вовсе не в том, что немоталант хоть что-то знает, хоть о чем-то хоть какое-то имеет представление,— да ничего он не знает!— но все и всяческое незнание он с лихвой восполняет безошибочным умением сказать «нельзя» или «можно» о любом предмете.

И все! И точка!

Если бы дело касалось только их, но вот уже и я тоже задумываюсь: «Как я живу?»

Так я и живу между «можно» и «нельзя»,— отвечаю я себе. «И все! И точка! И вот они, глядя на меня, №№ 1111 и 1111-дубль, молчаливо обосновывают философию: «Ты что, может, сам выбирал своих родителей? Или место своего рождения? Или день, год, век своего рождения? Может, ты сам себе назначаешь время своей смерти? Это ты назначил себе сегодняшнее число? Зачем же тогда ты хитришь, изворачиваешься, дескать: «Ну, полежу в реанимации, ну, посуществую с полгода на инвалидном положении, ну, как бы ни было это противно, отложу все свои текущие дела и замыслы — так мало ли что бывает? Еще как бывает?!» Разве это не твои мысли? Или мы ошиблись, и они в самом деле не твои? Имей в виду, мы так редко ошибаемся, а главное, нас так невозможно уличить в наших ошибках, что спорить с нами — занятие совершенно бесполезное!»

— А если поспорю?

— Ах какой дурак, ах какой дурак, а еще умный! Не понимаешь, что «нельзя» и «можно» — это всеобщее благо! И твое тоже! Попробуй-ка поживи без них хотя бы день. Пробовал?

Я молчу.

Я действительно пробовал, и действительно никогда не получалось даже по небольшому, даже по личному поводу не выходило, а если и выходило, так позже выяснялось: день-то был пропащим! Дурной был день, когда я совершенно забывал про «можно» и про «нельзя»! Много было у меня таких дней, признаюсь, ну так вот я и отбрасываю копыта почти что в молодые годы!

Вот на какую золотую жилу напали №№ 1111 и 1111-дубль!

Я их спрашиваю:

— Жи́ла?

Они отвечают:

— А мы не знаем. Не хотим. Мы знаем «нельзя» и «можно», а дальше думай сам, если пришла охота. Если успеешь!

Но я задаю еще один вопрос, я ведь очень любопытный человек и вот остаюсь им до конца:

— А вот скажите, знатоки, что раньше погубит мир — «можно» или «нельзя»?

— Нельзя задавать такие вопросы! — отвечают они.— Ни в коем случае нельзя!

И тут, не знаю, на их ли счастье или на мое — на мое едва ли, потому что какое у меня нынче может быть счастье? — подходит следующий номер.

Без какой-нибудь цифры, а просто так подходит, поскольку он внеочередной.

И я против его внеочередности — редкий случай, редчайший — ничего и не имею против.

Внеочередной и без цифры:

— Смотрел вас — понравилось! Читал вас — понравилось! Слушал вас... не сказал бы, чтобы...

Так и есть, и сам знаю, что оратор я «не сказал бы, чтобы»! Но внеочередной-то? Который представитель небытия, а ведет себя настолько как ни в чем не бывало, что делает критические замечания в мой адрес?! Человек оттуда, где нет ничего кроме пространства! Вернулся оттуда, из пустой бесконечности, сюда — в бесконечность предметов и после этого смотрит наши земные кино и читает наши книги?! Не догадывается, что человек-то он уже не земной. Мне, что ли, догадываться за него?

«А вот не буду! — внутренне протестую я. — Не буду догадываться! Мне больше всех не надо! Мне здешних дел хватит, в них бы мало-мальски разобраться!»

«Будешь! — утверждает взгляд внеочередного. — Будешь!»

А на что, собственно, он в этом утверждении надеется? На мое мальчишеское легкомыслие, на подростковую самоуверенность?

Так я и сам не рад этой самоуверенности, но как в искусстве без нее? Я знаю, что так случается: мир для художника еще существует, а вот искусства в нем уже нет. Потому нет, что художник столько узнал о людях, столько о них передумал, до таких дум додумался, что уже ничто больше не укладывается у него ни в какое построение, ни в какой сюжет, ни в какую схему, хотя бы и в самую расхудожественную. С Гоголем разве не так было? И с Толстым? Но я-то не Толстой, не Гоголь, вот и надеюсь до этого случая не дожить, до конца сохранить свою подростковую самоуверенность, свой спасательный круг, свою веру в сюжет.

Так, может быть, и он на это же надеется, когда утверждает: «Будешь!» Но я не понимаю, не совсем понимаю его. Человек-то уже не земной, не совсем земной, а туда же — суется в мои земные дела!

И заставляет, и заставляет меня, земного, о нем, неземном, думать! Как будто это входит в мои обязанности!

И не только о нем, внеочередном, но и о мире, в котором он побывал,— ведь ни один человек не создан отдельно от мира?

Еще когда я был мальчишкой, а люди не бывали в космосе, я уже догадывался о том, что космос существует, но догадывался не наяву, а во сне...

Сны бывали о чем-то огромном, что я никак не мог тогда назвать, никак не мог себе представить, никак не мог не только понять, но и думать о «нем» тоже, да и теперь думаю с величайшим трудом, пытаясь вообразить нечто, чему нет ни начала, ни конца, и потому «оно» само себе начало и конец, нечто безусловное. «Оно» само по себе условие своего существования, ни от чего другого не зависящее.

Еще я думаю, что очень естественны эти сны, это состояние сновидений, иначе, пожалуй, и быть не может, ведь космос так близок к нам! Сибиряк, бывало, запрягал пару лошадок и погонял как раз на это расстояние поторговать в базарный день маслом, медом и кедровыми орешками, а нынче городской житель за рубль двадцать едет электричкой на дачу, незаметно минуя километраж, снова соответствующий расстоянию от Земли до космоса.

До повышения цен на такси удовольствие стоило около десяти «эр», да и теперь, вздохнув потихоньку, можно сказать таксисту громко и весело: «Ну, что там ехать-то?! Меньше, чем до космоса!»

Так и есть, мы всегда чувствовали космос над головой, а от этого в наших головах и организмах происходит, вероятно, множество явлений и сновидений тоже, и вот теперь, под занавес, перед уходом из здешней жизни, мне страсть как хочется проверить свои сны и мысли в беседе с человеком, который, будучи «оттуда», тем не менее смотрел меня здесь, на Земле.

Я ему понравился, когда он смотрел меня по телевидению,— немаловажное обстоятельство!

Хочу ему довериться!

Хочу узнать, что там, в космическом безмолвии, слышно о ближайшем будущем, о войне и о мире? Что и как там думается человеку о заключительном акте Хельсинкского соглашения? О политике Китая? Как

там ощущается нынешняя человеческая трагедия и долго ли она еще протянется?

О себе-то я хорошо знаю, что мне осталось, а всем остальным людям?

Теперь мне кажется, что я всю жизнь хотел поговорить с кем-нибудь на этот предмет — о существовании человечества, что это несбыточное желание и было той необъяснимой печалью, которая известна человеку с детства, и вот представляется такой случай!

Но я стесняюсь задавать вопросы неземному человеку... Словно ребенок, словно я не заканчиваю свою жизнь, а только-только начинаю ее и для начала боюсь прослыть «почемучкой», боюсь, что мне и сейчас ответят: «Много будешь знать — скоро состаришься!»

Значит, я слишком земной для такого разговора, для таких вопросов?

Я и за него, за человека «оттуда», стесняюсь: и он тоже слишком земной! Для ответов на такие вопросы — слишком!

Лицо открытое, смелое, героическое, если хотите... Хорошее русское лицо, но ничего не помогает, все равно стесняюсь!

И чувствую, что он не столько склонен мне отвечать, сколько спрашивать и требовать.

«Будешь!»

«Будешь думать не только обо мне, человеке «оттуда», но и за меня, ведь ты художник! Ведь ты меня должен изобразить! Вот и будешь, будешь, будешь!»

Итак, я его обманываю: он не знает, что я не буду делать этого, потому что вот-вот вообще не буду, и мне становится весело и даже легко!

Мне становится так же легко, как моему земляку, который гоняет на мотоцикле по деревенской улице и еще бросает при этом руль и безмятежно раскидывает руки в стороны!

Артист!

Да что это за жизнь, черт возьми, что это за конец жизни, когда от встреч невозможно отбиться?!

Я, когда был жив по-настоящему, был жив так, что не думал о смерти, я тоже мучился нашествием образов, их жадностью, алчностью и пробойной силой.

Верите ли, я даже мечтал об одиночном заключении на недельку-другую и даже на год-другой, чтобы от них

скрыться! Чтобы прийти в себя и самого себя в кои-то веки почувствовать.

Так ведь и камера и строгий режим без свиданий — для них не преграда: не очно, так заочно они все равно явятся, может быть даже в еще большем число!

Значит, и тогда и даже теперь этакое самозаключение не более чем несбыточная мечта...

Мечты, мечты, где ваша сладость?!

Тем временем снова четыре шара одновременно ложатся в четыре лузы на четырех столах, и вот...

Знаю, знаю, знакомы, оба реальные, хотя машина, уложив шестнадцать шаров в шестнадцать луз одновременно, как будто бы застеснялась и оба номера, по которым я выигран этими двоими, произнесла с трудом, хрипло закашлявшись. Очень неразборчиво.

Хочешь не хочешь, надо разбираться в неразборчивости хитрой и, по всему видно, очень современной машины, называемой «Самолапом» («Самоуправляемый лотерейный аппарат»).

Итак, «Самолап» научно обеспечил мне эту встречу, в которой

Он:

неизвестные глаза под темными очками, не то собачья голова в очках, не то собачьи очки на голове, как бы врожденные очки, с такими родятся щенки чистопородных английских догов-мастифов — породы сторожевой, злой и сильной.

Живот у него круглый.

Усики а-ля... Одним словом, чье-то ярко выраженное а-ля (полжизни отдал бы, чтобы хрястнуть а-ля, но отдавать мне уже нечего). Разговор бессловесный, но все равно слышен голос из-под гробовой доски: «Не будешь...»

Его любимое выражение: «Нельзя жить, как кошка с собакой!» Но именно так он и живет, полагая себя за собаку, которой положен хороший служебный паек, а всех остальных, кто к этому пайку отношения не имеет, за кошек.

Она:

стареющий акселерат, анемичная злоба, головка рыженькая, крохотная и все-таки еще поделена пополам черной непрокрашенной полоской. И опять-таки бессловесный, но повизгивающий голосок убедительно подтверждает: «Не будешь! Не будешь! Не...»

Предполагая себя больной, ненавидит все здоровое, все то, что не только преуспевает, а так хотя бы немного, притом исключительно за свой собственный страх и риск, успевает.

Гости моего дома...

Я спросил себя когда-то: как это изобразить? Спросил и, значит, тогда же, в том же миг пригласил их в гости.

Итак: «Не будешь!»

Чего-нибудь, да не будешь. Жить не будешь, смеяться не будешь, счастливым не будешь, здоровым не будешь, автором не будешь, спокойно спать не будешь: им для своего «будем» обязательно нужно чье-нибудь «не будешь», так они устроены.

И теории, и практики насчет такого устройства хоть отбавляй, потому что люди, как себя помнят, обязательно ищут поводов для ненависти — школьной и дошкольной, исторической и доисторической, начиная с какого угодно «от», а относительно «до» и говорить не приходится!

И кто-то ведь должен ее, эту неизбывную ненависть, воплощать?

Эти воплощают, и никакого замешательства, смущения, маскировки, ни малейшего желания выдать себя за что-то другое! Все наоборот: чем ненависть, чем нахальство в них явственнее, тем лучше, лучше, лучше! Если к тому же у страха глаза велики и страх преувеличивает силу этой злобы, тогда уже и отлично, и прекрасно, и красота-то какая! И продолжайте в том же духе, преувеличивайте нас! Никаких лимитов!

В растерянности я спрашиваю у себя: «Как понять? Разве это может быть? Наверное, это сверхъестественно?»

И дальше и дальше сам спрашиваю и сам отвечаю.

«Но эти слишком повседневны для сверхъестественности?»

«Кто сказал, будто сверхъестественное не может быть повседневным? И даже ежеминутным?!»

«Сверхъестественны наводнения. Землетрясения. Тайфуны. Иногда гениальные люди... А эти?»

«Тайфуны — это естественно, природно и не противоречит тоже естественному, человеческому разуму. Сверхъестественны вот эти двое с неразборчивыми номерами, с бессловесными словами, с тем, что, такие ничтожные, они могущественны, что они против приро-

ды и человека, и, существуя во множестве, вполне могут и то и другое погубить...»

«Тогда это то самое, что я не знаю и знать не могу — мои способности не соответствуют этому!»

«А если сверхъестественная повседневная злость и ненависть, проникающая от и до, от начала и до конца всей жизни, если она и есть твое главное произведение?»

«Была...— корректирую я самого себя.— Могла быть, пока я мог выбирать... А сейчас — какой у меня выбор?»

Как странно, я только что убедился, что не могу полагаться на свои мысли, что они слабы и не в состоянии оправдать моих надежд и запросов, что у меня уже нет ни надежд, ни запросов, но только дело коснется нового замысла, и меня уже ничто не удерживает, не смущает, я уже снова верю в свою мысль и полагаюсь на нее, и готов порассуждать о том, что еще я должен сделать в искусстве!

«Сила ненависти и нахальства,— думаю я,— состоит в том, что, само не размышляя, оно толкает к непосильным размышлениям других...»

«Ненависть,— думаю я,— не хочет знать ничего кроме самой себя, поэтому и ее тоже нельзя понять».

И вот уже я неожиданно для самого себя утверждаю:

«А все-таки этих двоих не может быть! Они только кажутся, только воображение, больше ничего! Ведь меня учили, и я тоже успел кое-кого научить: однозначных характеров не бывает! При знаке отрицательном обязательно ютится положительный! Диалектика! Надо искать в них положительное, вот и все!»

«А почему, черт возьми, во всех без исключения случаях я ищу диалектику, вместо того чтобы верить собственным глазам?»

«А если существует нечто неестественное, такое, в чем нет того, что обязательно должно быть?! Должен быть положительный заряд, а его нет и нет, хоть убейся, хоть измыслись до точки! Шекспир своим глазам верил и писал Яго, а я все не верю и не верю ни своим глазам, ни своим зрителям и читателям, подозревая их в неспособности поверить мне. Нет, право, с каких это пор очевидность стала таким трудным делом для искусства? С каких пор, снова спрашиваю я, оно боится «да» и «нет» как черт ладана? Гуманизм? Но разве Шекспир не гуманен?»

«Ну, хорошо, с Шекспиром я, как говорили, бывало, у нас в деревне, с Шекспиром-то я управился, а с этими двумя? Которых мне неразборчиво определил «Самолап»? Какие кукиши в карманах они, по всей вероятности, показывают мне: «Мы тебя знать не знаем, а ты в это время страдаешь от готовности нас понять! На то мы и существуем, чтобы такие дураки, как ты, ломали бы головы, существуем мы или нет! И что́ мы тебе сделали, если ты все еще жив?! А если и умираешь, так не по нашей вине. Во всяком случае, не только по нашей!»

Разве им объяснишь, что и от живых нередко можно услышать: «Я убит...»

Лично я бывал убит не один раз, а все еще не научился видеть тех, кто убивал меня, я все еще не столько вижу их, сколько о них рассуждаю... Не научился видеть законников, обладающих умением определять черту, до которой можно убивать и за которой нельзя, иначе вступит в силу уже не гражданский, а уголовный кодекс. Черта эта колеблется во времени и пространстве, находится то выше, то ниже, то вздрагивает приблизительно на одном и том же месте, а они зорко следят за ней через собачьи очки, прекрасно приспособленные для такого слежения, и действуют, действуют, действуют!

Те, тоже двое, которые лучше всех умеют произносить «можно» и «нельзя», не только на себя, а еще и на этих работают, им поставляют технику в беспроцентный кредит...

Но даже не этими признаками и задатками он и она меня поражают... Когда собаке удается вырвать клок из кошкиной шкуры, она не предполагает, что и после этого кошка будет относиться к ней вполне доброжелательно.

Но эти были собаками, глубоко уверенными, что они заслуживают только доброжелательства, что иначе быть не может, а если все-таки иначе, значит, они потрясены и оскорблены, значит «нас бьют!» ужасно и несправедливо! Хоть беги куда-нибудь на край света от этакого кошмара! На какой-нибудь Восток, на какой-нибудь Запад!

В свое время они покусали меня немало, а теперь:

— Ну что новенького, Павлуша? Как идет твоя молодая жизнь... на склоне лет?— Это он. (Точно знает все насчет склона.)

А она пудельковым голосом:

— Павлуша, когда нас покажешь? В наш полный рост? Нехорошо, Павлушенька, мы так давно и хорошо знакомы!

— Некогда... Времени нет. Здоровья нет.

— Ради нас — и ничегошеньки нет?

— Зачем вам?

— С ума сошел — зачем? Мы всем показываем, показываем, а нас кто покажет? В полный рост?

— Я на склоне...

— И на склоне не стесняйся! Поспеши! Ради нас! И вообще — ради человечности!

А по существу все это, весь этот разговор — это «гав-гав-гав! Гав-гав-гав!» на два голоса.

Разве искусству свойственна спешка? И суета сует?

— Товарищи участники фестиваля, присядем, а? Товарищи прообразы? А? Я так устал, так невероятно устал... И сердце болит. Как при инфаркте...

Не хотят...

Спешат.

И «Самолап» спешит. Техника спешит, мчится сломя голову — так у нее это в крови и в природе. Но, снова спрашиваю, искусство-то какую ракету построило после Шекспира? Какую открыло красоту после Пушкина? Какую химическую реакцию осуществило после Достоевского? Какой двигатель после Толстого? Какую интеллигентность после Чехова?

Ну конечно, каждый начальник требует всестороннего обслуживания, почему же современности не требовать собственного искусства? Только сама-то современность — что? Исключите технику, что от современности останется? Останется немногое, но она все равно требует и требует всего своего собственного, без отца нажитого! Как будто до нее не было ни искусства, ни литературы!

Какие ножницы между способностями и потребностями! Всем ножницам ножницы, всем проблемам проблемы, всем институтам и наукам институт и наука!

Про любовь сколько написано? Шекспиром? Сервантесом? Достоевским? Тургеневым? Толстым? Флобером?

А также членами Союза писателей А...м? Б...м? В...м? Г...м? Д...м? Е...м? Ж...м?

И так далее.

А кем написано о дружбе двух мужчин?

Что-то ничего такого не припомнится...

В мемуарной литературе — да, было дело.

А помимо мемуаров было ли?

Почему так? Думал, думал и вот что подумал...

А ведь исчезнет моя дружба с другом, стерта будет с лица земли, если какой-нибудь пройдоха или гений ухитрится о ней написать, изложить ее — она неприкосновенна для слова.

Любовь к женщине не существует бессловесно, и это в природе самой любви. Что такое любовь без песни, без рифмы, без слова? Она без них умирает, а прежде чем умереть, долго и мучительно страдает дистрофией.

Но если два друга дважды в неделю объяснятся в дружбе, она начисто погибнет. Для нее нет ни запретных слов, ни запретной темы и боли, но разговор о самой себе — это ее табу за семью замками. Мы — я и мой друг — это знаем. Я и мой друг никогда не потрошим друг друга. Мы не совсем объективны — я возлагаю на друга слишком многое. «Вот умру, думаю я, и ни сыновья, никто иной не продолжит меня ни на шаг, а друг, может быть, сможет? Сделает попытку? Постарается от души?»

Продолжит или не продолжит — вот в чем вопрос. И я отвечаю на него положительно.

Мой друг, в свою очередь, то и дело преувеличивает меня.

Однако для каждого из нас обязательно должно быть на свете нечто такое, что необходимо преувеличивать.

Друг — единственный человек, которому доступны мои волны, а его волны доступны мне, но мы понимаем, что наши радиоприемники все равно должны работать каждый на своей волне.

Друг — это КПП моей фантазии, которой я, в общем-то, побаиваюсь: как бы не уволокла так далеко, что уже и руки окажутся коротки достать реальную действительность! Тем более что действительность сама без конца потакает фантазии... Ну вот хотя бы: сидя за столом, легко выдумать тысячи самых невероятных характеров, и все равно каждый из них, от начала до кон-

ца выдуманный, найдет среди человечества своего реального собрата, свою живую копию — так разнообразна человеческая природа. Но в чем-то это не меняет дела — и вот характер должен быть не выдуманным, а увиденным.

И, значит, КПП моего друга на пути моей фантазии все равно необходим!

Кроме того, друг — это еще и ОТК окружающей меня действительности, он помогает мне обнаруживать в ней брак, предъявлять к ней истинные нормативы. Я и сам это могу, один, но для одного это слишком много. Для двоих — уже поменьше. И полегче.

Друг знает больше меня, а я, кажется, больше его умею.

Друг не только знает больше меня — иногда он знает и за меня...

Ах, как это необходимо, чтобы кто-нибудь что-нибудь знал за тебя!

Когда можно спросить: «Слушай, друг, а я правильно ли поступаю?»

Или вот вчера до полуночи спорил сразу с троими, а сегодня чуть свет звоню другу: прав я был или не прав. Я знаю, что друг умеет меньше меня, но дело не в этом, а в том, что иногда он опять-таки умеет за меня.

Я жмусь-жмусь у телефона — неудобно звонить, неудобно объяснять, неудобно просить и быть обязанным, и вдруг друг: «Давай-ка я! Мне это проще!»

Мы дружим с детства, и, как я его помню, он всегда таким и был — знающим. По-другому сказать — догадливым.

Как это у него получается, что он сидит дома, читает книги, немного пишет, почти ни с кем не общается, а все равно лучше меня знает, что делается вокруг, что делается у нас на студии, что делается со мной?

Иной раз и сам не знаешь, то ли ты от друга слышал о каком-то событии, то ли в действительности был его участником и свидетелем?

Вот так: «Плыл на пароходе, плыл мимо Нижнего и слышал такой-то спор-разговор, а потом...»

А потом оказывается, что я не плыл мимо Нижнего, а это только друг рассказывал.

Когда мы были мальчишками и гоняли мяч в техникумовской команде, он не гонял никогда, но почти все-

гда был судьей, и мне кажется, что от этого детского судейства все и пошло — вся нынешняя догадливость, наблюдательность, умение рассудить, кто прав, а кто виноват...

Друг знает беду и неизменную привычку моего умения и считается с ней: я серьезно говорю о серьезном. Говорю без грима и театра. Для меня важен не столько подтекст, сколько текст. Был бы текст — подтекст найдется!

Все художники, невеликие и великие, тоже были актерами, хотя и заблуждались на этот счет — невеликие меньше, великие больше... Великие так были погружены в свое собственное искусство, с такой серьезностью и одержимостью, что им казалось, что они — только оно, и ничего больше. Что театр — это что-то совсем для них постороннее и чуждое. Но разве Ван-Гог не был актером? Разве не были ими Диккенс и Толстой? Если я создаю чей-то образ, значит, я перевоплощаюсь, значит, играю и актерствую. На подмостках, на глазах толпы актерствую или в отшельничестве за письменным столом, за мольбертом — не все ли равно? И там и здесь артистизм!

И я точно знаю, что я актер, и что написал, то и сыграю, что мысленно сыграл, то и напишу, я чувствую по себе, что театр — самое дре́внее искусство, древне́е азбуки, и во мне живут его гены, а ведь это же несказанная радость, это необходимость протягивать руку прямо к своей природе, к своей альма-матер! Вот разденусь, останусь в одном только фиговом листочке, в одну руку — дубинку, в другую — погремушку, и оторву доисторического трепака: у-у-у-ту-ту-ту-ту! И это буду я.

А нынешний модерн — тоже почти догола, тоже в одну руку микрофон, в другую погремушку: ту-ту-ту-ту-у-у! Какая разница, ведь это все тот же театр!

Какая разница — ведь и тогда и теперь человек обязательно хочет быть не самим собой, или — не только самим собой, и вот в пляске ли у костра, или перед объективом киноаппарата он изображает кого-нибудь: бога, черта, зверя, птицу, змея или другого человека: ему скучно с самим собой. Ему не хватает самого себя, а он — жадный, он как только поймет, что ему чего-то не хватает, то уже и места в этом мире не может себе найти!

И хотите — верьте, хотите — нет, а только сидит во

мне цепкий ген искусства всех времен и народов! Вот и сейчас мне все еще хочется и написать и сыграть человека, который — все, который и доисторичен и современен. А что? Ведь мы почему не мудры? Только потому, что у нас короткая память. Мудрость — это память, но я уже забыл, какую радость доставил мне мой первый огонь в моей пещере, какие надежды переживал я, глядя в мой первый костер, и потому, что забыл все это, нынче не задумываясь уже готов уничтожить огнем своего противника. Я стал мастером по части забывчивости, стал в этом деле большим искусником, несмотря на то, что мне так хочется приобщить к себе те времена, в которые еще не было специалистов по народным танцам, а были танцы, когда не было актеров, но были зрелища и театры.

Почему же я, откровенный актер, играю без грима и театра? Кто меня этому научил?

Помнится, я далеко не сразу догадался — кто.

Кто?

Слышу сзади шорох, мне закрывают глаза сильными крупными ладонями.

А чего догадываться-то? Я знаю, кого мог привести с собой в этот существенный для меня день и час мой друг ко мне в гости...

Знаю, но не говорю, не отгадываю, в моем распоряжении пока еще есть свободные минуты, и, только с удовольствием повременив, я говорю:

«Ну, будет, будет шалить! Я же ведь сразу догадался — кто!»

Конечно, он — век Девятнадцатый!

К кому же еще я так причастен?

Кому так же обязан?

От кого произошел?

От кого моя беда и неизменная привычка серьезно говорить о серьезном?

Все это может быть у меня только от века XIX!

Все, что для меня мой театр и мое искусство, заложено им же!

До него художники творили театр мифический, религиозный, инквизиторский — любой, после него театр абстрактный, условный — опять-таки любой, а он, видите ли, один выискался: подай ему реализм, подай конкретную да притом еще и логически обоснованную действительность! Хоть скулы тебе сведет от скуки и логики, все равно стоит на своем! В театре — подай,

в литературе — подай, в живописи — подай, в музыке и в той — подай!

Правда, сам для себя он никогда скучным не был, меланхолия была ему чужда, равнодушие тоже, он был существом деятельным, целеустремленным.

Так я думал, и уже давно, и мой друг мои мысли и соображения резолюцией своего ОТК — «Утверждаю» — утвердил!

Было время, я преподнес своему другу доклад такого примерно содержания...

Вот мы с тобой в прекрасный день на берегу прекрасного Неаполитанского залива, докладывал я другу, а к берегу подплывает человек в доспехах, он задыхается. Из самых последних сил он выгребает на берег, но тут его закалывает вооруженный до зубов преторианец: никто не должен спастись, никто не должен остаться в живых, кому по сценарию положено утонуть! Вот это театр, вот это реализм: идет «навмихия», представление, в котором двадцать тысяч вооруженных рабов разыгрывают морское сражение! И все погибают!

Так нравится публике на берегу залива.

Феерия, яркие паруса кораблей, драгоценные костюмы — одним словом, театр... Интересно, кто в те времена составлял секцию сценаристов и драматургов Союза писателей и каковы были их гонорары?

Это был век Первый нашей эры, и почему бы нам не оглянуться назад?

Вот мы и оглянулись.

А почему бы не заглянуть чуточку вперед? Заглянули. Век Двадцать Первый, и в мире ежечасно создается по одному полнометражному фильму, и вот уже не десятки тысяч, а миллионы людей преследуют друг друга, расстреливают, грабят, убивают, насилуют, кончают самоубийством, любят, изменяют, карабкаются по крышам небоскребов, прячутся в пещерах, бешено носятся в автомашинах, садятся в самолеты, чтобы никуда не лететь, и в поезда, чтобы никуда не ехать, потому что все это происходит только перед объективами кинокамер, все ради того, чтобы другие миллионы других людей смотрели на этих через экран.

Разве это многомиллионное кривляние не жестоко?

Разве оно не растрачивает настоящую жизнь, не

принижает и не убивает ее? Жизнь и актерствующих и зрительствующих людей?

Вот он сидит у телевизора, зритель, сидит и смотрит на изображение человека, который в десять раз глупее, чем он сам, а все равно он смотрит и смотрит... И получает удовольствие.

И если пора ужинать — отложит ужин, и от собственного сна оторвет час-другой, хотя прекрасно знает, что назавтра будет себя за это ругать.

Но ведь скучно же с самим собой!

И чем больше он упрекает мир в многолюдии, чем больше многолюдие его пугает, тем меньше он может обходиться самим собою.

Тем все дальше и дальше он уходит от самой возможности отшельничества и даже — от мысли о нем. А ведь только оно одно и может противостоять многолюдию. И — театру.

Только оно одно и честно, и последовательно, и безусловно, потому что оно — само по себе, потому что любое общение между людьми — уже в чем-то условно, уже — не совсем правда, уже — ложь...

Быть может, самая великая роль, предназначенная для самого великого, еще никогда не жившего на свете артиста — это роль отшельника?

Кто — сыграет? Бас?

Никогда!

Я?

Ни за что! Не смогу, не дорос, не успел дорасти. И не успел бы никогда! Как на духу: не успел бы!

(И если мы — Бас и я — на равной ноге, так наше равенство и братство в этом и состоит — в этом неумении.)

Ах, логика искусства! Логика искусствоведения! Ау! Ау!

Я слишком люблю театр, чтобы думать о том — а что ему должно противостоять?

Я только знаю, что ему должно быть какое-то противопоставление!

И потому что все тот же, все тот же век Девятнадцатый пытался соединить театр с повседневной жизнью повседневных людей, с логикой и разумом,— как же мне этот век миновать, как не испытать к нему чувства благодарности?

Как не испытать, спрашивал я в своей докладной, и друг ответил: «Утверждаю!» — и поставил знак ОТК.

Спасибо другу, пусть мои мысли трудны для меня, но, если мой друг заверил их подлинность, мне уже гораздо легче жить на свете. И еще больше хочется верить странному парню — Девятнадцатому веку...

Не то смутьян, не то праведник. Нет, не знаю! Люблю, а понять не могу... Все-то он знал, а главное, всех учил и все предвидел. Вернее, думал, что предвидел. Все его великие деятели к девятнадцати годам были усаты-бородаты, сам же он так и остался, должно быть, безусым.

Уж этот шалунишка Девятнадцатый век!

Этакий фантазер, вундеркинд, на редкость способный юноша, подавший человечеству бесчисленные... надежды!

Менделеев — разве не надежда?

А Лобачевский? А Гёте, Пушкин, Лермонтов, Толстой? Бетховен? И так без конца, что не имя — то страстная надежда, что не имя — то и надежда страсти!

Какой бы, в чем бы ни возникал идеал, он всегда был для этого парня рукой подать!

Самодержец посмотрит спектакль «Ревизор», и все! И можно будет обойтись без революций и Сенатских площадей, он сам все поймет, сам все изменит к лучшему и прекрасному!

Выстрелить в императора на Сенатской площади — и воспрянет народ, и вот оно, светлое и опять-таки прекрасное будущее!

Сколько он сделал научных открытий? Не перечесть! И все с надеждой на светлое будущее.

А с чего начал на заре своей туманной юности?

С Наполеона начал.

И пошел, и пошел: войнам счета нет, восстаниям — тем более. Восстания он как орешки щелкал.

А какой букет революций? Французских, германских, итальянских, испанских, балканских!

И русских.

Россия, по своему обыкновению всюду опаздывать, припозднилась и здесь, спохватившись уже за пределами этого века: да что же это она? Неужели так и будет сидеть-вековать с византийской империей в объятиях?

И сделала по-своему — не по-азиатски, не по-европейски, а по-своему. За десять дней потрясла мир, не говоря уже о последующих декадах, месяцах и годах!

И все это было не чем иным, как веком Девятнадцатым, это его была рука. «Рука Москвы».

Он-то и застрял у меня камнем в печени, этот парень. Оперироваться, что ли? Нет, пропущен срок, раньше надо было думать, а теперь умру с этим огромным камнем в печени! С большущим, больше меня самого!

Вот и нынче, только стало мне тошно в моем доме, только заныл-засвербил камень в печени, тотчас явился друг. Обходным путем, без №, без «Самолапа», но вовремя, истинно так, как являются друзья. И не один явился-то!

А мне ни слова: какой это друг, который будет говорить при всех, тем более при всей этой фестивальной компании? Будет объяснять, зачем и почему он пришел?

Он здесь — вот что важно!

Он рядом!

У меня два подлинных друга — мой друг и XIX век, и они оба все еще поддерживают меня на моей радиоволне.

И, должно быть, потому, что в моем доме появился мой друг, «Самолап» тотчас громко вызвал счастливый «№ 7» — приятное число!

— Привет!

— Пливет.

— Сколько лет?

— Завтла будет семь!

— Как зовут?

— Ладомил...

— Ладо... ладо? Мил... мил?

— Говолю же: не ладо, а ладо. Не мил, а мил. У вас какое облазование?

— Радомир! Так бы и сказал!

— Так и говолю.

— А кем ты будешь, Радомир? Когда вырастешь? Ты еще не решил?

— Дипломатия, алхитектула.

— Почему дипломатия?

— Склонность к языку.

— Мда... А как насчет произношения?

— Главное — не ластеляться!

— А почему архитектура?

— Пелспективно...

Пауза, и я рассматриваю Радомира.

Рассматриваю. Тактично расспрашиваю.

— Ведь ты, маленький, хочешь со мной поговорить?

— Само собою...

— А ко мне во-о-он какая очередь!

— Какая?

— Машинная!

— Так-так-так! — потирает Радомир свои ручонки. — Это сущие пустяки! Вот так: когда я со своей мамой, моя мама всем объясняет — вот она с маленьким! И все! И после этого идет, куда мы желаем. Ну, а если маленький совсем один — без мамы? Он тем более идет куда желает и подходит потолковать к тому, к кому желает подойти. Вот я подошел к тебе для сельезного лазговола, но пли одном условии...

— Вот как? Что же у тебя за условие?

— Если мне будет скуцно с тобой, тогда толковать буду я, а ты будешь внимательно слушать. Ясно?

И Ладомил-Радомир снова произносит «так-так-так!» и потирает ручонки, а я, кажется, склонен ему позавидовать: он понимает даже больше того, что знает, а ты жил-жил, узнавал-узнавал, а наступает момент подбить бабки и не можешь сообразить: а понял-то что?

Аккуратненькие шортики, прическа «молодежная» и те самые голубые глазки, о которых говорят — чистый лист бумаги, записывай все, что хочешь! А может быть, и не все, что хочешь... Он тоже рассматривает меня.

— Какое облазование? Все-таки?

— Почему, Радомир, тебя интересует мое образование?

— Век такой! В шахматы иглаете?

— Играю.

— Какой лазляд?

— Разряд? Это не имеет значения!

— Напласно не имеет! А в искусстве вы какой — заслуженный или обыкновенный?

Поскольку я снова избегаю ответа и создается пауза, он сообщает некоторые сведения о своей персоне:

— В детском садике по алгебле — пять. Вцела полуцил. Сегодня утлом читал Элазма Лоттелдамского. Интелесно.

Вторая пауза.

— Ты Сенеку не читал, Радомир?

— Послезавтла буду.

— А не скажешь мне, почему ты здесь? В этом доме? Среди этих людей?

— Я ваш плообłаз. Конецно. Забыли? У вас какое облазование?

Оказывается, с буквой «ч» Радомир тоже не в ладах. Но и то верно, что я не в ладах со своей памятью: неужели Радомир и в самом деле мой прообраз? Что-то припоминаю, но что — не знаю. Зато слово «припоминать» мысленно произносится у меня как «плипоминать».

Третья пауза, после которой я пытаюсь выяснить хотя бы некоторые обстоятельства этой встречи.

— Ну, хорошо, ты мой прообраз. И ты знаешь, кто все эти люди, которые мои гости?

— Снацала выясним, для кого все они «кто»? Для вас? Или для меня?

Когда в словах не встречаются роковые «р» и «ч», выговор у Радомира удивительно четкий. Когда же они встречаются, не только он, но почему-то и я начинаю путаться.

— Пледположим, для меня?— спрашиваю я у Радомира.

— Для вас это ваши гости, котолые хотят, цтобы их цем-нибудь угостили. Понятно?

— Понятно. А кто мои гости для тебя, Радомир?

— Еще не лазоблался. Нужно влемя, цтобы лазоблаться.

— Так я тебе подскажу: это все твои воспитатели!

— Слишком дологое удовольствие! Не плавда ли?

— Прикинем! В детском садике у тебя есть воспитательница?

— Девяносто лублей в месяц и ответственная лабота. Конецно, мы, детсадовцы, будем шилоко ставить воплос о залплате дошкольных лаботников.

— Дальше, дальше, Радомир. Родители тебя воспитывают? То есть папа с мамой?

— Безвозмездно.

— Школа? Будет воспитывать?

Радомир что-то соображает, быстро шевелит розовыми губками, а я подсказываю:

— Само собою разумеется!— И тут же ставлю следующий вопрос:— АПН?

— Агентство Пецати Новости? — уточняет он мой вопрос.

— Академия педагогических наук! Ну, и еще многое другое!

— И длугое... И много длугих, да?

— Множество! В том числе и все мои гости, все они — твои воспитатели. Они воспитывают тебя по радио и телевидению, по книгам и газетам. И уже давно.

— Как себя помню! — соглашается Радомир.

— Выделжишь? То есть выдержишь, я хочу спросить?

— Конецно.

— Поцему ты так уверен?

— Пливыцка! То есть при-выч-ка!

И тут я догадываюсь. Радомир-то — действительно мой прообраз! Осенило! У меня ведь был такой замысел — пройтись с записной книжкой или со скрытой кинокамерой по всем этажам воспитания, сделать вертикальный разрез: детский сад — семья — школа — Академия педагогических наук! Но мне не хватало главного персонажа. И вот он явился, мой дорогой Радомир! Пусть не я, а он идет по этажам, пусть не я, а он делает разрез, объясняется со своими воспитателями! Гротеск? Конечно. Однако же не гротеск меня удивляет, удивляет другое: я вспомнил замысел, которого у меня никогда не было! Я точно помню, не было! И точно знаю, что я его вспомнил!

Я взволнованно объясняю Радомиру мое творческое состояние, очень странное для текущего момента, и при этом вместо «р» всюду произношу «л», он меня успокаивает: «Ницего особенного!» Тем не менее паузы в нашем разговоре становятся все чаще, а личико моего собеседника то и дело краснеет. «Детское смущение! — догадываюсь я не без чувства нежности к Радомиру.— Все-таки оно!»

— Ты куда-то толопишься, мой Ладомил? — спрашиваю я.

— Не толоплюсь, но на голшоцек оцень хоцется!

И мы прощаемся, и я спрашиваю его: а надеется ли он на собственные силы? Такой молодой, уже успел из Двадцать Первого века прямо сюда, в гости! Крошечный представитель грядущего? Или чего-нибудь другого?

И Радомир отвечает:

— Конечно! Главное — не р-р-растер-р-р-ряться!

И он уходит на горшочек.

Я смотрю ему вслед...

Он торопится на горшочек, но отнюдь не настолько,

чтобы потерять свое достоинство, не разобраться в обстановке. Конечно, он не наденет собачьи очки, однако же, поторапливаясь, он очень внимательно присматривается к талантливому Басу, к №№ 1111 и 1111-дубль и к другим гостям.

Мои подчиненные, мои минувшие действующие лица, непрерывно машут мне:

«А мы?! Да что же это такое, в конце-то концов, нас вовсе нет, что ли? А мы?»

Я им тоже делаю один-другой жест:

«Подождите. Все еще не до вас! Объяснял уже русским языком: не до вас!»

Тогда они выдвигают из своей среды на передний план одну хорошо знакомую мне фигуру: «Ну, а что ты скажешь теперь? Что ты скажешь этой фигуре? А?»

«А я?» — усиленно машет мне эта фигура.

Ну что я, право, ей скажу, если она — это я? Я сам. Ведь я играл в своих фильмах? Ведь я был действующим лицом своих литературных произведений? Ведь я был сам себе замыслом? Был, да еще каким! Но я и на себя, курносого, с вытаращенными и даже негодующими глазами, тоже машу рукой. Сперва одной, потом двумя:

«Обождешь! Ничего с тобой не случится! Ну что, в самом деле, может случиться с бывшим замыслом? Который так или иначе, но воплощен? Который худо ли, хорошо ли, а исполнен? Что может случиться с тем, что было? Было когда-то?»

Нет, нет — мне действительно не до них! Мне не до самого себя бывшего, ведь я все еще — настоящий!

Вот уж умру, тогда другое дело...

И я оглядываюсь по сторонам, минуя взглядом всех тех, кто в дальнем углу. Всех и самого себя тоже...

Я замечаю, что среди других гостей, невероятно густо заполнивших комнаты моего нового дома, нет моих близких... Шел домой со старшим сыном, пришел один. И вот — никого. То есть знакомые — да, редакторы — да, директоры — да, прообразы — да, исполнители ролей, группа товарищей, сию же минуту готовых подписаться и даже написать некролог по случаю моей кончины,— да, да, да! А близкие — нет! Нет и нет!

Что должно быть близко, того как раз и нет!

В чем, собственно, дело?

Дайте мне жалобную книгу! Дайте самую жалобную на свете! Неужели я все еще не имею права ее получить и записать в нее кое-что от себя лично?! Неужели я не заслужил этого за всю свою жизнь?! Неужели я не могу высказаться по душам?!

«Я тебе, Павлушка, говорю, ты у меня дочитаешься!» Это матерью мне говорилось всякий раз, когда она отбирала у меня свечной огарок,— я с огарком забирался под одеяло и там читал.

И действительно я у нее дочитался, я дожил: литературно-экранные герои — вот они, бесчисленным тиражом, а где родные? Я боюсь этих тиражных — а если они заслонят меня от меня? И я стану ими и умру ими же, а не самим собой? Их множество подавляет меня все больше и больше! Это ужасно! Я боюсь! Я протестую!

— Дайте жалобную!— требую я.

Но не знаю, у кого требую. И чувствую, что оказался не в доме, а в Доме творчества. Тут тебе и актеры, и режиссеры, и прообразы, и критики — все под рукой, но где же все-таки мой Дом?!

Да, я знаю случаи, когда люди умирали в Домах творчества, но я не хочу, не хочу, не хочу такого случая! Я совершенно не готов к нему!

Все мои гости с интересом, с вожделением смотрели на меня, все разыгрывали меня по «Самолапу» в денежно-вещевую или еще в какую-нибудь, но я уже перестал их видеть. Перестал или хотел перестать, не знаю...

И вдруг увидел... Увидел сам, без постороннего вмешательства.

Такой женский возраст: девичество уже неразличимо и вперед забегает образ еще неблизкого и, мягко говоря, пожилого будущего.

Женский тип, стареющий неспешно, но задолго до старости.

Я это знал о ней.

Она тоже знала это о себе.

И спешила. И не делала секрета из своей поспешности.

Потому что никогда не шла дальше начала. Начало — какой же это секрет? С точки зрения секрета — недоразумение, а больше ничего.

Начало — вот была ее стихия и натура! Ее призвание и талант! Продолжения, завершения были ей чуж-

ды. Она как бы и не подозревала о них, и не знала, что они существуют. И вот мужчины, едва осведомившись на этот счет, обходили ее стороной: чего ради расшатывать собственную нервную систему? Ты будешь расшатывать, а ей хоть бы что?! Ты начинаешь ради полноты завершения, она же о завершении и знать не хочет. Младенец, да и только! Древо познания — а что это такое? А главное, для чего?

И ее обходили, эту обаятельную женщину. Безукоризненно владевшую не только словом, жестом, взглядом, вздохом, но и полусловом, полужестом, полувзглядом, полувздохом, всеми «полу» и «четверть» и «осьмыми». Все это было для нее как собственное сотворение мира. Сотворение, в которое сама по себе вписывается каждая нечаянная минута: чей-то голос в коридоре, за дверью комнаты, в которой происходит Начало; чей-то совершенно не к месту телефонный звонок, откуда-то взявшийся дождь за окном, чья-то тень на улице, и лист, упавший с какого-то дерева, и ювелирной работы жук, тотчас возникший на этом листе... Вход всему на свете в Начало открыт беспрепятственно, запрета нет, все способно стать им, его формулой, его формой и содержанием! Все трепещет в Начале, все освещено великой надеждой, все значительно!

Это позже, в Продолжениях, а в Окончаниях тем более случайные звонки телефона, а за окном древесная листва, и все равно чьи тени и нежданные дожди поблекнут, потеряют свою плоть, власть и значимость, перестанут быть изумительными составляющими окружающего мира, без которых и самого-то мира нет. Но только позже. Только в Продолжениях и Окончаниях. В эпилогах.

Итак, заметив ее среди моих гостей, я машу рукой, приближаясь к ней, целую ее, обнимаю и говорю:

— В любви ты страшно рисковая женщина! Отчаянная! Тебе никто этого не говорил раньше?

Она заливается краской:

— Конечно, никто... И ты тоже не говорил никогда!

— Ну, как же, проходят годы, а ты все еще уверена, будто что-то ждет тебя впереди, все откладываешь на потом, на когда-нибудь — разве это не страшный, не самоубийственный риск? И еще я объясняю, чтобы не надеялась: Дон Жуан в наше время не тип, а сплошной дефицит. Дон Жуан посвящал себя любви целиком, от

начала до конца, не отговаривался ни собраниями, ни заседаниями, ни тем, что сегодня ему нужно пробить срочное дело, завтра кого-то устроить, а послезавтра посетить кабинет некоего лица; для Дон Жуана и пробить, и устроить, и посетить — все на свете сосредоточивалось в одном предмете — в предмете любви! Может, ты надеешься на Дон Жуана? Напрасно! Ох, напрасно теряешь время, и я от души тебе советую: поторапливайся! Ибо надежды только юношей питают, юношей до пятнадцати лет.

— Ну разве я не тороплюсь, Павлуша?— вопрошает она.— Разве я...

— Ты вообще существуешь только в самом начале жизни. Как в любви, так и в жизни.

— Да, но разве начало не требует всего? Полной отдачи чувств? А что требует всего, если не начало?

— Слушай, а ты знаешь какое-нибудь выражение, которое было бы достойным предисловием к слову «начало»?— спрашиваю я ее.

Она задумывается. И не только мыслью, лицом, но и всей своей фигурой, всем своим существованием тоже задумывается.

— Возникновение «начала»?

— Не то!

— Появление?

— Еще хуже!

— Понимаю! Ты вот что хочешь сказать: слово «начало» незаменимо и самостоятельно! Другого такого же нет! Да?

— Да, я это хочу сказать! Но не только это, а еще и другое: нет такого пьедестала, который оказался бы слишком высоким для слова «начало»!

Я тоже впадаю в лиризм, в не свойственную мне возвышенность, если хотите, в легкомысленность, совершенно несоответствующую доживаемому мной текущему моменту, и начинаю произносить не очень складные слова, почти что декламируя их.

— Ну да, ну да!— произношу я.— Надо выговорить это слово, чтобы в одно краткое мгновение возвести «начало» на великолепный пьедестал! Без этого тебе просто невозможно жить!

— Скорее! Скорее скажи!— торопит она.

— Ну, например: восторг начала, волшебство начала, вожделение начала...

— Воодушевление начала! — подхватывает она.

— Великолепие начала! — продолжаю я.

— Вероисповедание началом! Виртуозность начала! Великодушие начала! Вековечность начала!

— Витаминность начала! Вигвамность начала! Внутриатомность начала! — шучу я.

— Воспламеняемость начала! Восхитительность начала! Всевозможность начала!

— И все — на «вэ»! — удивляется она. — Все пьедесталы на «вэ», как странно!

— Ничего странного! Хотя бы потому, что все великое должно быть хоть немного странным.

Ах, какая детская игра! Удивительно, неужели я и сейчас, сию минуту — все еще ребенок?! И даже лирик?

Ее можно проклинать за то, что она делает меня ребенком, можно называть уродом и недоноском, подозревать в любых намерениях — ничего не меняется от этого, не вызывает в ней ни обиды, ни горечи, а только недоумение: «До чего же люди глупы, если так легко меняют очарование на разочарование!» И ее не напрасно сторонились не только мужчины, но и женщины: чокнутая!

— А тебе все-таки нужно продолжение, да? — спрашивает она. — Дó смерти нужно? Ну, тогда получай!

И лет тридцати семи женщина с потрепанной прической, с маникюром на нечетных пальцах, сероглазая, запыхавшаяся, то и дело облизывающая губы, подошла к нам и сбросила с плеч...

Корзинка это была, или мешок, или коробка, или чемодан, или авоська, или гробик, или все вместе взятое и перемешанное между собой — я не понял, увидел только, что она сбросила все это с плеч и облизала губы. И сказала:

— У-у-ух!

— Что такое? — воскликнул я.

— Ничего особенного. Это цейтнот. Дикий цейтнот!

— И вот он у вас — в этой... таре? — Я постучал по этой таре ногой, потом нагнулся и стукнул три раза указательным пальцем правой руки. — По-моему, там ничего нет. Пусто!

— Ну конечно, ничего! Кроме цейтнота. У-у-ух!

— А если пусто, значит, не тяжело?

— Вот какой чудак! Пусто — и не тяжело? А? Надо же додуматься!

— Нет, все-таки: почему вы носите с собой ничего? Пустоту? Почему надрываетесь?

— Живу... У-у-ух!

— Так-так... Ну, а где же ваш цейтнот? Как предмет? Как масса с весом и объемом?

— Везде. Я же его везде с собой ношу!

Я все-таки оглянулся по сторонам, а эта женщина, должно быть, сочла меня не совсем догадливым и пояснила:

— Везде! На работе, которой нет, потому что есть только бумажки и суматоха. В семье, которой нет, а есть один сын. В своем здоровье, которого нет, а есть некоторое умение преодолевать нездоровье. В жизни, которой нет, зато есть ее цейтнот! У-у-ух!

— Учтите,— сказал я,— вам «у-у-ух» никак не идет. Совершенно!

— Что вы говорите?! «У-у-ух!»?

— Конечно! Вы еще молоды. И у вас такая славная фигурка! Поверьте, мне нечего терять, а приобретать — тоже нечего, поэтому я вам и говорю: «Славная фигурка!» Ну зачем же, право, вам «у-у-ух!»? Не хватает еще «Эй, дубинушка, ухнем!».

— Не хватает. Да! «Эй», да еще «дубинушка», а у меня нет времени рассусоливать, заниматься лирикой — цейтнот! Приходится ограничивать себя во всем. «У-у-ух!», а больше ничего. Цейтнот!

И вдруг меня осенило, я мысленно махнул рукой на все, что здесь происходило — на моих гостей, на «Самолап», на самого себя, даже на милую мою приятельницу, которая воплощает Начало, махнул и сказал:

— Скажите, пожалуйста, а что если я назначу вам свидание?

— Свида...— проговорила она.— Свидание?!.. Я думала, что совсем забыла, что это такое!

— Вот и прекрасно! А в моем распоряжении все еще пять минут. А может быть, двадцать две! Не знаю точно!

— Двадцать две?! Ну, это уж слишком! Двадцать две... Нет, в этом месяце не смогу: уже израсходовала с вами лимит личного условно свободного времени. Очень жаль, но в этом году тоже не смогу. Разве что —

в ближайшей пятилетке?..— И она взвалила на себя свою не то авоську, не то коробку, не то гробик.— У-ух! Вы и представить себе не можете, как мне жаль!

— Я просто не нахожу слов!— воскликнул я.— Я не знаю, как это называется!

— Продолжением!— крикнула она уже издалека.

И скрылась.

— Понял?— спросила моя милая приятельница.— То-то!

— Продолжение чего?— спросил я у нее в задумчивости.

— Всего! Всего, что она, эта женщина, когда-то начинала. И конечно, продолжение ее давней-давней любви. Ну, понял наконец? Бестолковый? Может, ты и в самом деле — блаженненький?

— Слишком короткий эпизод. Ну, просто вставка в какой-то текст на полях уже набранной линотипом страницы. Один очень странный и неуклюжий миг. Только один...

— А нам и надо торопиться, Павлушенька!

— Куда?

— Торопиться продлить Начало... Продлить его, ничего не продолжая!

Но меня и в самом деле никогда ведь не отвергало Начало.

Несмотря на то, что я знаю слишком много начал и в личном и в мировом масштабе, за которыми последовало *не то — не то* гораздо худшее, чем ничего, я все еще люблю начала и, кажется,единственно, чему люблю подчиняться, так это таинственной силе замысла. Вот и Девятнадцатый век иной раз представляется мне одним великим замыслом, безупречным во всем, кроме торопливости, с которой он стремился к завершению самого себя ради века Двадцатого. «А если бы его замыслы дольше оставались только замыслами, они, возможно, достигли бы большего?» — часто спрашивал я у самого себя, и не знаю, потому ли, что я склонен к такого рода вопросам и в большом, и в малом, и в любви, и в неприязни или совсем независимо от этого, но только я никогда не сторонился самых разных начал и этой женщины тоже. Ее начала и ее начальность, кажется, гипнотизировали меня.

И она тоже не сторонилась меня ничуть и преувеличивала мое стремление к результату и завершению, подозревая меня в том, что я смогу когда-нибудь увлечь русалку из ласкового моря-океана Начал на жесткий берег Продолжений. Если так, если у нее были такие подозрения, значит, всякое общение со мной всегда было для нее игрой с огнем?

Она как будто бы и не совсем даже естественная, не совсем от природы, а все-таки от нее!

И наверное, я умел в ней все это ценить. И даже любить. Во всяком случае у меня никогда не возникало желания создавать из нее художественный образ, то есть вмешиваться во все то, чем она была.

И я, бывало, с великим вниманием слушал ее, а она говорила и говорила о любви и переживала ее, ее не совершая, она знала множество любовных стихов, и не только о Начале, но обо всей любви, о всякой, о мыслимой и немыслимой. Облеченная в стихи, любовь становилась доступной для нее вся, стихотворную любовь она принимала и оправдывала всю, не только в Начале, но и в Окончании.

И, должно быть, поэтому для нее было так существенно узнать: вот эта строфа о любви — истинная поэзия или обман? Или какая-то трещинка спрятана в слове, какое-то пятнышко, которое вот сейчас ее обманывает, скрывается, а завтра проступит явственно и приведет ее в смятение?

Не знаю, чьи стихи будут звучать в душе моей —
его или мои?
Не знаю, чьи буду песни петь — его или мои?
Не знаю, когда мы будем вместе, кто это будет —
он или я?
Не знаю, чьей жизнью буду жить — его или моей?
А если он умрет, не знаю, чья это будет смерть —
его или моя?
Не знаю, не знаю, не знаю, и это любовь моя!

— Это стихи или не стихи?— затаившись, спрашивала она.

— Не могу сказать!— отвечал я, понимая, что речь идет не только о стихах. Не только о словах с пятнышками и совершенно чистеньких.

— Нет!— вздыхала она по-детски горестно, сильная, жизнедеятельная и привлекательная женщина.— Нет, это еще не стихи! А ты можешь сделать это в рифме? В настоящей поэзии?

— Я не переводчик... С русского на русский.

— Посмотри на это как на подстрочник. Хочешь, я буду писать тебе подстрочники, а ты переводить с русского на поэтический?

Я ошалевал от наивности и детскости эмоций зрелой женщины, от того, что она была не бог весть какой ценительницей поэзии, что она не была ни изящной, ни хрупкой, ни глупенькой — изящество, хрупкость и глупость оправдали бы ее и объяснили; я не угадывал ее, разве только в будущем, уже перезрелом облике она представлялась мне реальной, но сейчас нет, и это отсутствие реальности и непонимание, этот существующий, а все еще неразгаданный замысел природы и был моим чувством к ней. И временами я был счастлив оттого, что замысел не разгадан. Я ведь нередко мечтал о том, чтобы сделать прекрасное, совершенно не понимая замысла. Сделать — и все! Сделать не потому, что знаю, а потому, что так получилось, так сотворилось!

Бывали дни, когда я мысленно посмеивался над ней, но опять-таки это был именно тот смех, которого мне все чаще и чаще не хватало в моей жизни.

Так целые годы длилось между нами Начало. И мы шутя говорили, что в тумане моря голубом для нас все еще, все еще белеют паруса кораблей со странными названиями «Когда-нибудь!» и «Что-то будет!».

Что-то будет?

Не для того ли я встретил среди моих гостей Начало, чтобы окончательно узнать — Продолжения не будет? Чтобы понять, что если часы пробили шесть, значит, пять уже пробито? И что нет уже никакого когда-нибудь? Так я спросил и почувствовал глубокую правду своего вопроса.

И сильную боль не в сердце, а вокруг него.

Еще я спросил у себя: «А что же все-таки сейчас продолжается? Если существует «сейчас» — значит, что-нибудь продолжается?»

В моем доме или в Доме творчества — я так и не успел узнать, что ближе к действительности,— продолжался кинофестиваль.

Может быть, и не теа-, и не кино-, а какой-то другой, но обязательно фестиваль, и я, премированный его участник, обязан встречаться и выяснять отношения

с другими его участниками: писателями и читателями, с актерами и зрителями, с исполнителями и администраторами, с образами и прообразами, с реальными и воображаемыми, с нежными и отвратительными — бесконечная читательская, зрительская, творческая или еще какая-нибудь конференция.

Ну, если бесконечная, значит, это конец, мне ее не одолеть!

Я уже знал, что мне ее не одолеть, почти что твердо знал, но это совсем не значило, будто я раз и навсегда готов распрощаться с жизнью, представленной для обозрения хотя бы и нынешним фестивалем. Вовсе не значило! Вовсе не был я готов!

— Успокойтесь! — крикнул я своим гостям.— Поберегите нервы, они вам обязательно пригодятся! Вы хотите и еще встреч со мной, мои образы и прообразы? Персонажи моих замыслов? Успокойтесь все-все, я вас всех-всех одолею! Как так? Почему? Какими силами? По одной очень простой причине: я вас одолею, я вас переборю, потому что я не Толстой и не Гоголь, я, проще говоря, не гений! Ведь это гении понимают о человечестве так много, что их понимание перестает укладываться в любые схемы и сюжеты, в любые спектакли, сценарии, молитвы и анекдоты, это понимание делает мир неподвластным им, их гениальному искусству, и вот они в ужасе покидают свои жилища, заполненные книгами и рукописями, или сжигают рукописи в каминах. Это они.

А я?! Я, слава господу, не гений, я, слава ему, знаю о вас не так уж много, во всяком случае далеко не все, поэтому для меня и были до сих пор возможны сюжеты, фабулы и молитвы, возможно искусство, которое всем вполне способно устроить стойловое содержание с подразделением на породы и возрастные группы, на положительных и отрицательных, на прошлых и будущих, на реальных и вымышленных, на прозаиков и критиков, на таких и на этаких! Я еще птенец, я еще в Начале и потому, слава богу, могу все это! Подходите же ко мне ближе, подходите для новых встреч и узнавания, я не боюсь, потому что я птенец! Птенцы прожорливы, любопытны, но не боязливы!

И гости мои смолкли, и «Самолап» перестал укладывать громкие шары в шестнадцать луз, перестал выкрикивать разборчивые и неразборчивые выигрышные

номера. И стало слышно, как на клеверном поле за окнами не то моего собственного дома, не то Дома творчества гудят растревоженные многочисленными гостями пчелы.

— Я еще свое возьму! У меня еще есть свое!— крикнул я.

Правда, в отличие от птенцов, которые обладают только одним вариантом своего существования — пожрать, то есть вырасти во взрослых птиц — у меня таких вариантов было два.

Первый: прожить еще одну минуту артистом, то есть в ощущении Начала чего-нибудь — например великого замысла, называемого смертью.

Второй: прожить ту же самую минуту, чтобы она была Продолжением, прожить ее в строго хронологическом порядке, прихватив что-нибудь, что попадется под руку из детства, отрочества, юности, зрелости.

Малые доли секунды я сомневался, потом — выбрал.

Да, я выбрал Начало! Выбрал, не убоявшись ничего на свете, даже тех ликований, того разноголосого и оглушительного «ур-ра!», которым, по всей вероятности, по истечении этой злополучной минуты наградят меня мои гости. Пусть себе награждают!

— Я еще свое возьму!— крикнул я.— У меня еще есть свое! Своё Начало!

Итак, наступила еще одна минута — шестьдесят секунд — моего существования.

В Начале. И в Победе.

В минутной победе...

Я, правда, уже после этой минуты успел махнуть ей рукой, дескать: вот так раз! Махнул и взглянул ей в лицо тем особенным взглядом, в котором сразу все — и начало, и конец. Какое же это начало, если это конец? И какой же это был конец, если выходишь из игры в самом начале?

Впрочем, кто же этого не знает, когда всего только один взгляд, а в нем уже все — и начало и конец?

Вот так... Вот так раз...

Какое было ощущение? Странное, я бы сказал. Я и раньше после непрестанного напряжения двух-трех месяцев или полугода своей жизни впадал в сон. На сутки, на двое и больше. Сначала это был обычный сон,

потом полусон, когда тело уже отдохнуло, уже готово к новой жизни и напряжению, готово подчиниться твоей радиоволне, а мозг еще нет, мозг не только не готов к действию, к заботам и решениям, к фантазии и наблюдению, но он все еще подает непрестанные сигналы бездействия мышцам.

Теперь было то же самое: тело — да, а мозг, а сознание — нет...

Кажется, сентиментальное состояние, но чтобы определить его точно — нет, не скажу.

Напомню, если вы уже забыли, что все это случилось осенью прошлого года, на рассвете погожего дня.

ОТ ИВАНОВА

Да, он всегда был полон началами, мой друг.

Наверное, поэтому я так долго и не находил слов, чтобы сказать о нем, ведь сказать об умершем — это что-то завершить, но как завершать начала?

Я этого не умею.

Он многое создал, значит, он завершал, но каждое завершение было для него началом следующих замыслов. Ведь открытия — это всегда начала?

Мы оба заканчивали свои работы с неизменным чувством растерянности: «А что же дальше?» Но если я при этом ждал со страхом — а придет ли ко мне следующий замысел?— то для него вопрос был в другом: он отбивался от наступавших со всех сторон замыслов. Он никогда не знал, какое завтра возьмет в нем верх, какое искусство — проза, стихи, кино, театр, шахматы? Природа наделила его не одним, а многими талантами.

Наверное, это и погубило его так рано.

Итак, я не умею сказать о своем друге. Я не знаю, мой друг — это все еще «я» или после смерти это уже «он»? Если «он», тогда я должен отступить, тогда я и дальше должен молчать, потому что во мне всегда будет жить только его «я». Только от первого лица, только от лица его самого, я могу говорить о нем. Говорить о нем «он» — это для меня безнадежное дело!

Вот я и сказал все, что мог и как мог, от лица его «я». От первого лица.

Конечно, я неизбежно вношу в свой рассказ самого себя, свое собственное искусство и даже свою искусственность, но иначе как же?

Кроме того, мы никогда ведь не потрошили друг друга, а соблюдали некоторый люфт, минимум расстояния между собой, это расстояние и должно было помочь мне теперь.

Кто автор?

Кто, откуда, когда, почему, какое имеет право? — почти неизбежная анкета, без которой читатель обходится с трудом или же совсем не желает иметь дела с писателем. Сначала анкета писателя, ну а уж потом и он сам.

Моя фамилия — Иванов.

Не знаю, кому и как, а с меня этого достаточно: я ведь не начинал, я только и сделал, что продолжил.

Я отношусь к замыслам с тем же недоверием, что и к людям: они погубили моего друга!

Замыслы не хотели понять, что их много, а он один, что они если и существовали, так только потому, что существовал он, мой друг! Чего они добились своею алчностью и нетерпением? Чего добились, обращая в себя каждое событие, каждый день его жизни, каждого человека, который с ним общался?

Ведь должна же быть какая-то избирательность: вот это — замысел, а вот это — обычная, или даже необычная, но жизнь?! Жизнь в ее натуре, не затронутой искусством. Не затронутая искусом искусства?!

Мой друг был этой избирательности лишен. То есть когда он был погружен в исполнение какого-то одного замысла, другие от него отступали. На некоторое расстояние. На очень небольшое. Но стоило ему хотя бы один раз вздохнуть свободно, один раз даже не подумать, а только догадаться, что он свободен, и в тот же миг они бросались на него. Со всех сторон. В любое время дня и ночи. При любых обстоятельствах.

К нему подходил какой-нибудь человек, а уходил от него — замысел. Ведь это же кощунственно!

И я счастлив тем, что неизменно оставался для моего друга другом и никогда не был замыслом. И прообразом не был. И актером, которого он бы снимал, не был. И режиссером, который снимал бы его, не был, между нами исключался какой бы то ни было театр.

Исключалась театральность — всемирная или только между двумя людьми, всякая, а нынче это такое исключение, такая редкость, почти невероятие!

И никто, даже мой друг, не мог бы поставить себе в заслугу такого рода исключительность, а я могу! Дру-

гих заслуг перед ним у меня нет и не могло быть. Эта — могла быть, была и есть.

Мой друг, как и все люди и даже больше других людей, стремился начинать. Начинать, начинать, начинать, несмотря на свою приверженность и сыновнюю любовь к прошлому веку. Но сыновья похожи не столько на своих отцов, сколько на свое время. Да и отцы своим собственным существованием тоже учат детей не столько продолжать, сколько зачеркивать.

И вот я, Иванов, и не думаю начинать...

Слава богу, если бы мне удалось продолжить что-нибудь такое, что истинно стоит продолжения!

1979—1980

МОЙ ПОЭТ

ЭССЕ
О ТВОРЧЕСТВЕ
А.П.ЧЕХОВА

МОЙ ПОЭТ

Эссе о творчестве А. П. Чехова

Я не ставил задачи написать литературоведческую, а тем более биографическую работу.

Не рассматривал и не оценивал взгляды на творчество Чехова.

Я хотел лишь предложить свое прочтение чеховских произведений.

Позже может прийти желание, даже необходимость, сравнить свое собственное прочтение с прочтением других.

Позже, но не сразу.

Теперь же, если я и полемизировал с кем-то, так скорее всего — с самим собою.

— Возможно ли,— спрашивал я себя,— говорить о Чехове возвышенно, поскольку самому Чехову это было так несвойственно, возможно ли назвать его поэтом, возможно ли, говоря о нем, говорить о своем собственном восприятии искусства?

Я так и не нашел окончательных ответов, однако же узнал, что только в том ключе и в той манере, в которых написана эта вещь, я могу выразить то, что хотел выразить, принимаясь за работу.

Автор

Раз, два, три... Три миллиона... Три миллиарда раз море стучится в берег.

В окно, такое же туманное, как море, стучатся капли. Изредка приближается луна, и тогда в дожде, в снегу проступает еще молодой, неокрепший сад.

Темные, промокшие кипарисы ютятся в своих тенях.

Дует ветер.

Когда ветер становится порывистым, кипарисы успокаивают его:

— Тш-ш-ш-ш...

Дом пронизан мглою, часто вздрагивает веранда, на стенах шелестят безлистые стебли плюща.

Изнутри на окно тоже падает едва приметный свет: догорают в камине дрова... Тысячи лет догорают они в кострах, печурках, каминах отшельников и все не сгорят до пепла.

Моря стучатся в берега, дрова тлеют в каминах, отшельники глядят в огонь...

Дом не одинок на пасмурном берегу.

Как на нитку, нанизаны на берег пансионы для чахоточных, дворцы православного царя, татарского хана, сиятельного вельможи, землянка пастуха, сакля земледельца, изба рыбака, дача великого певца, великого писателя, великого героя 1812 года, дом иноземного фабриканта, дом коммерсанта, дом винного заводчика, опять сакля, опять палаццо, шалаш, дворец, матросский барак...

И всё — во мгле, всё — в непогоде, всё слушает удары моря в берег,— всё, что существует на берегу.

Русские, греки, болгары, украинцы, евреи, татары, немцы, итальянцы, турки. Дворцы, хижины, города, села, поселки... Нравы, обычаи, устои...

А среди всего, среди всех — один.

Как всегда бывало, бывало вечно,— один у огня. И каждое жилище, каждый обычай, каждый другой язык — по-своему подчеркивает одиночество одного.

Тихим пейзажем украшен камин: стога сена, луна. Подарок друга-живописца: «Сумерки».

А в это время по всей стране вершится скорый и литературный суд над отшельником: кто он — великий или ничтожный? Выражает ли он свою страну или только себя? Поднимает ли он достоинство своего народа или роняет его?

Однако же суд времени еще не настал, а к суду временщиков отшельники обычно глухи.

Тем более наш отшельник — он умел и допускать к себе чувства и ощущения, и ограждать себя от них, оставляя их вне.

Умел быть около. Около болезни, веселья, счастья, бездны, вершины. Около любви. Около смерти.

А если во что-то и погружался целиком, так это в тревогу. Мастер слова, он тревожно чувствовал несоответствие слова делу, различие между словом ради ре-

зультата и действительным результатом. Между обещанием и выполнением.

Это несоответствие и было его неумолкающей тревогой. Она-то и удерживала его около. Она-то и преграждала к нему доступ и суда, и чувства подсудности.

Теперь он был нездоров. Он не был здоров почти всю свою жизнь.

Конечно, он не знал, что умрет через несколько месяцев.

Ранним утром в чужой стране попросит распахнуть окно в номере ничем не примечательной гостиницы, вдохнет свежий воздух, попросит шампанского и скажет на немецком языке: «Я умираю».

Он никогда, почти никогда не знал здоровья. Он потерял его мальчишкой, выкупавшись в ледяном пруду. И должен был умереть. Но остался жить. Ненадолго.

Недолговечность и внушила ему, что на всю жизнь он лишен роскоши раскаяния.

Что кто-то, но только не он, может уподобиться человеку, который —

«чтобы изучить Ибсена, выучился по-шведски, потратил массу времени, труда и вдруг понял, что Ибсен неважный писатель, и никак не мог понять, что ему теперь делать со шведским языком».

Что вокруг, в его обиходе, не должно быть ничего лишнего, ничего такого же, как —

«альбом с забытыми неинтересными фотографиями лежит в углу на столе, лежит уже лет 20, и никто не решается его выбросить».

Ему не отпущено было десяти лет, чтобы пересматривать предшествующее десятилетие. И одного года не было отпущено для этого. И одного дня.

Здесь он значительно не совпадал со множеством людей, и это стало одной из причин его отчужденности. А если все-таки он хотел быть среди людей, так прежде всего, чтобы лишать их все той же роскоши раскаяния, чтобы открыть им на нее глаза как на бедствие.

Ни разу он не мог позволить себе пройтись по набережной, по собственному дому либо саду в неопрятном костюме.

Всякая неопрятность, оплошность, неаккуратность, совершившись, становилась фактом, факт же не поддается уничтожению. Факт из его жизни — это была его жизнь. К самому ничтожному случаю жизни он относился словно к жизни в целом.

Это целое — короткое, без роскоши раскаяния,— никогда не воспринималось им в качестве предисловия к чему-то более значительному и существенному. Предисловия почти не было. Был текст как таковой, основной текст.

Не было настоящего, которое часто воспринимается словно нечто временное, как переход от прошлого к будущему, а не само по себе.

Его настоящее было настоящим — оно не позволяло пользоваться собою ни прошлому, ни будущему. По мере необходимости оно само пользовалось ими — сдержанно, учтиво и строго.

И, отдавая дань уважения, внимания и тому и другому, оно ни на то, ни на другое не перелагало своей ответственности.

В самом деле, не слишком ли часто и человек и человечество приносили свое сегодня в безоговорочную жертву всесильному богу — богу «завтра»?

Между тем лучший и самый человечный вклад в Будущее — это гуманность и собственное достоинство Сегодня.

Быть благородным — это уметь быть им сегодня, а не завтра.

Он умел.

Может быть, он даже не умел не быть таковым, потому что такая у него была кровь, которую он, однако, в сердцах называл «рабьей кровью»? Для этого тоже ведь нужно было много смелости и благородства.

Может быть, дефицит благородства и красоты он ощущал не только в те часы, когда ставил перед собою эту проблему, задумывался над ней, а повседневно и сиюминутно — в любом разговоре, в любом жесте и действии, в любом выражении любого лица, в каждой печатной странице, в каждой сцене разыгрываемой трагедии, драмы или комедии?

Ощущал этот дефицит слухом, взглядом, умом, сердцем и нервами не идеального, даже не исключительного человека, а человека обыкновенного, обладающего, однако, этим необыкновенным, безупречно точным, идеально точным ощущением?

И, может быть, это сиюминутное, но непрерывное ощущение и было главной силой его творчества? Его творческой индивидуальностью? Тем, что мы не совсем складно называем пафосом творчества?

Он был аккуратист, кажется, почти педант, в свое время любил пожаловаться на бесконечность житейских забот, на болезни и безденежье, на посетителей, которые во множестве допекали его своими просьбами, любопытством и благожелательностью, но этими жалобами он позволял себе делиться лишь с немногими, никто другой не знал о них, не подозревал их в нем, эти жалобы проистекали прежде всего от непрерывного ощущения им все того же дефицита повседневной красоты, разумности и порядочности, наконец, ни на кого он не жаловался столько, сколько на самого себя, ни от кого он ежеминутно не требовал столько, сколько от самого себя, и никто, наверное, не выполнял — и в большом и в малом — столько требований к самому себе, сколько выполнял их он.

И после себя он не оставит незаконченных рукописей, недописанных завещаний, неисполненных обещаний, неоплаченных счетов, неприбранных туфель, неразборчивых записей по дому и саду.

Ведь все это — всякая незаконченность — некрасива. Даже если назвать строгость к себе педантизмом.

Это очень озадачит его исследователей и специальным пунктом будет внесено в последующее судебное над ним разбирательство.

Вот если бы он разок съездил даже не по очень знаменитой физиономии!

Оставил бы разноречивые редакции хоть одного рассказа!

Или хотя бы намек на то, что перед смертью желал, но не успел высказать откровение! Тогда, поразмыслив углубленно, можно было бы это сделать за него.

Но нет — «Я умираю»...

И оставил загадку своего таланта, своей личности. Быть может — наиболее зашифрованную среди многих других загадок такого рода, загадок талантливости и гениальности.

Во многих из них — и в предшествующих, и в последующих — неизменно не только присутствовало, но и всячески подчеркивалось что-нибудь в степени, доведенной до сверхъестества, сверхкачества,— раскаяние, сумасшествие, проповедничество, могущество, страстность, божественность, саморазоблачение, самоанализ, самопознание,— что-нибудь исключительное, что-нибудь обязательное «сверх».

Это и составляло гениальность.

А он?

Может быть, он первый в истории гений без легенды? Может быть, первый — все в той же истории — обыкновенный гений?

Или его гениальность — еще невиданная обыкновенность?

Но кем бы он ни был, мы не увидим его у камина, украшенного «Сумерками».

За письменным столом не увидим тоже.

Ни одного, ни в кругу близких.

Совсем не увидим.

Наше общение с ним — только мысленное.

Мы живы, а он — мертв, мы — это мы, а он — это его книги, и вот за нами, живыми, право выбора: когда мы встретимся с ним?

Пусть это будет год 1904-й.

Февраль, период ялтинского одиночества.

Им уже написано почти все, что было написано.

А мы уже знаем, что исполнено тоже почти все, что было исполнено.

Школы построены по селам.

Больницы.

Библиотеки.

Тщательно прослушаны больные — он ведь еще и доктор.

Тысячи повседневных просьб тоже исполнены.

Предстоит еще похлопотать о переводе студента, дьячкова сына, из Харьковского в Киевский университет. Просил отец.

Предстоит (проездом через Москву) обменять или отремонтировать дамские часики. В знакомой мастерской. Угол Кузнецкого и Неглинной. Просила местная жительница.

Завещание составлено аккуратно.

Собрание сочинений — пристрастно.

Никаких поручений живым, кроме разве одного — жить разумнее.

Итак — никаких поручений, никаких просьб.

Педантизм.

Тем труднее воссоздание его творческого характера, или, как, может быть, сказали бы в наше время,— его творческой характеристики.

Впрочем, воссоздание и всегда-то бывает условностью.

Оно может быть живее живого, реальнее реального, богаче и беднее, может быть множественным, всяким, только не может быть подлинником.

И для нас существует уже не сама гениальность, не сама необыкновенная обыкновенность, а только черты ее.

Догадки о ней.

Фантазии.

Правда, он сам никогда не допускал фантазий по поводу самого себя.

Он как бы накладывал запрет и на память о себе.

Но тут он уже неволен — уже давно запрет нарушен.

Миллионы книг, сцены, экраны — это все нарушители запрета.

Неизбежные нарушители. Их еще будет множество.

Но только нам обязательно следует помнить его же слова:

«Какое наслаждение уважать людей! Когда я вижу книги, мне нет дела до того, как авторы любили, играли в карты, я вижу только их изумительные дела».

ГРАНИЦЫ

Как часто талант живет своими заблуждениями и слабостями, отсутствием чувства своих же границ!

Он полагает, будто ему все можно, а все, что можно,— необходимо.

Иногда он, по-видимому, даже знает, что его слабость и есть его талантливость, что другой талантливости у него нет и не может быть, а потому он очень внимательно относится к своим слабостям, лелеет их, любит поговорить о них, преклониться перед ними сам, тем более — преклонить других.

А дальше, из этой же слабости перед собственными слабостями, художник начинает полагать, что ему все можно, все прощается.

И вот уже им утеряны границы собственной личности и ощущение тех ограничений, тех обязанностей, которыми обязала его природа, создавшая в нем все — и тело, и душу, и талант, если он все-таки есть.

И ведь всем этим, всеми этими узаконенными в единоличном порядке слабостями, талант действительно

бывает близок и любезен человечеству, легко и даже элегантно потрафляет ему.

Мы тоже любим принимать возможность за необходимость: если возможно, значит — нужно и необходимо. И не видим в этом беды. Даже — угрозы своему существованию.

Между тем угроза-максимум — это и есть возможность, ложно понятая как необходимость. Необходимость обогащения, завоевания, подчинения себе или себя — какая угодно, лишь бы необходимость: в необходимых, в железных обстоятельствах то и дело проще жить, проявлять незначительную талантливость в качестве почти что гениальности и даже — творить историю.

У нашего же писателя — удивительное чутье на неоправданные выдумки людей, на те их стремления, которые они неправомерно возводят в категорию необходимости, исходя из которых судят и даже уничтожают инакомыслящих. Вероятно, потому, что чувство собственных реальных возможностей было развито у него предельно. Оно распространялось у него на все, это чувство,— на все духовные и физические силы,которые он умел и, кажется, любил взвешивать на аптекарских весах. А вслед за тем умел и точно тратить себя.

Во всяком случае, определение своих сил и возможностей являлось для него подлинной необходимостью, судя по всему — даже необременительной.

И подходил он к этому определению рационально, интуитивно, пуритански, изящно, методически вполне законченно, экспериментально.

И всегда процесс был безупречно точным и непрерывно действующим.

Происходило не только определение возможностей, определялось и их отсутствие.

Должно быть, как раз в силу безупречно точного понимания отсутствия того или иного свойства и качества в себе самом, в своем таланте, он так точно ощущал и отсутствие в современном ему искусстве такого художника, каким был он.

Это не стало для него определением собственной значимости — никогда он не сравнивал себя со звездами ни первой, ни какой-либо другой величины — чувство неловкости и стыда за себя в нем было развито слишком сильно. Но ощущение своей необходимости там, где он

должен быть от природы и где без него — нет никого, было в нем развито.

Было ощущение современности, современного состояния искусства, в которое он пришел.

Пришел после Пушкина, Гоголя, Достоевского. После бесстрашия, с которым взглянули они в лицо России.

После того как поэты наделили словами все окружающее, так что казалось, будто нет уже больше ни действенных слов, ни вещей, которые оставались бы безмолвными от момента их сотворения в мире.

Эта же способность оценивать собственные реальные возможности, определять свое собственное место, обусловливала и его взгляд на людей — он тонко распознавал, что они могут, чего — не могут, что умеют начать, но не в состоянии кончить, что лишь мечтают сделать и что делают...

А дальше — что есть разум и правда, а что — их искажение.

Границы и разграничения, чувство меры стали его стихией, его необыкновенной особенностью.

Литературные критики и демографы определили, что персонажи повестей, рассказов, водевилей и пьес нашего писателя, собравшись вместе, составили бы население целого города.

И шумный, и задумчивый город.

Ремесленники, офицеры, няньки, купцы, хористки, помещики, следователи, преступники, врачи, матросы, генералы, собаки, инженеры, регенты, детвора, монахи, ссыльные, богомольцы, судьи, студенты, учителя, приготовишки, садовники, профессора, нищие, архиереи, чиновники, лавочники, музыканты, курсистки... Все, все, все!

А в действительности в городе нет человека, которому надлежало бы там быть.

Нет автора этого города.

Где-то мелькнет его тень: в загорелом подростке, который только что вернулся из поездки по степи, в гимназисте, в студенте, во враче. Тень...

Но нет его «Детства» и «Отрочества», «Гимназистов» и «Студентов», «Университетов» и «Записок врача». Мемуаров и дневников — тоже нет.

Уж не опасался ли он, сделавшись персонажем собственного произведения, в какой-то мере стать не самим собою, а производным от самого себя?

Или — он не хотел навязывать своему городу себя? Ложное, щекотливое положение — проживать в городе своего собственного имени.

Поручика Киже не было, но он — был.

Наш писатель был, но его не было. Только его взгляд, но не он сам.

Более того — где тот житель города, о котором можно было бы сказать: не он, но его родной брат, его отец? Где — сестра или мать, жена или невеста?

Встретятся такие же, чем-то похожие. Они — никогда.

Это — граница. Без перебежчиков, без контрабандистов. Граница на замке.

«Хотите — завтра будет рассказ... Заглавие «Пепельница»?»

Значит — пепельница была по эту сторону границы.

По эту сторону — мир бесконечен. И все-таки — не весь.

Оказалось, что и этой стороне, и ее писателю необходима сторона та, чужая, недоступная.

Эта сторона при наличии той становилась выпуклее, конкретнее. Ощутимее для себя самой.

Эта, таким образом, была освещена не только собственным светом, но и светом, отраженным оттуда, мыслями и словами невысказанными, оставшимися там.

Здесь — между высказанным и невысказанным, так же как между видимым и подозреваемым,— пролегает одна из самых неуловимых, но существенных границ.

Неограниченная исповедь, например, никогда не представлялась ему панацеей искусства, тем более — его вершиной. Для него необходимо было и искусство подтекста, недосказанности, невыговоренности, умолчания.

Конечно, все это уместно, когда многое сказано, а серьезный подтекст может быть только при наличии соответствующего текста. Тогда-то он и придает выразительность недомолвке, и невысказанное приобретает свою собственную форму, свое собственное содержание.

Но все это исполняет отнюдь не душа поэта, поглощенная собственной исповедью, а другая — приоткрытая только чуть, не до конца.

Умеющая возвести в чу́дное искусство и процесс этого приоткрытия, и обе свои составляющие — уже открытую и еще скрытую.

продолжающая самостоятельную жизнь, хотя и в союзнических отношениях с искусством.

Потусторонность мистическая была чужда нашему поэту. На потусторонность реальную, им самим для себя установленную, он никогда не посягал, умея, однако же, считаться с нею, с ее существованием.

Опять граница. Опять четкое подразделение.

И в большом и в малом, в повседневном литературном труде он знал, что можно, а чего — нельзя.

Это могло выглядеть и так: наш писатель беседует, и вдруг беседа прервалась — он уже записывает. (Записывал он то и дело.)

Беседа снова длится, но собеседник не допускает и мысли, что запись сделана о нем. В связи с ним, по поводу беседы — но только не о нем. О нем — это было бы уже некрасиво. Это был бы «аут». А здесь запрещено смешение и смещение, нарушение негласных, но твердых правил, оба собеседника здесь на равных, оба — люди, а не литературный материал.

В плане предположительном можно допустить, что даже сам Юпитер — Лев Николаевич Толстой — когда-нибудь мог послужить литературным материалом для моего писателя.

Не всей своей нереально-необъятной личностью, но двумя-тремя настолько характерными чертами, из которых вдруг возник бы облик в целом, вбирающий и те, другие, неназванные черты — оставшиеся «там», они все-таки ожили бы «здесь».

Сложно?

Невероятно?

Не столь уж это смущало нашего писателя.

У него собственное отношение к невероятному и сложному: он делал из того и другого рассказы и повести. Он мог разминировать любой характер, извлечь из него, казалось бы, непостижимые сложности в их чистом виде. Каждую деталь, каждую составную из общего целого, называемого характером.

И не сложность определяла для него границы литературного материала, а нечто другое, часто необъяснимое, и причудливое, и педантичное — бог знает какое.

Вообще ведь границы мало объяснимы. Даже меньше, чем предметы и процессы, ими ограниченные.

А вот могло ли быть обратное — мог ли он сам, такой, казалось бы, четкий, такой определенный, пред-

стать материалом для гения, которого он сам называл Юпитером?

Вряд ли...

Уж очень Антон Чехов умел быть замкнутым, всегда оставаясь самим собой, умел быть в себе.

И дело тут, пожалуй, даже не столько в его искусстве, сколько в его предыскусстве.

Предыскусство — первично, почти, как правило,— низко, серо, смиренно. От него может пахнуть атавизмом, желчью, пеленками, роскошью, средствами к существованию. На нем печать происхождения, судьбы всех выпавших когда-либо на долю личности неудач и удач.

Неожиданные отношения складываются между предыскусством и искусством.

Варианты множественны.

Первое (предыскусство) — значительнее, чем второе (искусство).

Первое — только проклятие, второе — только мечта.

Проклятие — и первое, и второе.

И первое, и второе — мечта.

Между первым и вторым — пропасть.

Первое — какое угодно, ради единственно возможного второго.

Первое кончается навсегда, лишь только достигается второе.

И так далее. Без конца.

В тот день и час, когда наш писатель понял, что он — писатель, что он — художник, он должен был предложить собственный вариант этих взаимосвязей.

При этом он должен был сохранить в себе все.

И доктора.

И фельетониста.

И приятного человека.

И главу и кормильца обширного семейства.

И личность в целом.

То есть предложенный им вариант — это единство предыскусства с искусством.

Наука все еще выглядит по-детски, когда начинает искать и объяснять связи между личностью художника и искусством, им созданным, когда выявляет аргумент и функцию, на первый взгляд такие элементарные.

Когда же наука и здесь повзрослеет, аргумент и функции Антона Чехова станут, вероятно, неким эталоном, кривая зависимости предстанет перед нами в четком рисунке, коэффициент корреляции будет равен почти единице.

Уже и сейчас, без вмешательства науки, связь эта намечается. Чувствуется наличие какой-то формулы, какого-то уравнения...

А в тот момент, когда это уравнение настоятельно дало знать Чехову о себе, он, должно быть, и научился быть «около». Даже — около самого себя. Будучи «около», «вблизи», но не «в», он всегда располагал расстоянием между собою и предметом наблюдения. Располагал, как расстоянием между письменным столом и все тем же предметом.

Располагал всем протяжением предыскусства.

Располагая им, всем этим расстоянием, этим «около», он приобретал и свою феноменальную наблюдательность.

Приобрел он еще и другую способность — избирательную, способность пропускать к себе извне одно, категорически отвергать другое, извлекать искомое из общей массы своих наблюдений.

И вот он уже и мастер в стихии границ и разграничений, в стихии, которую нередко именуют «чуть-чуть». В стихии точностей, столь чуждой и непривычной человеку и в повседневной жизни, да и в искусстве тоже.

Это и позволяет, между прочим, думать, что в то время как Толстому необходимо было сначала вжиться в тот «материал», каким был его друг и собеседник, в материал трудный своей четкостью и определенностью, просуществовать в границах этого «материала» то или иное время,— нашему писателю могла в этой задаче оказать неповторимую услугу его врачебная, объективная, чеховская наблюдательность, его дисциплина ума и чувств и все проистекающие из нее навыки.

...Что в то время как Юпитер сделал материалом для себя — самого себя, свое детство, отрочество, свою женитьбу, свою жену, родных,— Антон Чехов пусть чуть, а отстранял себя даже от собственного искусства; отстранялся он и от Толстого, при всем уважении к нему, при всей любви.

Он не только очень точно распознавал границы, но и сам был границей.

Если он неизменно был около других, так и другие не могли не быть лишь около него.

При всем обаянии он умел сберечь себя от других, других — от себя. Это тоже его обаяние.

Он общителен, в иные годы — общителен исключительно, как бы ради накопления опыта общения, ради наблюдений.

И к каждому общению он приступал, должно быть, с обостренным ощущением своей собственной личности, ее запросов.

Однозначные, вполне законченные решения не представляли для него интереса. В человеке он искал и все то, что в нем хорошо, и все то, что в нем плохо, и даже все то, что еще не дает повода говорить о нем — ни хорошо, ни плохо.

Ничто не могло помешать ему в этом. Даже самое искреннее расположение к нему, которое так безотказно действует на всех, не исключая и великих.

Очень большой художник писал о нем:

«Тонкий, неумолимый, чисто русский анализ преобладал в его глазах над всем выражением лица...

...Враг сантиментов и выспренних увлечений, он, казалось, держал себя в мундштуке холодной иронии и с удовольствием чувствовал на себе кольчугу мужества».

Наш же писатель говорил об этом художнике, что его рисунки — «это работа переспавшего, ленивого, но претенциозного человека».

Оттого, что все было в нем так глубоко индивидуально, склонность к анализу становилась еще острее.

А тогда далеко не всякий оказывался способным к общению с ним и не с каждым могла быть налажена у него приемлемая манера и код взаимоотношений, которые, насколько это возможно, заранее исключили бы недопонимание и недоразумения.

«...Это по нынешним временам не человек, а человечище, Юпитер».

«В своей жизни я ни одного человека не уважал так глубоко, можно даже сказать, беззаветно...»

И при этом — годами избегал со своим Юпитером встреч.

Позже многие будут думать — отчего же так? Найдут и объяснение.

Антон Чехов был скромен, а Юпитер, стремясь к встрече с ним настойчиво, из года в год, всякий раз

оказывался не один. То вместе с писателем, то с художником, то с родственниками. Наличие посредника мешало интимному знакомству, смущало Чехова — такое существует объяснение.

А все-таки — не поразмыслить ли здесь еще?

Еще до первых встреч он отдал дань, затем — разочаровался в учениях человека, которого продолжал «беззаветно» уважать всю жизнь. Он побывал на Сахалине и познакомился там с практикой, которую находило в жизни учение непротивления и всепрощения...

И вот — предстояла встреча с «вероучителем», которая могла повлечь к бестактности, к недоразумению, даже — к разочарованию.

«Какое наслаждение уважать человека!»

Чтобы наслаждение не утерять — надо его беречь.

Чтобы беречь — надо относиться к человеку сознательно. Значит — и критически.

Он так и относился:

«...Черт бы побрал философию великих мира сего! Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны, как генералы, потому что уверены в безнаказанности. Диоген плевал в бороды, зная, что ему за это ничего не будет; Толстой ругает докторов мерзавцами и невежничает с великими вопросами, потому что он тот же Диоген, которого в участок не поведешь и в газетах не выругаешь. Итак, к черту философию великих мира сего! Она вся, со своими юродивыми послесловиями и письмами к губернаторше, не стоит одной кобылки из «Холстомера».

Да, трудно установить приемлемые границы личных отношений, достойных и порядочных и при таком глубочайшем уважении, и при таком отрицании, и в процессе того самовоспитания, когда личность оберегает себя от всего, что ей несвойственно, когда ей чужда исповедальность, а от собеседника то и дело приходится ждать, что он категорически потребует исповеди и станет убеждать тебя в уже отвергнутом тобою вероучении!

Однако поддерживать личные отношения с Юпитером — это не все.

Надо было с ним еще и сосуществовать — в одной стране, в одни и те же годы, в одной литературе!

Юпитер был величайшим и, вполне вероятно, последним в мировой литературе мастером синтеза.

Его произведения — как бы завершающий синтез различных жанров, самых различных событий и обра-

зов. А еще — синтез его самого с окружающим миром. Он все присоединял к себе, себя — ко всему. Сам по себе был синтезом.

Его дети утверждали, что в нем живет не один десяток человек, и все — разные.

Наш писатель — аналитик.

Как таковой, он и не стремился объять необъятное. Мастер конкретности, он разграничивал явления, вырабатывал не столько отношение к ним, сколько меру этого отношения, устанавливал границы своего искусства, определяя, что оно должно и может, чего не может и не должно.

Доктор, психолог, наблюдатель, больной человек — он мог бы рассказать множество недоступных для других интимных подробностей.

Художник — он этого никогда себе не позволил.

При всей обезоруживающей откровенности его героев, иногда откровенности самоубийственной, они говорят далеко не все и не обо всем. Они еще и умалчивают. Ради умения чувствовать и соблюдать границы. Ради того подлинного чувства меры, которому искусство как будто бы и учит, но само зачастую им не обладает.

Его искусство — обладало.

И это — не скрытность, не боязнь, а умолчание ради того, что говорится.

Он как будто знал, что в чрезмерной откровенности литература обойдется и без него, что найдутся художники, врачи, психологи, больные и болезненные поэты и прозаики, страдающие и даже гордящиеся пороком недержания слова. Его же единственность опять-таки в безупречном чувстве «можно» и «нельзя», в защите границ, смысла и чести самого искусства перед теми, к кому это искусство обращено.

Искусство тоже ведь имеет оборотную сторону, имеет и ее почитателей в массах.

Откровенность, меланхоличность его искусства, видимое отсутствие в нем строгого сюжета и старания убедить — заметят многие.

Заметят и даже усвоят.

И будут ссылаться на него чуть ли не как на первоисточник искусства, свободного от каких бы то ни было обязательств.

Но не заметят при этом и не усвоят чувства тревоги за человека, ответственности за него. Не усвоят его

системы границ и разграничений, предпочитая ей безграничность — всегда и везде, в любом случае.

И, даже проклиная безответственность и бесконструктивность мира, многие жрецы искусства будут черпать вдохновение именно в этой безответственности и в этой бесконструктивности.

Вдребезги разбивается рояль, обломки же выдаются за новое слово искусства, за необыкновенное открытие, за совершенную и самую современную конструкцию.

Бывает и так: личность, обладая художественностью, не наделена, однако же, от природы еще и оригинальностью, и вот создает эту оригинальность сама, и вся ее воля направлена единственно к тому, чтобы быть непохожей ни на Пушкина, ни на Некрасова, ни на Шиллера — ни на кого на свете.

Большой труд, мучительная и надломленная психология.

А какой за всем этим стоит смысл? Какая природа?

Нам известно и такое искусство, которое угождает, льстит человеку.

«Чего вы желаете, голубчик,— может быть, счастья? Равенства? Святости? Таланта? Знаний? Не надо ли еще чего-нибудь? Проявляйте вкус и сознательность: требуйте! Желайте!»

Наш доктор не выдумывал ни себя, ни других, никому и ничего не обещал. Он ставил диагноз. А это — лучший и самый честный способ обещать.

Он лечил, но не хотел залечивать — ни в медицине, ни в литературе. Он хотел нормальной психики. И Гоголь, и Достоевский чаще невропатологи, чем он, наш доктор.

Болезнь как таковая для него — не объект литературы, сумасшествие — не норма. Даже в «Палате № 6».

Его грусть — это тоска по здоровью, и нигде он не возвеличивает болезнь.

Только морально здоровый человек может так страдать, как страдает герой «Скучной истории», потому что он слишком мало сделал в жизни.

На каждом шагу наш писатель не только умел ограничить себя. Он умел пользоваться, но умел, в равной мере, и не пользоваться знаниями медика. Он как бы разработал методику ограничений и методику непользования теми знаниями, которыми писатель обладает, которые все время провоцируют писателя использовать их.

Но самоограничение у него никогда не становилось ограниченностью. Оно помогало ему укреплять и свой характер, и свое творчество.

Без личности нет и не может быть искусства, но, наверное, еще никто и никогда не умел, оставаясь художником, столь же критически и строго относиться к своей личности, так же последовательно и неуклонно лишать ее каких бы то ни было привилегий и претензий, поскольку она ощущает свою художественность.

Не все вслед за Чеховым эту методику самоограничений восприняли. Но она есть, существует, и новые художники, хотят они того или нет, не могут не считаться с ее существованием.

Потому хотя бы, что читатель тоже знает о ней. Знает о таком взгляде на вещи:

«Когда хочется пить, то кажется, что выпьешь целое море — это вера; а когда станешь пить, то выпьешь всего стакана два — это наука».

Наш доктор всегда был склонен к науке.

Итак — сознание принадлежности к искусству не привело его ни в смятение, ни в восторг, а прежде всего укрепило личность, прочертило границы личности.

Принадлежность к искусству стала очевидной, но не оказалось резерва времени, чтобы формировать личность нового образца. Не оказалось и резерва воспоминаний, из которых можно было бы извлечь озаренные детством, полузабытые переживания и нечаянно отвергнутые нравственные каноны, чтобы вернуться к ним, чтобы возродить их на пользу искусства.

Нельзя было и не было желания ввести в искусство детство или юность — какими они были, какими миновали.

Поистине разительной оказалась перемена между той и этой личностью: мальчик в мелочной лавке и интеллигентнейший человек своего времени.

Разительность перемены, как будто даже немыслимой в одном поколении, в одном человеке, утверждала почти болезненную обязанность быть только этим — интеллигентным. Быть им на каждом шагу, отвергать какие бы то ни было перевоплощения, хотя бы в самого себя, но прошедшего. Возврат к прошедшему — во имя любой цели — стал бы отступлением, скидкой и уступкой самому себе.

И если в его произведениях то и дело встречаются доктора — не такие, каким был он сам, а все-таки —

доктора, то мальчика из мелочной лавки в них нет совсем. Никакого. Может быть, потому нет, что взрослым персонажем легче варьировать, легче представить в нем не себя, не совсем себя, а кого-то другого. Гораздо труднее быть не собою в своем детстве. Детство ведь не выдумывается, оно дается, оно природно.

Чтобы не дрогнуть перед искусством, личность укрепляла себя и свои границы в том виде, в каком ее настигло искусство. И принимала на себя лишь то единственное искусство, которое ей, этой личности, строго соответствовало.

Зато, установив такое соответствие, наш писатель «шел на вы».

Портретов он не писал. Собирал художественный образ по чертам и штрихам. Это требовало не только точности, но и количества наблюдений, требовало чуть ли не статистических изысканий и выкладок.

Не потому ли он так старательно искал самых разных встреч, бесед и самых житейских, заурядных поручений — кому бы приглядеть имение, кого бы полечить, чьи бы часы отдать в починку, за чьего бы сынка похлопотать?..

Может быть, в этом, помимо прочего, помимо обычной человеческой участливости и вместе с ней, состоял его собственный способ наблюдения над людьми?

Могло, однако, случиться, что наблюдение, в которое он готов был перевести чуть ли не каждый час своего существования, в конце концов осточертеет ему. Ведь нужна же была жизнь вне всяческих «пред», сама по себе? Нужна была жизнь и за рамками искусства, тем более что эти рамки были ограничены и оставляли «за» войны, эпос, революции, императоров, исторические события, дальние страны, то и дело — собственную биографию как таковую. Мало ли что!

Но он был врачом, а в кабинете врача прежде всего говорят о здоровье, необходимом человеку для полезной деятельности.

И в искусстве он говорил об этом же.

Не для бесполезной деятельности, не для бездеятельности необходимо здоровье.

Бездеятельность — вот это было ему чуждо.

Для существования ему необходима была деятельность.

Его современники часто приобщали литературу к чему-нибудь. Успенский — к статистике, Королен-

ко — к публицистике, Толстой — к философии, еще Толстой — к истории, Тургенев — к политическим событиям и веяниям времени и т. д. и т. п.

Литература нашего писателя — без видимых приобщений.

И вот, вероятно, он опасался, что такая литература повлияет на него — придаст камерность его личности. Что пришедшее к нему искусство когда-нибудь даже упрекнет себя в узурпации его личности, что энергия этого замкнутого искусства подавит другие его энергии, другой опыт жизни, другое познание.

Тогда в его биографии появится Сахалин.

Каторжный остров.

Вполне вероятно, что именно поэтому он и появился — как противодействие собственному искусству.

До сих пор были «Записки из Мертвого дома», очерка подобного рода не было. Не было социологии, статистики и анализа в том виде, в каком он хотел их видеть.

И он решил восполнить пробел. Решил собрать факты о Сахалине — этот остров, как и вся царская каторга, давно привлекал внимание цивилизованного мира, тревожил социологов разных стран.

Он тем более решил это сделать, что Россия его времени познавалась Менделеевым, Пржевальским, Мушкетовым, Воейковым, Докучаевым, Плехановым. Земскими статистиками и врачами. Агрономами. Юристами.

Многими.

Но немногие так просто подвергали опасности свою жизнь. Немногие так же много, так же красиво, аккуратно и деловито могли сделать. Немногие так мало придавали значения тому, что сделали, так естественно об этом забывали.

Наш писатель забыл. Естественно, непринужденно.

Редко-редко вспоминал затем Сахалин. Не говорил о здоровье, там потерянном, о встречах, состоявшихся там. А они состоялись с каждым из десяти тысяч жителей острова. И каждого он включил в перепись, с каждым говорил. Нынешние специалисты утверждают — работа целого института.

Обратный путь — через Индийский океан.

И цветущий остров Цейлон, куда заходил в пути корабль, наш писатель будет вспоминать даже чаще, чем остров Сахалин, чем невероятно тяжкое сибирское без-

дорожье в пути на остров Сахалин. Чем свой — «Остров Сахалин».

Огромный труд. Грандиозный оптимизм. Удивительный.

Дань социологии, общественной, практической деятельности.

Бескорыстная дань своему идеалу реального человека, о котором незадолго до поездки он сказал:

«Если положительные типы, создаваемые литературою, составляют ценный воспитательный материал, то те же самые типы, даваемые самою жизнью, стоят вне всякой цены. В этом отношении такие люди, как Пржевальский, дороги особенно тем, что смысл их жизни, подвиги, цели и нравственная физиономия доступны пониманию даже ребенка. Всегда так было, что чем ближе человек стоит к истине, тем он проще и понятнее. Понятно, чего ради Пржевальский лучшие годы своей жизни провел в Центральной Азии, понятен смысл тех опасностей и лишений, каким он подвергал себя, понятен весь ужас его смерти вдали от родины и его предсмертное желание — продолжать свое дело после смерти, оживлять своею могилою пустыню... Читая его биографию, никто не спросит: зачем? почему? какой тут смысл? Но всякий скажет: он прав».

И нашему писателю тоже необходимо было сказать себе: «Он прав». И хотя бы на какое-то время ему необходимо было отвергнуть неотступные вопросы — «зачем? почему? какой тут смысл?».

Некролог, им написанный, посвящен не только Пржевальскому. Некролог — из двух частей — возвышенный гимн погибшему, жестокий упрек живым.

«...Больное время, когда европейскими обществами обуяли лень, скука жизни и неверие, когда всюду в странной взаимной комбинации царят нелюбовь к жизни и страх смерти...»

Необходимо было почувствовать право на этот упрек. Личное право сказать людям, что они «ведут бесполезные споры об оптимизме и пессимизме, пишут неважные повести, дешевые диссертации, развратничают, лгут ради куска хлеба».

Тем более, что уже тогда он не мог не догадываться, что входить в мир людей, жизнь которых и есть не что иное как — «зачем? почему? какой тут смысл?», ему предстоит до конца дней. Надо было иметь для этого и право, и силу.

И вот «Остров Сахалин», быть может, единственное произведение, в котором наш писатель уже не «около».

Не «около» и не «за» — не за сценой, не за страницей, не за мыслью, не за образом, а — на сцене, на странице, в мысли и в образе.

И если в самом деле была для него острая необходимость в независимом от законов и условностей искусства существовании авторского «я» — так она здесь проявилась.

«Александровская ссыльно-каторжная тюрьма.— Общие камеры.— Кандальные.— Золотая Ручка.— Отхожие места.— Майдан.— Каторжные работы в Александровске.— Прислуга.— Мастерские».

Это содержание одной из глав «Сахалина», пятой главы, составленное как бы для отчета и строго по правилам научно-описательной литературы того времени.

В «Острове Сахалине» он — статистик:

«Жителей в Дербинском 739 : 442 м. и 297 ж., а с тюрьмою будет всего около тысячи. Хозяев 250 и при них совладельцев 58. Как по наружному виду, так и по количеству семей и женщин, по возрастному составу жителей и вообще по всем относящимся к нему цифрам, это одно из немногих селений на Сахалине, которое серьезно можно назвать селением, а не случайным сбродом людей... Но при попытке понять экономическое состояние дербинцев опять-таки наталкиваешься, прежде всего, на разные случайные обстоятельства, которые здесь играют такую же главную и подчиняющую роль, как и в других селениях Сахалина. И здесь естественные и экономические законы как бы уходят на задний план...»

В «Острове Сахалине» он — врач-гигиенист:

«Отхожее место устроено здесь тоже по системе выгребных ям, но содержится иначе, чем в других тюрьмах. Требование опрятности здесь доведено до степени, быть может, даже стеснительной для арестантов, в помещении тепло и дурной запах совершенно отсутствует. Последнее достигается особого рода вентиляцией, описанной в известном руководстве проф. Эрисмана, кажется, под названием обратной тяги.

Примечание. В рыковской тюрьме эта тяга устроена так: в помещении над выгребной ямой топятся печи, и при этом дверцы закрываются вплотную, герметически, а ток воздуха, необходимый для горения, печи получают из ямы, так как соединены с нею трубой. Та-

ким образом все зловонные газы поступают из ямы в печь и по дымовой трубе выходят наружу. Помещение над ямой нагревается из печей, и воздух отсюда идет в яму через дыры и затем в дымовую трубу; пламя спички, поднесенной к дыре, заметно тянется вниз».

В «Острове Сахалине» он — публицист:

«Я глубоко убежден, что через 50—100 лет на пожизненность наших наказаний будут смотреть с тем же недоумением и чувством неловкости, с каким мы теперь смотрим на рвание ноздрей или лишение пальца на левой руке...»

В «Острове Сахалине» и в очерках «Из Сибири» он — это он сам:

«...На сердце у меня становится тяжело, и я думаю только о том, что если опрокинется лодка, то я сброшу с себя сначала полушубок, потом пиджак, потом...

Но вот берег все ближе и ближе, гребцы работают веслами: мало-помалу с души спадает тяжесть и, когда до берега остается не больше трех сажен, становится вдруг легко, весело и я уже думаю:

«Хорошо быть трусом! Немногого нужно, чтобы ему вдруг стало очень весело!»

А затем он отлучает остров Сахалин от своего искусства.

Верный себе, возводит между тем и другим границу. Изучив кодекс уголовный с той глубиной, с которой редкий юрист, редкий профессор юриспруденции изучал его, он все это оставил «за» — за пределами художественного творчества, по ту его сторону.

Один рассказ («Гусев»), упоминание — в другом («Убийство»), а больше ничто сахалинское не коснулось его искусства, никогда больше огромный сахалинский материал так и не стал для него материалом литературно-беллетристическим, художественным, не вошел и в собрание сочинений, которое он составил.

Может быть, это еще и ради того, чтобы располагать отраженным светом «оттуда», чтобы точнее анализировать эту — нравственную — сторону, нравственный кодекс?

Ведь за каждой возможностью нашего писателя, за всем тем, что было ему доступно, всегда стояли невозможности, недоступности, стояли «нельзя», которые он так строго для себя определил.

Из того и другого складывался его художественный метод. То есть взгляд и на самого себя — художника,

и на человека, и на человечество. И человек и человечество не позволили этому художнику строить свое искусство на страданиях других.

ОДИНОЧЕСТВО

Одиночество было его страстью.

Сначала оно, потом — все другое.

А все другое опять-таки должно было одиночеством заключаться. То есть заключаться творчеством.

При общении расходуется энергия. Расход должен пополняться. Приход — это одиночество.

Наедине с самим собою он оставался не из-за хандры или чудачеств. Поиграет, бывало, на садовой скамейке с солнечным зайчиком — не более того.

Предоставленность самому себе, ощущение свободы ото всех, отчуждение ото всех — позже позволяло ко всем обратиться. В обществе он был с обществом, нередко — его душою. Хлебосольство и гостеприимство его были известны. Но чем дальше, тем больше учился он, будучи с людьми, быть еще и одиноким. Быть около них.

Одиночество он всякий раз встречал не с пустыми руками, он вскрывал копилку своих наблюдений. Вскрывал, с пристрастием пересчитывая и крупные, и мелкие монеты,— уподоблялся скупому рыцарю, расчетливому миллионеру. Всякий раз это было немалое накопление.

Он заставлял себя садиться за письменный стол холодным.

С необъятным богатством иначе и нельзя совладать.

И одинокость тут обязательно должна присутствовать: одинок тот, кто владеет.

Собственно, баланс был тот же: общение пополняло одиночество, одиночество — общение. Но только одна из статей баланса все более становилась ему по душе.

Когда же обстоятельства разрушали обретенное соотношение между тем и другим — ему бывало тяжко, не по себе. Терялось равновесие; терялось ощущение происходившей в нем работы, что может быть еще существеннее — непрерывности этой работы, ее неизбежности.

Недаром же другой художник — общительный, отнюдь не лишенный качеств организаторских, сказал когда-то:

«Ничто так не обогащает человека, как одиночество».

И в самом деле — вот наш писатель протянул руку к занавеске.

Ведь в одиночестве это движение может быть повторено бесконечное число раз, и этому никто не будет мешать. Оно может быть отчуждено от самого себя, поскольку воображение способно придать его кому угодно — девушке, ребенку, императору, старику, сапожнику, полицейскому надзирателю.

Оказывается, что без соглядатаев им совершенно произвольно можно владеть, этим движением.

Его же можно ощутить всем организмом, стоит только в тишине прислушаться к нему.

А вот уже существует и ваше отношение к этому движению: можно не замечать его совсем, можно замечать во всех подробностях. Замечать до бесконечного его анализа, до безграничной фантазии по его поводу.

Это движение может стать предметом. Предметом ощущения, размышления, видения. Может стать связью с движущимся миром и всей вселенной.

Уже известно: наш писатель взял однажды первый попавшийся в руки предмет.

«Хотите — завтра будет рассказ... Заглавие «Пепельница»?»

Пепельница была по эту сторону границы.

С пепельницей он мог оставаться один на один, без собеседника.

Всякое проявление жизни, всякий предмет — при одиночестве подчинялись его отбору и могли стать собственностью его искусства.

В жизни людей возможны и необходимы коллективные действия и коллективные понятия, как сумма индивидуальных действий и понятий, однако же все вместе взятые индивидуальные чувства вовсе не составят общее для всех и единое чувство.

Чувство в значительной мере отчуждено от всех и присвоено одному, а более других отчуждено, кажется, чувство удивления.

Оно, само по себе,— пусть краткое, но уже отчуждение и от того предмета, который вызывает удивление, и от всех остальных предметов, поскольку все наше внимание сосредоточено на том одном, который удивление вызывает.

Удивление — это еще и чувство несоответствия предмета всему остальному известному нам миру. Не сразу, а лишь удивившись, мы сумеем вписать новый и «удивительный» предмет в наш, уже известный мир, но сперва переживем такое состояние, будто мы обязательно должны взглянуть на этот предмет из иного мира, из мира не наших представлений, из иной сферы.

И еще удивление — это предтеча проникновения в предмет, оно предисловие к формуле открытия, к любви, к созданию картины, художественного образа.

Ни первая стадия открытия — удивление, ни тем более вторая — проникновение, невозможны в коллективном воплощении, невозможны хотя бы без временного одиночества, без отчуждения одной личности от всех других, без ощущения полного отсутствия посредников, соглядатаев и участников удивления.

Лишь в одиночестве наш поэт полностью был волен пойти в сад и поскрипеть песком под ногами, увидеть дерево, свой дом, жука, солнечный зайчик, небо, море... Увидеть по-своему и для себя.

Со временем все больше обнаруживал наш писатель возможностей для уединения.

От женщины, которую любил и которая его любила,— уединиться и даже ощутить при этом и достигнутую цель, и какое-то свое лукавство.

От искусства — уединиться. Хотя бы — ради него же.

От целого мира — ради какого-нибудь крохотного жучка, ради одного слова.

И вряд ли эта способность появилась в нем лишь с возрастом.

Что-что, а именно ее он мог вынести из юности, из детства.

Из чувства обязанности подростка перед взрослыми. Из необходимости оберегать себя от других.

Не многие исследователи «жизни и творчества» всерьез задумывались над отроческими годами нашего писателя.

«Еще нам шубы нужны сегодня ночью прошел снег, кровать продай Машинькину, а что за нее просить мы и сами не знаем, как тебе бог поможет так и продай...»

«Мы от тебя получили 2 письма наполнены шутками, а у нас это время только было 4 коп. и на хлеб и на

светло ждали от тебя не пришлешь ли денег, очень горько должно быть вы нам не верите, у маши шубы нет у меня теплых башмаков сидим дома...»

Это 1876 год.

Отец скрылся от долговой тюрьмы, семья последовала за ним. Отчий дом в Таганроге стал собственностью хитроумного стряпчего и картежника, а наш писатель на правах репетитора остался в углу этого дома. И его принялась обучать жизнь.

Она учила его шутить в трудную минуту, поддерживать павших духом, учила распродавать на толкучем рынке всяческую рухлядь, не бог весть как, но учила его в гимназии, учила платить за свое обучение, учила учить отстающих гимназистов, и он ходил на уроки в конец города, голодный, без калош,— кормилец и чуть ли не единственная надежда семьи, ютившейся далеко, в каком-то московском подвале.

Могло бы прийти озлобление — не пришло. Мог бы навсегда потеряться интерес к людям, общительность — не потерялось ни то, ни другое.

И это — удивительно.

Ведь общительность возникает не из желания и возможности помогать, а из желания и возможности получить помощь. И тут не криминал, тут — закон бытия; так начинает жить ребенок — с ожидания помощи от взрослых. Здесь же — взрослые ждали помощи от подростка.

Он оказывал эту помощь.

Но никогда потом не поразжалобил своим отрочеством никого — ни себя, ни своих друзей, ни свое искусство. Никогда и никому не поставил себя в пример: «Я в ваши годы...»

В то же время вряд ли это его ученье, эта жизнь в углу чужого дома не научили его одиночеству.

У каждого — одиночество свое собственное, у него оно было связано еще и с гипертрофированным чувством обязанности, которое возникало при сближении с каждым человеком. Всякое знакомство у него — это обязанность.

Рыцарь — он не устрашался обязанностей, прошел на этом пути огонь и воду; лекарь — он знал подлинную цену излечения других, подлинные возможности дела излечения.

И рыцарство, и ле́карство, понятые им вполне бла-

городно, наложили на него свою печать, отметили его. Он был один такой. Один же — это опять-таки одинокий.

Может быть, тот же отпечаток лежал и на его союзе с женщиной.

Союз был брачным, но не семейным.

Ведь уже в своей ранней жизни он прошел путь кормильца, наставника и воспитателя.

А были ли у него силы, здоровье, энергия, чтобы пройти его дважды? Еще раз? И не утерять при этом свое искусство, которое чем дальше, тем больше он чувствовал, как чувствуют свое дыхание?

Смог ли бы преодолеть он и свое прямо-таки болезненное чувство обязанностей по отношению к собственной семье, если бы она возникла? При нем ведь всегда была еще та семья, из которой он вышел — родительская.

И в женщине он искал, кажется, не столько жену, сколько — женщину.

Искал в ней умения владеть собою, искал совпадения ее слов с нею самой.

Не обещая женщине семьи, детей, а только брак — он и брачный-то союз заключил в какой-то заброшенной церквушке, опасаясь громкости обряда; и не лишил затем жену ее собственного образа жизни, ее искусства, независимости — всего того, чем не хотел поступиться сам. Ее независимость дорого ему обходилась. Каждая независимость недешево обходится окружающим.

Сколько Ольг у него уже было: Ольга Семеновна Племянникова в «Душечке», Ольга Ивановна Дымова в «Попрыгунье», Ольга Дмитриевна в «Супруге», еще и еще Ольги.

Но вот наконец Ольга реальная. Она и должна была быть реальной и реалистичной, точно понимая свой союз с ним.

Последние дни зимы 1904 года...

Дождь, снег, мгла над морем и сушей.

«Сумерки» над камином.

И наш писатель. Может быть, он видит сейчас театральные огни, театральный разъезд и чу́дную актрису в окружении молодых, не очень молодых, но известных миру театральных мэтров.

Она приезжает и сюда, в этот дом, утомленный ти-

шиной, морским прибоем, размеренной жизнью своих обитателей...

Радость встречи — оживленные голоса, поклоны друзей, дорожный запах чемоданов.

Но вскоре же настает время, и наш писатель — за рабочим столом.

«Мне нужно одиночество и время...»

А она — в саду, в кресле, с книгой, в слезах.

Уехать ли отсюда раз и навсегда или раз и навсегда здесь остаться? В этой золотой, уже широко известной миру, уже знаменитой клетке?

Но здесь — не вздыхают.

Здесь никто не считал себя вправе обременять собою других — больные требовали к себе отношения, как к здоровым, здоровый должен был это требование выполнять беспрекословно.

Последние дни зимы, первые дни еще холодной, еще неуютной весны...

И может быть, вспоминалось ему то время, когда он решил прийти сюда, на этот берег, сложить здесь дом из кирпичей вулканического туфа, дом своего одиночества. Дом для продления жизни.

Не было ли это ошибкой? Не усилился ли здесь недуг?

Этот рыцарь не умел раскаиваться. Он совершал ошибки, извлекал из ошибок житейский опыт, но и умел ими пренебрегать, никогда не уделяя им слишком большого и подобострастного внимания.

Вот и это жилище, и этот дом предстоит покинуть. Снова искать чужое небо, чужое солнце, еще небывалое одиночество.

Если бы не надо было ничего чужого!

...Зима в январе, лесная поляна. Тихо. Тропа, за ночь припорошенная снегом, хрустит и вздрагивает под ногами. По поляне то и дело пробегает складками синий приглушенный свет только что прошедшей ночи.

Над плотным, иссиня-исчерно-зеленым лесом — туман, из тумана уже проглядывает первое, неяркое солнце, и все это вызывает тревожное чувство всесветной жизни.

Даже смерть становится простой, и что-то благостное возникает при мысли о ней, и какое-то неверие в нее — окончательную.

Но лирика — где-то там, вместе с зимой, в морозном воздухе раннего утра.

Здесь, на берегу южного моря — математика. Расчет.

Здесь уже рассчитывается каждое движение, рассчитывается так, чтобы к письменному столу подойти с возможным максимумом сил.

Пятнадцать минут требовалось, чтобы снять с себя или надеть сорочку.

И требуются они все время, требуются без конца — 15, 5, 7, 5, 10, 14 минут...

А на пьесу, такую грустную, цветущую вишневым цветом,— по нескольку строк в день.

И все это, по существу, уже не впервые, давно он столкнулся с расчетами.

Как только к нему пришло искусство и он ощутил себя в новом измерении, определил новые точки приложения своих сил.

Обязывая себя на пожизненный разговор с людьми, он уже знал, как безнадежно труден общий язык с ними, как язык этот слаб, невыразителен, малодушен и малодоступен. Знал, как редко удавалось одному человеку постигнуть другого в непосредственной беседе друзей, братьев, сестер, любящих, ненавидящих. Как много сил нужно для этого разговора.

Как много нужно одиночества. Ведь одинокий, отчуждаясь от людей, тем самым нередко приобщается к человечеству.

ТАЙНА

Напечатанное в провинциальной, захудалой и малоизвестной газетке — встретилось ли это когда-нибудь моему поэту?

Секрет богов — давно открыт,
Секрет жрецов — давно забыт,
Секрет зачатий — их цена,
Секрет любви — печаль одна.
Секрет жены — перегорел,
Секрет мужей — всем надоел,
Секрет поэзий — их тираж,
Секрет картин — их метранпаж.
Как откровенен мир кругом,
Как тайны не хватает в нем!
Найти хотя бы мертвеца,
Чтоб не совсем,
Не до конца,
Не весь секрет
Был стерт с лица!

Встретилось или нет, но это было слово своего времени.

Тайна стиралась с чела людей по мере открытия их обезьяньей генеалогии. Открытия стали всем, тайна — ничем, а ее признание отождествлялось почти с чертовщиной. Если бы можно было персонифицировать тайну, ее, пожалуй, сожгли бы точно так, как был сожжен когда-то Джордано Бруно.

Между тем открытия, потрясающие тайну, происходили не без участия ее самой; она неизменно при этом присутствовала — то ли в виде счастливого случая, то ли в виде таинственно-необъяснимой догадки.

И ничто так не умножало тайн, как открытия.

Открытия и тайны всегда связаны неразрывными и трудными узами.

Мистики — это обычно посредственности, но ведь и великие художники — таинственны, несмотря на то, что открытие тайн они нередко возводили в смысл своего существования.

Предлагая тысячу вариантов раскрытия души, они, должно быть, надеялись, что тысяча первый вариант разрушит тайну навсегда.

И своим героям, и самим себе они бесстрашно прививали все известные виды нравственности и безнравственности, наблюдая затем сражения между ними.

Души их начинали напоминать учебные ящики с песком, в которых разыгрываются эти сражения.

Но наконец настало время, когда почувствовалась необходимость нового слова и новых художнических такта и меры, чтобы вступить с тайной в иные — взаимоприемлемые отношения.

Этим словом, этой мерой обладал наш писатель, безупречно чувствуя в искусстве границу между тайной и сомнением, между нею и мистикой. Иногда он изображает мистику, в «Черном монахе» например, но не пользуется ею как художественным методом, а подходит к ней как врач.

Он ведь умел ощущать и устанавливать границы, а тайна — это отчетливое и почти непрерывное ощущение границ: близкой, когда вы знаете, что ваш герой почему-то должен сказать: «Ну вот, я и отдохнул», но не может сказать: «Я отдохнул», и далекой, за которой следует тот неописанный и неопознанный мир, отдельные штрихи и оттенки которого представляют весь мир опознанный.

Он ведь знал, что такое отчужденность, одиночество, замкнутость,— по собственному опыту, и поэтому тайне он соответствовал.

Он умел ограничивать и ее, так как не придавал всему скрытому в самом себе чрезмерного значения, не стремился к процентам на этот вклад.

Он умел говорить не только словами, но еще и какими-то иными средствами.

Какими?

Не знаем...

Мы чувствуем лишь их воздействие на нас. Объяснить же их — не можем.

Мы читаем тонкий, ювелирный, временами прямотаки волшебный текст, и в то же время он не только не виртуозен, он скорее всего антивиртуозен, все время кажется, что он сознательно и принципиально противостоит той виртуозности, о которой не зря заметит один из героев рассказа «Огни», что она повсюду вносит холод и скуку, односторонность и игру в серьезную мысль.

Опять-таки таинственная, невидимая, но совершенно очевидная и прочная граница как бы раз и навсегда и здесь отделяет одно от другого — виртуозность от проникновенности.

Вообще его произведения предназначены как будто только для переживания, а не для объяснения.

Как объяснить, о чем оно, его произведение,— для чего, о ком? Откуда начинается, чем кончается и как написано? Почему действует на нас так, а не иначе? Почему обаятельно, и в чем оно — это обаяние?

«...Взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез,— о, как мы были с ней несчастливы!— я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что нам мешало любить».

Может быть, мы сталкиваемся с этими строками, когда автор уже овладел нашим настроением, когда мы уже далеко не безразличны к судьбе его героев и — если так — уже не можем не простить ему банальности, слезливости, мелодрамы? И — прощаем все это?

«До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сия велика есть», все же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, кото-

рые так и остались неразрешенными. То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других, и самое лучшее, по-моему,— это объяснить каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай».

Это — начало рассказа, и оно не лучше, чем его конец. Оно даже холоднее.

Значит — мы прощаем с самого начала, с первых строк. А — почему?

Почему, вместо того чтобы огорчиться, мы поддаемся некоему обаянию?

Может быть, нам приятна сама неожиданность — обаяние вместо огорчения?

Может быть, это оттого, что наш писатель касается таинственного и этим расслабляет нашу способность к объективным оценкам?

Может быть, он умеет внушить нам чувство любви к себе или — почти любви, а когда мы любим — перестает существовать «хорошо» и «плохо»?

Может быть, мы ощущаем отсутствие какой бы то ни было корысти? Ощущаем, каким человеком это написано?

Может быть, потому, что наш писатель — доктор, а ведь не доктор ищет нас, мы сами ищем его?

Может быть, за некоторой расслабленностью его героев мы угадываем его самого — ищущего и напряженного?

А расслабленность и напряженность, сочетание слабых и сильных токов — как бы предвещают и раздвоенное состояние следующих поколений: расслабленность человека и напряженность человечества в середине XX века? А этот диагноз удивляет и привлекает, как всякое удавшееся предсказание?

Может быть, это говорит природа? Бывает же такое состояние в природе: низкие, серые и чуть синеватые тучи, прохладный ветер, закутанные в туман, почти невидимые дали,— печально, тоскливо и — невероятно хорошо?

Догадок — множество, и все как будто справедливы, и все — недоказуемы. Это и есть искусство нашего писателя.

В самом деле — «тайна сия велика есть».

Тайна и не терпит исчерпывающих объяснений, разве только приближенные, тоже таинственные пояснения «по поводу».

Наш писатель мог бы посадить в гостиную самого господа бога, заставить его распевать: «Та-ра-ра бумбия, сижу на тумбе я...» И мы бы ему поверили.

Искусство!

Других объяснений не нашли бы.

Его искусство — рассказ, письменный же русский рассказ, быть может, даже в большей мере, чем устный,— это умение собеседовать.

Как странно, что, по-видимому, далеко не все, о чем говорит нам автор,— известно и понятно ему самому, не все известно и понятно и читателю, а вот, вместе взятые, они — писатель и читатель — вдруг понимают друг друга.

Тут важен сам процесс собеседования и общения. И разве не ради того же процесса общения мы идем к близкому человеку, идем и встречаемся, заранее зная, что ничего не решим, ничего не постановим.

Мы иной раз делаем это даже тем охотнее, чем отчетливее понимаем, что никакое решение волнующего нас вопроса невозможно.

Мы даже ищем тот род литературы, который важен для нас именно как случай подобного собеседования.

И вот произведения нашего писателя отвечают такому поиску, и, должно быть, потому, что они лишены решений и резюме и сами по себе тоже с трудом поддаются объяснению,— они упорно и последовательно сопротивляются литературоведческому анализу.

А иные явления наш писатель из области таинственного перевел в область очевидного. Самое потустороннее — смерть — отнес не к ней самой, а к жизни. Событие жизни, больше ничего. Тем более что ничего за ним уже не следует.

Существует такое явление: летальный исход. Он — естествен, он типичен, поскольку для него нет исключений.

Невероятное равновесие — жизнь! Равновесие тысяч химических соединений и реакций, физических и механических уравнений.

По логике вещей, чем сложнее равновесие, тем скорее оно должно нарушиться, тем меньшие отклонения возможны от точки опоры, тем меньше возможен эксцентрицитет.

Стоит только температуре крови отклониться от нормы более чем на десять процентов в этом и холодном и горячем мире — и кровь перестает соответствовать условиям равновесия — летальный исход.

Так что неумно требовать бесконечности и даже продолжительности от почти невероятного равновесия. Неумно не удивляться этому равновесию, неумно не проникать в него, не проникаться им.

Гораздо разумнее — правильно им воспользоваться. Тем более что существуют такие чудеса, как мозг, нервная система, глаза, желудок, и остается немного — разумно к ним отнестись.

Однако же, чем невероятнее, чем таинственнее чудо — тем неразумнее мы к нему относимся.

И этим наш доктор был озадачен. Он-то понимал, онто чувствовал и цену, и возможности равновесия.

О смерти же говорил коротко, просто, даже небрежно: «А на другой день в полдень Зинаида Федоровна скончалась».

«...А под утро, в субботу, к старухе, которая лежала в гостиной на диване, подошел келейник и попросил ее сходить в спальню: преосвященный приказал долго жить».

Болезни он описывал со знанием дела, подробностей смерти не любил.

Наиболее подробно описанная им смерть — это смерть гуся Ивана Ивановича; она увидена глазами Каштанки — собаки смышленой, помеси таксы с дворняжкой.

Люди же при виде смерти теряют у него обычную наблюдательность — она нужна для жизни. Для смерти она ни к чему.

Не сделал он исключения и для себя:

«Я умираю»...

Он чувствовал тайну, как скрипач одну из струн своего инструмента — ту, которая ему необходима. Интуитивно, но безошибочно точно. И так же наделял ее и звуком, и смыслом. Здравым смыслом.

Удивительно внимательный к каждому отдельному факту человеческой жизни, он тем не менее не возлагал на себя задачи скрупулезного их объяснения. Он ведь и вообще-то не любил объяснять.

Он присоединял факт к жизни ради поиска смысла жизни. И мы всегда чувствуем это «ради».

Обладая бесконечным запасом наблюдений и наблюденных величин, он использовал их и как средства поверки, средства испытания искусства, каждого его звука, слова, мысли, ситуации. Средства, с помощью которого он достигал не виданного прежде, не видимого глазом равновесия между фактом и домыслом, между очевидным и таинственным.

Равновесия своей художественности и своего рабочего состояния.

ТАКТ

Гении — это непредусмотренные «вдруг!». Их объясняют после них, при жизни — они величины неопределенные.

На рубеже двух веков Россия — и уже не в первый раз — вырастала.

Вырастала, становилась то умом Менделеева, то голосом Шаляпина, то слухом Чайковского, то зрением Серова.

Но вот родился такт нашего писателя.

Явление было новым.

Оно пролагало еще слабые, непрочные, но непосредственные пути, связывая эстетику с этикой, искусство — с искусством жить, жизнь — с каждым фактом и случаем текущей жизни.

Оно, может быть, даже видело свое назначение не в прямом учительстве, а в проложении именно этих связей.

В его произведениях множество значительных мыслей, но чем дальше, тем, пожалуй, все больше он боится назидательной позы, он, кажется, временами даже что-то теряет, пренебрегая своим правом учить и назидать.

Гения такого склада мир еще не знавал.

Не знала его и Россия.

А если он явился именно в России, то, вернее всего, от противного и по великой необходимости очеловечивать человека.

Наш писатель совместил гениальность с повседневными понятиями такта. Если он свою исключительность и сознавал, то прежде всего как необходимость исключительно строгого применения к ней самых обычных человеческих требований.

Это и был его такт.

Нередко гении оказывались рабами своего гения и не хотели видеть людей относительно свободными, свободнее, чем они сами. Владычество над собой собственного гения было для них мученичеством, но лишь до тех пор, покуда под него не подпадали другие. С этого момента для гениев начиналось возвышение и счастье. Поэтому им все время необходимы были новоявленные рабы, которые воспринимали бы свое рабство за благо и прозрение.

Гений такта не мог позволить себе ни своего, ни чужого владычества, ни своего, ни чужого рабства.

Он старался внушить окружающим мнение о своей обыкновенности, скоротечности и даже — посредственности.

Не сразу обрел он и талантливое отношение к собственному таланту, определил себя в своих границах.

И с удовольствием, как бы даже «по собственному желанию» его без конца упрекали в полном отсутствии полета фантазии.

Критика утверждала, что он бездельник (а он был удивительно деловитым человеком), что он — поборник бессмыслицы жизни (а он с ужасом воспринимал любую безалаберность, всякую путаницу, всякую переделку дела, всякое бесплодное слово и действие, всякий бюрократический жест).

Вряд ли еще кто-нибудь больше, чем он, ненавидел безалаберщину, так же опасался, что она вконец погубит и человека и человечество.

Было время, когда он над нею только смеялся.

Фельдшер не умеет вырвать зуб у своего пациента; обыватель гордится тем, что пьяного его выкинули из трактира, да еще и написали об этом в газете...

Разве не смешно?

Но вот другой персонаж: профессор, ученый — прожил жизнь, а оказалось — без смысла прожил!

Уже не до смеха.

Художнику, обладающему безупречным, абсолютным тактом, повсюду открывается безалаберность и большого и малого.

Безалаберность веселая, грустная, идейная, безыдейная, оригинальная, общепринятая, видимая, скрытая, научная, безграмотная, талантливая, глупая. Всякая и всеобщая. И — принципиальная, то и дело провозглашающая: а такова жизнь!

Поэт такта, наверное, и не может быть не обижаем человечеством, его безалаберностью, его бестактностью.

Не может быть не обижаем людьми. Близкими. Друзьями. Товарищами. Просителями. Гонителями. Почитателями. Любимыми.

Но тактичный человек не чувствует за собой права выдать свою обиду, тем более — ей поддаться, ею руководиться.

Все обиды и каждая — не оставались в нем чувствами в том виде, в каком они возникали. Его такт преобразовывал их в более отвлеченный и не столь уж злободневный опыт сосуществования с людьми, в опыт жизни, а этот последний — в опыт творчества.

И вообще, вряд ли были у него чувства и ощущения, которыми он не овладевал, но к чувству обиды у него было особое, очень строгое отношение.

Конечно, из обиды не случалось радости — случалась печаль, грусть, мечта.

Случалось и чистилище, сквозь которое он должен был пройти — и проходил.

Наконец, он не мог не чувствовать и не видеть, что вся вообще цивилизация уже задыхалась в отработанных ею же парах и шлаках,— все в той же безалаберности, пороках, бюрократии, в бесконечных и никому не нужных условностях и желаниях, в своей собственной силе, в своей истории и своем таком неопределенном будущем, в сегодняшних зрелищах самой себя.

И он не мог не заметить, что, капля по капле, цивилизация вырабатывала и такт — вырабатывала его скорее теоретически, нежели практически, создавала его и в интеллектуальной среде на разных континентах. Была и такая среда, как русская интеллигенция.

Не последняя и не случайная среда существования такта.

И гений такта, его чувствилище, пусть с невероятным опозданием, все-таки должен был здесь появиться.

Трудно сказать, что заключалось в этом явлении.

А в то же время ни на минуту нет сомнения в его необходимости, и вот уже невозможно представить себя без него, жизнь — без него.

Художественный гений — это ведь еще и бесстрашие, и безоговорочность, с которыми он входит в свое время.

До него уже были созданы такие образы, как Собакевич и Манилов, Раскольников и братья Карамазовы,

Обломов и другие гиперболы, отразившие в себе болезни общества, его склероз. Наш доктор установил еще одну стадию — склероз рассредоточенный, рассеянный, неярко выраженный, невнятный, но столь же губительный.

А наш писатель, если еще не поздно, если еще не все потеряно, должен был доказать обществу право такта на гениальность. Не ради самого такта. А чтобы помочь людям понять, как такт приближает их к не выдуманному, а подлинному самосознанию; чтобы утвердить тактичность искусства ради житейского искусства такта, ради умения человека и сегодня, сию же минуту и всегда соприкасаться с миром — с людьми, с собаками, с лошадьми, с небом и с землей, отыскивая посредством этих соприкосновений свое единственное, присущее каждому человеку место.

Наверное, не случайно мы одним и тем же словом «такт» обозначаем, во-первых, воспитанность, чувство меры, тактичность поведения, а во-вторых, ритм или ритмичность. И то и другое — это, в какой-то мере, однажды усвоенная, услышанная нами ритмика нашего существования, может быть, даже ритмика существования всего окружающего нас мира.

Недаром же другой художник и писатель скажет несколько позже, что самое примитивное чувство ритма и меры уже вносит дисциплину свободы.

Иначе говоря, когда мы дышим ритмично — мы дышим свободно.

Драма такта в том, что он бездекларативен, не может быть провозглашен ни в лозунгах, ни в девизах, ни в верованиях, а в то же время должен существовать повседневно и повсюду, должен молчаливо подвергаться непрерывным испытаниям.

Такт не столько обучение, сколько воспитание самых тонких и точных чувств, их развитие, сложная, своеобразная и непрерывная гимнастика. Он дается самовоспитанием, бескомпромиссным отношением к самому себе.

И уж кому-кому, а нашему писателю бестактно было бы декларировать себя, свое искусство.

Единственно, что он мог,— отстаивать такт перед жизнью, которая как будто ставила своей задачей исказить все понятия о справедливости, о правде, о человечности. О такте и тактичности. О ритме. Исказить до того рубежа, за которым уже невозможна она — сама жизнь.

— Нехорошо! — говорят его герои.

— Ах, как нехорошо!

— Стыдно!

— Мерзко!

По какому же поводу говорят?

Почему им нехорошо; ах, как нехорошо; стыдно и мерзко?

Потому, что доктор ударил пьяного фельдшера; потому, что не получились именины, вместо праздника — семейная драма; потому, что хозяин дома ругал мещан, не зная, что его гость — мещанин.

Абсолютный слух не спутает «соль» и «до», для него таких ошибок не существует, абсолютному такту чуждо даже отзываться на воровство, взяточничество, на донос, на использование служебного положения в корыстных целях, на мошенничество, на интриги во имя власти, на уничтожение во имя ее человеком человека...

Обо всем этом он немало знает, но не это предмет его внимания, не его это дело провозглашать: «Воровство, доносы и убийства строго воспрещаются!»

Не по поводу убийства или мошенничества он восклицает: «Нехорошо!», «Стыдно!», «Мерзко!»

Восклицания эти могут принадлежать — и принадлежат — тактичным людям, которым и нехорошо и стыдно жить даже при полном отсутствии состава преступления. Такт ищет и никак не найдет себя в мире, а в то же время боится засорить собою этот мир, принести ему своим существованием еще какие-то невзгоды.

Боится, даже если глубоко обижен миром, если не питает к нему должного уважения. Боится потому, что требования к миру он начинает с требований к себе, потому, что, как это ни странно может показаться,— он-то и не отделяет себя от мира, он-то больше, чем многие другие, нуждается в единении с ним, в своем конкретном месте среди бесконечного и недостаточно возвышенного мира.

Убийце, доносчику и мошеннику — жить не стыдно, в самом худшем для него случае — убийство, донос и мошенничество — это неприятность. И если эта неприятность возникает, он тотчас найдет объяснение — «такова жизнь!». Жизнью он пользуется и как питьевым источником, и как приемником канализации.

Ответственность за существование и чистоту источника ему незнакома, он ее не чувствует, этой ответственности, и не хочет чувствовать.

Все свои требования он безотлагательно предъявляет к жизни в целом — тут он глубокий философ. К себе же самому — в самую последнюю очередь.

«...Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем, во всех домах и на улицах тишина и спокойствие...»

Это думает ветеринарный врач с очень простым именем — Иван Иванович, с очень странной и необычной фамилией — Чимша-Гималайский, и он думает так потому, что требования к миру начинает с требований к себе.

Он рассказывает о своем брате, Николае Ивановиче, «который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины, и таким тоном, точно министр: «Образование необходимо, но для народа оно преждевременно», «телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы». «Я знаю народ и умею с ним обращаться,— говорил он.— Меня народ любит. Стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня народ сделает все, что захочу»;

который еще недавно, «сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи...»;

который тоже недавно «чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходило одно и то же: а) барский дом, б) людская, с) огород, д) крыжовник...»

Николай Иванович начинал с требований к миру, со своих претензий к нему.

Теперь он обрел в этом мире и дом, и огород, а крыжовник ест по ягодке даже ночами.

Он жует, он громко вздыхает от удовольствия, от ощущения своей победы над миром, а за стеной Иван Иванович, брат его, мучается за него совестью. И — за себя. И спустя годы продолжает мучиться. В гостях, после охоты, взывает к собеседникам: «Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых...»

Для Иванов Ивановичей, чтобы возмутиться безнравственностью, наглостью, скотоподобием, чтобы больно и бесконечно это возмущение переживать, вовсе не нужно причин и случаев исключительных — убийств или доносов. Они ощущают эту боль повседневно, независимо от того, встречают или не встречают сочувствие и поддержку окружающих, ощущают как свой крест. Иначе они не могут. А могут только так, как могут.

«Рассказ Ивана Ивановича не удовлетворил ни Буркина, ни Алехина».

Так оно и бывает: как часто подобного рода возмущение нас не удовлетворяет! То и дело кажется странным, беспричинным, напрасным, болезненным.

«Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин».

Если бы сам-то Иван Иванович был не то чтобы очень изящным, а хотя бы поинтереснее...

Но так странно, так непривычно — внимать человеку, не будучи убежденным, что он безусловно заслуживает твоего внимания! Тем более зная, что он и не собирается его заслуживать! Та боль, с которой он вас упорно ищет, чтобы к вам обратиться, собеседовать с вами, как раз и заслоняет вас от него.

Однако и при этом Иван Иванович и начинает и кончает требованиями ко мне — требованием моей чуткости, моего глубокого понимания. Тихим, даже робким, но упорным требованием разделить не столько его собственную, сколько общечеловеческую боль.

Другого назначения у Ивана Ивановича нет, не было и не будет, этой робкой требовательностью он одержим.

Я привык к сценам, привык к страницам, с которых едва ли не каждый персонаж провозглашает свое кредо, заботится о себе и решает свою судьбу, и автор призывает меня разделить с ним его радости и горести, полюбить его или возненавидеть.

Я привык к этому настолько, что если герой заботится не о себе, а обо мне, о моей нравственности, которую он считает еще и общечеловеческой, если он не только перед собой, но и передо мной тоже ставит эти тяжкие вопросы своего и опять-таки общечеловеческого существования, не столько сам ищет и находит свое кредо, свою судьбу, сколько взывает в этой связи ко мне, упрекает меня,— так я уже и глух к этим призывам и укорам. Потому что где-то и когда-то я, оказывается, разучился относить себя к человечеству. Где-то

и когда-то я привык к герою и к искусству, которые непременно учат меня, но учат безболезненно и — не ждут от меня ответов на трудные вопросы моего существования.

Когда же я все-таки начинаю их слышать, эти призывы, эту требовательность,— они меня раздражают: что за странная бескорыстность, на каком основании требовательность? Скажите, пожалуйста, а какое право имеет Иван Иванович или какой-то другой безгероичный герой что бы то ни было от меня требовать? Какое право?! Он что — написал учебник по современной литературе или по истории рабовладельческого общества? Может быть, он отмечен высокими наградами? Или — просидел двадцать лет в одиночной камере?.. Так с этого ему и надо начинать: объяснить мне — кто он таков, на каком основании тревожит меня?

Не сразу я догадаюсь, что случится со мной, если я буду воспринимать лишь ту требовательность, которая облечена на этот счет совершенно определенными и общепризнанными полномочиями...

Не сразу вспомню, что наш писатель и не подозревает героичного героя ни в себе, ни в своих персонажах, а если где-то и мыслит его — так только в рядах зрительного или библиотечного зала. Мыслит, но не льстит ни одной конкретной личности — ведь истинному героизму такое подозрение ни к чему, а неистинного не признает он.

Но, даже и догадавшись обо всем и простив Ивану Ивановичу его непрезентабельность, я все еще думаю: если уж он сам «никто», и даже не стремится предстать передо мною «кем-то», так хотя бы привел в своем рассказе случай из ряда вон исключительный. Случай мрачный, удивительный. В меру сил нарисовал бы для меня нового Гобсека? Либо — нового Плюшкина?

Показал хотя бы — в чем заключается новизна и современность Гобсека или Манилова? В какие одежды одел их текущий век, какое дал им общественное положение, образование, мышление, манеры?

Но ведь опять-таки проблемы обогащения, стяжательства, так же как и наследование, как биржевая игра, как игра в рулетку,— для нашего писателя не проблемы и не случаи, они слишком примитивны и очевидны для него, они за пределами его интересов. И Гобсек, и Плюшкин, и Манилов — это очевидность, конечные результаты процесса, лишь внешне подновляемые вре-

менем, этот процесс когда-то уже сделал свое дело, привел к перерождению и вырождению в них человека. А всякий конечный результат постоянен, поэтому — мертв. Предметом же искусства нашего писателя — и чуткого и тактичного — является прежде всего сам процесс. К процессу и можно и нужно чутко прислушиваться, изучать его, поскольку он еще нравственный, а не уголовный, еще поддается воздействию.

И не так-то уж слабы душой Иван Иванович и его собеседники, когда обращаются именно к процессу. Правильно определить вектор и точку приложения своих сил — большие ли это силы или малые — отнюдь не признак слабости и малости.

Обращаясь и ко мне как к процессу, Иван Иванович предполагает, что я не нуждаюсь в персональной аттестации правды, что для меня не обязательно, чтобы правда исходила от человека, отмеченного исключительностью, блестящим будущим или страдальческим прошлым. Ему чуждо приобретать в моих глазах авторитет уже потому, что он полагает, что и мне его авторитет не нужен. Для него важно, чтобы я понял не его, а его боль, его правду, поскольку они — человечны. Потому что эта боль общечеловечна, он и не хочет обидеть меня предположением, что мне, человеку, она недоступна или безразлична.

И владелец усадьбы с крыжовником — брат Ивана Ивановича, Николай Иванович Чимша-Гималайский, и владелец бакалейной лавочки в селе Уклеево, что лежит в глубоком овраге, епифанский мещанин Цыбукин, Григорий Петров, и учитель Беликов — человек в футляре, и еще несколько персонажей,— все это конечные результаты, очевидные и примитивные.

И хотя наш писатель и здесь создал литературные шедевры, нарицательные образы, все-таки его сфера иная — сфера нравственного процесса. К тому же нравственность — всегда в процессе, она всегда в пересмотре собственных канонов, если только ее понятия и убеждения успевают достигнуть канонизации.

Люди типа Беликова уже не имеют отношения к этому процессу, они не способны обращаться с нравственными вопросами к себе, а значит, и к другим, не способны искать человека, обращаться к человеку, и не к ним обращается Иван Иванович, не им он повествует о своей боли, не от них ждет понимания.

Такое обращение было бы не только бесполезно, но,

вероятно, и вредно, так как легко может привести к компрометации того, кто к ним обращается, к компрометации и самой нравственности, и вопросов, которые нравственность ставит.

Всякий вопрос имеет больший или меньший, но свой собственный круг ответчиков.

Эти обращения и отношения человека к человеку — не сформулированы, они не смелы, даже робки, однако они распространяются на все духовное человечество, на его настоящее, прошлое, а будущее без этих отношений как будто бы и не будущее, а что-то другое.

И в значительности, и в необходимости этих отношений нельзя сомневаться, но в них-то и сказываются более всего его слабости и сомнения рода человеческого.

Только очень тонкое, очень тактичное искусство имеет силу эти отношения рассматривать, анализировать, делать своим предметом, делать их более очевидными, оперируя героями столь робкими, чуткими и упорными, создавать взаимодействие и между ними, и между ними и нами. Даже в эпохи своего наибольшего расцвета искусство не всегда находило соответствующего этой задаче художника. Соответствующую личность.

Но вот — личность нашлась.

Мы можем о ней еще раз судить, еще раз составить о ней представление ну хотя бы по такому документу:

«Милостивый государь,

Александр Николаевич!

***В декабре прошлого года я получил извещение об избрании А. М. Пешкова в почетные академики. А. М. Пешков тогда находился в Крыму, я не замедлил повидаться с ним, первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его, затем, немного погодя, в газетах было напечатано, что ввиду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 ст. выборы признаны недействительными.** При этом было точно указано, что извещение исходит от Академии наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение исходило и от меня. Я поздравлял сердечно, и я же признал выборы недействительными — такое противоречие не укладывается в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог. Знакомство же с 1035 ст. ничего не объяснило мне. И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению,*

крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно, почтительнейше просить Вас ходатайствовать о сложении с меня звания почетного академика.

С чувством глубокого уважения имею честь пребыть Вашим покорнейшим слугою

Антон Чехов».

Антон Чехов был, вполне вероятно, самым тонким знатоком нравственного кодекса, самым неустанным его исполнителем. Кодекса, который может вынести наиболее значительный приговор — приговор жизненному устройству людей. Уголовный кодекс этого никогда не мог — он тем самым вынес бы оправдательный вердикт преступлению. Чтобы этого не произошло, он вынужден возводить жизнь и ее устройство в идеал, безупречности которого если кто и препятствует — так только преступник. Уголовный процесс всегда нынешний, и только нравственный ведется искусством вечно — персональная, тяжкая и неблагодарная привилегия. Его судебные определения: «Нехорошо!», «Стыдно!»

Но параграфа-то — нет!

И люди, участвующие в этом процессе, изображенные Антоном Чеховым как судьи, как подсудимые, страдают оттого, что параграфа нет и не было никогда. И когда-то еще будет! И будет ли?!

Странные это люди, и все некоторым образом похожие друг на друга: они все одинаково искренни, во всяком случае — никогда не двоедушны.

Мало того, что они вслух высказывают все самое сокровенное, они еще искренни и в своих поступках, последовательны в них.

Хамелеон. Ведь это же искренний хамелеон! По глупости ли, по неумению, еще как, но искренний, и у него не хватит ни ума, ни сноровки — не сегодня, так завтра — прикинуться принципиальным. Он не умеет прикрыть свое хамелеонство благородным девизом.

Учитель Беликов. Ведь он неизменен в своем «футлярстве», доктор Ионыч — в стяжательстве, Каштанка — в гуманности, Соленый — в мрачном упорстве, Душечка — в своей способности всегда кого-нибудь любить.

Старые, молодые, больные, здоровые, богатые, бедные, плохие, хорошие, простые, сложные — все они никогда не двоедушны. Они — всегда они.

Они способны к трудной эволюции, но не к повсе-

дневной мимикрии. Этим они просты и обыкновенны, но не всячески, а лишь той простотой, которая отвечала творчеству нашего писателя.

Собственно — это черта его личности. И если в его героях его нет строго биографически, так в выборе их он — всегда он. Всегда — его такт, абсолютный, чуткий, и как раз поэтому — несколько ограниченный, воспринимающий людей по-своему, своеобразно и с необыкновенной чуткостью.

Наш писатель ведь отнюдь не исключение из общих правил искусства: хотя он и пишет жизнь, какая она есть, но пишет ее не всякую, а видимую и понимаемую им, Чеховым.

И в нем от гениальности до наивности — тоже один шаг.

Еще один шаг — и его правило выбора персонажей привело бы к нарушению правил искусства и в искусство оказалась бы привнесенной искусственность. Однако нарушения так и не произошло, и нас все больше привлекают его герои, еще и еще мы хотим их понять.

Ведь мы любим этих людей, мы очень сочувственно к ним относимся. Чу́дные, хорошие три сестры Прозоровы, но отнюдь не пример для подражания. Не благоговение, не уважение, не удивление испытываю я к ним, и все-таки — любовь.

Непонятно — мы не только не хотим быть такими же, узнавая в них себя, мы не хотим, чтобы другие узнавали их в нас. И все-таки — любим.

Может быть, потому любим, что нередко сами так же беззащитны и ранимы, как и они, только не говорим об этом вслух? И, вероятно, правильно делаем...

Они и не требуют этого от нас. Зачем? Ведь они уже сказали за нас больше, чем мы могли бы сказать о себе сами. Они освободили нас от необходимости признания, которое рано или поздно, а должно было состояться.

Неизведанная, открытая только в конце девятнадцатого — начале двадцатого века любовь.

А вслед за этим — новые, небывалые отношения и контакты между автором, его героями и его читателями. Новый ракурс этих отношений.

Если Толстой глубоко вживался в каждый литературный образ, если Короленко о каждом свидетельствовал, если Горький каждого лепил, то Чехов по отношению к своему герою всегда был «около», оставался доктором:

он прослушивал его стетоскопом. Еще до Рентгена просвечивал его рентгеном. Внимательно и строго. То и дело скрывая собственную боль и недомогание.

Он и нас заставляет при этом необычайно чутко относиться к его героям. И вот эта чуткость и есть наша любовь к ним.

Чуткость и глубина чувства не спешат отвечать — зачем и почему возникает любовь?

Это скоротечность и бестактность знают, зачем и почему они любят, это они возводят любовь в принцип, в то время как истинно принципиальным является не сама любовь, а отношение к ней, отношение к чувству любви.

Анна Сергеевна...

Простенько-трогательная русская женщина, почти девочка, которой судьба навязала нескладное, насмешливое и трагическое «фон Дидериц».

Каким образом вошла она в общество фигур ярких, незаурядных — Анны Аркадьевны Карениной, ибсеновской Норы, тургеневской Аси?

Анна Аркадьевна — та щедро наделена и природой и породой, красива, богата, известна, воспитанна, эмоциональна.

Главная примета этой — она с собачкой.

И вот им двум, таким разным, выпала одинаковая женская судьба — запретная любовь!

Только та — Анна Аркадьевна — готова всех окружающих, весь мир сделать участниками своей драмы, на весь мир эту драму переложить.

И смертью своею она мстит всем — себе, своим близким, своему любимому, своему ненавидимому, а в конце концов — всему миру.

«Мне отмщение, и Аз воздам»...

Эта — Анна Сергеевна — ни в малой степени не перекладывает на кого бы то ни было своей судьбы, даже — на плечи любимого ею человека.

«...Несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство».

Но все это как раз и противостоит упрекам миру. Вот-вот может сорваться и с ее губ этот упрек, это проклятие!.. Но — не срывается.

Смогли бы и мы вот так же не упрекать? Все оставить только при себе? Отнестись к миру так, как отнеслась она? Не замутить, не оскорбить его?

Ее обнаженной душе ведь нечем даже на минуту защититься — ни образованием, ни воспитанием, ни знакомствами, ни материнством, ни любовью к кому-то еще, ни красотой, ни оригинальностью характера и суждений... Ее драма — это ее бесконечное одиночество.

Одна... И никого вокруг, никого рядом...

Она не грешна тем, что как-то оценивает свою трагическую любовь, которая для нее выше оценки, выше сомнений, критики и самокритики. И, познакомившись с Гуровым, она ведь не искала счастья, счастливой любви.

Она «совершила», «обманула самое себя» — она и ответственна. Она не знает, как жить дальше,— она и не озадачивает этим вопросом никого. Зачем? Все равно никто не ответит. А в мире будет еще одна неловкость, еще одна бестактность.

Вот сама она — может, обязана ждать вопросов и упреков, и серьезных и справедливых.

Отчего нет у нее никаких знакомств, занятий и пристрастий, которые хоть в какой-то мере оградили бы ее от ее трагедии?

Да, она не лишает нас, никого не лишает права упрекать ее.

Только — возможно ли этим правом воспользоваться?

Можно ли упрекать больного в том, что он жестоко простудился, хотя бы и по своей вине?

Вообще, возможны ли упреки после того, как мы вдруг отчетливо представим себе и ее самое, и душевное ее состояние?

Она совершила нецеломудренный поступок, должно быть, совершила его давно, когда вышла за нелюбимого человека, а теперь — расплачивается. И — чем же?

Снова целомудрием. Таков этот мир, такова его жестокость: от всего, что правдиво, он взыскует десятикратной правдивости. Он только и ждет случая, чтобы взыскать. С того, кто взысканиям подвержен, кто не сомневается в необходимости расплачиваться за долги, за свое существование на этом свете.

В салоне Анны Аркадьевны, в ее блестящем обществе кто-нибудь обладал ли таким же тактом? Такой же ответственностью перед самим собой?

И не одну только даму с собачкой мы полюбили вот так же. И не только этим личным, как бы даже камер-

ным мужеством и стойкостью герои нашего писателя снискали к себе любовь.

Еще и другим.

Они упорно, неизменно ищут человека. В себе, в нас, в человечестве.

Отыскивается человек как таковой, как аргумент, от которого возникают все функции — общественные, служебные, семейные. И ничто поиск не заслоняет — ни войны, ни холера, ни пожары, ни авторское недомогание.

Неизвестный человек начал с того, что поступил лакеем к камер-юнкеру Орлову (он хочет убить его отца). А заканчивает он поиском человека — в Орлове, в его гражданской жене...

Доктор Рагин начинает с лечения психически больного Громова, кончает — поиском в Громове все той же искомой величины.

Художник попадает в имение своего приятеля Белокурова, вместе они — в усадьбу Волчаниновых. И вот уже в процессе поиска им человека уходят один за другим — Белокуров, Волчанинова-мать, Волчанинова — старшая дочь... Остается младшая — Мисюсь...

Кажется, здесь и найдет художник. Нашел. Другое дело, что тут же и потерял.

«Моя жизнь» — история такого поиска молодым человеком.

«Скучная история» — человеком старым.

Все те же три небольших и как будто вполне самостоятельных рассказа: «Крыжовник», «Человек в футляре», «О любви»...

Помним их героев, но почему-то всегда забываем, что о них поведал нам не непосредственно автор, а три других рассказчика: учитель Буркин, уже упоминавшийся ветеринарный врач со странной фамилией Чимша-Гималайский и помещик Алехин.

Но не помогает ни странная и необычная фамилия ветеринара, ни название села — Мироносицкое, в котором впервые мы встречаемся с рассказчиками,— их мы забываем упорно.

Удивляемся — зачем автору, такому строгому, такому лаконичному, наличие трех посредников? Трех предисловий?

Но это будет сразу же оправдано, стоит только над всеми рассказами поставить одно общее заглавие: «Как мы искали человека».

Тогда заговорят и предисловия:

«Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может быть, одна из разновидностей человеческого характера,— кто знает?»

Тогда иначе мы услышим и Беликова, человека в футляре:

« — О, как звучен, как прекрасен греческий язык,— говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищуривал глаза и, подняв палец, произносил: — Антропос!»

Тогда не будет ни лишним, ни формальным переход от рассказа «Человек в футляре» к рассказу «Крыжовник» и обращение Буркина к Чимше-Гималайскому:

« — В прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты Прокофия,— сказал Буркин,— вы собирались рассказать какую-то историю.

— Да, я хотел тогда рассказать про своего брата».

А от рассказа «Крыжовник» — к рассказу «О любви», когда Буркин и Чимша-Гималайский — уже слушатели, повествует же — Алехин.

«Было похоже, что он хочет что-то рассказать... Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые от дождя, в такую погоду некуда было деваться и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать...»

От рассказа «О любви» — к рассказу «Огни»... Эти уже и не связаны между собой формально и написаны в разное время (причем «Огни» появились на десять лет раньше), а все равно объединены одним и тем же мотивом. Все тем же поиском чуткого, умного человека.

Поведав опять-таки случайному слушателю, который забрел на огонек, свою любовную историю, инженер Ананьев говорит уже самому себе:

«Оказалось, что я, мыслитель, не усвоил себе еще даже техники мышления и что распоряжаться своей собственной головой я так же не умел, как починять часы».

«...Эту виртуозность, игру в серьезную мысль, наше поколение внесло в науку, в литературу, в политику и всюду, куда только оно не ленилось идти, а с виртуозностью вносило оно свой холод, скуку, односторонность

и, как мне кажется, уже успело воспитать в массе новое, до сих пор небывалое отношение к серьезной мысли».

Быть может, именно начиная с «Огней» возникла у него несколько даже однообразная интонация, свойственная тем его произведениям, в которых он сам или его герой как бы все время повторяет: «Ищу человека... Ищу, ищу, ищу...»

В которых присутствует авторское предисловие на ту же тему, философия по тому же поводу.

Если этот всеобщий поиск — тенденция, тогда наш писатель крайне тенденциозен.

А каждый, кто этой тенденции, этому поиску не подвержен,— примитив для него, и у него нет необходимости говорить о таком персонаже «изнутри» — он достаточно виден ему «снаружи».

В русской литературе человек не впервые мучился оттого, что он живет лучше, а не хуже других; более, а не менее других обеспечен материальными благами, и ему все время кажется, что он менее, а не более других мучается «проклятыми» вопросами.

К этой стороне существования русского интеллигента наш писатель обратился еще раз. По-своему.

И совершил при этом еще одно открытие.

Создал еще одну формулу общения людей друг с другом.

Еще приблизил нас к пониманию вечно искомой величины — человечного человека.

Он поставил меня в такое положение, в котором не я сужу его героев — почему они поступили так, а не иначе: почему стреляются, когда надо бы погромче стукнуть кулаком; почему не могут договориться ни между собой, ни сами с собой,— а они и судят меня, и взывают ко мне как к человеку, как к человечеству.

Почему я — человечество — допускаю такую жизнь? Такие страдания? Такие сомнения? Такие отношения?

Они судят меня своими — наивными — средствами, без параграфов, без деклараций, ведь такт бездекларативен, как и вся их жизнь, но суд их высший: они не применяют ко мне ни одного из тех средств, которые неприменимы к ним самим.

То и дело их укор почти немой:

«Как идет время! Ой, ой, как идет время!..»

«Гоп-гоп (пауза). Прощай, эхо!»

«Если бы знать, если бы знать!»

То и дело — укор немой. Ну, вот бывает нечто похожее, когда собака судит человека. И, вместо того чтобы укусить, зарычать,— прощает его.

И я смущен, я не знаю, что делать — смотреть ли на сцену или в пол, себе под ноги, на земной шар, по которому я хожу, на котором живу. На котором после меня будут жить мои дети.

Он не только говорит мне о чуткости, он еще и вводит меня в состояние чуткости.

Даже больше того — в состояние поэтической чуткости.

Мало ли в какие состояния поэзия и прежде вводила нас — лиризма, воодушевления, гнева, преклонения, восторга, экстаза, но вот это состояние было открыто им — прозаиком. Он стал новым поэтом новой поэзии, которая могла возникнуть только у него — разумного, обязательного, обаятельного, ответственного, а еще чуткого и тактичного человека.

Такт, наверное, и создал гармонию всех этих качеств, ту самую, которую и неловко назвать поэзией, и невозможно не назвать так.

Уж это мне одиночество моего поэта, всечеловеческое одиночество, уж эта его стихия границ и разграничений, в которой я вдруг, и так неожиданно для себя, оказался человечеством! Уж эта его обаятельная улыбка, этот его безукоризненный такт! Вот к чему они привели...

Да, именно так и чувствуешь, что у кого-то из его героев совести больше, чем у тебя, но он, а не ты, страдает от ее недостатка.

Это тебя спрашивают: не ты ли тот человек, которого они так ищут?

И это тебе достается признание:

— Нет, не я...

Или, будучи твоим судьей, герой вдруг обращается к тебе как к существу более разумному, душевному и воодушевленному: просит рассудить его с жизнью.

Этот судья бесстрашен — он не боится и роли подсудимого. Лишь бы суд — праведный.

Лишь бы суд помогал жить, облагораживал жизнь, делал ее разумней. Ну а что касается героев, носителей этой высшей искренности, так они и в самом деле часто бывают хмуры, бездеятельны, печальны.

Вероятно, они и не могут быть другими — приятными, воодушевленными, раз неприятна и невоодушевлен-

на жизнь, раз нет соответствия между доступным каждому высоким словом и никому не доступным результатом этого слова.

Они ищут человека, постигают его назначение, а кому жизнь и люди безропотно прощают такого рода поиски?

Разве только отшельникам и трибунам, и то — не всегда. Людям же обычным, в обычной обстановке за эти поиски приходится расплачиваться слишком дорогой ценой.

Это на свою собственную беду такие искатели обладают абсолютным, даже гипертрофированным тактом и чуткостью, ощущением постоянной, непреходящей дисгармонии.

Но их беда нужна человечеству. Она — отнюдь не из числа бессмысленных.

Конечно, они не являют собою положительного и показательного героя, такого, кажется, у нашего писателя вообще нет, зато они вносят в сознание людей нечто большее — воспитание ума и чувства, и вот уже нравственное значение их несомненно, и все творчество Антона Чехова в целом мы противопоставляем безнравственности, злу, всем отрицательным явлениям жизни. И взываем к этому творчеству в самые трудные дни нашей жизни.

Что, если бы мир вдруг совсем лишился этих хмурых искателей?

Что, если бы вместе с ними мы лишились тех чувств, тех настроений, тех мыслей, которые они в нас вызывают?

Невеселых настроений, невеселых мыслей?

Ведь хмурые нашего доктора — это наше лекарство, это средство нашего исцеления.

И если доктор не сделал на рецепте пометку «cito!!!», так только потому, что надеялся на догадливость своих пациентов.

Хмурые даже не обладают четким образом — таким, как Собакевич, как Хлестаков, как Нора, как мадам Бовари, как Мефистофель, как Наташа Ростова, но ведь может быть, что как раз через таких, какие они есть, эти хмурые, через неотчетливых и сложных — у нас нынче и вырабатываются, тренируются и совершенствуются и чувство приобщения к человеку, и способность постижения его? Совершенствуется сама методика этого приобщения и постижения?

Может быть, нам более всего и нужен нынче именно этот тренаж, эта гимнастика чувств?

А если они кому-то и не нравятся, хмурые герои, так это еще ничего не говорит о еще неизвестном существовании их после нас.

Каком существовании?

Не знаем, нет.

Дон-Кихот прочитывался современниками Сервантеса как фигура исключительно комическая.

Над ним смеялись.

Удивлялись выдумке и юмору автора.

А через века он настиг нас, этот поначалу такой смешной, такой никчемный герой, и настиг, будучи уже не смешным, а трагическим.

И вот уже он не имеет права оставаться смешным и слабым, будучи таковым от рождения.

И без донкихотства — возможно ли после Дон-Кихота искусство?

НОРМА

В большом лесу среди миллионов, среди какого угодно числа деревьев всегда обнаружат себя экземпляры исключительные, гигантские, и мы вправе, и нам приятно воздать им почтительное должное: «Вот каким мог быть весь лес, все деревья — на десять голов выше, чем они есть!»

Но реальное представление о лесе должно включать, кроме деревьев-гигантов, еще и понятие модельного дерева.

Это оно представляет собою нечто и типовое, и среднее — среднюю высоту леса, средний диаметр ствола на уровне груди человека, средний диаметр кроны, средний возраст.

Модельное дерево — удивительно красиво и пропорционально, у него нет недостатков, кроме одного: его нет, его не существует.

В то время как все исключительные экземпляры — это факты, которые нельзя подвергнуть сомнению, модель — результат подсчета средних величин, и ни одно дерево из миллионов полностью не совпадает с ней. В чем-то, в наималейшем, но будет от нее отклоняться.

Это — угаданный нами замысел природы, ее норма в идеале, а весь лес — лишь практическое исполнение ею своего замысла.

К этой норме и был устремлен наш поэт.

Конечно, он сам не был моделью — ее ведь вообще не может быть.

А гениальность его, быть может, потому до сих пор и подвергается сомнению, что она сама себе и другим внушала мысль, будто бы с ней нельзя, невозможно, недопустимо говорить ни возвышенно, ни громко, что ни в какой мере и ни в какой форме к ней неприменим пафос.

Она ведь отказывала себе даже в фантазии.

По существу же это была невиданная, неизвестная фантазия, только в необычном до сих пор направлении — не к исключительности, а к норме, к тому замыслу природы, который она сама не сумела осуществить.

Ведь в то время как каждая исключительность — по закону ли преемственности или противопоставления — вызывала к жизни следующую, новую исключительность, каждая норма, едва приблизившись к своему идеалу, едва сконцентрировавшись в какой-либо человеческой личности, тотчас должна была рассеяться. Ведь невозможна была до сих пор исключительная, гениальная нормальность. Ведь нет в лесу модельного дерева!

Исключительность жизнеспособна, дееспособна ощущением самой себя — реальной. Это ощущение она отождествляет и со своим идеалом: идеал — это она сама, это — когда все будут такими, какова уже есть она.

Идеал и жизненная сила нормы — вне ее. Она всегда это помнит. Не помнит же своих предшественников. У нее нет истории в лицах, тем более в лицах великих.

Слишком много нужно было времени, чтобы гениальность, направленная не к исключительности, а к нормальности, наконец-то персонифицировалась, сложилась в конкретную личность.

Которая полушутя-полусерьезно, а все-таки скажет:

« — Черт бы побрал философию великих мира сего!»

Которая много позже найдет отголосок в другом поэте:

« — Быть знаменитым некрасиво!»

Слишком поздно это произошло — когда исключительности уже успели сформировать и самих себя, и свое искусство, и его потребителя.

Но все-таки произошло.

Вероятно, в последний момент: еще миг — и сама возможность появления «нормального» гения в искусстве была бы уже навсегда исключена исключительностями.

Так или иначе, но гений нормы появился и должен был установить отношения с исключительностями, с искусством, ими созданным.

И отношения эти не могли не быть сложными.

Если исключительности по самой своей природе никому и ничем не обязаны, ведут счет только самим себе, замечают и помнят только свою собственную последовательность, не такую уж сложную, достаточно очевидную, так норма должна замечать и помнить едва ли не все на свете, всю ту повседневную реальность, из которой она возникает.

Нормальность, норма, еще никогда не успевала сформироваться в свою модель, приблизиться к ней. Она еще была понятием умозрительным, еще не формулировалась достаточно четкими символами или образами, а исключительности уже низвергали ее, объявляли устаревшей и несовершенной, освобождали ее от ее консерватизма, требовали ее ломки и замены.

Исключительности требовали всего этого и сами по себе и особенно громко — устами своих приживалов.

И это освобождение и замена еще неосуществленного идеала другим, более современным, действительно всегда осуществлялись.

Но только — не тотчас, не сегодня же. Сперва уходили те самые исключительности, которые столь категорично и требовали, и горячо освобождали. Они уходили и оставляли после себя всевозрастающую сумму этих требований.

И норма знала об этом. Не имея собственной истории, помнила историю всеобщую.

Помнила своих перевоспитателей и экзекуторов лучше, чем они помнили друг друга.

И когда дело касалось искусства, она не забывала, что ямбы и хореи пережили эпохи рабовладения, феодализма и капитализма, эпохи ручного труда, пара и электричества.

Что, когда искусство объявляет о своем бунте против консерватизма окружающей жизни, оно, то и дело неосознанно, бунтует против самого себя — против собственного бессилия и неумения эту жизнь выразить, против собственных традиций, какими оно обусловлено

иной раз даже больше, чем жизнь, которую в искреннем порыве оно стремится освободить от традиций.

Так как жизнь действительно и часто становится театром, причем не самым лучшим, искусство все в том же порыве предлагает сделать театром всю жизнь, сколько ее есть. И даже видит в этом истину.

Но тщетны эти попытки — и жизнь и театр остаются тем, что они есть,— им дано лишь воздействовать друг на друга, дано нелегкое, затруднительное сосуществование.

И когда настает час кому-то умирать — или про́клятому, или проклинающему,— то первое остается, а уходит второе.

Норма тоньше, спокойнее различает один бунт от другого: бунт искусства против консерватизма жизни и против консерватизма своего собственного. Ни тот ни другой бунт норме не чужд, она ищет себя в их сосуществовании, когда же она гениальна — она даже как бы приближается к гармоническому их сочетанию.

Искусство, идеал которого — нормальная жизнь, должно дорожить и своей собственной нормальностью.

Оно тоньше чувствует художественный жанр: что жанр нынче может, а чего не может, где он применим, а где — не на своем месте.

В этом жанровом самосознании искусства сказываются его самостоятельность и его отношения с эпохой, его понимание требований времени — требований то ли отказаться от повторения пройденного, каким бы великим это пройденное ни было, то ли — ограничивать себя в выдумке нового и неизведанного, сколь ни заманчиво это занятие.

Ведь не искусство само по себе, руководствуясь только своим интересом, определило, когда следовало появиться тому или иному жанру — рассказу, например. Законодателем нового явления было время, с его психологией, мировоззрением, образовательным цензом и передовым читателем, однако искусство должно было точно чувствовать ошибочность и безошибочность предъявляемых ему требований, их правомерность.

Кажется, что благодаря именно этому чувству наш автор оказался новатором — его читало, им восхищалось молодое поколение, читатель же старшего возраста то и дело не принимал и не понимал его. Его новаторство заключалось еще и в том, что он ввел в отечественную литературу импрессионизм, чем-то напоминающий

тот, который уже обрел права гражданства в мировой живописи.

Если так можно выразиться — до предела чуткий «объективный импрессионизм», поскольку его объективность была не всеобщей, а строго избирательной, личной, который, не скрывая себя, не скрывая ни собственного лица автора, ни его отношения к предмету, в то же время умеет ограничить это отношение в интересах объективности и ради высокого общественного назначения литературы.

Импрессионизм, который опять-таки не «вживался» в предмет искусства, а был около предмета и, пользуясь небольшой, однако же заметной дистанцией, окрашивал предмет своим вниманием, своим взглядом со стороны.

Уходило то время, когда живопись свидетельствовала, и чем дотошнее, а нередко и чем лояльнее — тем удобнее для себя: ведь именно такое свидетельство ценится выше всего. Но по целому ряду причин, хотя бы по причине появления фотографии, которая на первых порах с видимым удовольствием принимала на себя миссию свидетельствования, живопись пережила раскрепощение, пережила период новых открытий самой себя. Даже древние мифические герои, отстаивая свое дальнейшее существование в современном мире, и те, кажется, запротестовали против традиционных изображений, против своих собственных ликов и нимбов, даже они способствовали тому, что живопись стала изображать не столько их, сколько свое собственное отношение к ним. Так что мифы тоже обрели черты конструктивизма, импрессионизма, абстракционизма и прочих «измов» новейшего времени.

И это тоже было познанием мира — мир для нас существует и сам по себе, и в наших изображениях, а искусство изображения в этой связи обогащалось новыми направлениями и жанровыми приемами. Творчество — это ведь еще и союз художника с жанром.

Счастливый или трагический, но всегда интимный и неповторимый, всегда во времени и в пространстве, всегда не искусство вообще, а конкретное искусство,— этот союз определял и лицо художника, и его приверженность к норме или к канонам.

И жанр тоже ведь как бы сам по себе несет ответственность за судьбу, за приобщение к себе художника, а художник — за судьбу жанра, за его обогащение или обеднение.

Взаимная ответственность имеет место даже в том случае, если художник совсем не думает о жанре, не знает, не хочет знать того жанра, в котором рождается его произведение.

Такой художник, каким был наш писатель, поэт нормы, не мог поставить свой жанр в неловкое положение. Не должен был выдать самомалейшую напряженность в своих отношениях с ним.

Он и не сделал этого. Никогда. Зато всегда мы чувствуем чуткость, тактичность и честность этих отношений. Должно быть, это тоже есть одно из тех качеств, которые неизменно придают обаяние его творчеству.

Однако и в малейшей мере это не значит, будто здесь была достигнута идиллия.

Идиллия — всегда стремление к упрощению, обычно куда труднее благородные отношения при наличии явных противоречий.

Ведь не чужие, а его собственные герои, и не из пошляков, а из тех, с которыми он беседовал на равных, то и дело высказывали мысли такого рода:

«...Как еще мало осмысленной правды и уверенности даже в таких ответственных, страшных по своим результатам деятельностях, как педагогическая, юридическая, литературная».

«...Если поглубже вдуматься, сколько надо иметь храбрости и веры в себя, чтобы браться учить, судить, сочинять толстую книгу».

«...Сентиментальную и доверчивую толпу можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа».

«...Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своей совестью».

А когда так, когда по законам движения к норме он не имел права этими рассуждениями пренебречь, исключить себя из них, ему и не оставалось ничего другого, как создавать свои собственные отношения с искусством такими, чтобы они не обманывали ни художника, ни искусство.

Исключения лишь изредка и без особого рвения учатся друг у друга, норма делает это и легче, и точнее, и незлобивее, у нее точнее и объективнее отбор, она чаще сдерживает себя, реже и опрятнее отвергает. И редко

кто из действительно великих исключений остается для нее совершенно чужд.

Она способна к роли некоторого общего знаменателя, поэтому редко кто из действительно великих исключений отвергается ею с неприязнью, раз и навсегда.

Она знает, что:

«за новыми формами в литературе всегда следуют новые формы жизни (предвозвестники), и потому они бывают так противны консервативному человеческому духу».

И она же говорит:

«Между «есть бог» и «нет бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-нибудь одну из двух этих крайностей, средина же между ними ему неинтересна, и он, обыкновенно, не знает ничего или очень мало».

Время медленнее течет для нормы, чем для исключения,— те ведут счет от одного катаклизма до другого, нимало не беспокоясь о промежутках, в которые «не случается ничего», ее же материал — чаще всего материал повседневный.

Это — ее беда и ее заслуга: героическое ей слишком просто свести к повседневности, зато в повседневности она способна увидеть ту значительность, которой с легкостью пренебрегает романтик.

Наш поэт безошибочно уловил и понял эту давнюю, ставшую исторической, тревогу естественности за искусство, искусства — за естественность.

На этот счет можно найти множество мыслей, высказанных до нашего писателя и после него:

«Художественное произведение превосходно тогда, когда выражает чувства, которые, будучи естественными, не являются, однако, обыденными» (Джозеф Эддисон).

А спустя некоторое время после него:

Жить — значит «медленно рождаться. Чересчур просто было бы приобрести сразу готовую душу» (Сент-Экзюпери).

В своих произведениях наш поэт никогда не был ни публицистом, ни литературоведом. И публицистика и литературоведение были для него почти что «за», за границей его творчества. Он, как всегда, мог быть лишь «около» того и другого, а если все-таки о том и другом говорил, так только с друзьями, только — в письмах,

только — по конкретным поводам. Он не оставил нам обобщенных взглядов на искусство в целом, не стремился к определениям, подобным тем, которые давали в разное время или Джозеф Эддисон, или Сент-Экзюпери, он шел приблизительно от первого — приблизительно ко второму; от естественности, которая должна быть выше обыденности,— к постижению процесса медленного рождения душ своих героев. Шел, используя опыт своей личности, опыт ее участия в этом процессе.

Он умел соединять свою философию искусства со своим искусством, заключать одно в другое и делать это точно, конкретно...

В то же время он умел, со свойственным ему тактом, понять ту ответственность, которую искусство несет перед миром, даже как бы помимо созданных шедевров, помимо всех своих величайших достижений, а только само по себе, только общим фактом своего существования.

И мы чувствуем эту непосредственную связь и наблюдаем, как его искусство то и дело стремится к «чему-то», и это «что-то» — не идеальный герой и не герой, идеально выражающий мысли автора, его полномочный представитель. Это еще и оно само, искусство как таковое.

Ведь каждый из нас слышит обращение искусства к нему как к человеку, как к человечеству. Само назначение искусства позволяет ему каждого включать во всеобщий процесс медленного рождения человека и человечества.

Умея и зная все это, наш поэт и нас способен обратить к тем очертаниям искусства, к той его модели, которые нормальны для мира.

При его участии и мы глубже узнаем, глубже чувствуем, как отвлеченный идеал искусства, как стремление искусства к самому себе, к своей собственной природе, к своему совершенствованию вдруг приобретают силу практического доказательства: значит, и человечество тоже может, тоже должно делать шаги к своему совершенствованию!

Казалось бы, что величие — вообще противопоказано Антону Чехову, тем более что мы не припомним у него ни патриотических статей, ни героических портретов, а между тем не слишком уж много людей, кото-

рым удалось сделать столько же для возвеличивания своего народа, его культуры, его духовности.

На его пути — роковые границы, рубежи и бездны, но то же искусство поможет их опознать, различить и остеречься, только нужно понять его язык, временами — код. Понять его «отвлеченный» идеал.

Наш автор стремится к самому себе — индивидуальному, независимому.

Однако это стремление, эта независимость обращены все к той же истинной цели искусства — сблизить человека с замыслом природы, так и не осуществленным ею в венце своего творения.

Искусство стремится к такому сближению, даже если подозревает, что все отклонения от этого замысла, от этой модели не что иное, как плата человека за то, что он — венец и царь природы.

При этом кажется, будто наш поэт знает, что менее всего бывает противоречий между истинными идеалами, будь то идеал нормы либо — исключительности. Противоречия обычно касаются только средств достижения идеала и единства жизни. И вот к этим-то средствам, рекомендациям и их оценкам он подходит с особенной осторожностью.

Все это мы чувствуем вместе с ним, когда он приобщает нас к себе, к искусству нормы, к искусству в целом.

В то же время щепетильность, деликатность, даже боязнь в выборе средств достижения своей мечты, в выборе способа сегодняшнего существования — не есть ли все это непростительная слабость, беспринципность, бесстрастность?

Бесстрастность не только героев нашего поэта, но и его самого, всего его искусства?

И вообще, бесстрастность, быть может, неизбежный спутник искусства, если только оно стремится к норме?

Никогда не трудно предполагать. И кажется, что предположение еще ни к чему не обязывает. Когда же предположение возникло, уже существует,— оказывается, что его легко утверждать. И трудно опровергать.

Утверждать, положим, что поскольку в искусстве отсутствует страсть, в нем должна отсутствовать и событийность. В искусстве нередко находили место бесстрастные герои, но бесстрастных событий в нем не было никогда, если только оно хотело нас в чем-то убедить, на нас повлиять.

Однако не принимаем ли мы отсутствие страстей и событий в нашем привычном понимании за бесстрастность и бессобытийность вообще?

Чего мы хотим? Подтвердить ли лишний раз свои уже давно сложившиеся представления о страстях и страстности, о событийности художественного произведения, или сначала эти представления с чем-то сверить, посмотреть на них по-иному, а тогда уже — искать ответ?

...Гостиная трех сестер и брата Прозоровых.

В младшей сестре только-только зародилось чувство, некоторое согласие на любовь. На любовь к человеку, такому же неустроенному в жизни, неуверенному, как и она сама.

И вот уже — выстрел, и этот человек убит из ревности. Событие? Оно — результат отношений Тузенбаха — Ирины — Соленого.

И еще треугольник: Маша, ее муж Кулыгин, Вершинин.

И еще: Андрей, его жена Наташа, его шеф, председатель земской управы Протопопов.

И многоугольник: три сестры и брат Прозоровы, жена брата Наталья.

И линии:

нянюшки Анфисы, которая одна только и счастлива среди всех этих людей, потому что теперь она живет в светлой комнатке при женской гимназии;

сторожа земской управы Ферапонта, который не счастлив, но и не несчастлив, оттого что ему чужда сама потребность реального счастья; глухой, он живет невероятными, дикими слухами — в столице двести градусов мороза, купец съел не то сорок, не то пятьдесят блинов, «не упомню» сколько, после — умер.

Линия доктора Чебутыкина.

Офицеров — Федотика и Родэ.

Несмелые, неясные линии, а все-таки — линии.

Любовь; еще любовь; еще раз любовь, измена; еще раз измена; убийство на дуэли; окончательный распад семьи, разрушение дома, в котором так или иначе существовала семья Прозоровых в двух поколениях; пожар в городе; приход в город и уход из него военной части... В каком еще произведении, в какой драме, трагедии или комедии событий столько же? Столько же треугольников? Многоугольников? Линий?

Есть ли в мировой драматургии произведение, в такой же степени насыщенное событиями? Столь же перенасыщенный раствор?

Шекспир из одного только треугольника сделал бы трагедию, Островский сделал бы ее уже из многоугольника, ну хотя бы показав все те обстоятельства, в которых разрушается семья Прозоровых с приходом Натальи.

Для моего поэта недостаточно и того, и другого, и еще третьего — всего, вместе взятого. Ему недостаточна вся сцена, все персонажи, все эти бесконечные события, которые мы видим. И он говорит нам еще и о том, чего мы не видим, говорит о тех, кого мы не видим.

Мы не видим жены Вершинина, но знаем ее. И двух ее дочерей знаем, и ее многочисленные попытки покончить с собою. А ее истеричности, почти что сумасшествия, мы все время опасаемся — эта истеричность вот-вот может ворваться на сцену. Даже не обязательно с нею вместе, но и без нее, через нее, благодаря ей, будучи отражением ее.

Не видим председателя земской управы Протопопова, но снова это ощущение, что вот-вот, сию секунду он может предстать перед нами, вот-вот законченный карьеризм, законченное потребительское отношение к жизни в его лице вдруг появится в гостиной Прозоровых, нас не оставляет.

Все эти усеченные треугольники, эти персонажи — и жена Вершинина, и любовник Натальи,— оставаясь за сценой, тем самым связывают сцену с окружающей жизнью. И мы воспринимаем сцену уже не изолированно от города, от населяющих город людей, от событий, в нем происходящих. Там, именно в этом городе, живут Протопопов, семья Вершинина, оттуда с нелепыми слухами приходит Ферапонт, там служат Ирина и Ольга, там обретает счастливую светлую комнатку Анфиса, туда уходят из гостиной Прозоровых их гости — офицеры, там происходит пожар, там — набат, там — выстрел и смерть, там — музыка.

Пожалуй, еще ни один художник не обладал в такой степени способностью создавать невысказанные и несыгранные сцены и картины, способностью, заложенной где-то в безупречно-точной, почти шахматной композиции, когда легко себе представить, какая создается на доске обстановка, если не двигать, а только вообра-

зить себе тот или иной возможный ход фигуры, но все это — в сочетании отнюдь не с мнимой, а с истинной непринужденностью и естественностью, с простотой, которая есть мудрость, даже с некоторой долей той меланхоличности, которая не сама влечет нас, а как будто нам позволяет увлечь себя куда-то, а куда — ей будто бы безразлично.

И все это — подтекст, но не только смысловой, не только отвлеченно эмоциональный, но и конкретный, видимый и слышимый почти в той же мере, что и сам текст.

Вот сейчас, после первого или второго акта, опустился занавес над текстом пьесы, а мы чувствуем за собой полную возможность подняться на сцену и, приняв на себя режиссерские обязанности, поставить одну, две, три, множество картин этого зримого подтекста.

Его сцена не изолирована, она — не замкнутая арена для разыгрывания поучительного примера, она — часть сегодняшнего, текущего бытия этой семьи, этого города, этой страны, этого человечества.

Однако только ли сегодняшнего?

Оказывается, и этих бесконечных слышимых, видимых, ощущаемых связей сцены с окружающим ее миром нашему писателю снова недостаточно.

И он связывает сцену с жизнью не только сегодняшней, но и с прошлой, и с будущей.

Вершинин, едва появляясь, вспоминает сестер Прозоровых девочками, вспоминает их отца.

Чебутыкин все еще любит Прозорову-мать, память о ней, давно умершей.

И вот уже мы включены в прошлое семьи Прозоровых, оно, это прошлое, где-то совсем рядом, за задником сцены, и мы можем при случае рассказать о нем своему приятелю.

А чуть впереди авансцены, где-то между нами — зрителями и Прозоровыми,— их будущее. Пусть несбыточное, пусть неопределенное, пусть только стремление к нему — и все-таки это оно: «В Москву, в Москву!», «Если бы знать, если бы знать!»

Все это, все, что на сцене, рядом с ней, за нею, впереди нее,— уже не сыграть по Шекспиру, по Островскому, даже по Толстому: слишком большое количество событий. И если о трагедии Шекспира мы говорим: «Какая трагедия!», о комедии Лопе де Вега — «Какая

комедия!», то о пьесе нашего поэта мы чаще всего восклицаем: «Какая жизнь!»

Какая же это жизнь?

И прежде всего — почему мы не сразу замечаем ее небывалую событийность?

Вероятно, потому, что на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков события уже подверглись невиданной инфляции.

Должно быть, все началось с арифметики: количество людей удваивалось, утраивалось, и вот уже слишком много стало человеческой истории, так много, что ни летописи, ни жития уже никого и ничему не учат.

Слишком много современности.

Много отношений между людьми — личных, общественных, социальных, национальных, религиозных...

Много техники, наук, искусств, религий.

И наконец, слишком много событий. У искусства все чаще не хватает сил, чтобы относиться к ним так, как они того заслуживают: трагически, критически, лирически, философски. Чтобы отличать возможности от необходимостей, преступления от добродетелей, мертвые души от живых, «хорошо» от «плохо»... Различать и на этой основе поражать нас сопоставлениями и контрастами.

Античное искусство без труда ведь различало «хорошо» и «плохо». Различало их и Возрождение, вплоть до Пушкина.

Ведь Пушкин принес знамя античности в девятнадцатый век, сохранив безупречное, ни на минуту не сомневающееся в самом себе чувство красоты, которое до конца уверено в своем праве отличать добро от зла; он принес почти языческую и безоговорочную восторженность не только перед величием мира, но и перед своей собственной способностью ощущать этот мир, вписываться в него, всегда отождествлять себя с ним.

Всегда и точно знать, что такое в этом мире хорошо, а что такое плохо.

А Лев Николаевич Толстой, быть может, был последним, заключительным гением, который еще умел события синтезировать, объединять на основе их очевидных различий, писать войну и мир вместе взятыми, еще верил, что он сможет подчинить себе одному всю множественность событий.

Последний могиканин, он еще умел говорить трагически о трагическом, весело о веселом, логически о логическом, философски о философическом, еще сам настолько искренне верил в безупречность своей системы классификации событий, в пророческую интонацию своего собственного голоса, что заставлял верить себе и других.

Но после него искусство вплотную занялось нетипичным до той поры самообразованием, оно училось говорить легко о философском, смешно о трагическом, сатирически обо всем на свете.

Эту науку преподала искусству сама жизнь — усложненная, событийная, одноликая в своей множественности и усложненности.

А искусство не имело права этой наукой, ее требованиями пренебречь.

Правда, по мере сил своих и умения оно все еще сопротивлялось, стремилось во множестве событий найти одно, настолько показательное, чтобы через его посредство можно было выразить все — всю множественность жизни.

Оно же забегало и вперед этих требований, торопилось быть тоже «слишком», занять «передовые» позиции все в той же разноликой массе событий, которую и без помощи искусства время навязывало жизни. Искусство вырабатывало ради этой задачи-модерн новую технику, иллюзии этой техники и даже научилось кичиться всем этим.

Тем временем для искусства все больше становилось утопией на каждое, даже поистине грандиозное событие отзываться гением — ведь по природе своей гении единичны.

И тогда-то оно выдвинуло художника, который действием одной пьесы делал не один и не два факта, не одно и не два события, а целое течение жизни, который опять-таки шел в направлении не к исключениям, а к норме. Житейской действительностью стала множественность — этот художник пошел навстречу ей, чтобы и в ней искать модель, норму. Множественность в норме особенно нуждалась — чем больше, чем продолжительнее ряд наблюдений, величин и событий, тем ощутимее нуждается он в статистической обработке и особенно в тех выводах, которые касаются нормы.

На примере отношения к множественности автор показал принцип своих отношений с действительностью.

Как часто актеры играли событие, играли в поучение для других, в обстоятельствах, заданных им автором... У него они играют жизнь, которую нужно различить за событиями, как лес за деревьями, играют обстоятельства этой жизни, ее множественность, играют не в «атмосфере», а как бы сами воссоздают атмосферу, каждая молекула которой уже перенасыщена драмами и несбывшимися надеждами минувших поколений. Трудным и далеко не всегда позитивным опытом самого искусства.

Удивительное сочетание традиционности искусства и его новаторства; аристотелевский принцип единства места и действия: сцена — это ведь только гостиная Прозоровых, но на сцене — бесконечные события новейшего времени.

«Три сестры»...

Может быть, что каждого из предшествующих классиков это название обязало бы создать три различных характера, затем — столкнуть их между собою. И уж во всяком случае это были бы не только три сестры, но и три судьбы.

Чехов все сделал вопреки всему тому, что можно было ожидать.

Характеры трех сестер различны лишь в той мере, которая необходима для создания одной, общей для всех них судьбы. И судьба эта от этого становится многозначительнее для нас — зрителей и читателей, и для нас уже неважно, кто из трех сестер воскликнул под занавес: «В Москву, в Москву!», кто из них произнес, глубоко вздохнув: «Если бы знать, если бы знать!»

Три сестры — это три отражения в зеркалах, далее создающих уже бесконечность отражений.

И обычный для художников синтез событий отброшен, уже не существует как некий конечный вывод, как авторская задача противопоставления в одном полотне белого черному. Вместо этого — тонкий анализ, анализ множественности, анализ состояния людей, во множественность погруженных, их чувств, их устремлений.

Удивительное состояние и самого искусства как такового, состояния, которое искусство отнюдь не скрывает и которым неизменно делится со зрителем.

Как часто мы видели, что актер играл правду или ложь, повелителя или раба, силу или бессилие. И все — до конца, до самого конца. Уж он-то, играя, должен был лучше всех на свете знать, что же такое «хорошо», а что такое «плохо». Уж кто-кто, а искусство в лице актера ничуть не сомневалось в своей способности и единоличном правомочии расставлять точки над «и» — аттестовать добро и зло, по заслугам выносить приговор.

Искусство нашего писателя начинает подвергать сомнению и самое себя. И делает это не таясь, у нас на глазах, к нам апеллирует.

Не только в окружающей жизни, но и в самом себе ищет норму.

Вероятно, без этого оно уже не могло.

Подвергая сомнению мир, оно не должно, не могло сделать исключения для самого себя, порожденного тем же то и дело сомнительным миром.

В этом — тонкость ума и тот абсолютный такт, который был столь развит в нашем поэте, и те контакты со зрителем и читателем, которые он впервые сумел создать.

Было время, когда сатира без сожалений, без колебаний, без сомнений, не особенно заботясь о такте, освобождала мир от средневековья.

Но вот наступил век иронии, а ирония, лишенная такта,— это или злословие, или пустая болтовня. Такт — и душа иронии, и ее ум.

Когда же ирония действительно тактична — мы ее непременные союзники, мы размышляем вместе с нею, мы чувствуем ее доверие к себе.

Ирония же то и дело связана с подтекстом, это она, как ничто другое, учит по-художнически создавать подтекст, по-читательски его воспринимать.

Подтекст ведь невозможен в категорических утверждениях, в лобовом поучении, в откровенной назидательности, он невозможен при таких отношениях, когда одной из сторон присвоена роль наставника.

Ирония художественного произведения ищет в нас не только симпатий или антипатий к герою — ей необходимы наши размышления, а размышления опять-таки сосредоточиваются ею обычно не столько на тексте, сколько на подтексте, к подтексту относится вопрос: «что это значит?»

Пусть наши размышления отличаются от ее собственных понятий и сомнений, но они обязательно должны быть возбуждены ею в нас.

Процесс размышления еще раз возведен иронией в категорию эстетическую и эмоциональную. Это еще одно новое качество искусства — его выигрыш у жестких и жестоких требований множественной и усложненной жизни.

Это — дальнейшее сближение искусства с наукой, с общей задачей познания мира, с разумной и перспективной практической деятельностью человека. Недаром герои нашего поэта пекутся именно о такой деятельности, страдают от того, что им ее недостает.

Бесконечная череда событий и страстей рано или поздно должна была терять — и теряла — единственность и неповторимость каждого случая и факта, должна была становиться — и становилась — аморфной, должна была прийти — и пришла — в такую гостиную, как гостиная сестер Прозоровых.

И должен был появиться — и появился — такой художник, который привел бы события, утерявшие свою единственность, в эту гостиную.

Который, быть может, как никто другой, открывал емкость сцены, ее способность отражать множественность.

Сцена — благодаря живому жесту, благодаря неожиданной, как бы даже выпадающей из целого спектакля реплике, благодаря звукам набата или отблеску пожара, донесшим событие откуда-то извне,— оказалась способной вместить в короткое, двух-трехчасовое представление несравненно бо́льшую множественность жизни, чем способна это сделать проза.

И это после нашего писателя режиссеры стали требовать от актеров, чтобы те жили на сцене не сами по себе, а в общем течении, чтобы знали, из какой жизни они на сцену выходят, в какую — уйдут.

Когда еще был драматург, который вот так, разом, овладевал таким же количеством событий, умел сводить их в одно театральное представление?

Который вот так же события не только видел, но и слышал? Недаром же наш писатель обладал таким тонким слухом. Лай собак, дыхание леса, звуки ветра, ночное потрескивание мебели в комнатах... Все он слышал как бы через стетоскоп.

Тончайший слух позволял ему слышать и отражения негромких сигналов, посланных им же в глубины общества и каждого человека, а умение и тонкий, изысканный такт делали обратную связь доступной и читателю и зрителю. И возникали те самые контакты, о которых речь уже шла, которые имели конечной целью заставить и нас искать норму, ощущать ее отсутствие, тосковать по ней, любить ее, несуществующую. Любить то чувство меры, в котором, как нигде, быть может, этика сливается с эстетикой, разум — с эмоциями, которое уже само по себе есть гармония, и тот идеал искусства, без которого нет уже и самого искусства.

Искусство его явилось результатом бесконечной множественности жизни, которую уже не в состоянии были охватить исключительности. Должно быть, оно и ощущало себя как производное множественности, как более или менее модельное дерево в необъятном лесу.

Норма — это ответ на множественность.

НЕРВ ДОКТОРА ЧЕХОВА

Наш поэт, наш доктор применил к нам и новые средства диагностики.

Одновременно он обнаружил новые качества нашей психики, нашего душевного склада.

Ведь вновь изобретенный медицинский инструмент или новый способ диагностики как бы подсказывает и новое открытие неизвестного прежде свойства организма. Вот этим-то свойством, этим чувственным узлом и оказался тот нерв, которому вполне по праву, вполне по принятым правилам можно присвоить название «нерва доктора Чехова».

Это было новообразование недавнее, порожденное все той же усложненностью века, все той же его множественностью. Возникло оно, конечно, не из ничего; вероятно, со временем в нем трансформировались некоторые из «нервов», авторами которых были другие анатомы прошлого, другие художники.

Наш писатель не был историком-антропологом или историком-анатомом, и, как таковая, история тоже была для него «за» — за границей его творчества.

У него не найти обычных для писателя ссылок: «Случай, о котором пойдет речь в этой повести, имел место спустя два года после восшествия на престол...» Ни восшествия, ни скорбные даты ухода из жизни ве-

ликих мира сего, ни холерные годы, ни громкие судебные процессы — ничто подобное не стало для него вехой, от которой он измерял бы расстояние до событий своих, собственных, до тех самых, которые легли в основу сюжета его произведений.

Для него было существенно лишь то, что они были, что они тоже, как и всякие другие события, составляли течение жизни.

Поэтому созданные им художественные произведения и методы их создания он как будто бы был не склонен рассматривать в историческом аспекте.

И все-таки это не значит, будто ни история к нему, ни он к истории не имели никакого отношения. Такого разрыва вообще не может быть, связь эта лишь по-разному в разных случаях осуществляется.

Предшествующая история литературы и жизни, конечно, проявлялась в нашем поэте, но еще больше его творчество проявится в истории, последующей за ним; скольких художников он будет учить такому же тонкому слуху и зрению, какими обладал сам? Такой же наблюдательности? А вслед за художниками и нас, читателей?

А теперь возратимся снова от системы событий, которую так своеобразно, так новаторски конструировал в своих произведениях наш писатель, от множества приглушенных его треугольников, многоугольников и линий — к системе его художественных образов.

И мы сразу же заметим, что его герои делятся на тех, кто обладает «нервом доктора Чехова», и на тех, в ком этот нерв отсутствует полностью.

Именно в связи с этим подразделением в его творчестве уже не нашла себе места та методика, в соответствии с которой автор задавал читателям задачки с требованием доказать, что «a» лучше «b», что $c = d$, что $d > e$, что $e < d$, где a, b, c, d, e — суть люди и человеки, существующие ради выполнения указанных экзерсисов. Предполагалось при этом, что чувство прилежания никому не позволит заглядывать в ответы, помещенные на последних страницах художественного учебника.

Но — не нужно передержек. Не нужно думать, будто поучительность была совершенно чужда нашему писателю,— он только применил к ней иную, необходимую для его времени методику.

А потому и мы не лишены права снова и снова апеллировать все к тому же примеру.

Снова гостиная трех сестер Прозоровых.

Без труда мы заметим, что наш доктор отнюдь не возводит обладателей нерва своего имени в ранг существ, осчастливленных и гордых этим обстоятельством.

Ничего подобного. И если все-таки, хотел он того или нет, он историчен, так прежде всего в одном немаловажном обобщении: люди, тонко и даже утонченно чувствующие свое время, свою житейскую повседневность, гордо у него не звучат. Только не надо их по этой причине классифицировать как людей совершенно лишних. Хотя бы потому, что такая категория, как время, время человеческое, должна ими обладать. И — такими тоже.

Хотя бы потому, что их судьба не отчетлива и не очевидна — в противоположность той очевидности, с которой существуют потребители и повелители жизни.

Хотя бы потому, что этим «лишним» неловко и даже страшно жить вовсе не из страха умереть. И тем самым они, пусть и в малой степени, а все-таки очищают жизнь других от необоснованного, часто грубого чувства несомненности и обязательности своего существования.

Хотя бы потому, что люди эти требуют и снисхождения, и прощения — ведь чрезмерная обостренность у них все того же «нерва» делает их подчас несносными, не друзьями, а врагами друг друга по несчастью. Достаточно с них и этого, не надо, чтобы и мы тоже включались в ряды их недоброжелателей.

Но есть у них еще одна роль, которая снова и снова их оправдывает: на их фоне отчетливей характеры, в которых «нерв доктора Чехова» отсутствует.

В гостиной трех сестер таким характером является Соленый Василий Васильевич, штабс-капитан.

В то время как обитатели и посетители гостиной страдают от неразрешимости множества вопросов, штабс-капитану чужды сами эти понятия. Вопрос, мысль, формулирующаяся как вопрос, в его понимании — блажь, нечто презренное и ничтожное. Ни когонибудь, ни самого себя он никогда ни о чем не спрашивает. И соответственно отвечает на вопросы других...

« — А наливка вкусная. На чем это настояно?

— На тараканах...»

« — Вокзал железной дороги в двадцати верстах... И никто не знает, почему это так.

— А я знаю, почему это так. Потому что если бы вокзал был близко, то не был бы далеко, а если он далеко, то, значит, не близко...»

« — Это необыкновенный ребенок.

— Если бы этот ребенок был мой, то я изжарил бы его на сковородке и съел бы».

« — Теперь нет пыток, нет казней, нашествий, но вместе с тем столько страданий!

— Цып, цып, цып... Барона кашей не корми, а только дай ему пофилософствовать...»

« — Эта жизнь проклятая, невыносимая.

— Цып, цып, цып...»

« — Что вы хотите этим сказать, ужасно страшный человек?

— Ничего. Он ахнуть не успел, как на него медведь насел».

«— ...Через какие-нибудь двадцать пять — тридцать лет работать будет уже каждый человек. Каждый.

— Через двадцать пять лет вас уже не будет на свете, слава богу. Года через два-три вы умрете от кондрашки или я вспылю и всажу вам пулю в лоб, ангел мой. *(Вынимает из кармана флакон с духами и опрыскивает себе грудь, руки.)*»

Сцена объяснения Соленого в любви:

« — Перестаньте, Василий Васильевич!

— Первый раз я говорю о любви к вам и точно я не на Земле, а на другой планете. *(Трет себе лоб.)* Ну, да все равно. Насильно мил не будешь, конечно... Но счастливых соперников у меня не должно быть... Не должно... Клянусь вам всем святым, соперника я убью... О чудная!...»

У штабс-капитана и здесь не возникает вопросов. Он и не ждет ответа от «любимой». Сам отвечает за нее. Все знает сам. Сам делает выводы и, объясняясь в любви, желает убивать.

Вот Соленый прощается с домом Прозоровых, домом,

который его приютил, в котором он «любил», который ему прощал:

« — Старик волнуется напрасно. Я позволю себе немного, я только подстрелю его, как вальдшнепа. *(Вынимает духи и брызгает ими на руки.)* Вот вылил сегодня целый флакон, а они все пахнут. Они у меня пахнут трупом. *(Пауза.)* Так-с... Помните стихи? «А он, мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой...»

А вот и его выстрел.

Человек убит из ревности — более странной и более необъяснимой, чем любая другая ревность.

Ревность эта необъяснима, но груба и несомненна, она даже заранее запланирована.

Это атавизм, до конца освобожденный от обязанности себя осмыслить, подвергнуть самого себя сомнению. Так как у Соленого нет вопросов к миру, он и себя считает свободным от вопросов мира к нему.

В свое время — тоже из ревности — убил мавр.

Нет ли здесь хоть какой-то связи, хоть какой-то аналогии?

Мавр убил, зная почему и ради чего,— он утверждал справедливость в этом мире. Он убил даже не подозреваемого соперника, а свою возлюбленную, свою жизнь.

Если бы он не убил — он был бы убит несправедливостью. Как в бою: погибает или справедливость, или несправедливость.

А штабс-капитан Соленый?

Не знает, почему убил. И никогда не только не узнает, но и не захочет узнать. Вернее всего — почти от полного отсутствия чувственной связи с миром, от полного отсутствия доверия к миру, к справедливости в нем. Ее нет для него раз и навсегда, значит, нечего и узнавать, значит, неоткуда взяться для него каким-то «нельзя», значит — все можно в этом мире.

За века все сколько-нибудь нравственно значительное навлекло на себя столько слов, что теперь оно уже выговорено до конца и освобождает от дальнейших слов и рассуждений. Должно быть, так понимает Соленый мир и самого себя. Если только хоть как-то понимает.

Дальнейшие слова и рассуждения? Постыдны, нелепы. Вместо них — «Он ахнуть не успел, как на него медведь насел».

Преступники, которых разоблачал непревзойденный Шерлок Холмс, убивали, руководствуясь безусловно

низкими побуждениями, но они вступали при этом в опасную и ответственную игру, каждую минуту они могли быть разоблачены и убиты сами.

Родион Раскольников убил в поисках доступного ему средства достижения справедливости.

Соленый убил, не вступая в игру, зная, что ему не грозит разоблачение.

В убийстве мавра замешан посредник, провокатор, мавру-Соленому посредники ни к чему, он все — от начала до конца — сделает сам.

Мавра подлинного, Родиона Раскольникова и убийц, разоблаченных Шерлоком Холмсом, должны судить, и они готовы к суду. Мавру-Соленому, мавру-суррогату суд не угрожает, а он — не угрожает суду, его законам и канонам. Этот суд и новый мавр сосуществуют благодаря полной независимости друг от друга.

Мавр убил из-за любви. Соленый — может быть, из-за нее, а может быть, и не из-за нее. К Соленому неприменим не только уголовный, но даже и нравственный кодекс. Ибо действовал он по третьему, единственно усвоенному им кодексу — кодексу условностей своего времени.

Вот этот кодекс он усвоил.

Усвоил как условность и такой факт, что существовал некий поэт — Лермонтов, и ссылается на него, и не просто так, а в порядке сравнения себя с ним.

Он усвоил привычку то и дело пользоваться духами.

Он усвоил представление, что человека ничего не стоит убить, если как-нибудь по-другому назвать убийство, например — дуэлью.

Он усвоил правило: не надо скрывать свой атавизм, свою пещерность, их надо подчеркивать как некое своеобразие, как «самобытность», как способ существования и общения.

За такую вот самобытность его приласкает и будет защищать перед другими людьми тот самый человек, которому Соленый сначала шутя пообещает всадить пулю в лоб, а затем и всадит ее.

А самобытный мавр-Соленый будет даже более, чем прежде, вхож в благородные, интеллектуальные дома и гостиные. И найдет себе немало не то чтобы друзей, а сородичей — приматы ведь легко сближаются, быстро притираются друг к другу — у них меньше граней. Это многогранники соединяются с трудом.

Дантес и Мартынов могли бы ему позавидовать: они — подмастерья, им еще нужны были известность и мнение света. Соленый научился жить в свете, не считаясь ни с его мнением, ни со своей репутацией в нем.

Соленый обладает пусть бесчеловечным, но вполне определенным приемом: глупостью и грубостью. И он — сильнее окружающих его людей: те не могут принять бесчеловечные способы жизни, человечные — не могут найти.

У Соленого нет потребности приобщения к духовной жизни человечества, к ценностям, этой жизнью созданным.

Энергия, отпущенная природой человеку для духовной жизни, развитая и воспитанная множеством мыслящих поколений, расходуется Соленым по собственному усмотрению — главным образом на презрение к людям, к той же человеческой природе, поскольку она духовна.

Хотят этого люди или даже не хотят — они уже не могут не расходовать себя в жизни духовной, в поиске, хотя бы и трагическом, безрезультативном, в мечтах и тоске об идеальной норме.

А Соленый — может.

Он паразитирует за счет мыслящих и духовных людей, усваивая кое-что из их цивилизации, из их кодекса условностей.

Вся соль — в нем самом. В нем последовательно исключаются такт, поиск человека, поиск нормальности этого мира, всякого рода поиски. В нем так немного всего, но оно — все.

Чем меньше Соленым отпускает природа, тем сильнее они это немногое в себе ощущают, на нем сосредоточиваются, убежденнее им распоряжаются. В них отсутствует сомнение, анализ. И они гордятся этим дефектом, лелеют и развивают его. Он для них — чуть ли не единственный источник самоутверждения.

Искусство и литература тоже приложили сердобольные и всепрощающие руки к преступлению и к преступнику, они тонко романтизировали подобного рода убийство человека человеком, обставляя этот факт художественными, занимательными, пикантными подробностями.

Они вежливо опрыскивали Соленого особого свойст-

ва одеколончиком еще прежде, чем он научился сам себя опрыскивать духами, осторожненько снимали с него соринки.

Неприятие убийства они склонны были заменить поиском справедливого наказания за совершенное преступление.

И вряд ли еще кто-нибудь из великих художников так же безоговорочно сурово относился к преступлению вообще, к убийству — в частности, как наш писатель.

Доктор Чехов как будто предвидел быстрое возникновение многотиражной литературы, посвященной убийству, авторы которой на общем фоне бестактности и грубости своих произведений будут в какой-то мере даже вежливо склонять на свою сторону историю литературы, доказывать свою причастность к великим классикам.

Доктор Чехов не оставил для этих авторов никаких надежд на соглашение, никаких поводов для будущих рукопожатий.

Наш доктор не проклинал и не заклинал преступления.

Они — существуют, но никогда он не создавал вокруг них ни малейшего ореола. Он лишал преступление всего того, из-за чего оно вдруг возводится в деяние: эмоций, философии, логики. Многие это делали — возводили. Он — не делал.

Мы встречаем у него следователей и врачей на судебных вскрытиях. Боже мой, какое это тоскливое и малоинтересное занятие! И все потому, что тоскливы, малоинтересны и преступление, и сам преступник.

Как незначительны, например, фигуры убийц в рассказе «Убийство», как тем более незначительны результаты для тех, кто его совершил, как неоправданны надежды, которые возлагались убийцами на убийство!..

Эмоциональность преступника, его индивидуальность, его характер для Чехова не существуют, существуют лишь кое-какие разновидности серой и скучной бесхарактерности. Кажется, в каждом преступнике для него прежде всего живет и доминирует амеба.

Наш писатель едет на Сахалин, знакомится с сотнями, с тысячами преступлений и преступников,— и что же он говорит о них? Обо всех без исключения?

« — Удивительно неинтересные преступления».

Вот и дядя Ваня совершает преступление, стреляя в человека. А что затем?

Когда, поддавшись настроению и обстоятельствам, непреступный человек совершает преступный поступок, он совершает его против самого себя.

Дядя Ваня выстрелил в Серебрякова, а ощущение у него такое, будто бы на самом деле он подстрелил свою волю, усилил свою опустошенность, усталость.

Убийство для дяди Вани — это величайшая глупость, и выстрел тоже вызывает сознание совершенной глупости. Раскаяния — и того нет. Для раскаяния нужны ведь эмоции.

И даже когда Соленый бравирует своей готовностью убить человека задолго до того, как совершит убийство, бравада его — серая, скучная, тусклая.

Несомненно — Соленый самый глупый человек в гостиной Прозоровых,— может быть, потому он и убийца.

Глухой, выживающий из ума слуга Ферапонт и тот говорит глупости от чьего-то имени: «...в городе сказывают».

Соленый изрекает одну глупость за другой, глупостью утверждая себя.

Но в то время как глупость Ферапонта простительна и объяснима, потому что — естественна, глупость Соленого противоестественна.

Люди всегда боялись прослыть глупыми. Соленый — не побоялся.

Вероятно, он не глупее других от природы, он просто взял глупость на свое вооружение, возвел ее в способ своего существования. Это даже не цинизм — цинизм нередко должен быть умным или хотя бы остроумным.

Это — не мимикрия, а подлинное вживание в глупость.

Когда-то и перед Соленым возник — не мог не возникнуть — вопрос: искать ли цели и задачи для применения своих способностей или раз и навсегда и от целей, и от задач, и от самих способностей отказаться? Пренебречь ими?

Он — пренебрег, отказался.

Предпочел не искать, не понимать, не переживать. Так было для него удобнее. Так можно немалого достичь. Безусловно, можно достичь полного пренебрежения к людям, а ведь в этом — своя сила! Похоже на то,

что если он и знаком с «Похвалой глупости» Эразма Роттердамского, так понял ее как похвалу.

Предана сама природа человека?

Пустяки!

В нем одно-единственное убеждение — в мире не нужны убеждения нравственного порядка, не нужны и их поиски. Он отвергает их не по мелочам, не по частностям, а в целом. Такое отвержение может кому-то даже показаться чем-то значительным, на самом же деле это максимально возможный предел глупости, амебовидности. Глупости большей, чем эта, быть не может.

И теперь Соленый — куда бы он ни пошел со своей аттестованной глупостью — в генералы, в политики, в писатели, в департаменты, в ночлежку, на дно, на большую дорогу,— после того, что он совершил, уже нигде окончательно и раз навсегда не подсуден нравственному кодексу. Ведь нравственный кодекс потому перед ним и дрогнул, что применим он лишь к тем, кто хоть в какой-то степени нравствен.

Не слишком ли много — о Соленом?

Нет, здесь не страшно «слишком», здесь не до «слишком», потому что слишком уж просто Соленые входят в жизнь, слишком мы к ним благосклонны.

Впрочем, Соленый будет не против, если его сыграют, как Печорина, как «Героя нашего времени», забывая, что Печорин ищет благородного риска и потрясений, а Соленый их не хочет совершенно, что у Печорина — болезненный и гипертрофированный ум, а у Соленого ума нет, что текстуально в пьесе Чехова нет ни слова, которое позволяло бы проводить параллель между Соленым и Печориным.

Чехов, может быть, и мог поставить хотя бы приблизительный знак равенства между Соленым и сестрами Прозоровыми, поскольку все они несчастны.

Да, Соленый — несчастен... Но разве несчастные никогда не приносят несчастья другим?

На первый взгляд, убийство случайно и бескорыстно — убийца ведь ничего не приобретает, ни любви, ни славы, ни материальных благ.

Но это только так кажется — убийца приобрел. Он приобрел навык убивать.

И с этой точки зрения убийство многозначительно — ведь убит не враг, не антипод, а друг и свидетель, как бы даже соучастник всех слабостей самого убийцы.

Вот с этого-то и начинается навык убийства.

Соленый не одинок среди персонажей нашего писателя, а его столкновение с рассредоточенным, несобранным и робким интеллектом — не единичный случай.

Вот и Михаил Аверьянович, почтмейстер, который, трясясь всем телом, кричит на посетителей своего учреждения: «Замолчать!» — тоже ни в чем не сомневается, тоже уверен в себе, уверен до последней капли крови. И если не убивает приласкавшего его, милейшего, ищущего доктора Рагина, так запросто водворяет своего друга в сумасшедший дом.

Но Соленые нашего писателя — лишь эмбрионы. Миру предстоит еще увидеть Соленых масштабом покрупнее.

Таковы «бессобытийность» и «бесконфликтность» нашего писателя, его «безучастность» к этому миру. А ведь все это и еще многое другое инкриминировалось ему.

Однако верно и то, что гостиная трех сестер все помогает и помогает Соленому.

Должно быть так.

Хотя бы потому, что здесь, в этой гостиной, приглушены и чувства, и энергия, а раз приглушены они — возрастает безудержность атавизма.

Хотя бы потому, что интеллект здесь обернулся типичной для своего времени и самой слабой своей стороной: он только прилагает себя к жизни, к рассуждениям о ней, к недовольству и неудовлетворенности ею, к мечтам о ней, но не утверждает самого себя как такового, как нормального, полноправного и полномочного представителя все того же явления жизни, ее вершителя, наконец.

Если интеллект не утвердит себя сам, никто за него этого не сделает, напротив, в ту же минуту утвердит себя примитив. Раз интеллект готов принести себя в жертву ради высшей, но неотчетливой цели, эту жертву, как нечто само собой разумеющееся, примет низший, но вполне отчетливый в своем примитивизме штабс-капитан.

Святые жертвы утверждают не столько святость, сколько палачей.

Интеллект отличается тем, что он способен представить себя в самых различных сословиях, временах и эпохах, но эта его способность может быть и гибельной для него, потому что в том, как он то и дело от-

влеченно представляет самого себя, он теряет себя сегодняшнего, реального.

Его обязанность такая же, как у актера, который должен быть способным к перевоплощению, но теряет эту способность с утерей собственной личности и потому обязан ее утверждать.

Так и у нашего писателя, личность которого служила искусству, но никогда не становилась величиной, производной от него.

В тридцать лет он написал «Остров Сахалин», в тридцать два — «Палату № 6», но не стал ни поздним Достоевским, ни ранним Кафкой, а остался собою, утвердил свой собственный интеллект, свою личность.

Как часто интеллект определял свое бесстрашие, свое высокое назначение только тем, что он без конца заглядывал в бездны жизни, призывал заглядывать туда и других, и как редко он создавал то умение и ту тактичность, с которыми на краю бездны — если уж она существует — человеку нужно жить и действовать.

И все-таки и подобного рода редкости созданы, они существуют и ставят перед нами задачу и постигать противоречия мира и противопоставить им себя.

Чтобы мы всегда противопоставляли себя Соленым.

Уже в названиях своих произведений художники научились выражать эти задачи: «Война и мир», «Преступление и наказание», «Отцы и дети» и несколько позже — «Иметь и не иметь».

И не только желанием нашего поэта, но и обязанностью, долгом его явилось создание еще одного нарицания — «Скучной истории». Нарицания, которое вытекало из особенностей его таланта, как бы пронизанного «нервом доктора Чехова».

Мир долго и в муках создавал нормальный интеллект, который был бы присущ людям обычным, рядовым. Эти люди прежде всего хотели вписаться в мир, составить его гармонию. Но время еще не признало их каждодневный интеллект, оно еще было приучено рассматривать интеллект только как случай, как событие, как свойство, присущее трибунам и отшельникам. Интеллект, будучи незыблемой потребностью человека, — увы! — далеко не всегда потребность сегодняшняя.

Когда профессор, от лица которого ведется повествование скучной истории, поднимается на университетскую кафедру, он находит там себя.

Он тем более находит там себя, что — редкий случай! — в этой сцене и в этих мыслях, должно быть, находит себя и сам автор, выражая свое отношение к искусству, вообще к искусно и с любовью исполняемому делу.

Кафедра — единственное место, где герой себя находит, где люди понимают его, он, так или иначе, понимает их, где осуществляется взаимодействие, а интеллект получает непустячное применение.

«Никакой спор, никакие развлечения и игры никогда не доставляли мне такого наслаждения, как чтение лекций. Только на лекции я мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом деле».

Только говоря о лекции, он мог говорить с такой четкостью, определенностью:

«Чтобы читать хорошо, то есть нескучно и с пользой для слушателей, нужно, кроме таланта, иметь еще сноровку и опыт, нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей речи. Кроме того, надо быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять поля зрения».

Поле зрения — это аудитория, и

«каждую минуту, пока читаю, имею ясное представление о степени ее внимания и силе разумения»;

«каждую минуту я должен иметь ловкость выхватить из этого громадного материала самое важное и нужное»;

«каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моем распоряжении имеются только час и сорок минут».

Роль трибуна — единственная роль, в которой все это оказалось возможным...

Но вот «каждые» минуты истекли, и стоит профессору сойти с кафедры, как интеллект становится для него обузой, уже не только не содействует общению с людьми, но и препятствует этому общению, всячески его затрудняет.

«Я ложусь в постель, потом встаю и хожу по комнате, потом опять ложусь... Обыкновенно после обеда, перед вечером, мое нервное возбуждение достигает своего высшего градуса. Я начинаю без причины плакать и прячу голову под подушку. В это время я боюсь, что-

бы кто-нибудь не вошел, боюсь внезапно умереть, стыжусь своих слез, и в общем получается в душе нечто нестерпимое. Я чувствую, что долее я не могу видеть ни своей лампы, ни книг, ни теней на полу, не могу слышать голосов, которые раздаются в гостиной...»

Итак, история нормального, каждодневного интеллекта, история его взаимоотношений с окружающим, тоже повседневным, миром оказалась скучной, трагически скучной.

А норма, как идеальная модель этих взаимоотношений, оказалась слишком отдаленной, недоступной.

Близка и доступна лишь тоска по этой норме, боль и мечта о ней.

И наш поэт не нарисовал этой модели, скорее всего он лучше, точнее ощущал преждевременность такой попытки.

Едва ли он лучше других знал эту модель, едва ли мог назвать нам ту конкретную правду, которая приведет человечество к истинному и тоже конкретному счастью, благородству, справедливости, к торжеству интеллекта в его лучшем, в его наиболее необходимом для человека смысле.

Безупречнее других он чувствовал неправду, ложь.

И единственным методом, который все-таки позволял ему поставить свое искусство на службу этой высокой цели, был метод исключений. Исключение лжи из своей жизни, из своего искусства... Одно, другое, третье, сотое исключение — это и есть приближение к правде.

Приближение вопреки всему: традициям, религиям, господствующим мнениям, сегодняшнему здравому смыслу. Там, где нет ни этих исключений, ни этих приближений, не может помочь даже самая искусная их имитация — искусность будет, искусства не будет никогда.

Трудный путь. Трудный еще и потому, что и правда, если она неизменно остается верной себе, далеко не всегда может ответить на вопрос — как жить?

Это ложь отвечает на вопросы без запинки, либо совсем минует их.

Наш писатель запинался. А все-таки шел, искал и находил.

Сам Юпитер, приближаясь к смерти, все острее ощущал расхождение между собой и жизнью. Он метался между судьбой трибуна и отшельника. Он сбра-

сывал привычные одежды и облекал старческое тело в рубище. Он хотел свести свои счеты с жизнью, хотя бы с помощью смерти, и в то же время ему все казалось, что, прожив на этом свете едва ли не целый век, он еще не прожил того часа, тех минут, когда он бросит в лицо жизни откровение и потрясет ее.

Именно этого часа, этих минут ему никогда не хватало.

А наш писатель?

Это он сам, а не лечащий доктор, констатировал исход болезни:

« — Я умираю».

И это вскоре после того, как он написал одно из своих самых светлых и оптимистических произведений — «Невесту».

После того, как, может быть, почувствовал свое еще робкое схождение с жизнью, как сам заметил, что его искусство хоть в какой-то мере, но все-таки учит искусству жить. Жить, а не умирать.

Открыв современную ему множественность жизни, воссоздав ее на сцене, он сумел найти в этой множественности самого себя — свою единственность, свои рамки и границы. Себя — художника.

Недаром рассказывают, что временами он смущал даже Юпитера.

В том жили сто человек сразу, и все — разные, и если бы в нашем поэте их было двое или трое — они неизбежно дрогнули бы перед таким многолюдием.

Но один — не дрогнул. Потому что был один.

Один, он овладевал всей своей личностью, и это овладение, беспредельное приближение к самому себе, было его тактом — житейским и художественным. Было его нормальностью.

Один из наиболее зашифрованных художников, он, если бы был правильно и точно понят, вероятно, представил бы собою тот полезный, крайне дефицитный опыт существования личности, который так необходим нынче человечеству.

Он говорил:

« — Все мною написанное забудется через 5—10 лет».

Это — не только скромность. Не только тоска по жизни. Это еще и чувство стремительного движения самой жизни, в которой искусство тоже должно быть вечно молодым и новым и в то же время древним — без

своей собственной истории, без своих древностей как могло бы искусство существовать сегодня?

Требования новизны совпадают при этом с требованиями истории по отношению к личности художника, и те и другие настойчиво стремятся вытеснить эту личность прочь из своих орбит: современность — в силу своей стремительности, почти моментальной смены вкусов и оценок, история — в силу вековых традиций и непоколебимости своих эталонов. Только большой художник выдерживает двойной натиск.

Художник, который создавал непреходящие, мировые ценности, но очень деликатный, обладающий тонкой кожей, особой чувствительностью ко всем требованиям и к нему лично, и к искусству своего времени в целом, этот художник и не мог сказать иначе:

« — Все мною написанное забудется через 5—10 лет».

И должно быть, он и в этом был очень прав, может быть, чтобы остаться в искусстве надолго, нужно сознавать и свою собственную скоротечность.

Во всяком случае, он был прав по отношению к самому себе.

Один художник талантлив тем, что талантливо разжигает в себе свое дарование. И эта работа составляет внутренний пафос его творчества; другой все время ставит свой талант, его правомерность, его подлинность под сомнение, и это — тоже движущая сила художественности.

Один чувствует, как он более или менее уверенно и прочно овладевает мастерством; другого не покидает ощущение, как мастерство, как само искусство овладевает им.

КООРДИНАТЫ

Подобно тому, как отдельный художник создает свои отношения с тем или иным жанром искусства, искусство в целом создает их с жизнью, с ее процессом.

И начала создавать эти отношения не проза, а поэзия — род литературы, казалось бы, более изысканный, более совершенный, более чуткий к слову и к его эволюции, более отзывчивый на всякого рода словесный изыск и модерн.

При всем при этом поэзия была, очевидно, более свойственна человеческой природе, чем проза, а ямбы,

хореи, гекзаметры были не изобретены, а открыты, услышаны человеком в окружающем мире. Потому, должно быть, они и оказались столь устойчивыми, не поддающимися коррозии.

Должно быть, песня, а за песней — стих отразили некий ритм существования природы, существования человека, существования связей между природой и человеком.

Должно быть, он, человек, так и намеревался жить — бесконечно продолжаясь в этом ритме.

Должно быть, кибернетическая машина еще раз подтвердила зарифмованность природы, легко находя рифмы стихотворных строк и отказываясь от «написания» прозы. Проза была создана человеком позже песни и поэзии, поэтому она и дальше от природы, в ней больше искусственности. И вот прежде других «рифмуются», находят друг друга и совпадают друг с другом две более общие природные закономерности — математическая и поэтическая.

Должно быть, и древние отшельники уходили в пещеры и пустыни тоже потому, что одиночество помогало им развивать слух к ритму существования мира.

О них говорили, что они уходят от мира, на самом же деле они приближались к нему — все дело в том, что и как понимать под словом «мир».

Но последующая жизнь человека, его деятельность разрушала природную ритмику, ту песню, с которой он начинал, которую жизнь поделила когда-то между человеком и птицей.

Он разрушал эту ритмику прежде всего в самом себе, множественность событий его жизни никак не укладывалась больше ни в ямбы, ни в хореи, ни в свободную песню кочевника, и тогда отображения новой, аритмической действительности взяла на себя проза.

Недаром же она — еще и проза жизни.

За краткий срок проза создала шедевры, сопротивляясь все нарастающей множественности событий, пытаясь всю эту множественность расположить по рядам, определить, что нынче хорошо, а что плохо, одним словом, проза хотела бы найти новый или обновленный ритм, соответствующий своему веку, хотела продолжить исполнение задачи, перед которой все чаще и чаще оказывалась бессильной поэзия.

Но мы-то, читатели, уже почти не улавливаем эту сверхзадачу прозы.

Нам трудно ее уловить, потому что мы сами — аритмичны. Трудно, потому что и сама-то проза плохо и торопливо, как бы только между делом, прислушивается к своему собственному ритму, это кажется ей делом третьестепенным, слишком много между нею, современной и злободневной, и ее изначальной задачей открыть или создать новый ритм возникло других задач — социальных, бытовых, философских, исторических, текущего момента.

Это тем более трудно, что ритмика прозы, если она и существует у того или иного художника, легко теряется при переводе с одного языка на другой, что эти потери никого не удивляют, признаются вполне естественными.

Ритмический прозаик, в силу всего этого,— большая редкость, как бы даже особое явление, тем более если его ритмика непринужденна, если мы не чувствуем в ней заданности, зато улавливаем довольно четкую мелодию, вполне соответствующую творческой личности автора, дополняющую наши представления об этой личности.

Некоторые стихи можно читать, видеть глазами и понимать, но не слышать; Чехова нельзя не слышать.

Даже если отвергать мелодию его прозы — она все равно пробьется к вам, при этом мы ощущаем ее необходимость и ее участие в общей симфонии природы.

И тот подтекст, который, быть может, он-то и ввел всерьез в прозу двадцатого века,— этот подтекст тоже ведь немыслим без ритма, он-то ведь тем более не столько читается глазами, сколько слышится; стоит потерять ритм, и мы почувствуем, как теряется связь с подтекстом, а может быть, и сам он как таковой.

И все потому, что наш автор обладал неким особым слухом. Такое ощущение, что слух у него пронзительный и чуткий, как у собаки,— и точный, как у выдающегося музыканта.

Этот почти атавистический слух, извлеченный как бы из глубины веков, этот слух в то же время есть чуткость, столь свойственная его прозе. Чуткость не только к человеку, но и к природе, и к миру вообще.

Так и должно быть: истинное искусство — всегда столько же традиция, столько история и даже древность, сколько новизна и современность.

А если все это так, если я таким образом воспринимаю прозу, то мне нужно быть последовательным и назвать автора этой прозы поэтом.

Даже — если бы самого автора это крайне удивило, все равно и перед лицом этого недоумения у меня неизменным остается чувство, что в таком определении виноват не я, а он.

Даже несмотря на то, что проза, о которой идет речь, может быть, говорит о вещах сугубо прозаических, что она временами настолько приглушена, что кажется чуть ли не безголосой. На самом же деле — в этом тоже ее поэтичность, не совсем и не всегда доступная самой поэзии.

Ведь в конце концов мы извлекаем из искусства красоту истины, красоту истинности, а все то, что приносит нам ее,— это поэзия в ее высоком смысле и назначении. Тем более красив поэтической красотой сам процесс духовного постижения человека, наш же поэт в совершенстве умел владеть этим процессом. Никогда мы не подвергали сомнению это умение; никогда он и не раздражал нас этим умением, почти виртуозностью, никогда он не поставил нас в неловкое положение своими открытиями и диагнозами, как бы ни были они интимны или печальны.

А эта тонкость и деликатность — опять-таки поэзия. И здесь не мешало бы поэтам учиться у прозы.

Учиться поэзии, учиться тому, что искусство — всегда поэзия, в каком бы жанре оно ни проявляло себя.

И сегодня мы, право же, должны возвращаться душою к тем временам, когда еще не было поэзий как таковых, зато поэзией было любое искусство и даже — науки. И даже — мышление в целом. Жаль, что нынче существует столь настоятельная необходимость напоминать нам об этом, это ведь не только понятие об искусстве, это — как бы и те координаты, в которых мы могли бы нынче существовать, если бы не потери и недоразумения, тоже именуемые нашей историей и даже историей нашего прогрессивного развития.

Но этих недоразумений, этих нарушений, данных природой ритма и режима, было слишком много, и вот наш поэт, наш доктор тонко и точно улавливает неизбежные последствия.

Он наблюдает потерю нами координат нашего существования, когда кажется, что неопределенность душевного состояния, что отсутствие каких-то главных

решений и поступков — это только до завтра, но в действительности проходят годы, а ни решений, ни поступков, ни определенности души нет и нет, и состояние временности становится постоянным, и нарушена сама система координат: аргумент, то есть время, все нарастает и нарастает, а функция, то есть жизнь, перестает просматриваться на координатной сетке.

Вот Петр Михайлович Ивашин едет к своему соседу Власичу с намерением стреляться.

Кажется, предстоит дуэль... Секунданты повезут в поле пистолеты, плащи, саквояж с хирургическим инструментом... Но первое, что увидел Ивашин на усадьбе Власича: Власич идет к дому с молотком в руке, чтобы прибить ставню — ветер, и ставня громко хлопает,— а за ним в рубахе без пояса работник несет ящик с гвоздями.

Не происходит ничего — ни дуэли, ни примирения...

Ощущение чего-то нерешенного, какой-то странной временности, которая — и в это очень хочется верить — имеет право существовать в течение лишь одного часа, одного дня и тут же должна сгинуть, в действительности же будет теперь состоянием Ивашина и Власича до конца их дней. И не только Ивашина и Власича.

Не только других героев — сестер Прозоровых, дяди Вани, Анны Сергеевны фон Дидериц, Алексея Лаптева. Это состояние присуще современной жизни. Мы чувствуем угрозу временности — закрепиться в жизни, остаться в ней на века.

Если бы неосуществленность намерений Ивашина либо Лаптева из повести «Три года» оказалась лишь исключением из общего правила! Если бы неопределенность и временность их состояния были случайностями! Читая нашего поэта, так хочется прийти к выводу о том, что временность — временна.

Но нет — мало того, что он заставляет нас задуматься над этим вопросом, он, по существу и как будто даже вопреки собственному правилу не навязывать мнений, лишает нас возможности прийти к такому выводу.

А в то же самое время отношение героев нашего поэта к жизни то и дело таково, что, стремясь вырваться из-под власти временности, они, такие слабые, такие робкие, тем не менее ни на минуту не ставят под сомнение ни свою собственную порядочность, как они ее понимают сами, ни призвание быть людьми. Не ставят под сомнение и постоянство этого призвания.

Если бы от них потребовали изменить своей порядочности, даже ради искупления целого мира,— они и тогда не сделали бы этого. То, что могли герои Достоевского, они не могут, они не должны. Ведь их порядочность — вне любых сомнений, вне любой игры, вне любых обстоятельств. Они не допускают контроля над ней со стороны любого канона, проверки своей порядочности хотя бы самим господом богом.

Хотя среди них и встречаются люди верующие, но они как будто делают некоторое одолжение вере, благородное одолжение, ничего не требуя от нее. Они не ждут пришествия бога на землю, не досаждают ему просьбами, не призывают его в свидетели своих забот, неурядиц и предрассудков.

Своим существованием они пытаются создать богу условия для того, чтобы тот не был мелочным, раздражительным и суеверным, а был бы красивым и поэтическим, как мерцающая огоньками свечей пасхальная ночь, которая изображена в рассказе того же названия.

Они готовы жить в мире божественном — но где же он?

По существу, они бесстрашны, потому что у них только один страх — боязнь быть обманутыми жизнью, умереть, так и не прожив жизнь человеческую.

...И еще усложняется их существование.

И значит, искусство уже должно, уже обязано подвергнуть сомнению не столько их, сколько ту систему жизни, в которой вовсе не мало хороших людей, не мало интеллекта, не мало точек приложения этого интеллекта, а человеческий мир все равно не становится от этого ни лучше, ни справедливее, ни гуманнее.

В существующей плоскости «х — у», при существующем порядке вещей и дальше может прочерчиваться какое угодно количество судеб и человека, и его искусства, функциональных кривых, прямых, зигзагов, но ни одна из них, ни одно из самых значительных событий не обретает этого качества. Все остается таким, как есть, то и дело становится хуже, чем есть, во всем царит постоянная временность, неустойчивое равновесие.

И все нет и нет того качества жизни, которому наконец-то не будет противопоказан поиск подлинно человеческого в человеке, качества, которое будет этого поиска повседневно требовать, которое не будет делать искателей и страждущих несчастными, хмурыми, а главное — лишними.

Наш поэт терпеливо ждет этого качества, он умеет ждать. Умеет надеяться, что когда-нибудь такое время наступит — «лет через триста».

В этом ожидании наш поэт оставался как бы замкнутым в самом себе, лицом к лицу со своими открытиями и диагнозами, примерно так же, как лицом к лицу оставалась со своей драмой Анна Сергеевна фон Дидериц, с обычной своей манерой — говорить вполголоса, хотя бы потому, что истины не бывают без сомнения, а сомнение не может быть ни громким, ни категоричным.

Он ведь сам по себе — поучительный опыт формирования человеком своей личности. Формирования ее из наиболее дефицитных для человечества материалов, поставленного почти на научную основу. В чем-то ему подобны и его герои: они выполняют свою человеческую функцию, только нужно их понять.

И они умеют наполнить нас необъяснимым восторгом перед искусством, которое, несмотря ни на что, так действует на нас, таинственную необходимость и таинственную убедительность которого мы чувствуем через них.

И значит, есть на что действовать и есть к кому взывать.

Взывать, чтобы люди вышли наконец из существующей такой зыбкой, такой временной плоскостной системы, в которой любые треугольники и многоугольники, любые построения обречены на одноликость и подобие. Чтобы люди вышли из нее и создали новую пространственную координату «z». Взывать, чтобы они искали жизнь в новых измерениях, чтобы среди множества рассеянных повсюду возможных точек приложения физических сил человека и его интеллекта были найдены точки и рычаги единственно необходимые, подлинно человеческие.

Антон Чехов — писатель современный и потому, что никогда не касался проблем исторических, событий хотя бы самой близкой истории, в его творчестве присутствует лишь мир, видимый им сегодня, сейчас, и потому, что он применял самую современную технику письма, потому, что устанавливал самые современные отношения со своими героями и со своими читателями.

Но его задача — это всегда поиск нового человека, новых координат человеческого существования, тех «общих идей», от отсутствия которых он страдал. И вот уже его творчество становится исторически значительным, непреходящим, оно само по себе становится вровень с выдающимися историческими полотнами великих художников и, кроме того, многое объясняет нам в этих полотнах.

* * *

А следующим за смертью нашего поэта годом был в России год 1905.

1969 г.
Новосибирск — Москва

СОДЕРЖАНИЕ

Залыгин С. П.

З-24 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 5. Рассказы. 1951—1980; Мой поэт: Эссе о творчестве А. П. Чехова.— М.: Худож. лит., 1991.— 495 с.

ISBN 5-280-01612-8 (Т. 5)
ISBN 5-280-00785-4

В том вошли рассказы 1951—1980 гг., а также эссе о творчестве А. П. Чехова «Мой поэт».

З $\frac{4702010201\text{-}024}{028(01)\text{-}91}$ Подписное **ББК 84Р7**

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ЗАЛЫГИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ПЯТЫЙ

Редактор Т. ШЕХАНОВА

Художественный редактор Е. ЕНЕНКО

Технический редактор Е. ПОЛОНСКАЯ

Корректоры Л. ФИЛЬЦЕР, И. ХОРОШАЕВА

ИБ № 6293

Сдано в набор 13.02.90. Подписано в печать 16.11.90. Формат 84×108 1/32. Бумага кн. для массов. изд. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,04. Уч.-изд. л. 27,8. Тираж 100 000 экз. Изд. № III—3867. Заказ 519. Цена 1 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

1р. 90к.